КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ

Майя Кучерская

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ М. Кучерская

ЖЗЛ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Взбалмошный и деспотичный, великий князь Константин Павлович (1779—1831) совсем не был похож на наследника русского престола. Сын убитого заговорщиками императора Павла I и брат Александра I, он мечтал вести жизнь частного человека, отказался от императорской короны даже тогда, когда вся Россия присягнула ему. К чему это привело, известно. Восставшие на Сенатской площади кричали «ура!» Константину и… Конституции (кажется, считая последнюю женой великого князя). Потом было восстание в Польше, в котором Константин Павлович также сыграл не слишком завидную роль. О жизни одного из самых эксцентричных представителей Дома Романовых ярко и увлекательно рассказывается в книге, представленной вниманию читателей.

Второе издание книги значительно переработано автором.

- Майя Кучерская
  -
  - ОТ АВТОРА
  - ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
    - «И ВСЕ ВОСКЛИКНУЛИ: КОНСТАНТИН!»
    - СИМ ПОБЕДИШИ
    - КОНСТАНТИНОПОЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАШ!
    - НЕ ЦАРЬГРАД — ТАК ВАРШАВА
    - КОНСТАНТИН НЕМАНЯ.
    - МОРЕПЛАВАТЕЛЬ И ПЛОТНИК
    - ОСЕЛ ЕСИ
    - ЖЕНИТЬБА
    - ЛЮШЕНЬКИ-ЛЮЛИ!
    - СЫН ПЕТРОВ
    - ОХОТА НА ОЛЕНЕЙ
    - СИЛЬНЫЙ ГДЕ, ХРАБРЫЙ, БЫСТРЫЙ СУВОРОВ?
  - ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
    - БЕЗОТЦОВЩИНА
    - ЦАРЕВНА АННА
    - ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ
    - ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ
    - ДЕЛА ВОЕННЫЕ
    - ЖРЕБИЙ БРОШЕН
    - СТРЕЛЬНИНСКИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
    - ФЕЛЬДЪЕГЕРЬ
    - 1812-й, 1813-й, 1814-й

- ПАРИЖ, ПАРИЖ!
- ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.
  - ЦАРСТВО ПОЛЬСКОЕ
  - «КОМАНДОВАТЬ ВАМИ БУДЕТ БРАТ МОЙ»
  - КОНСТИТУЦИЯ
  - «Я ВАМ ЗАДАМ КОНСТИТУЦИЮ!»
  - РОЗОВАЯ ШЕЛКОВИНКА
  - САМОУБИЙСТВА
  - ВОДА И ПЛАМЕНЬ
  - ЦАРЬ ВХОДИТ И ВЕЩАЕТ
  - РАЗВОД
  - КНЯГИНЯ ЛОВИЧ
  - «ИСТРЕБЛЯТЬ СЕМЕНА РАССТРОЙСТВА»
  - НЕМЕДЛЕННОЕ ИСТРЕБЛЕНИЕ ЦЕСАРЕВИЧА
- ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.
  - «ПЛАЧЕТ ГОСУДАРСТВО, ПЛАЧЕТ ВЕСЬ НАРОД»
  - «НЕ ЕДЕТ К НАМ НА ЦАРСТВО КОНСТАНТИН-УРОД»
  - ПРИЮТ СПОКОЙСТВИЯ
  - «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОНСТАНТИН!»
  - КОНСТАНТИН И ДЕКАБРИСТЫ
  - «ВАШЕ …СТВО!»
  - «НЕ ОТПРАВИТЬСЯ ЛЬ, РЕБЯТА, С МОИМ БРАТОМ ВОЕВАТЬ?»
  - «КАК ПОЭТ, РАДУЮСЬ ВОСШЕСТВИЮ НА ПРЕСТОЛ КОНСТАНТИНА»
  - «Я С МАЛОЛЕТСТВА ЛЮБЛЮ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ»
  - «Я ОТПЕТ!»
- ЧАСТЬ ПЯТАЯ.
  - СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
  - ДВОЙНИК
  - «ПОШЕЛ ТУРОК ВОЕВАТЬ»{499},[54]
  - КОРОНАЦИЯ В ВАРШАВЕ
  - «СТАРА СТАЛА, Г… СТАЛА»
  - «У НАС ВСЁ СМИРНО»
  - РЕВОЛЮЦИЯ
  - СТРАННИК
  - ВОЙНА
  - КОНЕЦ
- ЭПИЛОГ.
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ КОНСТАНТИНА ПАВЛОВИЧА

- ИЛЛЮСТРАЦИИ
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35
  - 36
  - 37
  - 38
  - 39
  - 40
  - 41
  - 42

- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59

- comments
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26

- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70

- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114

- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158

- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202

- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246

- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290

- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296
- ○ 297
- ○ 298
- ○ 299
- ○ 300
- ○ 301
- ○ 302
- ○ 303
- ○ 304
- ○ 305
- ○ 306
- ○ 307
- ○ 308
- ○ 309
- ○ 310
- ○ 311
- ○ 312
- ○ 313
- ○ 314
- ○ 315
- ○ 316
- ○ 317
- ○ 318
- ○ 319
- ○ 320
- ○ 321
- ○ 322
- ○ 323
- ○ 324
- ○ 325
- ○ 326
- ○ 327
- ○ 328
- ○ 329
- ○ 330
- ○ 331
- ○ 332
- ○ 333
- ○ 334

- ○ 335
- ○ 336
- ○ 337
- ○ 338
- ○ 339
- ○ 340
- ○ 341
- ○ 342
- ○ 343
- ○ 344
- ○ 345
- ○ 346
- ○ 347
- ○ 348
- ○ 349
- ○ 350
- ○ 351
- ○ 352
- ○ 353
- ○ 354
- ○ 355
- ○ 356
- ○ 357
- ○ 358
- ○ 359
- ○ 360
- ○ 361
- ○ 362
- ○ 363
- ○ 364
- ○ 365
- ○ 366
- ○ 367
- ○ 368
- ○ 369
- ○ 370
- ○ 371
- ○ 372
- ○ 373
- ○ 374
- ○ 375
- ○ 376
- ○ 377
- ○ 378

- ○ 379
- ○ 380
- ○ 381
- ○ 382
- ○ 383
- ○ 384
- ○ 385
- ○ 386
- ○ 387
- ○ 388
- ○ 389
- ○ 390
- ○ 391
- ○ 392
- ○ 393
- ○ 394
- ○ 395
- ○ 396
- ○ 397
- ○ 398
- ○ 399
- ○ 400
- ○ 401
- ○ 402
- ○ 403
- ○ 404
- ○ 405
- ○ 406
- ○ 407
- ○ 408
- ○ 409
- ○ 410
- ○ 411
- ○ 412
- ○ 413
- ○ 414
- ○ 415
- ○ 416
- ○ 417
- ○ 418
- ○ 419
- ○ 420
- ○ 421
- ○ 422

- ○ 423
- ○ 424
- ○ 425
- ○ 426
- ○ 427
- ○ 428
- ○ 429
- ○ 430
- ○ 431
- ○ 432
- ○ 433
- ○ 434
- ○ 435
- ○ 436
- ○ 437
- ○ 438
- ○ 439
- ○ 440
- ○ 441
- ○ 442
- ○ 443
- ○ 444
- ○ 445
- ○ 446
- ○ 447
- ○ 448
- ○ 449
- ○ 450
- ○ 451
- ○ 452
- ○ 453
- ○ 454
- ○ 455
- ○ 456
- ○ 457
- ○ 458
- ○ 459
- ○ 460
- ○ 461
- ○ 462
- ○ 463
- ○ 464
- ○ 465
- ○ 466

- ○ 467
- ○ 468
- ○ 469
- ○ 470
- ○ 471
- ○ 472
- ○ 473
- ○ 474
- ○ 475
- ○ 476
- ○ 477
- ○ 478
- ○ 479
- ○ 480
- ○ 481
- ○ 482
- ○ 483
- ○ 484
- ○ 485
- ○ 486
- ○ 487
- ○ 488
- ○ 489
- ○ 490
- ○ 491
- ○ 492
- ○ 493
- ○ 494
- ○ 495
- ○ 496
- ○ 497
- ○ 498
- ○ 499
- ○ 500
- ○ 501
- ○ 502
- ○ 503
- ○ 504
- ○ 505
- ○ 506
- ○ 507
- ○ 508
- ○ 509
- ○ 510

- ○ 511
- ○ 512
- ○ 513
- ○ 514
- ○ 515
- ○ 516
- ○ 517
- ○ 518
- ○ 519
- ○ 520
- ○ 521
- ○ 522
- ○ 523
- ○ 524
- ○ 525
- ○ 526
- ○ 527
- ○ 528
- ○ 529
- ○ 530
- ○ 531
- ○ 532
- ○ 533
- ○ 534
- ○ 535
- ○ 536
- ○ 537
- ○ 538
- ○ 539
- ○ 540
- ○ 541
- ○ 542
- ○ 543
- ○ 544
- ○ 545
- ○ 546
- ○ 547
- ○ 548
- ○ 549
- ○ 550
- ○ 551
- ○ 552
- ○ 553
- ○ 554

- ○ 555
- ○ 556
- ○ 557
- ○ 558
- ○ 559
- ○ 560
- ○ 561
- ○ 562
- ○ 563
- ○ 564
- ○ 565
- ○ 566
- ○ 567
- ○ 568
- ○ 569
- ○ 570
- ○ 571
- ○ 572
- ○ 573
- ○ 574
- ○ 575
- ○ 576
- ○ 577
- ○ 578
- ○ 579

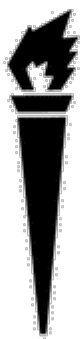
Майя Кучерская

КОНСТАНТИН ПАВЛОВИ

Жизнь ® замечательных людей

Серия биографий

Основана в 1890 году
Ф. Павленковым
и продолжена в 1933 году
М. Горьким



ВЫПУСК

1609

(1409)

«Молодая гвардия», 2013

Издание второе, исправленное и дополненное

ОТ АВТОРА

Идею заняться великим князем Константином Павловичем Романовым (1779—1831), братом двух государей, который так и не стал российским императором, в свое время мне подсказал Александр Львович Осповат, тогда профессор UCLA (Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе), в аспирантуре которого я в тот момент училась. Пользуюсь случаем выразить Александру Львовичу самую искреннюю признательность. Новая тема позволила мне, филологу, выйти далеко за пределы истории литературы и погрузиться в совершенно новый, полный неожиданностей материал, испытать азарт и радость от чтения документов в архивах, выяснить множество малоизвестных фактов российской истории, увидеть впечатляющие картины придворных нравов, а главное, осознать, что «междисциплинарный подход» — не мантра, в обязательном порядке повторяемая при составлении заявки на грант, а единственно возможный способ описания исторической реальности.

Фигура Константина Павловича показалась мне настолько увлекательной, что, закончив диссертацию об окружавших цесаревича мифах, написанную в Лос-Анджелесе под руководством А.Л. Осповата, я вплотную занялась не виртуальной, а реальной биографией великого князя. Результат моих трудов перед вами.

Эта книга была закончена в 2005 году, тогда же вышло ее первое издание. Сегодня я написала бы ее совершенно иначе, но, поразмыслив, решила ограничиться правкой самых очевидных недочетов и неточностей — как стилистических, так и фактических, а учитывая последние публикации, еще и расширить круг источников. К тому же теперь у книги есть именной указатель.

Благодарю всех тех, кто помог мне советами и уточнениями во время работы над книгой: А.Н. Архангельского, К.Г. Боленко, Е.Н. Бурцеву, Рона Вроона, Г.В. Зыкову, Гейл Ленхофф, А.Л. Лифшица, Е.Э. Лямину, Л.И. Соболева, М.Д. Смирнову, Е.С. Холмогорову, О.В. Эдельман, а также, увы, уже покойных А.И. Журавлеву и Хенрика Бирнбаума. Отдельная благодарность — Отделу редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ им. Ломоносова за любезно предоставленные гравюры и Научному фонду Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики» за постоянную и весьма ощутимую поддержку.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ИМПЕРАТОР ГРЕЧЕСКИЙ

Тезоименный исполину,
Максентий коим побежден,
Защитник веры, слава Россов,
Гроза и ужас чалмоносцов,
Великий Константин рожден.
Открыв впервые, он возводит
Свои на небо очеса;
И дух Господень нань нисходит,
Как на возникший крин роса{1}.

«И ВСЕ ВОСКЛИКНУЛИ: КОНСТАНТИН!»

Когда в ноябре 1825 года было объявлено о восшествии Константина Павловича на российский престол, директор московских императорских театров Федор Федорович Кокошкин повторял всем: «Слава Богу, мой милый! Он хоть и горяч, но сердце-то предоброе!» По отречении же Константина Кокошкин, напротив, «восклицал с восторгом»: «Благодари Бога, мой милый! — и прибавлял вполголоса: — Сердце-то у него доброе; да ведь кучер, мой милый, настоящий кучер!»{2}

Реплики Кокошкина довольно проницательно очерчивают душевный портрет того, чье имя вынесено на обложку этой книги. Сочетание любезности и грубости, сердечной доброты и привычек тирана, кичливости и смирения, жажды частной жизни и политических амбиций — словом, противоположности составляли суть натуры нашего героя, во многом определив прихотливую траекторию его пути, равно как и весьма драматичную развязку. Предвидеть ее в солнечные апрельские дни 1779 года, естественно, было невозможно.

* * *

В честь вожделенного рождения его императорского высочества Константина Павловича, второго сына великого князя Павла Петровича и великой княгини Марии Федоровны, внука императрицы Екатерины II, в царскосельском театре была дана опера аббата Метастазия «Димитрии»{3}. Ее сюжет был свит из самых ходовых мотивов, освоенных театром еще с античных времен: сын сверженного с престола и погибшего сирийского царя Димитрия, названный в честь отца тем же именем, воспитан в лесах и безвестности. Внезапно Димитрий узнает о своем царском достоинстве и становится владыкой сирийского народа по праву рождения.

В те времена едва ли не любая опера, пьеса или ода значила больше, чем просто театральная постановка или панегирик. Тем более текст, писанный к торжественному случаю государственной важности, — он вел в мифологическую глубину, точно стоокий Аргус, подмигивал читателям и зрителям во все глаза, намекая на славное будущее того, в чью честь пляшут лицедеи, поет поэт, — и при известной доле воображения исполнял роль то ли путеводительного талисмана, то ли туманного предсказания.

В нашем случае предсказание не сбылось. Если взглянуть на

«Димитриев» из конечной точки пути великого князя, города, где наступила его кончина, — провинциального и запыленного Витебска, — мы обнаружим в опере Метастазия лишь насмешку над всем, что случится. Константина воспитают вовсе не в лесах, а в Зимнем дворце, о своем царском достоинстве он будет знать с рождения, зато окончит свои дни не на престоле, а почти «в лесах», в изгнании. И в отличие от удачливого Димитрия царем так и не станет.

Восемь корон, которые по очереди примеряли Константину современники, просвистели мимо, обдавая румяные щеки царевича веселым ветерком. Константин Павлович не стал ни греческим, ни албанским, ни дакийским, ни шведским, ни польским, ни сербо-болгарским, ни французским государем[{4}]. Ни русским императором. Вся его жизнь — череда то вынужденных, то добровольных уходов, отказов и побегов с авансцены, на которую его столько раз выдвигала история.

Мудрено было предвидеть подобное развитие событий — напротив, судьба как будто уготовила Константину будущность великую. Высокое происхождение, тщеславие бабки, бездетность старшего брата и роль наследника российского престола — всё предвещало ему грядущее самое героическое. Великий князь был просто обречен на несколько славных страниц в пухлом томе российской истории, которые и начала было записывать капризная Фортуна, поначалу в «Санкт-Петербургском вестнике» за 1779 год, в апреле месяце:

«27-го дня сего месяца, по утру, Ея Императорское Высочество Благоверная Государыня Великая Княгиня Мария Федоровна, к неописанной радости Императорского дома и всех Россиян, благополучно разрешилась от бремени Великим Князем, который наречен Константином»[{5}].

Народы Росския внемлите
Торжественный для вас сей глас
И все стократно разнесите
Повсюду радостный мой глас:
Монарх явился млад в России
Плод Павла и драгой Марии,
Дар низпослан второй сей вам
Дающим Богом всем уставы,
Ко прославлению державы
Российския по всем странам…[{6}]

Через три недели после рождения Константина Павловича состоялись его крестины.

Высокорожденный младенец был внесен в придворную царскосельскую церковь на золотой глазетовой подушке и крещен протоиереем Иваном Ивановичем Панфиловым при большом скоплении придворных обоего пола, статс-дам, фрейлин ее императорского величества, чужестранных министров и в присутствии собственного отца цесаревича и великого князя Павла Петровича. Поднести младенца к первому причастию изволила сама императрица Екатерина, после чего государыня наложила на уже клевавшего носом новокрещеного раба Божьего первую в его жизни награду — орден Святого апостола Андрея Первозванного.

«В сей день здесь в Санкт-Петербурге тож отправлено было, во всех церквах, благодарное по сему радостному случаю молебствие, и во время пения *Тебе Бога хвалим* произведена в обеих здешних крепостях пальба из трехсот одной пушки, и колокольный звон во весь день продолжался. В вечеру же весь город был иллюминирован»[{7}].

Константин ни оглушительной пальбы, ни колокольного звона не слышал — сопел в кроватке, сосал молоко, поначалу был слаб, угрюм, много капризничал, безутешно плакал, смотрел куда-то вбок, мимо даже самой императрицы всероссийской. Первые месяцы Екатерина всерьез опасалась, выживет ли младенец. Мальчика утешали колыбельными с легким греческим акцентом, вовремя меняли пеленки, кутали, хоронили от сквозняков. На то были мамки-няньки. Марию Федоровну от младенца отстранили, подвело слишком уж русское имя, да и немецкое происхождение нынче стало не ко двору. Вот звали бы Еленой, вот оказалась бы по счастливому стечению обстоятельств хоть на четверть гречанкой — можно было бы поразмыслить, пошутить о роли случая в российской истории в письме к Вольтеру или Дидероту…

«Мне все равно, будут ли у Александра сестры; но ему нужен младший брат, коего историю я напишу, разумеется, если он будет одарен ловкостью Цезаря и способностями Александра»[{8}], — писала Екатерина еще до рождения Константина, возлагая на него непосильную ношу — он обречен обладать ловкостью знаменитого римлянина и дарованиями Александра Македонского, имя и подвиги которого уже озарили к тому времени явившегося на свет старшего брата — великого князя Александра, будущего императора. Супруга Павла исполнила возложенную на нее миссию превосходно — родила мальчика. Теперь дело за бабушкой, и дел у нее выше головы — правильно назвать, воспитать, а затем — «написать историю».

«Смерть как устала, вернулась с крестин господина

Константина, явившегося в свет 27 апр. 1779. Этот чудик заставлял ожидать себя с половины марта и, тронувшись наконец в путь, выпал на нас, как град, в полтора часа. Старушки, его окружающие, уверяют, что он похож на меня, как две капли воды. У меня спросили, кто будет восприемником. “Всего лучше бы любезнейшему другу моему Абдул-Гамиду”, — отвечала я; но так как Турку нельзя крестить христианина, то по крайней мере сделаем ему честь и назовем младенца Константином. И все воскликнули: Константин! И вот он, Константин, толстый, как кулак, и я, справа с Александром, слева с Константином. Подобно отцу Тристрама Шенди, люблю звучные имена…»{9}

Власть имени! Имя предсказывает человеку судьбу, имя — ясная звезда, ведущая за собой в непроглядной жизненной ночи; как многоопытный рыбарь утлой лодчонкой, как царь царством, как страсть грешным сердцем, управляет оно человеком. «Сколько Цезарей и Помпеев сделались достойными своих имен лишь в силу почерпнутого из них вдохновения. И сколько неудачников отлично преуспели бы в жизни, не будь их моральные и жизненные силы совершенно подавлены и уничтожены именем Никодема»{10}, — шутливо замечал помянутый Екатериной стерновский герой. И то, что за каждым именем тянется шлейф политических, исторических, идеологических ассоциаций, особенно если имя это даруется особе царской фамилии, — русская императрица знала превосходно. И выбрала не шлейф — порфиру. Все воскликнули: Константин! Классический профиль великого римлянина проступал сквозь величественное и жесткое сочетание звуков, сквозь свист «К», «С», «Т», сквозь колокольный удар тройного «н»; получалась константа, постоянство и царство, царство небесное и царство земное, христианство и государство. Первый христианский император Константин Великий вошел в жизнь слабого младенца властным, энергическим шагом.

СИМ ПОБЕДИШИ

Приблизившись к мирно спящему в колыбели Константину Павловичу, Константин Великий, точно волхв с Востока, принес ему не только звонкое имя, славу мужественного воина и освободителя христиан, но и главный свой дар. Император поставил у изголовья крестника белый каменный город — с золотым куполом посередине, с изумрудным морем у высоких городских стен. Константинополь. Отныне древний город постоянно будет вставать на жизненном пути великого князя Константина, перегораживать дорогу, раздражать и дразнить.

Покинем ненадолго младенческую спаленку, обратим взгляд на окутавший Константинополь мифологический туман.

По преданию, накануне решительной битвы с основным претендентом на римскую корону Максенцием будущий император Константин сподобился чудесного видения. Он увидел в небе крест и надпись под ним «Hoc vince» — «Сим победиши». «Сим», то есть крестом и христианством. Константин и в самом деле одержал тогда над Максенцием победу, стал единодержавным властелином Римской империи и уверовал в Христа. На шлеме императора и щитах его воинов появилась монограмма ХР, а в память о видении был изготовлен «лабарум» — воинское знамя из белого шелка с вышитой надписью «Hoc vince». По утверждению главного летописца императорских деяний, христианского историка Евсевия, «лабарум» творил чудеса, его появление на поле боя ломало ход сражения в пользу войск Константина, знаменосца же явно охраняла неведомая сила{11}.

Обратить старый Рим с языческим сенатом и офицерством в новую веру почти не было шансов, и император Константин выстроил себе новый Рим, основал резиденцию на северном берегу Мраморного моря, у входа в Босфор, там, где находился древний греческий город Византии. Византии располагался в живописном и географически выгодном месте — это был самый центр империи, место встречи севера и юга, запада и востока, Европы и Азии, сюда легко было добраться как сухопутным, так и морским путем. Высокие холмы, глубокие проливы делали город практически неуязвимым. Провинциальный Византии на глазах превращался в сверкающую столицу — был расширен старый акведук, заложена гавань; драгоценности для украшения нового центра везли со всех концов империи — из Греции, Персии, Италии, Африки. Колонны, статуи, театры, портики, храмы вырастали, как в сказке… Седмихолмый, или Царьград, был

отстроен в немыслимые сроки: его торжественно заложили в 324 году, а уже в 330-м здесь высился роскошный императорский дворец, раскинулся громадный ипподром на 50 тысяч мест, стояли сенат и форум{12}. «О город, город, глава всех городов! О город, город, центр четырех стран света! О город, город, гордость христиан и гибель варваров! О город, город, второй рай, на западе насажденный, заключающий в себе всевозможные растения, сгибающиеся от тяжести плодов духовных!» Так воспевал Константинополь византийский историк Дука{13}.

Империя цвела и увядала, ее сотрясали политические и религиозные смуты, пытались сокрушить крестоносцы, а Царьград всё стоял. Имя Константина стало династическим, связав поколения, скрепив разрозненные листы летописи Византии. Менялись нравы, моды, взгляды, появлялись и исчезали новые страны, а Константин сменял Константина, второй, третий, шестой, девятый, одиннадцатый… Константа, твердость и постоянство. Пока в мае 1453 года бронзовые пушки хана Мехмеда не начали пробивать дыры в вековых царьградских стенах.

Не спасли ни всеобщая жаркая молитва в переполненном народом храме Святой Софии, ни внезапно подоспевшая помощь отважного генуэзца Джованни Джустиниани, на двух кораблях прибывшего под стены Константинополя, ни отчаянное мужество защитников города и их предводителя, Константина Палеолога, лично сражавшегося на поле брани. В ночь с 28 на 29 мая войска Мехмеда ворвались в город. Император погиб в уличном бою, пав неузнанным, остатки его войска добили за три дня, женщин, детей и стариков продали в рабство, город разграбили. Турецкие солдаты крошили статуи, плавили драгоценности, чтобы удобнее было делить добычу, срывали серебро и золото с евангелий, иконами разжигали костры, на которых варили пищу. Не тронули только здания церквей; Мехмед велел сохранять их, чтобы затем превратить в мечети. «О город, город, глава всех городов!.. Где красота твоя, рай? Где благодетельная сила духа и плоти твоих духовных харит? Где тела апостолов Господа моего? Где останки святых, где останки мучеников? Где прах великого Константина и других императоров?»{14}

И хотя участь ослабевшей к XV веку Византии и прежде была очевидна (турки давно уже отнимали у нее территорию за территорией), при виде гибели великого города Европа испытала ужас. Лишь расторопные славяне разглядели в кончине славного царства ясный путеводительный смысл. Седми-холмый страдал за собственные грехи.

«О великая сила жала греховного! О, сколько зла рождает

преступление! О, горе тебе, Седмихолмый, что поганые тобой обладают, ибо сколько благодатей Божьих в тебе просияло… Ты же, словно безумный, отворачивался от божественной милости к тебе и щедрот и тянулся к злодеяниям и беззаконию. И вот теперь явил Бог свой гнев на тебя и предал тебя в руки врагам твоим»[15], — утверждала древнерусская «Повесть о взятии Царьграда».

Гнев Божий, по мнению русских летописцев, обрушился на Византию за отступничество от православной веры, за союз с латинянами, а именно — за заключение унии на Ферраро-Флорентийском соборе. Не важно, что согласие на унию было вырвано у греков едва не с кровью, что греческие епископы сопротивлялись из последних сил. 5 июля 1439 года соборное определение об объединении латинской и греческой церквей было подписано. Без сердца, без любви, в надежде на военную помощь папы, которую тот пообещал слабеющему византийскому государству. Это был брак по расчету. Ступив на родной берег, греки каялись в предательстве (сами они только так и воспринимали подписанное соглашение). Соотечественники их простили, соглашение не приняли, жили, как прежде, служили, как служили всегда. Папа войск, вопреки обещанию, не прислал, а император Константин Палеолог так и не решился обнародовать соборное определение и перед смертью все-таки отрекся от союза с Римом[16]. Несчастная невеста сбежала вскоре после венчания.

Но на Руси в подробности не входили. Политическим мифам они во вред, в сиянии величественных построений детали меркнут. С легкой руки псковского монаха Филофея в первой половине XVI века в русской столице развилась новая концепция, согласно которой после падения Константинополя на мифологической карте мира появилась новая христианская столица и центр мирового православия — Москва, единственная хранительница чистоты истинной веры[17]. Отныне византийскому императору Константину в русских песнях и былинах приклеили уничижительное «мусульманское» отчество — Са-уйлович[18]. Наш Илья Муромец Сауйловича всегда унижал, а когда император не мог справиться с каким-нибудь жалким Идолищем поганым, помогал непутевому избавиться и от чудовища[19]. Второй Рим умер. Да здравствует Рим третий! Константин умер. Да здравствует Константин!

Екатерина не торопилась оживлять старинную концепцию. Она была выгодна Московскому царству XVI века, но в последней трети XVIII византийский император Константин должен был вновь превратиться в идеального христианина с незапятнанной

репутацией. Теперь в концепции «Москва — третий Рим» актуальной осталась лишь идея богоизбранности русского народа, представление о том, что именно русский народ — последний хранитель православной веры. Следовательно, подхватывала императрица, ему и освобождать Константиноград.

В процитированной выше «Повести о взятии Царьграда», написанной во второй половине XV века и приписываемой Нестору Искандеру, рассказывается легенда о том, как закладывался Царьград. Когда Константин определял, в каких пределах раскинется новый город, «вдруг выползла из норы змея и поползла по земле, но тут ниспал с поднебесья орел, схватил змею и взмыл ввысь, а змея стала обвиваться вокруг орла». Сначала змея одолела орла, но люди убили змею, и орел снова взмыл в небо. Мудрецы объяснили императору смысл знамения — победа змеи над орлом означает победу мусульман над христианами, и всё же орел опять взлетел — значит, «напоследок снова христиане одолеют мусульман, и Седмо-холмым овладеют, и в нем воцарятся»{20}. Абстрактные христиане из повести Нестора Искандера во времена Екатерины обрели славянскую наружность, а также реального предводителя с именем, отменяющим всякие сомнения по поводу его прав на константинопольский престол.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАШ!

Идея освободить Константинополь от турок витала в воздухе, начиная со дня падения города. С особым постоянством — над российскими просторами. О завоевании столицы Восточной Римской империи русские цари мечтали еще в XVII веке[21]. Азовские походы против Османской империи Петра I в 1695—1696 годах, закончившиеся взятием турецкой крепости Азов, имели относительно скромные цели, однако именно Петр заложил основу средиземноморской политики императрицы Екатерины II и определил «стилистику обращений» России к балканским народам[22].

Предпринятая при Екатерине первая Архипелагская экспедиция вновь оживила русские мечты о Царьграде. Идею поддержать восставшие православные народы Балканского полуострова (греков Пелопоннеса и островов Эгейского моря) и нанести удар Османской империи с тыла впервые высказал Григорий Орлов еще до объявления войны[23]. Алексей Орлов сформулировал цель будущей экспедиции еще яснее: «Если уж ехать, то ехать до Константинополя и освободить всех православных от ига тяжкого»[24]. Но, несмотря на сделанные успехи, прорваться к Константинополю и освободить православных российскому флоту не удалось. Зато в лице греков русские обрели надежных союзников — из греческих повстанцев сформировалось войско, активно помогавшее нашему флоту и особенно отличившееся в сражениях при Наварине и Чесме.

Первая Русско-турецкая война (1768—1774) велась также с постоянной мыслью о завоевании Царьграда. На исходе войны светлейший князь Григорий Александрович Потемкин прямо обратился к Екатерине с предложением — завоевать древнюю христианскую столицу, а попутно обеспечить себе давно желанный для России выход из Черного в Средиземное море[25]. Планы Потемкина совершенно совпадали с желаниями греков, которые отправляли Екатерине настоящие челобитные. «Паки и многажды просим, будьте нам избавители и спасители, будьте новая Елена и новый Константин, вы, Екатерина и Павел (до рождения Константина оставалось еще десять лет. — *М. К.)*. Клянемся страшным именем Святые и присносущные Троицы, что мы и дети наши до скончания века всегда пребудем благонамеренными и послушными вашими подданными, со всякою верностию и усердию готовыми пролить кровь нашу по повелению Державнейшаго и Священнейшаго Вашего Величества и Августейших преемников престола вашего…»[26]И подписи,

подписи — греческих воевод и капитанов.

В 1774 году война с турками завершилась русской победой и Кючук-Кайнарджийским миром, но освобождения Царьграда это не приблизило. Лишь после рождения внука Екатерина пожелала вспомнить о потемкинском предложении и увлечься им. И все воскликнули: «Константин!» Никакого третьего Рима, возвращаемся во второй, сажаем туда любимого внука, делаем его владыкой обновленной христианской империи, и пусть себе правит.

В 1779 году Потемкин дал в честь рождения Константина Павловича чудесный праздник с маскарадом, балетом, фейерверком и иллюминацией, завершившийся ужином в горной пещере, одетой «миртовыми и лавровыми деревьями, меж коими вились розы»{27}. Во время ужина слух императрицы Екатерины и ее приближенных услаждали шум сбегавшего с горы потока, а также хор певцов, исполнявший на греческом языке оду императрице и ее «блистающему красотой» второму внуку.

В кормилицы Константину взяли гречанку: пусть с молоком всасывает любовь к своему новому народу. Звали кормилицу правильно — Еленой; не кровная, так хоть молочная мать великого князя носила то же имя, что и мать первого, равно как и последнего византийского императора — Константин XI был тоже рожден Еленой. В попечители великому князю назначили грека и одописца Георгия Балдани, камердинером со временем стал тоже грек, Дмитрий Курута. С годами Курута превратится в ближайшего товарища и поверенного Константина и будет служить ему с преданностью раба. Когда нужно было, чтобы другие не поняли, великий князь говорил с Куру-той по-гречески, а в конце писем великому князю Курута неизменно выводил два-три слова на родном языке{28}.

В честь рождения Константина выковали памятную медаль — на лицевой стороне профиль императрицы, в короне и лавровом венке, на оборотной — три сестры: Вера, Надежда и Любовь с младенцем на руках. Он, глупыш, тянет ручки навстречу зрителям. Не понимает пока своего счастья — сзади плещется Черное море и ясно различим константинопольский собор Святой Софии. Круговая надпись на медали не оставляла сомнений в том, кого же тетешкает Любовь: «Великий кн. Константин Павлович родился в Царском Селе апреля 27-го дня 1779 года». Медаль была, что называется, памятной, в честь свершившегося события; еще две были приготовлены на случай *грядущей* победы России над Портой. И снова — на одной стороне государыня, «заступница верным», на другой — пожар! Морские волны бьются о древние царьградские стены, мечеть обваливается на глазах, а

над всей этой разрухой сияет крест. По кругу вьется надпись: «Потщитеся и низринется». Внизу назван и адресат обращения: «Поборнику Православия»{29}.

Свои заказы получили и живописцы. Английский художник Ричард Бромптон написал двойной портрет: великих князей Александра и Константина. Юный Александр Павлович (названный, как известно, в честь Александра Невского, но с прицелом на славу Александра Македонского) мечом рассекал гордиев узел. На плечах брата, Константина, алела порфира византийских кесарей, в руке мальчик сжимал древко знамени, напоминающего «лабарум» Константина Великого. «Лабарум» венчался крестом, сиявшим как раз над головой юного Константина Павловича, — еще одно приветствие живописца мифологическому предку великого князя. Императрица необычайно ценила эту картину и заказала с нее несколько копий в миниатюре. Бромптон написал и другой портрет Константина, на котором он, почти младенец, был изображен греческим богом — Аполлоном.

Живописцам вторили поэты:

> Ты Элладе дашь свободу,
> Щастье возвратишь народу,
> Утешенных тех сторон;
> Распростреш для муз покровы,
> Храмы им возвигнешь новы,
> Где сам будешь Аполлон{30}.

Конечно, первые российские стихотворцы обратились к античной мифологии задолго до эллинофильских жестов Екатерины, еще в петровскую и елизаветинскую эпохи, однако теперь расхожий прием обретал новый смысл. Античный антураж в стихах, посвященных великому князю, указывал: однажды культура древних греков станет для Константина Павловича своей. Вместе с тем в некоторых одах, посвященных Константину, языческая пестрота отступала прочь — жестокие бореи смолкали, сладостные зефиры делались недвижны, задумчивые наяды отправлялись на дно. Над «константиновскими» стихами поднималось зарево христианской веры, в них звучала тяжелая поступь пророчества.

Великому князю исполнился уже год. Императрица и князь Григорий Александрович Потемкин готовились к встрече с австрийским императором Иосифом II, также заинтересованным в разделе Порты и в случае войны готовым оказать русским военную помощь. Император должен был прибыть инкогнито в

Могилев в мае 1780 года и обсудить с Екатериной дальнейшие планы, касающиеся Порты. Потемкин активно занимался строительством Черноморского флота и готовился к взятию Крыма. И поэты пророчили все смелее.

Когда родился Ты, любезный Константин,
Мне Бог велел тогда судьбу сказати Греков:
Ты будешь им покров от рода Господин.
Всегда Бог изъявлял устами человеков
Могущество свое и власть судьям земли.
Пророчество мое, вселенная, внемли!
Екатерина всем блаженство людям строит,
Повсюду век златый она им уготовит[31].

Анонимный сочинитель примеряет на себя новую поэтическую маску — не светского, преданного государыне и государству подданного — что обычно для автора оды, — но всевидящего пророка («Пророчество мое, вселенная, внемли!»), устами которого говорит Вседержитель. О чем же он пророчил? О хорошо знакомом: «покровом» греков будет Константин.

Сакральный текст пророчества, в отличие от светской оды, прописывал Константина в духовной истории человечества; не случайно в 1789 году было реанимировано сразу несколько «предречений» о падении Турецкой империи. В самом любопытном из них речь шла о некоем чудном муже, который станет во главе освободительной войны. Это вполне апокрифическое пророчество будто бы было высечено на крышке гроба Константина Великого и принадлежало императору Льву Мудрому. Пророчество было зашифровано: оно состояло из одних согласных букв на греческом языке. Расшифровал его — естественно, только в XV веке, то есть тогда, когда оно, очевидно, и появилось, — патриарх Геннадий Схоларий (хотя и в этом многие историки сомневались)[32]. Вариант расшифровки, предложенный патриархом, стал общепринятым. Предсказание было впервые опубликовано в 1631 году в Венеции, а на церковнославянский язык переведено в середине XVII века архиепископом Гавриилом[33]. В русском переводе оно выглядело так:

«В первый Индикт, Царство Измаила, зовомаго Масмефа, долженствует победить род Палеологов, седмихолмие разорить, в Константинополе воцариться; премногими обладает народами, и все опустошит острова даже до Евксинскаго Понта, разорив и самых ближних соседей… В десятый Индикт Дал матов победит и малое время пребудет без брани; посем с Далматами паки

воздвигнет великую войну, и часть некая сокрушится; многие народы, совокупясь с Западными, соберут ополчение на море и суше и Измаила победят. Наследие его поцарствует весьма мало. Русский же народ, соединясь со всеми языками, желающими мстить Измаилу, его победят вторично; седмихолмие возмут со всеми его принадлежностями. В сие время междусобную воставят битву даже до девятаго часа; тогда глас возопиет трижды; станите, станите со страхом! бегите скорее, в десных странах обрящете мужа знаменитаго, чуднаго и мужественнаго; его имейте Владыкою; друг бо мой есть, и взявши его волю мою исполняйте»[{34}].

Индикт — в византийской традиции пятнадцатилетний временной цикл — оборачивается в предсказании мистической единицей времени, неопределенным отрезком пути, которым шествует человечество. Истолковать сказанное можно примерно так: сначала Царство Измаила, или царство мусульманское, победит род Палеологов, то есть христиан. Затем начнутся войны, в результате которых будет побежден Измаил. Но не окончательно. На новую битву с Измаилом пойдут все земные народы во главе с «русским народом», одержат над мусульманами победу и освободят Константинополь («седмихолмие»). В греческом подлиннике сказано было «род русых» — в России мутноватые «русые» без лишних затей превратились в «русских». В тексте содержалось и указание на то, что возглавить последнюю правую битву суждено «мужу знаменитому, чудному и мужественному» из «десных», то есть православных стран. Роль чудомужа, друга Бога и проводника Его воли на земле, вполне могла достаться Константину Павловичу.

В своем знаменитом письме императору Иосифу (от 10 сентября 1782 года) Екатерина сформулировала суть «греческого проекта» с предельной ясностью. «Неограниченное доверие, которое я питаю к вашему императорскому величеству, — заверяла императрица своего адресата, — дает мне твердую уверенность, что в случае, если бы успехи наши в предстоящей войне дали нам возможность освободить Европу от врага Христова племени, выгнав его из Константинополя, ваше императорское величество не откажете мне в вашем содействии для восстановления древней Греческой империи на развалинах ныне господствующего на прежнем месте онаго варварского владычества, конечно, при непременном с моей стороны условии поставить это новое греческое государство в полную независимость от моей собственной державы, возведя на ея престол младшего из моих внуков, князя Константина, который в таком случае обязался бы отречься навсегда от всяких притязаний

на русский престол, так как эти два государства никогда не могут и не должны слиться под державою одного государя»[35].

В том же письме Екатерина предлагала параллельно создать небольшое буферное государство Дакию (так называлась когда-то римская провинция), чтобы ни Австрия, ни Россия не имели с Оттоманской Портой общих границ. Дакия должна была оставаться государством независимым и от Австрии, и от России и управляться христианским государем — возможно Потемкиным, возможно Константином.

Границы Дакии тянулись бы по Днестру и Черному морю со стороны России, по Дунаю со стороны Турции и по реке Алуте до ее впадения в Дунай со стороны Австрии — всё это примерно там, где сейчас находятся восточная часть Румынии и Молдавия. В итоге с австрийским императором договориться так и не удалось — соблюсти территориальные интересы и Австрии, и России оказалось невозможно. Однако от идеи образовать Дакию императрица не отказалась. 21 апреля (2 мая) 1788 года, судя по записи Храповицкого, она вновь упоминала о Дакии, а в 1794 году между Австрией и Россией был заключен договор, предполагавший создание независимого государства из Молдавии и Валахии.

В апреле 1783 года в результате сложной дипломатической игры Крым, прежде подчинявшийся Османской империи, был присоединен к России. Выход в Черное море освободился, и Россия приблизилась к Константинополю еще на шаг. Потемкин с мнимым простодушием спрашивал в письме русскому посланнику в Турции Я.И. Булгакову, не заехать ли ему в древнюю столицу на судне из Крыма, — Булгаков не без ужаса отвечал, что это было бы затруднительно[36]. Светлейший князь поездку отложил и начал обустраивать свою карманную Грецию и Византию — осваивать Крымский полуостров. Отныне Крым стал Тавридой, а его владыка и повелитель Григорий Александрович Потемкин — князем Таврическим.

17 (28) августа 1787 года статс-секретарь Екатерины А.В. Храповицкий записывает в своем «Дневнике», что обнаружил среди старых бумаг «в сундуке» секретный проект Потемкина, который предполагал занять Баку, Дербент и, присоединив к ним Гелань, образовать новое государство — Албанию. Корона албанского государя также предназначалась Константину. Похоже, что план родился у Потемкина еще в период присоединения Крыма — реализации его помешала очередная война с Турцией.

В 1787 году началось знаменитое путешествие императрицы по покоренным крымским землям. Дорогу ее — буквально —

устилали васильки и ромашки. Встречавшему кортеж населению позволено было посыпать улицы травой и полевыми цветами, по Херсону Екатерина ехала дорогой, покрытой зеленым сукном, на пути ее воздвигались дворцы, триумфальные арки, мосты, строились опрятные деревеньки, ветхие здания сносились, дурно пахнущие переносились, императрицу встречали приветственными речами, хлебом-солью, барабанным боем и ружейной пальбой. Князь Таврический не только развлекал государыню, но и себя выручал — недоброжелатели давно уже пытались убедить императрицу в том, что громадные средства, выделенные Потемкину на освоение Крымского края, распыляются в никуда.

Екатерине очень хотелось взять любимых внуков с собой в таврическое путешествие, не с тем одним, чтобы развлечь и познакомить их с новыми российскими владениями, но и для ограждения от вредного родительского влияния. Слишком надолго она оставляла мальчиков одних — путешествие должно было продлиться полгода. Но тут разыгралась небольшая семейная драма.

О сборах внуков в дальнюю дорогу узнали родители. Узнали последними. Написали императрице взволнованное, с предчувствием неизбежного поражения, письмо-мольбу. Невыносимая тягость долгой разлуки, нежный возраст детей, перемена климата, несомненная опасность, вред, который путешествие может причинить здоровью, остановка в успехах воспитания — что еще не было вспомянуто? Императрица осталась непреклонна. «Дети ваши принадлежат вам, но в то же время они принадлежат и мне, принадлежат и государству». Путешествие только укрепит их здоровье, климат в Крыму мягкий, учителя поедут с ними, и успехи воспитания не пострадают; императрице без семейства тоже будет невесело, к тому же троих из пятерых она оставит дома — Мария Федоровна к тому времени родила еще трех дочерей.

Павел и Мария Федоровна совершают последний отчаянный шаг и предлагают взять их с собой. Екатерине этого совсем не нужно: «Новое ваше предложение есть такого рода, что оно причинило бы во всем величайшее расстройство, не упоминая и о том, что меньшия ваши дети оставались бы безо всякого призрения; одни они брошены»{37}. Павлу и Марии оставалось покориться. Вынужденная родительская кротость внезапно оказалась вознаграждена — накануне путешествия великий князь Константин заболел ветрянкой. Откладывать отъезд Екатерина уже не могла, Александр пока оставался здоров, но болезнь известна была своей заразительностью. Мальчики никуда не

поехали.

Бабушка писала им трогательные письма. Александру описывала архитектуру Херсона, удобство причалов в Севастопольской гавани. Константину как бы невзначай предлагались картины совсем иные — «из моих окошек вижу направо крепость: противу окошек адмиралтейские магазины: а налево — три военные корабля: из которых один осьмидесяти пушечный в субботу спущен будет»[38]. Это о Херсоне, среди прочего украшенном триумфальной аркой с надписью: «Путь в Константинополь». И хотя в этом письме надпись на арке императрица не цитирует, в следующем послании, посвященном Севастополю, она уже не в состоянии сдержаться: «Ваши именины Бог привел праздновать в Бахчисарае; на другой день поехали в Севастополь, где нашли пятнадцать кораблей и фрегатов военных на море; тут вспомнили мы, что до Петербурга было верст тысячи полторы, а до Царяграда сутки две морем»[39].

По письму рассыпаны были прозрачные намеки: бабушка помнит о твоих именинах, не забывай и ты, чье имя от рождения носишь; бабушка любуется севастопольскими кораблями и фрегатами, полюбуйся и ты — придет время, доплывешь на этих корабликах до Царяграда за два дня… Восьмилетнему мальчику, возможно, уловить всё это было не под силу, но главное понимал и он — стоит протянуть руку, и сказочный, белокаменный город сам прыгнет на ладошку.

13 августа 1787 года турки объявили России войну, которая продолжалась с переменным успехом и разной степенью интенсивности до 1791 года. 21 июня 1788 года военные действия против России начала Швеция, русско-шведская война завершилась спустя два года Верельским мирным договором, заключенным к взаимному облегчению сторон и без всяких выгод. Обе войны послужили поводом для новых размышлений императрицы о будущем младшего внука.

«Пусть Турки пойдут, куда хотят. Греки могут составить монархию *для* Константина Павловича. И чего Европе опасаться? Ибо лучше иметь в соседстве христианскую державу, нежели варваров; да она и не будет страшна, разделясь на части. Откроется коммерция при порте Византийском, где не удобно уже быть столице», — говорила императрица в кругу приближенных 7 июня 1788 года[40]. 10 октября 1788 года в ответ на предложение Потемкина посадить Константина на шведский престол Екатерина отвечала: «Константину не быть на севере; естьли быть не может на полудне, то остаться ему где ныне; Константин со шведами не единого закона, не единаго языка»[41]. В октябре 1789 года Екатерина снова рассуждала о судьбе греков: «О Греках:

их можно оживить. Константин — мальчик хорош; он через 30 лет из Севастополя поедет в Царьград. Мы теперь рога ломаем, а тогда уж будут сломлены, и для него легче»[42].

И греки снова надеялись, ждали, составляли письма, теперь уже адресуясь самому великому князю Константину: «Провидение со временем, при помощи стихиев, да воспешествует, согласно сердечным желаниям ваших слуг, истребить тирана, несправедливо владеющего троном предка нашего Константина Великого; да прославится сим высочайшее имя вашего императорского высочества… Теперь настоит наиспособнейшее время к истреблению врага православия и мучителя человечества и к возвышению на престоле Константина, тебя, кротчайшего государя нашего»[43]. На конверте, в который было вложено послание, значилось: «Его высочеству, кротчайшему греческому самодержцу Константину III» (подразумевалось, очевидно, что первым был Константин Великий, вторым — Константин XI, замкнувший династию Палеологов; Константин Павлович оказывался на почетном третьем месте). Екатерина прочитала послание с улыбкой, написала резолюцию: «Нет ничего живее, как греческое воображение; они мысленно видят, и сие, им кажется, существует. Если письмо по почте пришло, то на почте и пропасть могло, и для того оставить можно яко неполученное; а если с кем прислано, то словесно сказать, что содержание письма сего есть рановременное»[44].

Так что Константин Павлович письма этого так и не увидел. Скорее всего, оно было сочинено зимой 1789/90 года, когда в Петербург прибыла делегация греческих капитанов, не забывших об общих с русским флотом победах при Наварине и Чесме и явившихся просить у России новой помощи в борьбе с турками. Греки ожидали аудиенции с императрицей три месяца и лишь по ходатайству Платона Зубова были удостоены высочайшей беседы. Екатерина позволила вождям сулиотов встретиться и с юным Константином Павловичем, который на греческом языке пожелал воинам успеха[45]. Тем не менее по ироничной резолюции императрицы на послании очевидно, что в тот момент Екатерина относилась к «греческому проекту» с осторожностью. Не торопясь слишком обнадеживать греков, она ограничивалась выразительными символическими жестами — знакомила гостей с говорящим по-гречески внуком, писала пьесы с ясным политическим подтекстом.

В 1790 году, в разгар Русско-турецкой войны, в Эрмитаже было дано представление по пьесе самой императрицы «Начальное правление Олега», написанной еще в 1786 году и посвященной вторжению дружины князя Олега в

Константинополь{46}; в конце пьесы щит Рюрика прикрепляли на знаменитом Константиновом ипподроме. О придворной постановке Екатерина предусмотрительно известила своих иностранных корреспондентов. Правда, «заступница верным», поборница православия и сокрушительница мечетей в своей пьесе несколько забылась, ни разу не упомянув о том, что Олег захватил *христианскую* столицу{47}. Константинополь в «Олеге» — столица не христианской, а Римской империи, апофеоз государственной и политической мощи{48}.

Сказка сказывалась гораздо складнее, чем двигалось дело, — даже взятие Суворовым Измаила не привело к немедленному заключению мира. Переговоры в Яссах затянулись еще на полгода — султан не торопился мириться, зная, что Пруссия и Англия готовы выступить против России. Не дожидаясь официального подтверждения русских успехов, 28 апреля 1791 года князь Таврический дал в честь победы последний в своей жизни великолепный праздник. Торжество воспроизводило атмосферу эллинизированного Эдема — с зимним садом, растущими на деревьях стеклянными сияющими плодами, с балетами, комедией, балом и ужином, с кадрилями, исполненными двадцатью четырьмя парами юношей и девиц, среди которых были и великие князья Александр и Константин{49}. В словах хора, сочиненных к празднику Державиным, славная будущность великих князей вновь рассматривалась сквозь призму образов Александра Македонского и Константина Великого.

Кто Александр великий,
Кто будет Константин…
Тот громы к персам несть,
Сей вновь построит Рим{50}.

В декабре 1791 года Турция все же вынуждена была признать присоединение к России Крыма и заключить Ясский мир. Но Константинополь по-прежнему принадлежал Порте. В 1793 году, в период угрозы очередной Русско-турецкой войны, Суворов даже начертал план его захвата, но другие события, на этот раз волнения в Польше, вновь отвлекли императрицу от заветной столицы.

НЕ ЦАРЬГРАД — ТАК ВАРШАВА

3 мая 1791 года четырехлетний сейм принял конституцию, вводившую наследственную монархию; причем королем Польши мог быть отныне только природный поляк. Конституция уравнивала в правах мещан и шляхтичей, обеспечивала правительственной защитой крестьян, а также отменяла и «liberum veto», согласно которому каждый участник сейма мог наложить вето на принимаемое решение — это делало сейм зависимым от любого депутата, в том числе прорусского, в том числе подкупленного иностранным государством. Екатерине справедливо почудился бунт, особенно неприятный на фоне недавней французской революции. Но пока продолжалась война с турками, императрице было не до поляков. Однако едва мир с Турцией заключили, на территорию Речи Посполитой были введены русские и прусские войска, и в январе 1793 года Россия и Пруссия осуществили второй раздел Польши. России достались Белоруссия и Правобережная Украина, Пруссии — Гданьск, Торунь, часть Великой Польши. В ответ в Польше поднялась волна возмущения, силы восставших объединились под предводительством генерала Тадеуша Костюшко.

В августе русские войска во главе с Суворовым уже шагали по территории Польши. Медлить Суворов не любил. Глазомер, быстрота и натиск.

24 октября (4 ноября) 1794 года Александр Васильевич взял Прагу, укрепленное предместье Варшавы. Сражение было кровопролитным, «умерщвляли всех, не различая ни лет, ни пола», «пронзительный крик женщин, вопли детей наводили ужас на душу». Прагу подожгли с четырех концов{51}. «До самой Вислы на всяком шагу видны были всякого звания умерщвленные, а на берегу оной навалены были груды тел убитых и умирающих: воинов, жителей, жидов, монахов, женщин и ребят. При виде всего того сердце человека замирает, а взоры мерзятся таковым позорищем»{52}. Прага была буквально стерта с лица земли. То-то удивлялись русские офицеры, проезжая над Вислой спустя почти 20 лет. «Переезжаешь через Вислу, едешь чрез Прагу — и не видишь ее! Тут только одни пространные поля с хлебом, разрушенные окопы и бедные дома. Где же Прага? Ее нет: она высилась, как Кедр Ливанский; прошел мимо герой — и странник не находит, где она была»{53}.

29 октября 1794 года русские войска во главе с «героем» под барабанную дробь вступили в Варшаву. «Всемилостивейшая Государыня! ура! Варшава наша», — доносил Суворов

императрице. Екатерина отвечала столь же лаконично: «Ура, фельдмаршал Суворов!» — сообщая Суворову и о своей радости, и о даровании ему фельдмаршальского звания.

Польский король Станислав Август Понятовский, в прошлом возлюбленный Екатерины, ее стараниями возведенный на польский трон, отрекся от щедро подаренного ему когда-то престола, и, кажется, не без облегчения. «8 января 1795 года Станислав Август простился с главнокомандующим и был так тронут нежным прощанием Суворова, что растерялся и не припомнил всего, что хотел ему сказать»[54]. Еще в 1792 году, в надежде спасти свое царство от разорения, Станислав Август предлагал Екатерине возвести на польский престол второго ее внука, Константина[55]. После разгрома Праги в 1794 году Станислав Потоцкий и Тадеуш Мостовский повторили это предложение, но Екатерина неизменно отвечала отказом, ведь в случае восшествия на польский трон, объясняла императрица, великому князю пришлось бы стать католиком и навсегда отречься от прав на русский престол[56]. В 1795 году состоялся третий раздел польских земель. России достались западная часть Белоруссии, западная Волынь, Литва и герцогство Курляндское; остальные земли отошли Пруссии и Австрии. Речь Посполитая исчезла с политической карты мира.

Екатерина и не подозревала, что вовсе не во время войн с турками, но теперь, деля с Австрией и Пруссией польские территории, она наконец начала писать Константину историю. Именно «польские» семена, горстями бросаемые императрицей в почву русской внешней политики, два десятилетия спустя дали в жизни ее второго внука бурные всходы.

В последние годы правления Екатерины о «греческом» проекте как будто совершенно забыли. Хотя, возможно, то было забвение вынужденное и внешнее. По крайней мере в своем кратком «Завещании», написанном в 1792 году и не публиковавшемся при жизни, а возможно, и не предназначавшемся для печати, Екатерина писала: «Мое намерение есть возвести Константина на престол Греческой Восточной империи»[57].

В советской исторической науке распространилось мнение: «греческий проект» — спекуляция, декорация, искусный дипломатический ход Екатерины, необходимый ей для безболезненного присоединения Крыма, устрашения турок и щекотания нервов европейским державам[58]. Поэтому «греческий проект», «который впоследствии не раз использовался во враждебных России целях, как *реальный проект* внешней политики России 80-х годов XVIII века *не существовал*»[59]. Это

было и так, и не так.

Эпоха фантастических прожектов, расцвета дворцового церемониала, эпоха-декорация, вся подобная «потемкинской деревне», ослепленная блеском фейерверков, украшенная экзотическими садами, венками и букетами, поднимавшая бокалы, наполненные жемчугом вместо вина, под журчание устроенного прямо в комнате ручья и сладкое пение на эллино-греческом языке, предлагает нам судить ее по иным законам — законам мифотворчества. «Греческий проект» чем-то походил на одного из его создателей — светлейшего князя Потемкина, увлеченного и бесстрашного мечтателя, фантазера, готового, однако, ради воплощения своих фантазий немедленно собрать войско. Екатерина, соотносившая свои намерения с политической реальностью значительно лучше, тем не менее по опыту знала, как стремительно иногда меняется расклад во внешнеполитической игре, а значит, лучше всегда держать на случай несколько карт в запасе — в том числе с изображением собора Святой Софии, сияющего православными крестами.

И все же к середине 1790-х годов «греческий проект» исчерпал даже символический потенциал. Это понимали и Потемкин, и Екатерина, и Константин. Но не россияне. И не сербы. Воспользуемся свободой, доступной повествователю, и проследим развитие «царьградского» сюжета до конца.

КОНСТАНТИН НЕМАНЯ. МУРАВА «ВОСТОЧНОГО ВОПРОСА»

В феврале 1804 года в Сербии вспыхнуло восстание, вызванное жестокостями янычар. Янычары, своего рода полицейские Порты, давно уже раздражали и султана Селима III, и на первом этапе восстания он даже поддерживал повстанцев. Поддерживал, пока те не потребовали широкой автономии для Белградского пашалыка, что и вылилось в многолетнее военное противостояние сербов и турок. Александр 1 открыто поддерживал сербов в борьбе за автономию — в том числе материально. На этом фоне крыловацкий митрополит Стефан

Стратимирович и круг его единомышленников выдвинули политическую программу: основать независимое от Турции Сербское государство под протекторатом православной России. Ключевые должности в новой державе предназначались сербам, главой же государства предполагали сделать… конечно же Константина!

«Нация сербская возлюбила геройство любезного брата Вашего Императорского Величества великого князя Константина Павловича, — писал в прошении к Александру сербский патриот, епископ бачкский Йован Йованович, — подносит ему царский лавровый венец и корону сильного царя Стефана сербского Неманича Душана, его престол и его царство и скипетр. Но чтоб сербы завсегда были одно тело с Россиею, так как одной веры и языка, и город, и резиденция царя Стефана Неманича Призрен и Скопле (и чтоб именовался и на грамотах подписывался Царь Сербский Константин Неманя)»[{60}]. Прототипом нового государства было государство Стефана Душана (1331 — 1335), принадлежавшего к династии Немани.

Йован Йованович излагал в своем прошении идеи Соф-рония Юговича, в прошлом военного, 12 лет прослужившего в русской армии и участвовавшего в Русско-турецкой войне в 1788 году. В 1802—1803 годах Югович жил в Австрии, где и сблизился со Стефаном Стратимировичем и другими сербами; митрополит благословил его представительствовать за весь сербский народ в Петербурге. Югович приехал в Россию, пытался встретиться с великим князем Константином, обратить на себя внимание государя, но безуспешно.

Александр предпочитал не обострять отношений с турками, опасаясь высадки в Порту наполеоновских войск. Российский император склонялся к образованию на Балканах государств под

двойным протекторатом — и русским, и турецким — и предпочитал тактику мирных переговоров с Портой. Два года правительство Александра пыталось договориться с Турцией о предоставлении сербам автономии — безуспешно. В феврале 1806 года в Вене сербская депутация просила Александра о денежной и военной помощи, а главнокомандующим сербской армии вновь предлагала назначить «прославленного всероссийского хероя великого князя Константина Павловича»{61}. Ни Александр, ни Россия к этому готовы не были. Так что несмотря на дружелюбие российского императора к сербам, начавшуюся в декабре 1806 года очередную войну России с Турцией и новую вспышку сербского восстания, стать сербским или греческим царем Константину было не суждено.

Но в России о Константинополе не забыли. Всякий раз, когда отношения с Турцией обострялись — и в 1828-м, и в 1877-м, и в 1914 годах — в народной памяти всплывал всё тот же досадный образ — собор Святой Софии, внимавший молитвам первой русской христианки княгини Ольги, очаровавший сердца посланников князя Владимира небесной красотой богослужения, стоял без креста на куполе! Сколько еще ждать, сколько терпеть поругание святыни?[1],{62}

> О, Русский Царь! О, наш Олег!
> Дерзай! В Стамбуле цепенеют…{63} —

писал Федор Глинка о Русско-турецкой войне 1828 года.

«Русский царь», на этот раз Николай I, окончил победоносную для россиян войну в Адрианополе. В августе 1829 года здесь был заключен мирный договор. Екатерининские старики брюзжали — турки сдали Адрианополь без боя. После этого не двинуть русские войска в Константинополь казалось им непростительной ошибкой. Но Николай на сообщение о ностальгических старческих воспоминаниях давних замыслов Екатерины отозвался величественно и резко: «А я так рад, что у меня общего с этою женщиною только профиль лица»{64}. Современникам оставалось лишь покорно восхвалять царя за миролюбие и великодушие.

В действительности же штурм Константинополя был просто не под силу истощенным войскам генерала Дибича. К тому же завоевание турецкой столицы грозило России войной с Европой, разумеется, весьма нежелательной, — но уточнения и тонкость линий мифу противопоказаны. И «греческий проект» продолжал вдохновлять и политиков, и поэтов. В 1877 году, в период очередной Русско-турецкой войны, когда Балканы вновь показались близки, сердца россиян снова забились чаще.

«Константинополь должен быть наш, завоеван нами, русскими, у турок и остаться нашим навеки», — настойчиво повторял в «Дневнике писателя» Ф.М. Достоевский. «Восточный вопрос есть в сущности своей разрешение судеб православия, — разъяснял он чуть ниже. — Судьбы православия слиты с назначением России… Утраченный образ Христа сохранился во всем свете чистоты своей в православии. С Востока и пронесется новое слово миру навстречу грядущему социализму, которое, может, вновь спасет европейское человечество»{65}.

Царьград, город-крепость, много раз успешно выдерживавший сухопутные и морские осады, мог, как надеялся Достоевский, стать цитаделью борьбы с неотвратимо надвигающимся социализмом — не случайно и герою «Сна смешного человека», появившегося в апрельском выпуске «Дневника писателя» за 1877 год (по свежим следам только что начатой войны), именно греческий Архипелаг представлялся райской землей с ласковым изумрудным морем, высокими цветущими деревьями и «муравой», которая горела «яркими, ароматными цветами»…

Легко было мечтать русским писателям и поэтам — в Стамбуле они не бывали и вряд ли представляли себе, как мало он похож на город Константина Великого, как сильно и глубоко отуречен. Константин Николаевич Леонтьев, десять лет проживший в Турции в качестве русского консула, это знал прекрасно. Тем не менее и он различил в давно мусульманском городе лишь на время затемненный идеал «византизма» — гармонического сочетания религиозной и государственной истины, православия и монархии. Без лишних колебаний Леонтьев предлагал перенести в Константинополь русскую столицу — «необходим новый центр, новая культурная столица»{66}. Новая столица не должна была вытеснить старую, за дальностью расстояний это оставалось невозможно — и административную столицу Леонтьев готов был оставить на территории России, только не в изолгавшемся, дряхлом Петербурге, а много южнее, хотя бы в Киеве. Но *культурную* — в Царьграде. Новоиспеченной российской столице следовало встать, по мысли Леонтьева, во главе конфедерации православных стран — Греции, Сербии, Румынии и Болгарии, и превратиться в сердце Православия, в центр противостояния социализму, либерализму, нигилизму и прочим разрушительным силам, приближающим духовную гибель человечества.

Идея конфедерации христианских стран Европы звучала еще в XVII веке. Во Франции ее высказывал ценимый Екатериной французский герцог де Сюлли{67}. Об обширной христианской

республике, в которую вошла бы и Греция под эгидой России, мечтала в начале 1770-х и сама Екатерина{68}. По тогдашнему ее замыслу, Византийская империя во главе с русским императором должна была существовать автономно от Российской, хотя и сохранять с ней тесные дружеские контакты. Много позже Данилевский и Тютчев тоже говорили о Царьграде как о возможном всеславянском центре. Но превращать Константинополь в мировой православный центр, тем более в русскую столицу, кроме Леонтьева, никто, кажется, не собирался. Всё же, по справедливому замечанию третьего внука императрицы Николая Павловича, Россия была державой северной; «удалившись от двух столиц, Москвы и Петербурга, она перестала бы быть Россией»{69}.

Точно так же думал и Константин Павлович. Он в отличие от своих современников никогда о Константинополе не мечтал. В юности послушно принимал затеянную бабушкой игру, но, возмужав, относился к «греческому проекту» скептически. Оттого и греческое восстание 1821 года против турок воспринял холодно и безучастность старшего брата в греческих делах одобрял, видя в поддержке греков лишь скрытую угрозу целостности Российской империи и трону. Великий князь открыто возражал и против войны с турками в 1828 году, затевавшейся Николаем.

«Все державы полагают, — рассуждал цесаревич (если верить мемуаристу) однажды за обедом, по-видимому, как раз незадолго до начала Русско-турецкой войны, — что уничтожение Оттоманской империи повлечет за собою низвержение существующего в Европе порядка и вызовет всеобщую войну. Эти соображения заставили мою бабку, Екатерину, отказаться от мысли воскресить Восточную империю, и если бы ей удалось посадить меня на этот престол, вопреки всей Европе, то усилия, которые пришлось бы сделать для этого, истощили бы ее собственную империю. Ради чего? Чтобы расширить без того слишком обширную империю… русские поспешили бы покинуть наши холодные страны и переселиться на благодатные берега Босфора, а это повело бы к утрате нашего народного духа, который составляет нашу силу… Турки должны быть нашими друзьями, от нас зависимыми. Истинная цель нашей политики должна заключаться в поддержке турок, а не в союзе с греками; по крайней мере нам следовало бы довольствоваться ролью наблюдателя, каковой держался покойный император»{70}.

Узнав в 1826 году, что в бумагах одного польского генерала обнаружен проект, где в обмен на восстановление Польши в прежних пределах Константину Павловичу предлагалась роль императора греческого, великий князь в письме Федору

Петровичу Опочинину неодобрительно заметил: «Люди вмешиваются не в свои дела и делают нелепые распределения и назначения; но меня пускай не считают и оставят в покое, мое место разве в хлебопашцы»{71}.

Цесаревич никакого отношения ни к грекам, ни к Оттоманской Порте иметь не желал. Прощай, проект «греческий»! Он оставил в русской культуре заметный след — стихи, медали, картины, пьесы, — но никак не отразился на челе нашего героя. Разве что подарил ему знание эллинского языка и друга сердешного, поверенного во всех делах, Дмитрия Дмитриевича Куруту.

МОРЕПЛАВАТЕЛЬ И ПЛОТНИК

Под сень черемух и акаций
От бурь укрывшись наконец,
Живет, как истинный мудрец,
Капусту садит, как Гораций,
Разводит уток и гусей
И учит азбуке детей.
Александр Пушкин

В хлебопашцы не в хлебопашцы, а в огородники оба брата вполне бы сгодились. Мальчикам выделили в Царском Селе по небольшому земельному наделу, выдали игрушечные лопаты, плуг, борону. Александр копал землю, сажал капусту и горох, поливал растения из лейки, Константин выщипывал из грядки негодную траву. Бабушка поглядывала на внуков в окошко, сочиняя для них азбуку и сказки, «Раз-го-вор и рас-ска-зы».

После полевых работ, умывшись в ручье, мальчики отправлялись кататься на лодке, в неглубоких местах сами брались за весла, настоящей сетью ловили живую, бьющую хвостом рыбу… Вскоре появился и господин Майер, немец-столяр, обучавший братьев пилить, строгать и рубить. «Не правда ли забавно, что будущие государи воспитываются учениками столярного ремесла?»{72} Забавно. И очень знакомо.

«Для сельского джентльмена я предложил бы одно из следующих двух занятий, или еще лучше и то и другое: садоводство или вообще сельское хозяйство и работы по дереву, как то: плотничью, столярную, токарную, ибо для кабинетного или делового человека они являются полезным и здоровым развлечением»{73}. Сэр Джон Локк, бледный англичанин с печальным лицом, знаток греческого, экспериментатор в области химии и медицины, к тому времени, когда Екатерина радовалась успехам внуков, давно лежал в могиле. Но идеи его, педагогические в том числе, пережили своего создателя на долгие годы.

Между делом мальчиков учили грамоте и письму — по составленным Екатериной книжечкам: «Ди-тя зи-мою по гор-нице ез-дил дол-го на пал-ке, нако-нец, у-став, сел на пол и за-ду-мал-ся. По-го-дя не-мно-го спросил: Ня-ня, как я пойду за го-род, ку-да я при-ду?»{74}

По складам читать они научились. Маленький Костик умел писать свое имя и подписывал записочки императрице «твой

внучик Костик». Тут скончалась первая воспитательница великих князей, Софья Ивановна Бенкендорф, — и Екатерина решила, что настало время отдать мальчиков под мужской надзор.

Нового воспитателя императрица искала недолго. «Всегда осклабленный»{75}, «маленького роста, с большой головой, гримасник с расстроенными нервами, с здоровьем, требовавшим постоянного ухода, не носивший подтяжек и потому беспрестанно поддерживавший одну из частей своего костюма»{76} — таким описывают современники генерал-аншефа Николая Ивановича Салтыкова. Большая голова графа была вместилищем ума пусть не обширного, зато великолепно освоившего непростую роль посредника меж императрицей и великим князем Павлом Петровичем. Угодливый до раболепия, Салтыков стал обладателем всех существовавших российских орденов, занимал ведущие государственные должности, без усилий получил и новое почетное, но хлопотное место — стал воспитателем обоих наследников. Кажется, никого хуже подобрать было нельзя, но у Екатерины имелись свои резоны. Ей вовсе не требовался человек, который воздействует на умы и души великих князей нравственно, — эту высокую роль бабушка отводила себе и учителям. Нужнее была нянька. Желудки, прогулки, гардероб, порядок в тетрадях и книгах, своевременное появление учителей — вот круг обязанностей графа Салтыкова. Но он об этом узнал не сразу.

Его вызвали из-за границы в срочном порядке. На курьерских, по заснеженным дорогам, кутаясь в шубу, мчался граф в Петербург. Не успел стряхнуть снежную пыль, как уже скользил по натертым полам Зимнего, неторопливо беседовал с ласковой государыней и одарен был книжицей. Писарским почерком писанной, прилежной рукой графа Безбородко переплетенной. «Инструкция князю Николай Ивановичу Салтыкову при назначении его к воспитанию великих князей». Глянул по привычке в конец — долго ли читать, много ли, а там личная подпись: «Екатерина. В Санкт-Петербурге. Марта 13, 1784 года».

Заглянем Николаю Ивановичу через плечо. Впрочем, тянуть шею, щуриться совсем ни к чему — копии «Инструкций» по дворцу чуть не разбросаны, императрица вручает их всякому, в ком подозревает единомышленника, — то есть почти каждому своему гостю. Для Салтыкова «Инструкция» писалась в последнюю очередь. В действительности то был очередной наказ просвещенным согражданам — как должно воспитывать молодых людей. Твердый протест против перин, пуховых подушек, толстых одеял, кутаний, чепцов, избытка сладостей, мамок-нянек, визгливых опасений, как бы дитя не расшиблось, не озябло и не

расплакалось… Похоже, с мамками-няньками воспитывали великого князя Павла Петровича, отняв его, как водится, у матери в день родов — теперь настал черед Екатерины: забрав обоих сыновей у невестки, она воспитывала их в согласии с новейшими теориями, следовательно, в соответствии с рассуждениями смысла здравого.

Инструкция князю Николаю Ивановичу Салтыкову при назначении его к воспитанию великих князей

«Да будет одежда их высочеств летом и зимою не слишком теплая, не тяжелая, не перевязанная, не гнетущая наипаче грудь.

Чтобы платье их было как возможно простее и легче».

«Летом же купаться сколько сами пожелают, лишь бы пред сим не вспотели».

«Чтоб их высочества спали не мягко, но на тюфяках, как привыкли; а отнюдь не на перинах, и чтобы одеяла их были легкими, летом простые ситцевые, подшитые простынею, зимою стеганье, или стеганные».

«Кушать и пить нужно; но что кушать и пить, и сколько, сие определять смотря на то, что их высочества в каких обстоятельствах здорово».

«Веселость нрава их высочеств ни унимать, ни уменьшать не должно; напротиву того поощрять их нужно ко всякому движению и игре, летам и полу их сходственным: ибо движение дает телу и уму силы и здоровье».

«В детях часто малые припадки озноба, либо жара, или боли в члене, делаются к росту, или иному какому естественному приращению, которые пройдут без лекаря, без лекарства и без врача и врачебства; употребление же лекарства в тех случаях отнимет силы нужныя к производству того естественного действия…»

«От младенчества дети обыкновенно плачут от двух причин: 1-е, от упрямства, 2-е, от чувствительности и склонности к жалобе. Различить и те, и другие слезы можно по голосу, взгляду и по наружности детей; но те и другие слезы не должно дозволять, но надлежит запрещать всякие слезы»{77}.

* * *

Требования инструкции, разумеется, простирались намного далее вопросов здоровья, пищи и слез их высочеств. Создатель

наделил людей не одним телом, но и бессмертной душой и разумом. Из семи главок четыре обсуждали, как укрепить в их высочествах добродетели, причем первой и главной из них императрица назвала «истинное познание Бога, Творца видимого и невидимого». Для того чтобы в познании сем преуспеть, приставлялся к наследникам протоиерей Андрей Самборский. Человек, окромя его иерейства, совершенно светский, долгие годы живший в Англии и женатый на англичанке. Так что заодно отец Андрей стал и преподавателем английского для Александра.

Наставники должны были развивать в мальчиках покорность старшим, правдивость, смелость, учтивость, сострадание к тварям бессловесным — «птицам, бабочкам, мухам, собакам, кошкам» — мучить их инструкция запрещала. Отменялись и разные глупые страшилки — вот баба-яга костяная нога прилетит и тебя утащит, вот серый волк как схватит сейчас за бочок! Нет. «Отдалять надлежит от глаз и слуха во младенчестве и от отроков в первые годы все то, что мысли устрашать может, как то: всякие пугалища, душу и ум утесняющие, которыми обыкновенно детей стращают и от коих делаются они робки, так что не могут остаться одни, боятся своей тени, или дрожат в темноте. Все таковые пугалища в речах употреблять не надлежит»[{78}]. Это тоже писалось с учетом неудач воспитания Павла Петровича, который был в детстве мнителен и пуглив.

Начертала императрица и учебную программу. Уроку следует продолжаться не более получаса, и заканчивать его надлежит «прежде, нежели они станут скучать». «К учению не принуждать детей и за учение не бранить. Буде учатся хорошо своею охотою, тогда похвалить. Детям трудно иметь прилежание»[{79}].

Читать и писать их высочества были уже выучены по книжицам, но не возбранялось к тем же знакомым книжицам возвращаться, дабы начертанные в них нравственные правила отложились в детской памяти и сердце навсегда.

Из языков предлагалось учить русский, французский, немецкий, латынь, греческий — последний может обогатить знающего не только красотой произведений, не испорченных переводом, но и «приятною гармониею и игрою мыслей, сколько и изобилием». Впрочем, наслаждаться гармонией и игрой мысли греческих текстов предстояло только Константину, Александру вместо этого предписывалось изучать еще один европейский язык, английский. Параллельно с языками можно было начать и географию (российскую прежде всего), астрономию, историю — и всеобщую, и древнюю, но в первую очередь все же российскую, которая «для них и сочиняется». Не лишними признавались также математика и изучение гражданских законов и военного

искусства. Особое место занимала физкультура: верховая езда, фехтование, плавание, борьба, стрельба из лука и все то, «что телу придает силу и поворотливость». «Виршам и музыке учить не для чего, тем и другим много времени теряется, дабы достигнуть искусства». Но и достигнув искусства, как найти ему применение? Может ли быть государь-музыкант, государь-поэт?

«…Я не знаю, из какого соображения отец может желать, чтобы сын его стал поэтом, если он не хочет, чтобы тот пренебрег всеми остальными профессиями и делами»{80}. Это не Екатерина, это возмущается Локк. Прилежная ученица лишь вторит ему… К счастью для великих князей, спартанско-добродетельную систему Джона Локка несколько смягчил и разбавил как раз писатель, автор опер, романсов и педагогических сочинений Жан Жак Руссо — от него в инструкции Екатерины запрет на механическое заучивание наизусть, призывы не муштровать и не понуждать детей к учебе чрезмерно.

Схема, наставление, поучение, наказ… Довольно. Давно уже в приемной императрицы вьется другой худенький иностранец. Не менее одаренный и честолюбивый, чем Локк или Руссо, рассуждать умеющий лучше, чем чувствовать. Он тоже прилежно прочел инструкцию императрицы, узнал в ней собственных кумиров — и угадал свой шанс.

ОСЕЛ ЕСИ

Фридрих Цезарь Лагарп, прозванный в России также Петром Ивановичем, — швейцарец, бежавший с порабощенной Берном родины, — родился в кантоне Во и попал в поле зрения императрицы почти случайно. Вообще-то Лагарп собирался в Америку, чтобы строить там идеальное государство-республику, но отправиться в Новый Свет так и не успел. Судьбу его определили совершенно посторонние благородному замыслу обстоятельства: Яков Дмитриевич Ланской-младший, брат прославленного екатерининского фаворита Александра Дмитриевича Ланского, по уши влюбился и потерял голову. Избранница явно не годилась ему в жены. Любовный пыл требовалось остудить, и Екатерина решила посоветоваться с постоянным своим корреспондентом, бароном Гриммом. Гримм тут же предложил и лекарство, и лекаря — долгое путешествие, рассеивающее любовную тоску, и компаньона, непринужденными, но назидательными беседами закрепляющего эффект. В качестве последнего Гримм посоветовал взять Лагарпа. Так что Италию молодой Ланской исколесил в его обществе; блестящая образованность и дар убеждения Лагарпа сказались незамедлительно.

После продолжительных разговоров с навязанным, но приятным собеседником образ возлюбленной вытеснился в юной душе осознанием безмерности неосвоенных им наук, в Ланском проснулся вкус к познанию. Замысел совершенно удался: юноша был исцелен, задача исполнена. Лагарп доехал с Ланским до самого Петербурга, где и был на волне своего педагогического успеха представлен императрице. Он оказался при русском дворе в начале 1783 года, Екатерина как раз набирала преподавательский штат. Она назначила Лагарпа кавалером и учителем французского, но вскоре поняла, что будущего учителя недооценила.

Внимательно изучив инструкцию графу Салтыкову, Лагарп составил своеобразный ответ императрице — «мемуар», исповедь собственных педагогических взглядов. Соглашаясь с последовательностью изучения предметов, указанной Екатериной, Лагарп предлагал начать учебный курс с географии, потом освежить его историей, после чего приступить к изучению геометрии и завершить всё философией — в понимании Лагарпа, наукой, способствующей осознанию путей, приводящих к счастью. Изучение латыни Фридрих Цезаревич считал необязательным — для будущего государя знание мертвого языка ненужная

роскошь… Но все эти уточнения и поправки были скорее поводом. Сквозь строчки «мемуара» проступал совсем иной, истинный его смысл: я знаю, как и чему следует учить великих князей; я понимаю подлинную цель обучения и воспитания. Вот она: «Будущий правитель должен быть честным человеком и просвещенным гражданином и знать преподаваемые ему предметы настолько, чтобы понимать их настоящую цену и иметь ясное сознание обязанностей, лежащих на монархе…»{81}

Екатерина тайнопись без труда прочла, мысли Лагарпа ей понравились, и она повысила его до главного наставника великих князей (впрочем, подчиненного Салтыкову), а также преподавателя чтения, арифметики, геометрии, истории.

Лагарп взялся за дело. Ориентируясь в своих уроках более на будущего императора, чем на его младшего брата, всякое историческое сведение, всякое событие преподносил он как наглядный нравственный урок, особенно важный для будущего монарха. «История есть описание действий и их деяний, она учит добро творить и от дурного остерегаться», — писала в своей инструкции Екатерина. Этому учил великих князей и Лагарп — убежденный республиканец, на примерах древней и новой истории он неустанно внушал ученикам, как ужасна тирания и как благородна республика.

Взгляды его не были для Екатерины тайной, она их даже разделяла, рабство отнюдь не считала добром, о необходимости равенства всех граждан перед законом писала в «Наказе». А в остальном… В остальном мальчики разберутся сами, когда подрастут. Екатерина уже закалилась, да и многому научилась при общении с графом Никитой Ивановичем Паниным, всегда находившимся в скрытой оппозиции к государыне, но притом состоявшим воспитателем Павла Петровича. Порядочность Никиты Ивановича служила для Екатерины залогом того, что организатором заговора против нее он никогда не станет. Большего от человека и требовать было нельзя. Так что и республиканец под боком, да еще в качестве наставника будущего государя, ничуть ее не смущал.

Впрочем, наш герой государем никогда не станет. Где же он? Неужто за книжками, твердит уроки? Нет, нет и нет. На день ангела родители преподнесли ему два набора солдатиков, конных и пеших, со знаменами, алебардами, маленькими шашками в руках. А бабушка подарила крошечную сабельку в ножнах с чеканкой. Великий князь расставлял солдатиков на полу одной из просторных зал Зимнего дворца, сабельку привязывал к поясу — шагом марш! Обожавшему те же игрушки дедушке Петру III, гонимому папиньке Павлу Петровичу — здравия желаем!

Солдатики не воевали, солдатики только учились, маршировали, держали равнение, застывали на холодном ветру плаца, как вкопанные. Воевать ни к чему, война портит войско, а войско у Константина Павловича образцовое. Тут-то и появлялся скучный наставник, неприятно подшучивал над главнокомандующим и его вышколенной армией, говорил про уроки, успехи, невежество — отвлекал.

Константина Павловича посадили в один класс с Александром — и обрекли навсегда. Отныне он был при старшем. Год и семь с половиной месяцев для столь нежного возраста — разница изрядная, первоклашку заставляли учиться вместе с третьеклассником. Но не в том только заключалась беда — Александр был не просто старшим, Александр был вообще другим, а до индивидуального подхода к ученику ни Локк, ни Руссо не додумались. Братья же разнились во всем.

Михаил Никитович Муравьев, преподаватель российской словесности, объяснял юным ученикам, что есть падежи, и велел им просклонять в тетради любое слово. Именительный. Кто? Селянин. Родительный. Кого? Селянина. Дательный. Кому? Селянину. Это выводит аккуратным полудевическим почерком Александр{82}. А рядом торопится краснощекий Константин, ему эти селяне были, понятно, смешны. Именительный. Кто? Солдат. Дательный. Кому? Солдату…{83} Вот кто, кому он был всю жизнь предан, вот кого только и любил по-настоящему, вот с кем не считался, но о ком вместе с тем и заботился — в меру своих представлений на этот счет. Однажды, когда Николай Салтыков, увещевая разбушевавшегося Константина, привел ему в пример августейшего старшего брата, Константин резко ответил: «Он царь, а я солдат, что мне перенимать у него?»{84} Князь Долгорукий для забавы великих князей обучил военной экзерциции солдатских детей и привозил потешный отряд и в Петербург, и в Царское Село. Константин обожал это развлечение, но особенно счастлив бывал, когда его ставили в одну шеренгу с юными солдатами и учили маршировать наравне с ними{85}.

Вот в чем заключалась педагогическая ошибка законодательницы педагогических мод. Константину, безусловно, следовало преподавать иначе, чем Александру, в другом темпе, другим тоном, возможно, иным учителям и даже иные предметы. Между тем учителя были одни и те же — кроме Лагарпа и Муравьева, экспериментальную физику мальчикам преподавал академик В.Л. Крафт, биологию — знаменитый путешественник, академик Петер Симон Паллас, математику и военное дело — штык-юнкер Ефим Войтяховский, а до этого Шарль Массой. Одописец и грек Георгий Балдани обучал Константина

премудростям греческой грамматики. Личным воспитателем великого князя в 1784 году был назначен Карл Иванович Остен-Сакен. Современники хором говорят о нем как о человеке сомнительных убеждений и нравственности, глупом, беспринципном, не способном внушить уважение не только строптивому Константину Павловичу, но и вообще, кажется, никому. Так что Сакгн составил Салтыкову отличную компанию.

На уроках Лагарп, не скрываясь, делал ставку на будущего государя. Его отношения со старшим воспитанником складывались идиллически, Александр перед Лагарпом благоговел. Но даже он на уроках любимого, но слишком педантичного, суховатого учителя позевывал. Что уж говорить о порывистом и непоседливом младшем брате. Отчеты Лагарпа Салтыкову об успехах Константина — бесконечный, сдержанный стон, диалог двух упрямств, одинокий и бессильный голос воистину вопиющего в пустыне, потому что кроме Лагарпа перечить Константину Павловичу никто не смел. Записки Лагарпа слишком красноречивы: «Меньшой великий] кн[язь][2] дошел только до умножения; затруднение, которое он испытывает при заучивании наизусть таблицы умножения, и отвращение ко всему, что останавливает его внимание на несколько минут сряду, составляют главную причину этого замедления…»

«В[еликий] к[нязь] имеет превосходное сердце, много прямоты, впечатлительности и природных дарований; он часто высказывает способность легко усваивать преподаваемое. Эти счастливые задатки дают, конечно, блестящие надежды; но напрасно было бы льстить себя ожиданием осуществления их, если не удастся обуздать в нем избыток живости, приучить его сосредоточивать внимание на известном предмете и победить его упрямство… Редко можно встретить молодых людей до такой степени живых, как в[еликий] к[нязь]; ни одной минуты покойной, всегда в движении; не замечая, куда идет и где ставит ногу, он непременно выпрыгнул бы из окошка, если бы за ним не следили».

«Я заметил, напр[имер], не один, а тысячу раз, что он читал *худо нарочно,* отказывался писать слова, которые он только что прочел или написал, потому что не хотел сделать того или другого. Он прямо отказывался исполнять мои приказания, бросал книги, карты, бумагу и перья на пол; стирал арифметические задачи, написанные на его черном столе, и эти проявления непослушания сопровождались движениями гнева и припадками ярости, способными вывести из терпения самого терпеливого человека в свете. Что же я противопоставлял этим бурям? Две вещи: 1) авторитет в[ашего] с[иятельст]ва, 2)

хладнокровие и терпение, соединенное с неуклонным требованием послушания. Я предоставлял свободу в[еликому] кн[язю] кричать, плакать, упрямиться, обещать исправиться, просить прощения, шуметь, не останавливая этой бури, пока она не угрожала повредить его здоровью, и я не соглашался выслушать его до тех пор, пока он не исполнял по моему желанию того, что он должен быть сделать; но те только, кто были свидетелями этих сцен, знают, какому испытанию подвергалось мое терпение и чего мне стоило удержать должное хладнокровие в эти критические минуты»{86}.

Лагарп описывает поведение Константина в возрасте семи с половиной лет. Признавая в великом князе природные дарования, наставник едва с ним справляется — злое упрямство, припадки ярости, капризы требуют ангельского терпения, адамантовой твердости. И то и другое в Лагарпе есть, но один в поле не воин.

О ложности условий, в которых рос великий князь, Лагарп прямо пишет пять лет спустя, 17 сентября 1789 года, в очередном отчете Салтыкову: «…но при тех условиях, среди которых он находился до сих пор, трудно было бы ожидать, что упрямство его пройдет, и действительно оно приобрело характер такой несдержанности, что потворствовать ей и терпеть ее более невозможно»{87}. Далее, сообщив, что на днях великий князь в ярости укусил ему руку, Лагарп выражается еще яснее: «Упорство, гнев и насилие побеждаются в частном человеке общественным воспитанием, столкновением с другими людьми, силою общественного мнения и в особенности законами, так что общество не будет потрясено вспышками его страстей; член царской семьи находится в диаметрально противоположных условиях: высокое положение в обществе лишает его высших, равных и друзей; он, чаще всего, встречает в окружающих толпу, созданную для него и подчиняющуюся его капризу. Привыкая действовать под впечатлением минуты, он не замечает даже наносимых им смертельных обид и убежден в том, что оскорбления лиц, подобных ему, забываются обиженными; он не знает, что молчание угнетаемых представляет еще весьма сомнительный признак забвения обид и что подобно молнии, которая блеснет и нанесет смертельный удар в одно и то же мгновение — месть оскорбленных людей так же быстра, жестока и неумолима»{88}.

Лагарп как в воду глядел. На исходе жизни Константин еще испытает, как неумолима бывает месть обиженных. И как быстра.

Совершенно очевидно и то, что покусанный учитель пишет правду. Ни лукавый Николай Иванович Салтыков, ни чрезмерно снисходительный (не от доброты, а оттого, что так покойнее)

барон Карл Иванович Сакен воспитать в великом князе чувства добрые были мало способны. От родителей великие князья были изолированы вполне, однако и бабушкино внимание гораздо в большей степени занимал старший внук. Екатерина никогда не скрывала, кто ее любимец, кому она на самом деле посвящает свои сказки, для кого, все меньше таясь, готовит российский трон. Да и Руссо предписывал давать детям больше свободы. Свобода приносила плоды.

Вот барон Сакен уговаривает Константина почитать. «Не хочу читать, — отвечает великий князь, — и не хочу потому именно, что вижу, как вы, постоянно читая, глупеете день ото дня»[89]. Сцена происходила при множестве свидетелей. Остановил ли кто-нибудь зарвавшегося мальчишку? Намекнул ли, что подобное поведение недопустимо? Промолчали ли, наконец, придворные, ясно показывая тем свое неодобрение? Ничуть. Выходка Константина Павловича вызвала дружный смех! Остроумному мальчику рукоплескали — как славно, как находчиво он ответил своему воспитателю, которого многие недолюбливали! Подобные истории неоднократно повторялись. Когда Константин стал чуть старше, под руководством бабушки в обществе графа Зубова он препотешнейше передразнивал отца, также к полному одобрению зрителей. Марии Федоровне, ожидавшей третьего сына, Константин сказал, погогаты-вая: «За всю жизнь не видывал такого живота: там хватит места для четверых». Мария Федоровна покрылась краской, а бабушка с восторгом привела шутку внука в письме к Гримму[90].

Лагарп предлагал меры воздействия: лишать ослепленного безнаказанностью великого князя игрушек и развлечений, дабы он ощутил «всю тягость скуки», заставлять его находиться в классе, пока урок, во время которого он упрямился и ленился, не будет им выучен самостоятельно. Лагарп писал Николаю Ивановичу хоть о малом противостоянии…

Между тем «вернейший путеводитель при изыскании истины», как назвал Лагарп сэра Локка, писал не только о закаливании, здоровой пище, но и о телесных наказаниях. «Побои и все прочие виды унижающих телесных наказаний не являются подходящими мерами дисциплины при воспитании детей»[91]. Это так. «Но упрямство и упорное неповиновение должны подавляться силой и побоями, ибо против них нет другого лекарства… Ибо раз дело доходит до состязания, до спора между вами и ребенком за власть — а это собственно имеет место, когда вы приказываете, а он не слушается, — вы должны непременно добиться своего, скольких бы ударов это ни стоило, раз словами или жестами вам не удалось победить; иначе вы рискуете на всю

жизнь остаться в подчинении у своего сына»{92}.

Плакали по внучику Костику розги. Лагарп просто не решался, не смел о том заикнуться. Их высочеств не трогали и пальцем — так было заведено при Екатерине, а вот младшего великого князя Николая Павловича воспитывали иначе, и ему нередко доставалось от грозного генерал-майора Матвея Ивановича Ламздорфа. Тот же Ламздорф целых десять лет состоял кавалером и при великом князе Константине, но в другую пору и в другом статусе, так что его тычки и пинки испытали на собственной шкуре только Николай и Михаил Павловичи.

Похоже, и Лагарп едва себя сдерживал, однако он на физические меры воздействия уполномочен императрицей не был.

Единственными, кто мог бы воздействовать на великого князя, смягчить его буйный нрав, были *monsieur etmadame Secondant*[3], отец и мать. Павел, как известно, всегда являл пример нежнейшего отца, любил ласкать детей, особенно, когда они пребывали в младенческом возрасте, называя их «мои барашки, мои овечки»{93}. Однако в воспитании сыновей, как, впрочем, и во всех сколько-нибудь важных государственных делах, место *mama* и *papa,* по убеждению Екатерины, было «второе», и потому от дурного родительского влияния, как и от любви, два старших сына были надежно ограждены. На худой конец сгодилась бы даже и бабушкина взыскательная любовь, но ее сердце было прочно занято Александром[4]. Мудрено ли, что юный Константин Павлович вел себя как избалованный, объевшийся придворной лестью и патокой, недолюбленный ребенок. Кусаясь, бросаясь на пол, стуча ногами, скрежеща зубами, великий князь, казалось, молил об одном: «Немного любви».

Сохранились детские записки Константина Павловича Лагарпу и Салтыкову. Это — непрестанные извинения, обещания исправиться, просьбы простить и впустить его в класс, из которого разгневанный Лагарп неоднократно удалял упрямого ученика. «Господин де-Лагарп! Умоляю вас прочесть мое письмо. Будьте снисходительны ко мне и подумайте, что я могу исправить свои недостатки; я делаю усилие и не буду мальчишкой, ослом, Asinus[5] и пропащим молодым человеком. Прошу вас пустить меня прийти учиться… Послушный и верный ваш ученик Константин»{94}.

Сколько надоевших до зубной боли фраз, которые приходится выводить снова и снова, какой невыносимый образ учителя, расписавшегося в своем бессилии хотя бы этой уничижительной, повторяемой из урока в урок обзывалкой —

«господин осел»! Есть среди этих записок и признания, явно написанные с голоса Лагарпа, разве что вывод делался самим великим князем: «В 12 летя ничего не знаю, не умею даже читать. Быть грубым, невежливым, дерзким — вот к чему я стремлюсь. Знание мое и прилежание достойны армейского барабанщика. Словом, из меня ничего не выйдет за всю мою жизнь»{95}. Только глухой не различит здесь отчаяния.

Наставник Константину не верил. Ребенку слишком легко сказать «больше не буду», «простите». И Лагарп продолжал вести прежнюю линию — лишить, не впускать, не потакать, не потворствовать. Но было поздно. И вот она, святая убежденность пятнадцатилетнего Константина Павловича, которой он не изменил до последних дней своих: «Офицер есть не что иное, как машина». «Образование, рассуждения, чувства чести и прямоты вредны для строгой дисциплины. Никогда офицер не должен употреблять свой здравый рассудок или познания: чем меньше у него чести, тем он лучше. Надобно, чтобы его могли безнаказанно оскорблять и чтобы он был убежден в необходимости глотать оскорбления молча»{96}.

Это Лагарп заставил великого князя записать все то, о чем тот говорил ему устно, записать, чтобы Константин устрашился, устыдился собственных слов. Не устрашился, не устыдился — поздно.

И вот уже смешно покачиваются ножки графа де Сент-Альмана — он повешен. Графа не существует, великие князья придумали его для своих игр, он командует их солдатами, однако если Александр ставит его во главе народных восстаний и революций, а затем награждает — то Константин приговаривает революционера к повешению или к расстрелу. «Эти мелочи были весьма знаменательны и обрисовывали характер этих двух детей; из них один проявлял свои врожденные чувства, а другой высказывал те убеждения, которые ему внушали»{97}.

И вот уже не придуманный — настоящий солдат сплевывает в снег зубы. Вот морщится от боли, прикладывая к синякам лед, избитый палкой майор, командир подаренного шестнадцатилетнему Константину потешного отряда из пятнадцати молодцов. С грохотом валится на пол старик Штакельберг, даром что граф: завалил его бравый Косенька! Герой народных песен и легенд!{98}

Вот на маскараде, данном по случаю его брака, великий князь позволил себе новые «выходки и дерзости»{99}. А после бала у племянника Потемкина, генерал-губернатора Александра Николаевича Самойлова, опечаленная бабушка пишет Салтыкову: «Мне известно бесчинное, бесчестное, непристойное поведение

его в доме генерала и прокурора, где он не оставлял ни мужчину, ни женщину без позорного ругательства, даже обнаружил и к вам неблагодарность, понося вас и жену вашу, что столь нагло и постыдно и бессовестно им произнесено было, что не токмо многие из наших, но даже и шведы без соблазна, содрогания и омерзения слышать не могли. Сверх того, он со всякою подлостью везде, даже и по улицам, обращается с такой непристойной фамильярностью, что и того и смотрю, что его где ни есть прибьют к стыду и крайней неприятности»{100}. Граф Самойлов давал прием в честь шведского короля Густава Адольфа IV, которого Екатерина надеялась вскоре женить на своей внучке, старшей дочери Павла и Марии. В беседе с высоким гостем великий князь заметил: «Знаете, у кого вы в гостях? У самого большого пердуна в городе»{101}. Выведенная из терпения императрица посадила внука под домашний арест. Но заточение Константина не исцелило.

И тихо-тихо, в предрассветном сумраке отъезжает от Мраморного дворца карета, а в ней — закутанная в черное, без чувств, женщина — госпожа Араужо… Но тсс. Дело замяли, госпожа умерла от апоплексического удара, смерть же — неотвратимый конец всякого живущего на земле, и не Константин Павлович и его адъютанты ее сочинили…[6],{102}

И всё же заключать, что на поприще воспитания Константина Лагарп потерпел полное фиаско, несправедливо. Нет сомнений, что без его усилий понятия о добре исказились бы в душе великого князя намного более. Безукоризненная честность поступков самого Лагарпа также служила для Константина безмолвным укором. Именно Лагарп употреблял все свое влияние для сближения великих князей с отцом, который поначалу не доверял сыновьям, — это несмотря на то, что Павел при встрече с Лагарпом молча отворачивался от «якобинца». На счету Лагарпа и твердый отказ от предложения императрицы участвовать в тайных переговорах с Александром Павловичем — с помощью воспитателя, которому Александр верил более других, Екатерина надеялась убедить великого князя занять престол в обход отца. Отказ стоил Лагарпу уютной и сытой петербургской жизни, послужив причиной его удаления из России.

Недаром Константин Павлович с годами относился к своему бывшему наставнику все с большей симпатией и переписывался с ним всю жизнь. В письме от 11 (22) марта 1796 года, сообщая учителю о скорой женитьбе, Константин мечтал даже, как однажды приедет к нему в Швейцарию с женой на целые месяцы. А в конце письма добавил прочувствованно и почти покаянно: «Прощайте, любезный де Лагарп, не забывайте меня; я очень вас

люблю, и будьте уверены, что вы мне всегда будете очень дороги. Осел Константин». И приписка — горький постскриптум к письму и к тринадцатилетней на тот момент истории их отношений: «Осел ты еси и ослом останешься; как бы не мыли голову осла, истратят только мыла. Не заставишь пить осла, когда ему не хочется. Прощайте»[{103}].

ЖЕНИТЬБА

Перевяжем тетрадки в толстых кожаных переплетах бечевой, снесем в архив, пусть историки через 200 лет разбирают детские кляксы. Великие князья окончили курс геометрии, алгебры, географии, истории, порядочно прочитали отрывков из произведений древнеримских и древнегреческих классиков, при этом Константин читал по-гречески свободно. Далее Лагарп надеялся углубить знания великих князей в области мировой истории и завершить курс изучением философии — Кондильяка, Локка, Руссо, Мабли и в особенности Монтескье{104}. Но — какие уж тут уроки!

В конце 1793 года Екатерина поторопилась женить шестнадцатилетнего Александра, чтобы упрочить его позиции в качестве будущего наследника российского престола, а там, глядишь, и короновать. «Сперва его обвенчаю, а потом увенчаю», — говаривала Екатерина в близком кругу{105}. Спустя два года пора было подумать и о Константине, который после женитьбы старшего брата тоже почти оставил учебу, занялся военной службой, сопровождал молодых супругов на балах, завтраках, ужинах и обедах, бегал с ними взапуски на царскосельской полянке… Пора было остановить и его вольную холостяцкую жизнь.

Конечно, некоторая неясность, некий незаданный вопрос в связи с решением императрицы скоропалительно женить Константина присутствует. С Александром Павловичем все ясно — он должен быть готов стать царем в любой миг. Но младшего-то куда торопить? «Греческий проект» давно канул в Лету, Потемкин отошел в вечность, новых корон для великого князя пока не предвиделось, ему не исполнилось и семнадцати — для чего было так спешить? Этот вопрос, как видно, занимал и русское общество.

Слух

> *«Слухи о несогласии в Петербурге, что великий князь Александр Павлович формально и почти на коленях от наследства отказался и что императрица на него за то гневается и назначает в наследники Константина и для того его и женит. А Александр сделался любимцем цесаревича»{106}.*

То, что Александр Павлович не изъявил радости по поводу предлагаемой ему короны и сделал всё, чтобы от «наследства» уклониться, — правда. Но то, что Екатерина так легко отказалась от своего давнего замысла в пользу второго внука, порывистого, шумного, дурно воспитанного и как-то уж слишком похожего на отца, — невероятно. Руководила ли государыней досада, пыталась ли она подспудно продемонстрировать Александру, что рядом с ним брат, также имеющий права на престол? Ведь в екатерининские времена не был отменен закон Петра I, согласно которому самодержец мог назначать своим преемником кого пожелает. Возможно, так оно и было: и Константин должен был пребывать в готовности в случае надобности занять русский престол.

Слухи о новых матримониальных намерениях Екатерины распространились быстро.

Тут же появилась и претендентка. Королевская чета Бурбонов, царствующая в Неаполе, сочла, что неплохо было бы выдать за Константина собственную дочку. Однако королева Неаполитанская Каролина Мария, ведшая с Екатериной переписку, выставила условия: выделить великому князю отдельное княжество и позволить супруге сохранить верность католичеству. Это показалось Екатерине «несообразным», и императрица сочла, что российскому принцу неаполитанская гордячка ни к чему. Скромная немочка, пусть из крошечного королевства, зато помнящая свое место и всегда готовая сменить лютеранство на православие, вновь оказалась гораздо предпочтительнее.

Хлопотать о невесте в Германию отправился генерал Александр Яковлевич Будберг. Два года назад он блестяще справился с ролью свахи и привез невесту Александру. Теперь Екатерина попросила его подыскать новую красавицу. Будберг нашел сразу двух — это были родные сестры, принцессы Саксен-Заальфельдкобургские. Их мать, герцогиня Кобургская, через Будберга испросила у Екатерины позволение привезти и старшую дочь, Софию, — не для того, чтобы та конкурировала с сестрами, но лишь чтобы повергнуться к стопам «ее императорского величества»[{107}]. Понятно: любящей матери хотелось, чтобы и старшая дочь побывала в России и посетила блестящий императорский дворец и балы. Екатерина дала согласие и на приезд третьей дочери.

6 (17) октября 1795 года София, Антуанетта и Юлия вместе с матерью, герцогиней Августой, прибыли в Петербург. Константин трепетал. Муштровать 15 несчастных, кричать и бить в зубы майора, передразнивать самых неловких солдат, присутствовать с

отцом на учениях гатчинского войска, рисовать эскизы военной формы — одно. Но общение с немецкой принцессой… Учебная программа Екатерины уроков по обхождению с дамами не предусматривала, обращению с молодыми девицами Константин был не обучен. Конечно, и он танцевал на детских, а потом и взрослых балах, и у него случались мимолетные увлечения. Молодые приятели не раз подговаривали его познакомиться потеснее с известными при дворе ветреницами — великий князь от подобных предложений только шарахался. К брачному алтарю подходил грубоватый, избалованный, не привыкший терпеть ни малейшего противоречия, но чистый сердцем юноша.

* * *

Три немецкие принцессы с матерью насмешили русский двор своими старомодными нарядами и скованностью манер — Екатерина сейчас же отправила им корзины с шелком и модисток.

Константину все три девушки поначалу показались до того чужими, до того немецкими, что он не смог выбрать никого[{108}]. Шли дни, а великий князь всё мялся и не решался ни на что. Через две недели колебаний на жениха начали давить, воспламенять его воображение, и, поняв, что деваться некуда, Константин указал на самую младшую — Юлию. Она держалась всех естественнее, была хорошо сложена и отличалась какой-то особой нежностью и милостью лица. Ей было 14 лет[{109}], в ней жила еще девочка, смешливая, непосредственная, благовоспитанная. С первых же дней пребывания в Зимнем дворце Юлия нашла себе подружку, великую княгиню Елизавету Алексеевну, жену великого князя Александра Павловича. Началось близкое знакомство так: Юлия подошла к великой княгине и, дернув ее за кончик ушка, прошептала: «Душка». Девочки быстро нашли общий язык — обе немки, обе оторваны от дома, обе при великих князьях — очевидно, что Юлии во многом предстояло разделить участь Елизаветы Алексеевны.

Константин стеснялся, робел, краснел. С вроде бы приглянувшейся принцессой поначалу избегал говорить вовсе. Но постепенно раскрепостился, начал шутить, показывал гостьям Эрмитаж и его редкости, обнаруживал достаточную образованность (да здравствует Лагарп!) и даже обходительность. Герцогиня Кобургская, мать Юлии, была в совершеннейшем восторге, будущий зять нравился ей практически без оговорок: пленяли его прямодушие, искренность, живость… Свои впечатления герцогиня описывала в письмах мужу.

«Константину на вид кажется не менее 23 лет, и видно, что он еще вырастет. У него широкое, круглое лицо; и если бы не курносый нос его, он был бы очень красив; у него большие голубые глаза, в которых много огня и ума; ресницы и брови почти совсем черные; небольшой рот и губы совсем пунцовые; очень приятная улыбка, прекрасные зубы и свежий цвет лица. У обоих братьев такие здоровые лица, такое крепкое, мускулистое телосложение, что они резко отличаются от всех придворных кавалеров; в ясном взгляде их видна чистая кровь и душа неиспорченная. Константин, кажется, воин и душою, и телом, со всею военной ловкостью… Александр замечательно красив, высокого роста, но грациозность не мешает мужественному его виду, и выражение лица у него гораздо прелестнее, чем у брата, хотя у них общий air de famille[7]. У Константина более блеску в глазах и глаза красивее, но у Александра черты лица совершенно правильные; у него придворные располагающие манеры: и он разговорчивее брата в обществе. Жаль только, что при этой необыкновенной любезности есть какая-то лень и вялость в его манере… Братья чрезвычайно привязаны друг к другу и постоянно вместе. Константин имеет больше характера и от того владеет совершенно старшим братом, что не мешает однако же взаимному их доверию»{110}, — писала герцогиня 20 октября 1795 года.

Лагарповы уроки сказывались не только в образованности Константина Павловича, но и в демократизме его убеждений. Герцогиня с умилением сообщала мужу о том, с каким презрением говорил Константин о льстивых придворных, гоняющихся за милостями высших особ, о том, как однажды за ужином великий князь отказался от услуг пажа, пожелавшего служить ему за столом. «Прошу вас, сударь, не беспокоиться, мне неприятно думать, что дворянин, который будет мне после товарищем, стоит у меня за стулом. Не правда ли, мы будем служить вместе?»

Не исключено, впрочем, что на великого князя повлияли не одни наставления Лагарпа, но и жизнь в Гатчине, где нравы также отличались демократизмом. «Константин гуляет каждое утро по городу в сопровождении одного только офицера, без служителя, ходит между народом, вступает в разговоры, и когда замечает какие-нибудь беспорядки, тотчас сообщает императрице, — продолжала восхищаться будущим зятем герцогиня. — Сама она мне об этом рассказывала, заметив при том: иногда он обманывается, и мы с ним беседуем по крайней мере час каждое утро»{111}.

Любопытно, что и народ воспринимал Константина похоже,

то есть, очевидно, так, как обстояло дело, — в Москве носились слухи, почти буквально воспроизводящие слова и истории герцогини. Герцогиня по обязанности, народ же по зову сердца избрал в любимцы именно прямодушного, веселого Константина, предпочтя его вяловатому и предусмотрительному старшему брату. Зимой 1795/96 года, во время сватовства и женитьбы Константина, народный интерес и любовь к нему обострились до предела.

Слухи

> *«Вся Москва наслушана была анекдотами и слухами о великом князе Константине Павловиче. Говорили, что он от часу более вскидывал о себе так называемых штучек: везде ходил, переодевшись в простое платье; везде все расспрашивал и выведывал и о всех беспорядках доносил государыне; и что многие бедные тем воспользовались; и что народ его отменно полюбил; и молва начинала носиться, что в нем не умирал Петр и что он будет точный он во всем»*{112}.
>
> *«Говорили, что некогда императрице, разговаривая с обоими внучатами своими великими князьями, случилось их спросить, как бы они стали править государством, если б им случилось быть на престоле? Великий князь Александр Павлович, будучи уже старее и благоразумнее, сказал, что он всем бы стал подражать примерам государыни и последовал премудрым ее правилам. А когда дошла очередь говорить Константину Павловичу, то он, без дальнейших церемониалов, сказал: “А я стал бы так государствовать, как Петр Великий…”»*{113}.

Решительный день наступил спустя три недели после приезда немецких принцесс в Петербург, 24 октября 1795 года. «Вчера после обеда, около 6 часов, — докладывала мужу герцогиня Кобургская, — Константин пришел ко мне делать формальное предложение. Он провел целый день с гр[афом] Зубовым, который, вместе с Будбергом, долго читал ему наставления по случаю чрезмерной его живости. Он вошел в комнату бледный, опустив глаза, и дрожащим голосом сказал: “Сударыня, я пришел у вас просить руки вашей дочери”. Я было приготовила на этот случай прекрасную речь, но вместо того зарыдала. Он вместе со мною прослезился и молча прижал к губам мою руку… Послали за Юлией. Она вошла в комнату бледная. Он молча поцеловал у

ней руку; она тихо плакала: я никогда не видала ее такою хорошенькой, как в эту минуту. “Не правда ли, вы со временем меня полюбите”, — сказал Константин. Юлия взглянула на него так выразительно-нежно и сказала: “Да, я буду любить вас всем сердцем”. Невольно я вскрикнула: “Боже мой! Отчего отец не может всего этого видеть?” Тут Юлия, которая так тебя любит, громко заплакала».

Тает стопка белоснежных кружевных платков; плачет счастливая графиня-мать, плачет растроганная дочь, от умиления, страха, а вскоре и от боли — жених, решив, что перед ним его собственность, показывает невесте армейские приемы, выламывает руки, в шутку кусает и искренне недоумевает, видя на ее глазах слезы…

«Юные и трогательные жертвы, которые Германия, по-видимому, отправляет в дань России, как некогда Греция посылала своих девушек на съедение Минотавру, сколько тайных слез вы пролили в бездушных апартаментах, в коих вы заключены? Сколько раз вы обращали ваши взоры и вздохи к милым жилищам, где вы провели годы детства? О, если бы ваши дни протекали в объятиях супруга вашей национальности, в благословенном небом климате, среди более счастливого и просвещенного народа, при менее пышном и развращенном дворе, — разве такая участь не предпочтительнее? Цепи, которые вы носите, только тяжелее оттого, что они сделаны из золота. Окружающая вас роскошь, драгоценности, которые на вас надеты, не принадлежат вам, и вы не рады им; если любовь своим обаянием не скрашивает для вас обитель мук и скуки, она скоро становится для вас только ужасной темницей. Поистине ваш удел может вызвать слезы даже у тех, кто вам завидует: титул русской великой княгини, столь блестящий и привлекательный, подтверждал до сих пор только право на исключение из счастья»{114}, — с печальной язвительностью писал Шарль Массой, бывший учитель математики великих князей, гувернер сыновей графа Салтыкова.

Минотавром, отнюдь не Тесеем, стал для Юлии и Константин, но пока этого никто не предвидел. Екатерина была необыкновенно оживлена и довольна, начала подготовку к свадьбе, беспрестанно целовала новую внучку, а герцогиню и двух принцесс осыпала подарками, бриллиантами и векселями на значительные суммы.

Юлия обогатила свое семейство, осчастливила отца и мать. Она и сама готовилась к счастью, к тому, чтобы совершенно полюбить своего будущего мужа, пока еще жениха. Жених же бывал с ней и нежен, но чаще дик. Он приходил к невесте в пять

утра с трубой и двумя военными барабанами и бил зарю. Юлия, едва успев одеться, начинала метаться, а Константин, раскрыв клавесин, свистел ей военные марши и требовал на ломаном немецком, чтобы девушка повторяла на клавишах мелодию. Юлия послушно играла, великий князь аккомпанировал на барабанах и трубе, хрипло пел резкие русские песни, отбивал ногой ритм, хохотал. В немецкой принцессе он видел, кажется, то ли очередного Куруту в юбке, верного слугу и доброго товарища в любых затеях, то ли просто забавную, живую игрушку.

Молва, утверждавшая, что в Константине «не умирал Петр и что он будет точный он во всем», была, кажется, справедлива: Петр в Константине не умирал, только не первый, а третий. Милый дедушка. Да смолкнут нелепые разговоры о том, кто был истинным отцом Павла Петровича — при взгляде на Константина отпадают все сомнения в его кровном родстве именно с Петром Федоровичем. Человеком, по справедливому выражению А.М. Пескова, «легком»{115}, однако Екатериной выдаваемом за дурачка. Когда-то Петр III пытался развеселить свою невесту, а потом и жену похожими на Константиновы способами. Играл немецкой принцессе на скрипке, устраивал маскарады в ее комнате, муштровал при ней свою свиту. Екатерине было не смешно. Не смешно было и Юлии, хотя действовать с решительностью Екатерины она, разумеется, не умела.

Слухи о странностях будущего зятя скорее всего доходили и до герцогини Августы. Но партия казалась слишком удачной, а пустые разговоры легко было приписать обыкновенной человеческой зависти. Герцогиня с двумя дочерьми вскоре покинула Петербург, а принцесса Юлия поступила под опеку госпожи Ливен, воспитывавшей младших великих княжон (дочерей Павла и Марии), женщины умной, трезвой и последовательной. Юлию начали обучать русскому языку и основам православной веры; познакомилась она и с проказами русской матушки-зимы, подивилась на случившийся в конце января «страшный и необыкновенный иней»: «…на иных деревцах и веточках, где много было проходного ветра, нарос он вершка в два длиною, в одну сторону, наипрекраснейшими и регулярными фигурами, а особливо на гороховике[8]. С удовольствием даже в садах гулять было можно»{116}.

2 февраля, на Сретение, было совершено миропомазание — обряд, сопутствующий переходу из протестантизма в православие. Молодую принцессу нарядили в платье из золотой парчи, украсили бриллиантами и цветами; по словам одного из свидетелей происходящего, она шла на обряд как жертва{117}, кланяясь чуждым ей иконам и обычаям из одной лишь

почтительности, но в общем и не имея другого выхода. Не прошло и часа, как Юлия Генриетта Ульрика превратилась в Анну Федоровну.

Венчание было назначено на среду, 13 февраля, но у невесты разболелись зубы. Придворный доктор быстро поправил дело, и 15 февраля 1796 года Екатерина торжественно ввела молодых в церковь Зимнего дворца, где их и обвенчали.

Обряд окончился священный,
Лобзаньем нежным заключен.
Соулыбнулася Природа,
Раздался нежных горлиц плеск.
Со ароматными цветами
Весна с Любовником спешит,
И сыплет розы Им под ноги{118}.

После благодарственного молебна началась пальба, пушки палили из обеих крепостей, им вторили ружейные выстрелы, колокола звонили. Поздравления, ужин, цветы, бал, глубокой ночью новобрачные отправились в преподнесенный им Мраморный дворец, про который Константин еще до свадьбы говорил, что ради одного только Мраморного готов жениться немедленно.

Наутро после торжества новоиспеченный муж сбежал. Анна Федоровна соскочила с постели, глянула в окно, застать хоть хвостик, хоть снежную пыль из-под копыт — никакой пыли. Вот он, *hier,* никуда не делся, раскрасневшись, отчитывает солдата из своей охраны, рядом ни жив ни мертв стоит его сослуживец, ать-два, и вот уже оба солдатика маршируют, крутятся на месте, Константин размахивает своей любимой палкой. Молодая, как водится, глотает слезы. Не понять ей широты русской души. О, аккуратность немецкая. Женился, так изволь не отходить от жены ни на шаг, вздыхай, лови взгляды, преподноси безделушки, бисерный чехольчик на зубочистку, в крайнем случае кусочек яблочка, конфетку, орешек.

И ведь не то чтобы Константин не любил молодую жену, возможно, даже любил, только по-своему — и никак не меньше прежних проверенных друзей — солдатиков. Как это у русских, старый друг лучше новых двух. Стерпится, слюбится. Совет да любовь.

Две недели с лишним, вплоть до Великого поста (который начался в тот год 4 марта), продолжался праздник. Обеды, ужины, балы, маскарад для купеческого и дворянского звания. Столы с жареными быками и вином, выставленные для народа возле

Зимнего, костры, иллюминации, фейерверк, вензеля новобрачных в темном небе.

Слухи

> *«Константин Павлович не успел жениться, как тотчас сделал уже шутку. Подхватив свою молодую и посадив в открытые сани, один, без кнехта, без всяких дальних сборов и церемоний, ну по городу Масленицей ездить и кататься и всем свою молодую показывать; а народу то любо было. Сказывают, что сие узнала императрица, и ей было неугодно, что он нарушал этикет, так что она не приказала ему, без своего ведома, давать лошадей»*{119}.

Веселилась ли молодая — неведомо. Но услышав через несколько дней, как любимый приказывает слугам выбирать «побольше да пожирней», вновь встревожилась. О чем, о ком шла речь, было неясно. На все вопросы великий князь отвечал уклончиво, только очень уж подозрительно усмехался и пробормотал: «Будет, будет потеха».

К вечеру Анна Федоровна узнала, чем занимался муж в то самое время, пока она навещала великую княгиню Елизавету Алексеевну. В манеж Мраморного дворца выкатили небольшую пушечку, заряжали и стреляли по цели. Ядрами служили живые крысы{120}. Великий князь радовался как дитя. У Анны Федоровны начались позывы на рвоту. «Этот молодой великий князь не имеет такой любезной и пленительной наружности, как его брат, но в нем больше смелости и живости, взбалмошность у него занимает место ума, а шалопайство — любви к народу… Его энергия неистощима, а свойственная ему откровенность редко встречается в принце»{121}, — отмечал все тот же Шарль Массой.

Всё могло обернуться иначе. Великий князь был не безнадежен, многие отмечали в нем доброту, щедрость, искренность, однако чтобы прощать ему крыс и барабаны, приемчики и ухватки, вспыльчивость и деспотизм, чтобы пробраться сквозь этот непролазный густой лес к лучшему в нем, нужно было иметь сердце не только любящее — мудрое. Но как требовать мудрости от четырнадцатилетней немецкой принцессы, пусть и очаровательной, и мягкой, пусть по-своему и весьма доброй… Анна Федоровна писала жалостные письма родным, постепенно открылась матери, потом и отцу, у которого была любимой дочерью. Дело, однако, было сделано — это сознавали и

без меры тщеславные родные, это понимала и сама Анна Федоровна. Понимала и рвалась домой. Но при Екатерине бежать ей не удалось.

ЛЮШЕНЬКИ-ЛЮЛИ!

6 ноября 1796 года императрицы Екатерины не стало. Она так и не успела отстранить сына от царствования, и в ночь с 6-го на 7-е войска уже приносили присягу императору Павлу «Всё изменилось быстрее, чем в один день: костюмы, прически, наружность, манеры, занятия»{122}.

В день своего восшествия на престол Павел назначил Константина полковником лейб-гвардейского Измайловского полка, Александра — Семеновского полка и генерал-губернатором Петербурга; спустя три дня великие князья возглавили полки в качестве шефов. Оба спешно облачились в гатчинские мундиры и «напоминали собой старинные портреты прусских офицеров, выскочившие из своих рамок»{123}. Офицерам срочно закупались трости и перчатки с раструбами, команды на разводах зазвучали так же, как в Гатчине{124}. Через три дня после воцарения Павла в Петербург прибыла «Гатчинская армия», над которой столичные снобы смеялись не таясь. «Но что это были за офицеры! Что за странные лица! Какие манеры! И как странно они говорили! Это были по большей части малороссы. Легко представить себе впечатление, которое произвели эти грубые бурбоны на общество, состоявшее из ста тридцати двух офицеров, принадлежавших к лучшим семьям русского дворянства. Все новые порядки и новые мундиры подверглись строгой критике и почти всеобщему осуждению»{125}. Так восприняли гатчинцев гвардейские офицеры. У великих князей Гатчина вызывала совсем иные чувства.

Они начали посещать крошечное Павлово царство с юности. За шлагбаумом их встречали русский ванька в прусском парике и мундире, чудесной архитектуры дворец, просторный парк с вековыми дубами, прозрачные ручьи и глубокие озера, в которых водились стерляди и форели. Еще там водился собственный военный флот, а рядом располагалось войско с пехотой, кавалерией и конной артиллерией, всего 2399 человек.

Здесь всё было по-настоящему — у великих князей появилось занятие, мужское, серьезное, хоть какое — бабушка никакой конкретной и осмысленной деятельностью занять их не умела. У Павла братья обучались премудростям военной науки, участвовали в маневрах, сами командовали войском, уставали, ошибались, трепетали перед отцом. Это было хоть какое-то подобие жизни. Разворачивание колонны, атаки с предварительным вызовом четвертых взводов, перемены фронта, пот, топот, ругань, плевки, крики… Но это потом.

Открывало учения таинство высокое и чистое, чарующее стройностью, завораживающее строгой красотой. Застывали ряды караульных, недвижно, немо смотрели друг другу в затылок солдаты. Вдруг являлся он, их грозный бог. Сверкал монокль подзорной трубы, играл военный оркестр. Офицеры выступали вперед, в воздухе мелькали короткие эспонтоны[9], ряды приходили в движение, подразделения маршировали, разделяясь и соединяясь вновь. Флигельманы выскакивали на поворотах, взмахивали ружьями, командиры подпрыгивали и покачивались на носках. Боже упаси нарушить ровность линий! Горе провинившимся!

На богослужении недопустимо и малейшее бесчинство. Вахтпарад, собственно развод караульных, на котором они получали пароль и с которого отправлялись на свои посты, при Павле обрел действительно сакральный смысл. Это не солдатики — это всё Российское государство шагало здесь, стройное, послушное, безмолвное, телом, душой, делом, словом и помышлением преданное своему государю. А потому и нарушение стройности было равносильно святотатству, измене.

«Нередко за ничтожные недосмотры и ошибки в команде офицеры прямо с парада отсылались в другие полки и на весьма большие расстояния. Это случалось настолько часто, что у нас вошло в обычай, будучи в карауле, класть за пазуху несколько сот рублей ассигнациями, дабы не остаться без денег в случае внезапной ссылки»{126}. «На вахтпарадах под барабанный бой объявлялась война, заключался мир, диктовались трактаты, писали грозные и милостивые повеления, толпами с вахтпарада развозили людей в ссылку, на всегдашнее заточение в крепости, монастыри и жаловали чинами, орденами, раздавали земли и крестьян, чтобы улучить счастливую минуту, когда Павел Петрович был весел, доволен вахтпарадным ученьем, когда батальон зашел поразводно ровно; офицеры громко и протяжно проревели: “стой! равняйся!” Павел Петрович возгласил: “По чарке вина, по фунту говядины, по рублю на человека!” и начал напевать любимую песню:

Ельник, мой ельник,
Чистый мой березник,
Люшеньки-люли!»{127}

Но то был уже венец дела, торжество гармонии, закладывалось же, формировалось, отрабатывалось всё еще в те времена, когда Павел властвовал в одной Гатчине. «В этом замкнутом и обособленном мире были свои шутки, свое

злословие, заключались дружеские связи, были свои признанные герои фронта, из которых ни один не оправдал этого имени в настоящей службе. На парадах и маневрах этой армии в миниатюре развертывались важные события, возвышения и падения фортуны, неудачи и успехи, которые приносили людям то ужас, то несказанную радость»[128].

Именно с гатчинских пор яд обожания парадной стройности проник и в сердца великих князей. После посещений резиденции отца с уст их все чаще слетало гордое: «А вот это по-нашему, по-гатчински!» А как сладко было прятаться от бабушки, когда они, измученные и потные, возвращались с учений, быстро и тихо проникали в свою половину, в спешке стаскивали потешный гатчинский мундир. Разумеется, Екатерина обо всем была прекрасно осведомлена, морщилась, но не тревожилась ни о чем — она слишком мало уважала сына, чтобы допустить мысль о бунте. Нередко Павел проводил учения рядом с Царским Селом, от пальбы у императрицы делались мигрени, но она вновь безмолвствовала — мечущийся в гатчинской клетке сын нуждался в занятии.

Парадомания заразила обоих великих князей в равной степени — по свидетельству некоторых современников, Александра Павловича даже больше. В Гатчине он оглох на одно ухо — от пальбы аракчеевских пушек. Слух Константина остался невредим, однако душа оказалась задета гатчинскими нравами намного глубже, чем у брата. Служить в гатчинском войске никогда не было престижно, к Павлу попадали офицеры, изгнанные из армии, нередко за самые низкие проступки. Первый из них, инспектор гатчинской артиллерии Алексей Андреевич Аракчеев, в свое время был переведен сюда за жестокое обращение с кадетами.

Площадная брань, палка и арест — вот главные здешние учителя. Фрунт, выпивка и любовные похождения — вот основные темы казарменных разговоров. Так, с самых юных лет, Константин Павлович очутился в казарме, «между гатчинскими офицерами, грубыми, грубо воспитанными, никогда не бывшими в хороших обществах, у которых был собственный свой язык, с примесью непотребной народной брани, похабных поговорок, ямских сравнений, солдатских острот, вечный разговор о фрунте и, что еще хуже, о водке, картах и девках. Самые гвардейские генералы… были горькими питухами. Рано приучил он и душу, и глаза свои видеть, как наказывают солдат палками, фухтелями, шомполами и даже стремянными путилищами»[129]. Но, как это часто случается с недолюбленными мальчиками, грубость великий князь принимал за удаль, распущенность за свободу,

автоматическое исполнение приказов за преданность. «Офицер не что иное, как машина». «Образование, рассуждения, чувства чести и прямоты вредны для строгой дисциплины»{130}. Гатчинский дух, вскоре воцарившийся и в императорской павловской армии, был принят Константином как родной и единственно возможный.

СЫН ПЕТРОВ

На следующий же день после воцарения Павел пожелал воскресить память о своем невинно убиенном родителе Петре III — гроб императора был извлечен из-под земли и поставлен в Благовещенской церкви Александро-Невского монастыря, где 34 года назад его похоронили. Старый гроб переложили в новый, «обитый золотым глазетом, с гербами императорскими, в приличных местах с гасами серебряными»[131]. При жизни Петр III так и не успел короноваться, и спустя шесть дней Павел поправил несправедливость: «Император вошел в царские врата, взял с престола приуготовленную корону, возложил на себя и потом, подойдя к останкам родителя своего, снял с главы своей корону и при возглашении вечной памяти положил ее на гроб в Бозе почившаго императора»[132]. Короновав отца, Павел посмертно наградил его и орденами, которые при Петре III еще не были учреждены.

Через две недели фоб торжественно перенесли в Зимний дворец, императорскую корону поручили нести графу Алексею Григорьевичу Орлову, тому самому, который караулил Петра Федоровича, когда Орлов-старший его кончал. Алексею Григорьевичу нести корону вовсе не понравилось, он «зашел в темный угол и взрыд плакал»[133]. В Зимнем дворце фоб Петра поставили рядом с гробом Екатерины — супруги воссоединились. Оба гроба были перевезены в Петропавловскую крепость и 7 декабря погребены в императорской усыпальнице. Справедливость торжествовала, убиенный государь был похоронен с полагающимися почестями и упокоился в должном месте.

Панегиристы написали по этому поводу стихи, художники — картины. На одной из них Петр III, приподнявшись до пояса из гроба, протягивал Павлу руку. Надо сказать, что в жизни Павла Петровича это была уже не первая встреча подобного рода. Задолго до воцарения на престол Павел имел беседу со своим великим прадедом. Однажды в светлый брюссельский вечер 1782 года цесаревич поведал о таинственной встрече в узком кругу собеседников, попросив их хранить слышимое в тайне. Со временем одна из присутствовавших разгласила секрет: во время ночной прогулки с Александром Куракиным по Петербургу Павел повстречал призрака.

«Павел! Бедный Павел! Бедный царевич! — сказал призрак.

Я (Павел. — *М. К.)* обернулся к Куракину:

— Ты слышишь?

— Ничего, государь, ничего не слышу!

А я слышал… Голос его и сейчас чудится мне. Я превозмог себя и опять спросил:

— Что тебе надобно? Кто ты таков?

— Бедный Павел! Кто я таков? Я часть той силы… я тот, кто хочет тебе добра. Чего мне надобно? Прими мой совет: не привязываться сердцем ни к чему земному, ты недолгий гость в этом мире, ты скоро покинешь его. Если хочешь спокойной смерти, живи честно и справедливо, по совести; помни, что угрызения совести — самое страшное наказание для великих душ.

Он опять двинулся вперед, пронзив меня тем же всепроникающим взглядом из-под шляпы. Я последовал за ним, движимый неведомой силой. Он молчал, я тоже молчал. Куракин и слуги шли за мной. По каким улицам мы проходили, я не понимал и впоследствии времени вспомнить не мог…

— Посмотрите на его улыбку, — прервался великий князь, указывая на Куракина, — он до сих пор полагает, что все это мне приснилось. Нет!..

— Итак, — продолжал Павел, — мы шли не менее часа и наконец оказались перед зданием Сената. Призрак остановился.

— Прощай, Павел! Ты меня еще увидишь. Здесь, на этом месте.

Шляпа его сама собою приподнялась и открыла лоб. Я отпрянул в изумлении: передо мною стоял мой прадед — Петр Великий. Прежде чем я пришел в себя, он исчез бесследно.

Великий князь замолк.

— И вот теперь, — продолжал он, — на том самом месте императрица Екатерина воздвигает монумент: цельная гранитная скала в основании, на ней — Петр на коне, и вдаль простерта его рука. Заметьте, я никогда не рассказывал матери о своей встрече с прадедом и никому не показывал этого места. Куракин уверяет меня, что я заснул во время прогулки. А мне — страшно; страшно жить в страхе: до сих пор эта сцена стоит перед моими глазами, и иногда мне чудится, что я все еще стою там, на площади перед Сенатом. — Я вернулся во дворец с обмороженным боком, в полном изнеможении и едва отогрелся. Вы удовлетворены моей исповедью?

— Какую же, государь, мораль можно вывести из сей притчи? — спросил принц Де Линь.

— Очень простую. Я умру молодым»[134].

Павлу утешительно было думать, что не одни только силы небесные, но и высокородные предки ему покровительствуют. Он вообще склонен был к мистицизму, и отнюдь не расслабленно-зыбкому мистицизму полувера и суевера. Император был

исполнен доверия к неожиданным распахиваниям створки, отделяющей земное от горнего, зримое от незримого{135}. Другое дело, что в его представлении створка эта раскрывалась слишком часто, и потому развернутая им охота на ведьм вызывала смех. Однако события, наступившие спустя десять лет после приятного ужина в Брюсселе, вполне подтвердили верность опасений императора.

Не будем утомлять читателя подробностями, которые он без труда отыщет в любой биографии Павла Петровича. Скороговоркой заметим лишь, что Павел подошел к управлению Российской империей с неспокойным духом и навсегда уязвленным сердцем. Его четырехлетнее царствование показалось современникам мучительным. Запрещено было ношение круглых шляп, фраков, жилетов, сапог с отворотами, длинных панталон; вместо завязок на башмаках и чулках предписывалось носить пряжки. При встрече с августейшими особами требовалось выходить из экипажей и кланяться, невзирая на снег и слякоть. Даже насмерть перепуганные дамы, прижимая к груди малюток, выбирались из карет на улицу. Никто ни в чем не был уверен, всякое подобие стабильности исчезло из жизни.

Вместе с тем император свершил за свое молниеносное правление немало доброго: отменил смертную казнь, составил государственный бюджет и упорядочил расходы, укрепил и обновил обветшавший российский флот, ввел уголовную ответственность офицеров за жизнь и здоровье их солдат, ввел для нижних чинов шинель (до этого солдаты пользовались только мундирами и поддевали под них что могли), учредил Медико-хирургическую академию в Петербурге, начал заселять Восточную Сибирь и развивать связи с Америкой и Аляской.

Но шляпы, но внезапные отставки, ссылки, аресты, окрики и непредсказуемость заслонили всё. Павел всей душой хотел походить на своего великого прадеда, но, увы, гораздо более смахивал на отца. «Все пошло на прусскую стать: мундиры, большие сапоги, длинные перчатки, высокие треугольные шляпы, усы, косы, пукли, ордонанс-гаузы, экзерцир-гаузы, шлагбаумы (имена доселе неизвестные) и даже крашение, как в Берлине, пестрою краскою мостов, будок и проч. Сие уничижительное подражание пруссакам напоминало забытые времена Петра III»{136}.

Жизнь Константина и Александра стала при Павле много скучнее и суше, по преимуществу наполнившись военной службой: разводы, смотры, обмундирование, отпуска, отставки, болезни, наказания провинившихся, донесения, рескрипты. Хорошо было прежде, развлекшись в Гатчине, вернуться в

петербургское безделье и безответственность, в блестящую придворную жизнь — теперь юноши оказались приставлены не к игре, а к действительной службе.

Александр ею заметно тяготился, иронически замечая в письме Лагарпу, что исполняет теперь обязанности унтер-офицера. Константин ликовал. Казалось, он любил даже самую рутину однообразных обязанностей шефа полка. Существование ему отравлял лишь страх перед отцом. Если император изъявлял его полку свое благоволение, «радость великого князя была неизреченна»{137}, но такое случалось редко, гораздо чаще Константин трепетал. «Я не трусил так императора Павла, как великий князь Константин Павлович, — вспоминал один из офицеров, служивший корнетом в конной гвардии. — Услышав от придворных, что государь скоро должен выйти, он прибегал вперед, запыхавшись, к конно-гвардейскому офицеру, давал ему разные приказания, а по приближении государя к той зале сбивал с толку, оправляя солдат, крича и шепча: “Командуй!” и всегда не вовремя. Если б офицер его послушался, то был бы не только арестован, но исключен из службы»{138}.

Зная буйность нрава Константина, Павел приставил к нему под видом адъютанта пожилого капитана Измайловского полка П.А. Сафонова, которому поручил доносить «о всех действиях его высочества»{139}. Но Сафонов быстро поддался обаянию Константина Павловича, который завоевывал сердца простолюдинов с отменной легкостью, и из доносчика сделался верным слугой, так и не сообщив государю о великом князе ничего предосудительного. Константин все равно нервничал, и, возможно, напрасно. Многочисленные косвенные свидетельства указывали на то, что Павел более благоволил второму своему сыну, а не бабушкиному любимцу, которого до восшествия на престол воспринимал как соперника. После смерти Екатерины Павел практически уравнял великих князей в правах, словно бы не желая знать, кто из них наследник престола. Внешнее сходство Константина с отцом бросалось в глаза, но и внутреннее родство между ними тоже существовало — прямодушие Константина, его открытость и порывистость были императору намного ближе утонченного лицедейства Александра. Именно Константина император позвал разбирать бумаги графа Платона Зубова, последнего фаворита Екатерины, — это был знак исключительного доверия.

Слухи

«Носилась молва, что недавно перед тем, как быть сговору, спросила государыня императрица у Константина Павловича: что ж, чем он подарит свою невесту? — А чем мне подарить? — сказал он. — У меня ничего нет. “Возьми из моего кабинета вот столько-то тысяч”. Великий князь и не преминул сего сделать, но получив деньги, куда же их дел? — отдал своему родителю. Все сие узнали и перевели императрице; и она, чрез несколько времени, спросила опять у него: что ж, подарил ли он чем-нибудь невесту? — Что мне дарить, она по милости вашей, бабушка, и сыта, и одета, и всем снабжена. — Да куда же ты дел взятые деньги? — Я их отдал одному нужному человеку, обремененному великим семейством и многими долгами и имеющему в деньгах крайнюю нужду. — Но кому ж такому? — О, пожалуйте, бабушка, не спрашивайте меня о том человеке; а довольно будьте уверены, что я их не промотал и употребил всуе. — Однако скажи — кто ж такой этот человек? — Долго продолжались таковые спрашивания, и, наконец, принужден был он сказать. Тогда поступок сей так тронул императрицу, что она заплакала; и таким же образом проливал слезы и великий князь; и она тотчас велела отослать цесаревичу 50 тысяч рублей. Таковой поступок и пример сыновьей любви к отцу был для всех очень чувствителен и делал Константину Павловичу особую честь»[{140}].

Екатерина и в самом деле была скуповата; баснословные подарки и щедроты, распространяемые фаворитам, не касались сына с невесткой — настолько, что слухи об этом стали достоянием толпы.

И после восшествия на престол Павел проявил образцово-показательную щедрость. В декабре 1796 года на содержание старшим сыновьям было назначено по 500 тысяч рублей в год (прежде Константин получал 100 тысяч, а Александр 200 тысяч рублей). В 1797 году к восемнадцатилетию император подарил Константину располагавшуюся в пригороде столицы мызу Стрельну вместе со всеми приписанными к ней деревнями и угодьями.

Стрельнинская усадьба стояла на южном берегу Финского залива, была живописна, но запущена, пруды покрылись ряской, каналы — травой, из каменных плит террасы Большого дворца, возведенного в начале 1720-х годов, но так и не достроенного, росли уже окрепшие березки. Константин с воодушевлением

принялся за дело. Березки срубили, пруды очистили, парк наполнился скульптурами, жертвенниками, обелисками и беседками в античном духе. Во дворце появился и Тронный зал — с разрешения Павла, разумеется. В этом тоже слышалось тайное отцовское благоволение второму сыну — в царскосельском дворце Александра Тронного зала не было.

ОХОТА НА ОЛЕНЕЙ

Через месяц после коронации, устроенной в Успенском соборе на Пасху, 5 апреля, Павел отправился в путешествие по России, захватив с собой и обоих старших сыновей. Менее чем за три недели путешественники посетили Смоленск, Оршу, Могилев, Минск, Вильно, Гродно, Ковно, Митаву, Ригу и Нарву. И вновь по всем городам шли вахтпарады, учения, дрожащие губернаторы произносили речи, взволнованные генералы подносили рапорты — в целом император остался доволен. Правда, приказал по ходу дела расстрелять Смоленской губернии помещика Храповицкого, проявившего ненужное усердие и приказавшего крестьянам починить мост, через который должен был проезжать император. Показуху, вызывавшую образ ненавистного Потемкина, Павел Петрович не жаловал и продиктовал указ о расстреле. Хитроумный Безбородко, повременив с исполнением приказа, спас несчастного от неминуемой гибели.

27 мая 1797 года император с великими князьями вернулся в Гатчину. Вскоре Павел назначил Константина Павловича генерал-инспектором всей кавалерии, а спустя год — начальником Первого кадетского корпуса, вновь отвесив почтительный поклон покойному родителю. В елизаветинские времена именно Петр Федорович (будучи еще великим князем) начальствовал над кадетским корпусом. Екатерина ввела обычай ставить во главе будущих воинов заслуженных военных генералов, незадолго до Константина Павловича начальником корпуса был, например, М.И. Кутузов. Павел Петрович екатерининские порядки и тут отменил.

Новая должность Константину пришлась по душе. Он приезжал в корпус к пяти часам утра, наблюдал, как сонные мальчики по барабану натягивают белые чулки, надевают мундиры с лацканами, вяжут волосы в косу и взбивают вержет[10], являются на утренний развод{141}. Жизнь юных воинов была не сладкой, их воспитывали по-спартански — на развод мальчики шли по ледяным, неотапливаемым коридорам, многие заболевали, некоторые и умирали. Процветала дедовщина, старшие кадеты помыкали младшими, воспитатели тоже не отличались утонченностью нравов. Кадетов много и охотно наказывали: «ставили в угол, ставили на колени, ставили в столовой к столбу, оставляя без обеда или без ужина, клали спать на голые доски, часто драли за уши и давали порядочные затрещины, отправляли под арест на хлеб и воду, отправляли в корпусную так называемую тюрьму»{142}. За более серьезные

провинности воспитанников секли при всех. Но и в этом неласковом, военизированном мире были свои радости, любимцы и идеалы.

Кадеты очень гордились высоким начальником, братом царя, и совершали в честь Константина Павловича свои детские подвиги. Однажды во время летних учений они поймали загнанного на охоте оленя, отказались отдать его хозяину охоты и повели добычу в свой лагерь. Вскоре пленник был представлен пред очи их императорского высочества; узнав всю историю, Константин Павлович «долго хохотал», приказал отвести оленя в Петергофский дворец, а «стрелкам на его счет давать целую неделю по стакану сбитня с булкой и порцию жаркого»[143]. Для полуголодной лагерной жизни лучшей награды и придумать было нельзя.

Веселость истории выдает, что случилась она уже в вольные времена царствования Александра Павловича. При Павле Константин чувствовал себя куда менее раскованным. Тем более что с годами Павел доверял ему всё меньше. Императору всё что-то мерещилось. И неприятностей у Константина было не счесть. В жаркое лето 1798 года, когда великие князья вылезали из петергофского пруда только для утреннего развода, случилось очередное печальное для Константина происшествие. В конце длинного воскресного дня, после данного императором бала, великий князь приказал подать себе кабриолет, чтобы прокатиться и подышать на ночь свежим воздухом.

Как и всегда, когда императорская семья приезжала в Петергоф, Константин был назначен военным губернатором Петергофа, а значит, обязан был присутствовать на вечернем рапорте караульного офицера, подаваемом императору. Великий князь исполнял свои обязанности неукоснительно, но в тот злосчастный вечер он неверно понял государя — Константину показалось, что отец освобождает его от присутствия на рапорте.

Между тем родитель никого и ни от чего не освобождал. И долго не впускал караульного офицера с рапортом, поджидая великого князя. За ним давно послали, но Константин всё не являлся; наконец Павел приказал офицеру войти и принял рапорт без сына. Великий князь вернулся с прогулки, ему рассказали обо всем, в ужасе он бросился к императору — поздно.

Вот как вспоминает об этом адъютант его высочества Е.Ф. Комаровский: «На другой день, рано поутру, великий князь прислал за мной. Я нашел его весьма встревоженным.

— Я не мог во всю ночь почти уснуть, — сказал мне его высочество.

Он тотчас решился написать письмо к государю, но оно

возвращено было нераспечатанным; после того приходит 06-ресков и говорит его высочеству:

— Государь знает, что ваше высочество сегодня нездоровы, а потому приказал мне подать рапорт при разводе, который великий князь принужден был ему отдать.

Это довершило отчаяние его высочества… Ходя долго по комнате взад и вперед, наконец он бросился ко мне на шею и сказал:

— Мне пришла мысль, исполни ее: поди сейчас к И.П. Кутайсову, скажи ему всё, что со мной случилось, скажи, в каком я отчаянном положении, и чтобы он испросил у государя одну милость, чтобы меня выслушать.

Кутайсов был болен и жил под самым государевым кабинетом, что у гауптвахты; лишь только я к нему вошел, как он мне говорит:

— Вы верно пришли от великого князя Константина Пав ловича? Я всё знаю. Государь у меня был и всё пересказал; не стыдно ли великому князю не исполнять своей обязанности и тем приводить в гнев своего отца и государя?

Такая встреча меня удивила. Я ему на сие сказал:

— Если бы его высочество был виноват, он не стал бы себя оправдывать, а великий князь прислал меня просить вас, чтобы вы испросили у государя одну только милость, чтобы его выслушать.

— Хорошо, сударь, — отвечал Кутайсов, — я исполню волю его высочества.

…Через несколько минут опять великий князь послал меня к Кутайсову; лишь только я поравнялся с гауптвахтой, как государь выходит от Кутайсова, увидев меня, прямо идет ко мне навстречу и, вертя своею тростью, грозно мне сказал:

— А! ты послом ходишь.

Я тотчас стал на колени и говорю ему:

— Государь, великий князь перед вами не виноват. Его так это удивило, что он, взяв меня за руку, сказал:

— Встань, встань, — как не виноват? Надень шляпу.

И, взяв меня под руку, пошел со мной по аллее Верхнего сада. Я объяснил государю, как великому князю показалось, что он его отпустил, и уверял в привязанности великого князя к его величеству не только как к отцу, но как к государю; и что он вернейшего подданного, как великий князь, у себя не имеет; что гнев государя довел ею высочество до отчаяния.

— Как, он точно огорчен? — прервал государь.

— Он так огорчен, — продолжал я, — что если сие состояние продолжится, то он, я уверен, сделается больным.

Тогда государь начал мне рассказывать, как все против него, то есть императрица и наследник; что он окружен шпионами… что его величество полагался на привязанность одного только Константина Павловича, но накануне сделанный им поступок заставил государя думать, что и он предался противной партии. Наконец император присовокупил:

— Ну, если я его прощу, что он этому обрадуется? Я отвечал ему:

— Его высочество будет без памяти от радости, государь! Тут он, приняв веселый вид, сказал из итальянской оперы:

— Dite lo voi per me[11], что я его прощаю…»{144}

Великий князь чуть не задушил Комаровского от счастья. И еще настойчивее запросился у Павла на войну. Ему было уже без малого 20 лет.

Анекдот

«Государь Павел Петрович обещал однажды быть на бале у князя Куракина, вероятно, Алексея Борисовича. Перед самым балом за что-то прогневался он на князя, раздумал к нему ехать и отправил вместо себя Константина Павловича с поручением к хозяину. Тот к нему явился и говорит: “Государь император приказал мне сказать вашему сиятельству, что вы, сударь, ж… ж… и ж…” С этими словами поворотился он направо кругом и уехал»{145}.

СИЛЬНЫЙ ГДЕ, ХРАБРЫЙ, БЫСТРЫЙ СУВОРОВ?

В январе 1798 года генерал Бонапарт захватил часть Италии и провозгласил там Римскую республику, в июне французские войска отправились в Египетский поход освобождать Африку от англичан. По пути они захватили остров Мальта, не встретив ни малейшего сопротивления. Русскому посланнику было предписано покинуть остров в три часа. Император Павел разгневался. Против Франции образовалась коалиция, в которую кроме России вошли Австрия, Англия и Турция. Австрийский император Франц II отчаянно желал победы и попросил Павла прислать на войну великого Суворова.

Суворов меж тем скучал в деревне. Дважды Павел пытался найти с эксцентричным фельдмаршалом общий язык — безуспешно. После первой попытки Суворов был сослан в Кончанское под полицейский надзор. Потом нежданно получил прощение, был приглашен в Петербург, однако на вахтпарадах явно томился и выделывал штуки — то никак не мог поймать и все время ронял свою треугольную шляпу к ногам императора, недвусмысленно намекая — неудобна, ох, как неудобна глупая треуголка для русских солдат. То начинал вдруг суетиться, бегал перед войсками, что-то приборматывая, а когда поинтересовались, что он шепчет, фельдмаршал отвечал — молитву «Да будет воля Твоя». Словом, прусские порядки Суворову не нравились, и скрывать того он не желал. Он бы и скрыл, найдись ему настоящее дело, случись война. Но Россия тогда не воевала, и Суворов, к их взаимному с императором удовольствию, снова отправился в свою деревню. В Кончанском он ежедневно ходил на обедню, дома на вытертом от молитвенного усердия коврике клал поклоны, читал святых отцов, не расставался с четками и в конце концов отправил государю просьбу отпустить его в новгородскую Нилову пустынь на иноческое житие{146}.

Не тут-то было, явился Бонапарт. Европа заулыбалась фельдмаршалу очаровательнейшей из своих улыбок, всё громче рукоплескала ему одному, генералы поерзывали от нетерпения, отовсюду слышались шепот и щебет: «Просим, просим!» Английская дипломатия давила на австрийцев, и император Франц всё настойчивее рекомендовал Павлу вызвать Суворова на сцену.

Словом, как позднее и несколько по другому поводу

выразился Державин:

Сильный где, храбрый, быстрый Суворов?[147]

Русский император отправил в Кончанское флигель-адъютанта с письмом: «Сейчас получил я, граф Александр Васильевич, известие о настоятельном желании венского двора, чтобы вы предводительствовали армиями его в Италии, куда и мои корпусы Розенберга и Германа идут. Итак посему и при теперешних обстоятельствах долгом почитаю не от своего только лица, но от лица и других, предложить вам взять дело и команду на себя и прибыть сюда для отъезда в Вену»[148].

Александр Васильевич прибыл в Петербург через три дня, 9 февраля 1799 года, — полдня ушло на сборы, два дня на дорогу. Он упал императору в ноги, император его поднял, похлопал по плечу. Через несколько дней произошла новая трогательная сцена. Павел возложил на Суворова старейший мальтийский орден — орден Святого Иоанна Иерусалимского Большого креста.

«Фельдмаршал поклонился об руку государю и сказал:

— Спаси, Господи, царя.

Император Павел, подняв его, обнял и отвечал:

— Тебе царей спасать»[149].

При несомненной чувствительности сцены Павел, очевидно, воспринимал все эти суворовские поклоны сквозь зубы, но и сквозь зубы можно улыбаться. Император не забыл дать генералу Герману распоряжение приглядывать за престарелым чудаковатым фельдмаршалом. «Итак, хотя он и стар, чтобы быть Телемаком, — писал Павел в своем рескрипте Герману, — но не менее того вы будете Ментором, коего советы и мнения должны умерять порывы и отвагу воина, поседевшего под Лаврами»[150].

Петербург при виде обожаемого военачальника неистовствовал. Две с лишним недели, проведенные в столице, прошли для светлейшего князя триумфально — каждый считал за честь засвидетельствовать ему свое почтение. Даже тюремщик Суворова по Кончанскому, коллежский советник Николаев, почтил бывшего подопечного визитом. Александр Васильевич велел посадить «благодетеля» на самое «высокое» место; слуга поставил на диван стул, Николаева туда немедленно усадили, после чего Суворов при всех кланялся ему непринужденно…

В конце февраля фельдмаршал отправился в Вену, чтобы в начале апреля прибыть в армию и сделать Итальянскую кампанию победоносной. Просьба Константина Павловича принять в кампании участие была удовлетворена, Павел отпустил его волонтером. Обязанности великого князя были не

определены, однако присутствие его в армии подчеркивало значение, придаваемое русским императором этой войне. Цель которой — спасение Европы. Константин выехал из Петербурга вслед за Суворовым. Накануне, 11 марта 1799 года, Измайловский полк провожал своего шефа со слезами, вмиг простив ему и строгости, и вспыльчивость. Константина сопровождала небольшая свита — генерал от инфантерии Дерфельден с адъютантом, давно ставший генерал-майором «дядька» великого князя Павел Сафонов, адъютанты Комаровский и Ланг, офицер лейб-гвардии Измайловского полка Озеров, два пажа, личный доктор, хирург и берейтор.

В Вене его высочество обедал с австрийским императором, русский посланник Андрей Кириллович Разумовский давал в честь великого князя роскошные обеды и балы, австрийцы по случаю войны балов не устраивали, зато устраивали парады и смотры — Константин Павлович был на них желанным и почетным гостем. Когда сын российского императора появился в ложе венского оперного театра, раздались рукоплескания — так высоко ценили австрийцы участие российских войск в Итальянской кампании. Между тем Суворов уже прибыл в армию, и победы посыпались на союзные войска как из рога изобилия.

— Надобно просить великого князя ехать скорее к армии, а то мы ничего не застанем; я знаю Суворова, теперь уже он не остановится, — сказал граф Дерфельден Комаровскому.

И Константин, щедро одарив венских сановников, поторопился. Вскоре он был уже в расположении русских войск. При встрече фельдмаршал пал пред ним на колени, хотя, по другим воспоминаниям, просто отвесил низкий поклон с неизбежным шутовским выкриком: «Помилуй Бог! Сын моего природного государя!»{151} Эксцентрик повстречался с эксцентриком, вместе они должны были задать французам взбучку.

Роль и пределы полномочий Константина Павловича были туманны, и оттого великого князя сопровождала тень легкого, хотя и почтительного недоумения — посланник ли он государя и исполнитель его воли? сторонний ли наблюдатель? смиренный ли подчиненный Суворова?

Всё решило сражение при деревне Бассиньяно. Константину пригрезилось, что давно пора вступать в бой, но генерал Розенберг отчего-то медлит. Генерал просто ждал подкрепления, силы армий были слишком неравны, но великого князя терзало нетерпение, он закипел и поторопил Розенберга, как водится, не церемонясь:

— Вы привыкли служить в Крыму, там были покойны и

неприятеля в глаза не видели.

Розенберг и правда служил в Крыму, служил совсем неплохо и неприятеля в глаза, в отличие от великого князя, конечно же видел. Но безумные слова породили безумные действия. Заслуженного генерала обвиняли в трусости! И кто? Сын природного государя. Обида лишила Розенберга трезвости, схватив шпагу, он повел войска вперед, вброд, через реку По, не дожидаясь подкрепления, и вступил в бой с явно превосходящими силами противника. Французы сразу же потеснили нападавших, предусмотрительно испортив паром — русские отступали, но переправиться через По оказалось не на чем, солдаты тонули, два орудия пришлось оставить противнику, гремели выстрелы, раздавались страшные крики тонувших, кровь мешалась с водой. Испугавшись сумятицы и неразберихи, лошадь великого князя понесла и помчалась прямо в реку. Дюжий казак вовремя заметил непорядок и спас царственного волонтера, схватив лошадь под уздцы и выведя ее на берег.

Для французов поведение русских не поддавалось никакому разумному объяснению — наступление было начато напротив укрепленных французских позиций, и только недоумение неприятеля спасло русские войска от окончательного разгрома. Генерал Моро решил, что сражение было просто демонстрацией, что в глубине французов ожидает засада, и остановил солдат.

Розенберг прямо указал главнокомандующему на виновника неудачи. На следующий день его высочество отправился к Суворову на беседу. Их разговор продолжался долго. О чем шла речь, неизвестно, но Константин вышел от фельдмаршала весь красный, со следами слез на щеках. «Суворов провожал его с низкими поклонами, касаясь рукою до пола; но войдя в ту комнату, где ожидала свита его высочества, сердито обратился к адъютантам великого князя: “А вы мальчишки! Вы будете мне отвечать за его высочество. Если вы пустите его делать то, что он теперь делал, то я вас отправлю государю”. Затем Суворов опять провожал великого князя до крыльца с самыми низкими поклонами»{152}.

После неудачи под Бассиньяно фельдмаршал велел усилить конвой для его высочества до ста человек (прежде было двадцать), чтобы с его высочеством, не дай бог, что не случилось. Но Константин Павлович и сам стал умницей. На цыпочках входил с разрешения Суворова в кабинет, молча внимал докладам, с благоговением слушал, какие фельдмаршал отдает распоряжения. Изредка, и только когда спрашивали, подавал неглупые советы. В донесениях императору Суворов то и дело великого князя похваливал. В сражении при Нови Константин и в

самом деле отличился и вскоре был высочайше пожалован одним из самых почетных орденов — Святого Иоанна Иерусалимского. И 50 тысячами рублей в придачу.

Участники Итальянского похода называли эту кампанию прогулкой — грубость и грязь военной жизни смягчали теплое лето, спелые фрукты, приветливые итальянки. Проходя через итальянские города, офицеры обязательно посещали по вечерам оперу, хотя и при штабе находилась труппа актеров, развлекавшая войско на привалах. Очевидно, не из-за одних опер и фруктов поход по Италии задним числом многим показался приятной прогулкой — Итальянская кампания плавно перетекла в Швейцарскую, а после перехода через Альпы предобеденным променадом мог показаться и более суровый военный поход.

Выступив из Александрии и Ривальты, 4(15) сентября русские войска вошли в Таверно, за пять дней совершив переход в 150 километров. В Таверно их должны были ожидать подготовленные австрийским командованием полторы тысячи мулов для перевоза военного имущества через горы и продовольствие на 12 суток. Австрийцы не исполнили своих обязательств, и пять дней ушло на заготовку продовольствия. Впоследствии эта задержка оказалась роковой. 10 (21) сентября русская армия вышли из Таверно. Начался знаменитый Швейцарский поход.

Суворов повел войско в горы, туда, куда в осеннее время забредал лишь охотник за сернами. Фельдмаршал охотился за убегающими минутами, желая в назначенный срок соединиться с войсками Римского-Корсакова и Готце, окружить французскую армию и нанести ей удар с самой чувствительной для нее стороны, с тыла. А возможно, фельдмаршал заодно решил доказать всем и верность одной из своих поговорок в «Науке побеждать»: «Где проходит олень, там пройдет и солдат». И доказал обратное — там, где проходили его солдаты, не всегда мог пробраться даже альпийский олень.

«По мере подъема тропинка становилась уже и круче, а местами на голых скалах и вовсе пропадала. Приходилось двигаться большею частию в одиночку, гуськом, по голым каменьям, скользкой глине, рыхлому снегу; взбираться как бы по лестнице, на ступенях которой с трудом умещалась подошва ноги, или же по грудам мелких камешков, осыпавшихся от каждого шага. Со вчерашнего утра начался опять дождь, который и продолжал идти с перерывами, а когда и стихал, то люди, двигаясь на высоте облаков и туч, все равно были охватываемы густым туманом, и платье их промокало насквозь. Вдобавок дул по временам резкий ветер, становившийся при промокшем платье вдвойне чувствительным; от него дрожь прохватывала, казалось,

до костей, ноги и руки коченели»[153], — красочно вспоминал о невзгодах пути один из участников перехода.

«На каждом шаге в сем царстве ужаса зияющие пропасти представляли отверстые и поглотить готовые гробы смерти. Дремучие мрачные ночи, непрерывно ударяющие громы, лиющиеся дожди и густой туман облаков при шумных водопадах, с каменьями с вершин низвергавшихся, увеличивали сей трепет. Там является зрению нашему гора Сен-Готард, сей величающийся колосс гор, и ниже хребтов которого громоздкие тучи и облака плавают, и другая уподобляющаяся ей, Фогельсберг… Утопая в скользкой грязи, должно было подниматься против и посреди водопада, низвергавшегося с ревом и низрывавшего с яростию страшные камни и снежные и земляные глыбы, на которых много людей с лошадьми, с величайшим стремлением летели в преисподние пучины, где иные убивалися, а многие спасалися»[154], — писал в донесении Павлу сам фельдмаршал.

Но «спасалися» немногие. Суворов писал это больше для утешения государя и смягчения ужасающей картины гибели солдат. Помимо дождей и ветров людей мучил голод. Швейцарский сыр, которого было в избытке, солдаты называли гнилью и ели лишь при самой крайней нужде, а запас сухарей иссякал на глазах. Молодой генерал Михаил Андреевич Милорадович попробовал подгорелой солдатской лепешки, замешенной на воде, и похвалил ее так искренне, что изорванные, умирающие от голода и холода солдаты пожалели бедного генерала, тут же скинулись по сухарику, принесли ему в узелке свой дар, и тот принял…

Одного лишь человека во всей армии, казалось, не тяготили и самые суровые переходы, не пугали сырость, пронизывающий ветер, валящиеся в провалы люди, лошади и волы.

Кто Витязь сей багрянородный,
Соименитый и подобный
Владыке Византийских стран?
Еще Росс выше вознесется,
Когда и впредь не отречется
Быть полководцем Константин[155].

Да здравствует Константин! Он шел в авангарде князя Багратиона пешком, твердо отказываясь от неоднократных попыток усадить его на лошадь, шагал возбужденный и бодрый, с пылающими от ветра щеками, глазами, блистающими пиитическим восторгом, — вокруг бушевала жизнь! Кончилось время потешных войск и дворцовых развлечений — настоящие

горы высились вокруг, настоящий Суворов подшучивал рядом, смерть ухмылялась из каждой пропасти не шутя. Конечно, за великим князем хорошенько приглядывали — и адъютанты, и казаки из тех, что покрепче. Свалиться с тропы в бездну его высочеству всё равно бы не дали, от гибели бы уберегли, но от ветра, дождя и скудной пищи никакие казаки спасти великого князя были не в силах.

Войдя с авангардом в швейцарскую деревушку Муттен (после того, как оттуда был выбит французский отряд), Константин купил для пришедших с ним солдат две грядки картошки на собственные 40 червонцев — и воин, и избавленный от грабежа мирный селянин дружно благословили великого князя. Из Муттена до Швица, где Суворов предполагал соединиться с корпусом генерала Римского-Корсакова и союзников, оставался последний переход. Но вскоре в лагерь прибыли беглецы из Цюриха и сообщили: Корсаков разбит, австрийский генерал Готце убит, отряд его рассеян, все выходы из Муттенской долины заняты неприятелем. Вся эта безумная спешка с угроблением людей в альпийских пропастях вмиг разбилась о равнодушие союзников. Выйди русские войска из Таверно пятью днями раньше, корпус Корсакова был бы спасен от разгрома. «Я покинул Италию раньше, чем было должно. Но я сообразовывался с общим планом… Я согласовываю свой марш в Швейцарию… перехожу Сен-Готард, преодолеваю все препятствия на своем пути; прибываю в назначенный день в назначенное место и вижу себя всеми оставленным… Что мне обещали, ничего не исполнили»{156}, — жаловался Суворов Павлу. Его армия оказалась одна перед лицом французов.

Оставалась единственная надежда — на русского Бога. 18 (29) сентября фельдмаршал собрал военный совет. Неудача придала ему красноречия, ужимки, прибаутки, игры в дурачка кончились; по воспоминаниям присутствовавших на совете, Суворов исполнился какого-то необычайного вдохновения, говорил красиво и умно, а в конце речи бросился великому князю в ноги:

— Спасите честь России и государя! Спасите сына нашего императора!

Без театра всё же не обошлось. Константин Павлович поднял старика, обнимал его и рыдал в ответ.

Чувствительная сцена закончилась решением отказаться от похода на Швиц, в котором обосновалась 50-тысячная армия Массены (русские войска насчитывали 15 тысяч), и начать движение навстречу союзникам и Корсакову, с тем чтобы после соединения «обновить кампанию». Решено было разделиться —

семитысячный арьергард под командованием Розенберга должен был оставаться в Муттенской долине и сдерживать противника до тех пор, пока авангард Багратиона не выйдет через гору Брагель из окружения; затем Розенберг должен был последовать за Багратионом и соединиться с его корпусом в кантоне Гларис. После страшных лишений, французских атак и русских побед русская армия сосредоточилась в Гларисе, а спустя три дня вошла в Иланц, где впервые за последние недели солдаты нашли безопасный ночлег и сытную пищу

Тем временем отношения между венским и петербургским дворами испортились. О продолжении кампании не могло быть и речи. Павел пожаловал фельдмаршалу титул князя Италийского, наградил его званием генералиссимуса и велел возвращаться в родные пределы. Великий князь тоже не остался без высочайших милостей — Павел даровал Константину титул цесаревича. Собственной рукой его писанное в апреле 1797 года «Учреждение императорской фамилии», согласно которому титул цесаревича присваивался исключительно наследнику престола, император таким образом нарушал. Тяжкие сомнения относительно преданности Александра снедали государя, и он подстраховался теперь и официально — уравнял Константина и Александра в правах. Подписав манифест о пожаловании Константину Павловичу почетного титула, Павел написал сыну и лично: «Герой, приезжай назад… Вкуси с нами плоды дел твоих»[12].

В сущности, плоды были не такими уж сладкими — Швейцарская кампания завершилась ничем, до Парижа Суворов, несмотря на страстное свое желание, так и не дошел, невероятные лишения, пережитые в Альпах русской и австрийской армиями, смешались с горным туманом, растворились и потонули в холоде российско-австрийских отношений. Но геройства русских войск и великого князя Константина это не отменяло. 27 декабря по возвращении в Петербург Константин был встречен как триумфатор — в его честь давали балы, обеды и ужины, а в Эрмитаже поставили балет «Возвращение Релиоктета».

В Петербурге произошло и воссоединение семьи. Великая княгиня Анна Федоровна покинула столицу на следующий день после отъезда Константина Павловича. Она отправилась в Кобург, чтобы повидаться с родными, а заодно побывать на водах в Богемии и поправить здоровье. Анна Федоровна твердо знала, что в Россию не вернется, надеясь испросить у родителей позволение на развод и навсегда остаться на родине. Только Елизавета Алексеевна и Александр Павлович были посвящены в эту тайну{157}.

План не удался. Через полгода великую княгиню, по настоянию Павла, фактически насильно вернули в Россию — 11 октября 1799 года она была уже в Гатчине, а спустя полтора месяца встречала вернувшегося с войны Константина. Боль насильственного возвращения неожиданно была смягчена и почти исцелена: великий князь повзрослел и переменился к супруге, стал внимательнее, мягче, теплее. Анна Федоровна это оценила — чтобы угодить мужу и поощрить свершившиеся в нем перемены, начала даже ездить в Царскосельский манеж смотреть военные учения, проходившие под его руководством.

По приезде Константин купался в лучах всеобщей приветливости и дружелюбия. Павел трепал сына по щеке, обнимал, звал героем. Сын размяк. И когда отец спросил его, удобна ли была в походе солдатам новая, недавно введенная военная форма, Константин ответил, что башмаки и штиблеты не слишком подходят для войны. Ответ его высочества был крайне почтительным, он не стал рассказывать отцу, как в горах несчастные солдаты, истерев обувь до дыр, обертывали ноги звериными шкурами. Император ответил, что готов сделать в форме перемены, ведь «удобность познается опытом». Константин снова поверил и через несколько дней привел двух молодцев в образцах подходящей, на его взгляд, формы. Короткие куртки тотчас напомнили Павлу форму екатерининских времен. Император побагровел:

— Я вижу, ты хочешь ввести потемкинскую одежду в мою армию!{158}

И всё вошло в прежнюю колею, снова начались обиды, подозрения, беспричинный гнев, животный страх перед отцовским наказанием, всё стало так, будто Константин никогда и не воевал, по горным тропам не прыгал, опытности не приобрел, а Итальянской и Швейцарской кампаний не случалось вовсе. Тем более нелепо было воздавать почести Суворову — за что? За несуществующие войны? Фельдмаршал подвергся очередной опале, а Константин был отправлен в Царское Село муштровать непокорный, как представлялось Павлу, кавалергардский полк — великий князь был его шефом.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
ЗАКОРЕНЕЛЫЙ КАПРАЛ

БЕЗОТЦОВЩИНА

На зелененьком кусточке
Червячок во тьме блистал,
И качаясь на листочке
Тихой свет свой проливал.
Змей вияся протекает
Под кустом зеленым сим
И невинного пронзает
Жалом гибельным своим.
Что я сделал пред тобою?
Червячок упавши рек —
А зачем блестишь собою?
Змей сказал — и прочь потек.
Евгений Колысов{159}

Что я вам сделал?
Император Павел

Стояла зима 1800 года. Каждый божий день конногвардейский полк, по колено в снегу, проходил учения. Шеф вел себя как обычно — пьянел от бешенства, давал солдатам зуботычины, оскорблял офицеров. «Нельзя себе представить тех жестокостей, которым подвергал нас Константин и его Измайловские мирмидоны. Тем не менее дух полка нелегко было сломить, и страх Константина при одном упоминании о военном суде неоднократно сдерживал его горячность и беспричинную жестокость»{160}, — писал командир эскадрона конногвардейского полка Николай Александрович Саблуков. При Павле военные суды и в самом деле стали нелицеприятны — корнет легко мог засудить полковника.

Через год с лишним Кавалергардский полк наконец вернули в столицу. 1 февраля император со всем августейшим семейством переехал в Михайловский замок, устроенный как хорошая средневековая крепость — с рвами, откидными мостами, потайными лестницами и лабиринтом коридоров. Павел боялся. Тюрьмы были переполнены его подданными, облачившимися в слишком короткий кафтан, отрастившими слишком длинные волосы, недостаточно низко поклонившимися императору, надевшими жилет (якобинцы!). Спустя 30 лет Константин будет совершать те же печальные ошибки, арестовывать одетых не по форме, подозревать невинных — и тоже проспит заговор.

Пока же зрел заговор против Павла. Император делался всё

подозрительнее, перестал выезжать и бывал только в окружавшем замок саду. Прислуга исправно чистила снег на дорожках. Во время одной из прогулок император вдруг остановил лошадь и, обернувшись к сопровождавшему его обер-шталмейстеру Сергею Ильичу Муханову, произнес: «Мне показалось, что я задыхаюсь и у меня не хватает воздуха, чтобы дышать. Я чувствовал, что умираю… Разве они хотят задушить меня?»{161}Через четыре дня он был задушен в собственной спальне.

В подозреваемых у Павла были все, кроме организатора заговора графа Палена, который умело отвел от себя всяческие подозрения. На слова Павла о том, что «хотят повторить 1762 год»{162}, Пален отвечал, что прекрасно знает об этом и даже участвует в составленном заговоре — с тем лишь, чтобы выяснить планы заговорщиков и оградить императора от всякой опасности. Император был убежден его доводами и окончательно уверился, что во главе заговора стоят его старшие сыновья. Александр и в самом деле был посвящен в замыслы Палена, однако требовал, чтобы граф дал слово — отцу сохранят жизнь. Граф слово дал с легкостью: «…надо было успокоить щепетильность моего будущего государя»{163}.

Вечером 11 марта терзаемый предчувствиями Павел арестовал Константина и Александра — кто, как не они, могли желать его смерти? Генерал-прокурор Обольянинов привел великих князей к повторной присяге. Ничего не ведавший кавалергардский полковник Саблуков, в тот день дежурный по полку, отправился в Михайловский замок, чтобы сдать рапорт шефу полка Константину Павловичу.

«Я застал Константина в трех-четырех шагах от двери… он имел вид очень взволнованный, — вспоминает Саблуков. — Я тотчас отрапортовал ему о состоянии полка. Между тем пока я рапортовал, великий князь Александр вышел… прокрадываясь, как испуганный заяц… В эту минуту… вошел император propria persona[13], в сапогах и шпорах, со шляпой в одной руке и тростью в другой и направился к нашей группе церемониальным шагом, словно на параде. Александр поспешно убежал в собственный апартамент; Константин стоял пораженный, с руками, бьющими по карманам, словно безоружный человек, очутившийся перед медведем. Я же, повернувшись по уставу на каблуках, отрапортовал императору о состоянии полка. Император сказал: “А, ты дежурный!” — очень учтиво кивнул мне головой, повернулся и пошел к двери… Когда он вышел, Александр немного открыл свою дверь и заглянул в комнату. Константин стоял неподвижно. Когда вторая дверь в ближайшей комнате громко стукнула, как будто ее с силой захлопнули, доказывая, что

император действительно ушел, Александр, крадучись, снова подошел к нам.

Константин сказал: “Ну, братец, что скажете вы о моих? — указывая на меня. — Я говорил вам, что он не испугается!” Александр спросил: “Как? Вы не боитесь императора?” — “Нет, ваше высочество, чего же мне бояться? Я дежурный, да еще вне очередь; я исполняю мою обязанность и не боюсь никого, кроме великого князя, и то потому, что он мой прямой начальник, точно так же, как мои солдаты не боятся его высочества и боятся одного меня”. — “Так вы ничего не знаете?” — возразил Александр. “Ничего, ваше высочество, кроме того, что я дежурный вне очередь”. — “Я так приказал”, — сказал Константин. “К тому же, — сказал Александр, — мы оба под арестом”. Я засмеялся»{164}.

В этих сценах замечательна каждая подробность. Павел идет «церемониальным шагом», словно на параде, чтобы подчеркнуть официальность своих отношений с сыновьями — отныне все узы родства разорваны, перед ним только двое арестованных, двое подозреваемых подданных. Константина ужасает и поражает родительская немилость, руки бьются у него по карманам, как у безоружного. В этих бьющихся руках не только страх, но и чувство бессилия, сознание, что оправдаться невозможно. Он чувствует себя такой же жертвой, как и его загнанный отец. Посвященный в заговор Александр тоже трусит, но иначе, чем брат, — в отличие от Константина он понимает: на этот раз Павел близок к истине, как никогда. Саблуков догадывается о тучах, сгустившихся над царственной главой, но он ни во что не замешан и замешан быть не хочет. Поэтому полковник всячески пытается снять напряжение, разрядить обстановку, возможно, впрочем, и оттого, что недооценивает серьезность положения.

Константин советует Саблукову быть осторожнее и отправляет его домой. Но дома полковник проводит менее часа — императорский фельдъегерь снова приказывает ему явиться во дворец. Во дворце Павел говорит Саблукову, что его конногвардейцы — якобинцы, велит выслать полк из города и расквартировать по окрестным деревням. Караул Конного полка, дежуривший в тот вечер во дворце, отослан в казармы. Император уверен, что избавляется от изменившего ему полка и отсекает один из кровеносных сосудов заговора. В реальности же Конный полк, в отличие от семеновцев, заступавших в ночной караул, в заговоре не участвовал — Павел отсылал преданных ему людей.

Вернувшись в полк, Саблуков передает приказание императора: к четырем часам утра полк должен быть готов выступить из Петербурга. Дома полковник получает написанную поспешным почерком Константина записку:

«Собрать тотчас же полк верхом, как можно скорее, с полною амуницией, но без поклажи, и ждать моих приказаний. Константин Цесаревич». На словах цесаревич приказывает передать, что дворец окружен войсками и необходимо зарядить карабины и пистолеты боевыми патронами{165}. Его приказание противоречило повелению Павла — Константин велел полку быть в готовности *без поклажи,* и значит, полк мог вот-вот принять участие в событиях. Но каких? На чьей стороне предстояло ему сражаться? За кого был цесаревич — за отца или за заговорщиков?

Многие исследователи видели именно в этом приказании Константина свидетельство его явной причастности к заговору. В противном случае откуда он знал, что полк понадобится? Однако предположить это было совсем нетрудно — воздух в Михайловском замке был наэлектризован, и сам Константин, и Александр были арестованы, второй раз приведены к присяге, император вел себя еще более взвинченно, чем всегда, «дворец был окружен войсками» — мудрено было не догадаться, что катастрофа вот-вот разразится. И Константин дал распоряжение *на случай,* если заваруха начнется.

Он совершил и другой приуготовительный поступок — назначил Саблукова дежурить по полку вне очереди. Это было против существующих правил — полковник, эскадрон которого стоял в карауле (а эскадрон Саблукова был в тот день в карауле), дежурным по полку не назначался, просто потому что не мог одновременно присутствовать в казармах полка, как того требовали обязанности дежурного по полку, и проверять во дворце караулы. Тем не менее Константин отдал личное распоряжение о назначении Саблукова дежурным по полку — зачем? Чтобы отослать Саблукова в казармы, подальше от дворца и караулов? Не исключено. Но и это распоряжение могло обернуться не против, а за Павла. Цесаревич вполне мог назначить Саблукова дежурным по полку для того, чтобы полком в столь тревожный момент командовал человек честный, преданный и ему лично, и императору. Карабины и пистолеты пригодились бы для защиты власти отца.

По воспоминаниям участников событий, Пален убедил Александра не посвящать Константина в заговор под тем предлогом, что цесаревич может открыть тайну Павлу, то есть погубить Александра, занять его место и стать наследником. Понятно, что подобного утонченного коварства у Константина не было и в мыслях — в этом сценарии так и чувствуется паленский почерк, — но Александр к совету Палена прислушался и не сообщил брату ни о чем. Но и узнай Константин о готовящемся

заговоре, скорее всего он ни за что не решился бы открыться отцу. Признание предполагает доверительность в отношениях, а доверия между отцом и сыном давно не существовало, бездна, разделяющая их, день ото дня лишь углублялась, как и страх цесаревича перед императором. Явись Константин перед Павлом, расскажи ему о грядущем перевороте — какова была бы реакция императора, известного своей непредсказуемостью? Не погубил бы этим признанием Константин не только Александра, но и себя? Нет, цесаревич слишком боялся. Очевидно, что и Пален прекрасно это понимал и, говоря Александру одно, опасался совсем другого: Константин вряд ли пошел бы к отцу, но он мог попытаться отговорить от участия в заговоре старшего брата — а это в замыслы генерал-губернатора отнюдь не входило.

Павел же к марту 1801 года не доверял Константину настолько, что в момент, когда убийцы ворвались в императорскую спальню, принял за Константина одного из заговорщиков, несколько напоминавшего фигурой цесаревича. Принял оттого, что слишком ожидал его здесь увидеть. «И ваше высочество здесь?» — произнес Павел фразу, смысл которой был для окружающих очевиден и отсылал к историческому: «И ты, Брут?»

Император заблуждался, Константина среди его убийц не было. Позднее цесаревич любил повторять, что в ту мартовскую ночь он «крепко спал»{166}. В атмосфере, пронизанной тревогой, после вторичной присяги и вечерней встречи с императором «нужен был особый талант, чтобы спокойно заснуть», — язвительно, замечает Н.Я. Эйдельман{167}. Записка цесаревича Саблукову о сборе полка также выдает готовность Константина к любому развитию событий, вовсе не предполагающих крепкого сна. Тем не менее вполне возможно, что молодой организм взял свое и Константин всё же уснул.

Вот как он сам вспоминал в 1826 году о происшедшем: «Я ничего не подозревал и спал, как спят в 20 лет. Платон Зубов пьяный вошел ко мне в комнату, подняв шум. (Это было уже через час после кончины моего отца.) Зубов грубо сдергивает с меня одеяло и дерзко говорит: “Ну, вставайте, идите к императору Александру. Он вас ждет”. Можете себе представить, как я был удивлен и даже испуган этими словами. Я смотрю на Зубова: я был еще в полусне и думал, что мне все это приснилось. Платон грубо тащит меня за руку и подымает с постели; я надеваю панталоны, сюртук, натягиваю сапоги и машинально следую за Зубовым. Я имел, однако, предосторожность захватить с собой мою польскую саблю, ту самую, что подарил мне князь Любомирский в Ровно; я взял ее с целью защищаться в случае,

если бы было нападение на мою жизнь, ибо я не мог себе представить, что такое произошло. Вхожу в прихожую моего брата, застаю там толпу офицеров, очень шумливых, сильно разгоряченных, а Уварова, пьяного, как и они, сидящего на мраморном столе, свесив ноги. В гостиной моего брата я нахожу его лежащим на диване в слезах, как и императрица Елизавета. Тогда я только узнал об убийстве моего отца. Я был до такой степени поражен этим ударом, что сначала мне представилось, что это был заговор извне против всех нас»{168}.

Итак, Константину показалось даже, что заговор направлен против всего семейства, но он быстро понял свою ошибку. Вместе с Александром в ту же ночь великий князь отправился в Зимний дворец, покинув опасный Михайловский замок, кишащий нетрезвыми офицерами и солдатами, из которых, возможно, не все были готовы присягнуть новому императору. Сюда же в безопасный Зимний Александр настойчиво приглашал и мать, Марию Федоровну, но овдовевшая императрица несколько часов не желала признать сына законным императором — в надежде на то, что сама возглавит государство. Силы были не равны, все попытки Марии Федоровны завладеть ситуацией натыкались на жесткий отпор, в итоге императрица оказалась буквально заперта и вынуждена была смириться. В шестом часу утра Мария Федоровна, надев глубокий траур, отправилась в Зимний дворец{169}.

Здесь же собрались к утру и офицеры, участвовавшие в ночных событиях. Увидев их в одной из дворцовых зал, Константин Павлович навел на них лорнет и «как будто про себя, но громко» сказал: «Я всех их повесил бы»{170}. Вряд ли участник заговора отозвался бы так о своих сообщниках.

Всю дальнейшую жизнь Константин, в отличие от Александра, не страдал угрызениями совести. Конечно, цесаревич вообще не склонен был к рефлексии и анализу собственных поступков, и, похоже, совесть в принципе редко его мучила. Но отцеубийство — дело особенное. Константин же всегда вспоминал об отце легко, слишком легко даже и для косвенного убийцы.

Вскоре после трагедии Константин Павлович заговорил о нежелании царствовать. Пригласив Саблукова к себе в кабинет, он запер за собой дверь и сказал: «Ну, Саблуков, хорошая была каша в тот день!» — «Действительно, ваше высочество, хорошая каша, — ответил Саблуков, — и я очень счастлив, что в ней был ни при чем». — «Вот что, друг мой, — сказал торжественным тоном великий князь, — скажу тебе одно, что после того, что случилось, брат мой может царствовать, если это ему нравится;

но если бы престол когда-нибудь должен был перейти ко мне, я несомненно бы от него отказался»[171].

Убийство императора цесаревич простодушно называет кашей. Спасительная ли то ирония, уберегающая от излишних сантиментов, откровенный цинизм, радость ли, что удалось выбраться невредимым, или всё вместе? Слова Саблукова, который напоминает о своей верности Павлу, Константин пропускает мимо ушей, со столькими неверными он уже успел к тому времени сдружиться, что ему явно не хочется продолжать тему. Любопытнее всего здесь отказ от царствования. Причины отказа не этические, дело совсем не в том, что престол, обагренный кровью отца, занимать не хочется. Цесаревичу просто страшно. Принять управление Российским государством было, по мнению Константина, равносильно подписанию смертного приговора. И дед его, Петр III, и отец кончили одинаково плохо. Избавиться от страха смертного можно было единственным способом — никогда не становиться русским царем! «Помнили, — писал в своих воспоминаниях декабрист С.П. Трубецкой, — что Константин много раз говорил, что царствовать не хочет, и прибавлял: “Меня задушат, как задушили отца”»[172]. Это была или паранойя, или смутное предчувствие. Однако чтобы оказаться задушенным, не обязательно было царствовать в России: 30 лет спустя совсем в другой стране и при иных обстоятельствах Константина едва не убьют в его собственной спальне.

Пока же российская нация задышала в полные легкие. Благородный, рыцарственный деспот переселился в иные эмпиреи. Исчезли вечный страх, дрожь, опасения, атмосфера всеобщей подавленности и мрака. Не скрывал радости и Константин Павлович. Его недоброжелатели воспринимали это как улику, свидетельство виновности, но всё объяснялось проще: бьющиеся по карманам руки замерли, «медведя» убили. Царствие Небесное, вечный покой.

ЦАРЕВНА АННА

Косенькин ее не злюбает,
На кровать спать не пущает,
Ой, на кровать спать не пущает,
Одеяльца не дает,
Со кроватушки толкает.
Русская народная песня{173}

В тот год Константину пришлось пережить еще одно расставание. Вскоре после смерти Павла великая княгиня Анна Федоровна навсегда покинула Россию.

Перемена, обнаружившаяся в Константине после возвращения из военных походов, была недолгой и, кажется, объяснялась разлукой, испытаниями, которые пришлось ему вынести, страхом потерять супругу навсегда — в армию она написала ему всего одно письмо. Некоторое время Константин держался, но собственную натуру так просто не переделать. Краткий просвет вскоре сменился прежней казарменной грубостью. Рассказывали, например, как однажды в кругу нескольких офицеров при великом князе Константине и Анне Федоровне заговорили о женской красоте: «Великий князь стал выхвалять прелести своей жены. Она краснела и смущалась; великий князь настаивал и наконец потребовал, чтобы она представила вещественные доказательства его слов, а как великая княгиня никак не соглашалась, он с остервенением разорвал на ней платье»{174}. Пусть даже эта история выдумка — окружавшее Константина общество, в котором Анне Федоровне поневоле приходилось вращаться, под стать своему предводителю было весьма развязно. Непринужденность офицеров, приятельствовавших с великим князем, нередко доходила до бесстыдства: в Мраморном дворце они чувствовали себя как дома и без стеснения заходили в комнаты великой княгини. На вечеринках, устраиваемых великим князем, Анне Федоровне было неловко — там правили те же люди.

Скрашивала ее дни разве что дружба с великой княгиней Елизаветой Алексеевной. Впрочем, завязались у нее и романтические отношения. О взаимной симпатии великой княгини с Константином Чарторыйским, назначенным адъютантом к великому князю, остались достаточно сдержанные свидетельства, а вот о другой влюбленности Анны Федоровны в обществе ходили куда более откровенные, хотя и не вполне достоверные слухи. Избранником ее стал будто бы Иван

Логинович Линев, красавец, кавалергард, про которого говорили, что он столь же хорош собой, сколь и глуп. Анекдот о начале отношений великой княгини и Лунева, рассказанный князем Павлом Петровичем Лопухиным (вообще склонным к пересказу подобных, не слишком пристойных историй), полон столь красочных подробностей и дает столь объемное представления о принятых тогда «шалостях», что не привести его нельзя.

Анекдот

«Внимание великой княгини к Линеву было подменено одним из его товарищей, Алексеем Александровичем Ушаковым, который в одно из осенних пребываний двора в Гатчине задумал осчастливить и великую княгиню, и Линева. Ушаков искусно владел пером и даже писал довольно милые стихи по-русски и по-французски. Ничего не говоря Линеву, он сочинил от его имени пламенное письмо к великой княгине. Чтобы передать ей это послание, он обратился сперва к ее фрейлине Марии Карловне Гене, но та отказалась, и потому он решил положить письмо под подушку дивана, на котором великая княгиня имела обыкновение сидеть. В тот же вечер великая княгиня, садясь на этот диван, заметила кончик бумажки, выходивший из-под подушки, и через несколько времени послание скрылось в ее платье. Переписка тогда установилась правильная. Ушаков тем же путем доставил еще два или три письма, и, наконец, видя, что взоры великой княгини всё с большею нежностью обращались на Линева, он назначил ей свидание в одном из павильонов Гатчинского парка дворца.

Линев между тем еще ничего не знал и ничего не подозревал. В назначенный только вечер Ушаков предуведомил его о счастии, которое его ожидало, но в то же время, опасаясь невыносимой глупости своего товарища, Ушаков строго приказал ему не пускаться ни в какие объяснения, а как только великая княгиня покажется в павильоне, приступать сразу к делу. Это вполне подходило под способности Линева. Великая княгиня пришла, и всё обошлось по указаниям Ушакова. Можно полагать, что великая княгиня осталась довольной, потому что свидания ее с Линевым стали повторяться.

Но оттого ли, что Ушаков, будучи в восторге от

успеха своего замысла, поверил эту тайну некоторым друзьям или что вообще шила в мешке не утаишь, только в обществе офицеров эти свидания вскоре огласились. Толстой (Американец), отъявленный повеса, вздумал удостовериться в справедливости дошедшей до него новости, и для этого в один прекрасный вечер он отправился гулять взад и вперед по алее, которая вела к известному павильону. Не прошло и получаса, как оттуда вышли великая княгиня и Линев. В темноте Линев не мог узнать Толстого, но все-таки, завидя офицера, бросился в кусты и притаился. Толстой, как бы ничего не замечая, подошел к кусту и к самому Линеву. Линев сидел на корточках, едва дыша и закрыв лицо руками; он не тронулся с места и не выдал себя даже в ту минуту, как с безоблачного неба вдруг пролился на него целый поток»{175}.[14]

Другой мемуарист, и, надо сказать, гораздо более авторитетный, Александр Михайлович Тургенев, сподвижник Сперанского, служивший как на военной, так и на гражданской службе, близкий друг Жуковского и Вяземского, был убежден, что красавец-кавалергард только «принял на себя звание любовника великой княгини» — «без сомнения, за деньги и с уверением в безнаказанности». «Заказчиком» комедии, по мнению Тургенева, был сам великий князь Константин — компрометация супруги необходима была ему для того, чтобы развязать себе руки. Тургенев состоял с Линевым в дальнем родстве и знал его лично. «Презреннейший Линев, — писал Тургенев, — получив отставку, поехал в чужие края. Вероятно, по договору с великим князем Линев покинул Россию, чтобы показать, что Анна Федоровна, будучи страстно влюблена в него, требовала, чтобы он находился при ней. Но я имею достовернейшие сведения о том, что Линев никогда не смел появляться перед великой княгинею. В России все были уверены, что Линев — любовник великой княгини Анны Федоровны. Но ничего нет несправедливее в мире этой клеветы»{176}.

Возможно, Константин Павлович действительно нуждался в освобождении от супруги, потому что и сам был влюблен.

Летом 1800 года в Ровно, где великий князь проводил военные учения (оттуда-то и явилась сабля, с которой он спустя полгода отправился вслед за Зубовым в роковую мартовскую ночь), Константин познакомился с польской княжной Еленой Любо-мирской и полюбил очаровательную польку без памяти. Память настолько изменила великому князю, что он даже сделал

Любомирской предложение выйти за него замуж, словно позабыв, что женат. Но любовь осталась безответной. Княжна не отвечала Константину на его чувства, которые не угасали еще по меньшей мере полгода — всю осень 1800-го и зиму 1801 года Константин писал Елене нежные письма, полные обожания и тоски{177}.

Впрочем, не оставлял своим вниманием великий князь и супругу: в конце 1800 года Анна Федоровна отяжелела. Больше других радовался Павел, ему давно уже хотелось внука. Но в начале марта 1801 года, за восемь дней до гибели императора, Анна Федоровна родила мертвого младенца. Государь и тут заподозрил заговор, еще и по этой причине посадив великих князей под арест — до тех пор, «пока не поправится княгиня»{178}. В связи с известными обстоятельствами великие князья освободились из-под ареста намного раньше, а смерть Павла Петровича принесла освобождение и Анне Федоровне. Получив известие о болезни матери, герцогини Августы, великая княгиня попросила позволения ее навестить. Император Александр согласился, не возражал и Константин Павлович. Летом 1801 года Анна Федоровна отправилась в Кобург[15], чтобы уже не вернуться в Россию.

Прощай, князь Косенькин,
Я покорилась в свою землю!{179}

Великая княгиня поселилась в старинном замке Шатле де ля Буасьер в Женеве — в той самой стране, в которой Константин мечтал когда-то прожить с ней «целые месяцы». Здесь у нее родилось двое внебрачных детей: отцом сына Эдуарда, появившегося на свет 28 октября 1808 года, стал мелкий французский дворянин Жюль де Сенье; дочь Луиза Хильда Агнесса д'Обер была рождена в 1812 году от Рудольфа Абрахама де Шиферли, швейцарского профессора и хирурга. Девочку официально удочерил французский беженец Жан Франсуа Жозеф д'Обер, она умерла совсем рано — в 1837 году. В 1814 году Анна Федоровна приобрела неподалеку от Берна большое поместье. Живописный парк, окружавший замок, так поразил великую княгиню своей красотой, что она дала замку имя — Эльфенау («луг эльфов»). Эльфенау стал местом собраний иностранных дипломатов; русские путешественники, среди которых были и Жуковский, и Чаадаев, и Александр Тургенев, также считали долгом засвидетельствовать великой княгине свое почтение, находя в ней и привлекательность, и живой ум.

Константин Павлович об отъезде супруги сожалел. Он бы не возражал, живи она неподалеку, пусть даже в том же доме,

присутствие ее не нарушало его привычек. Он готов был временами с нею видеться, выезжать — но лишаться жены совершенно было как-то обидно. Дважды он посещал великую княгиню в Швейцарии, просил вернуться; она, разумеется, не захотела. В 1838 году Анна Федоровна вновь переехала из-под Берна в Женеву и прожила здесь до самой смерти, последовавшей в 1860 году. Великая княгиня искренне желала, чтобы мир забыл о том, чьей супругой она когда-то являлась: когда в 1843 году в Швейцарии проходила перепись населения, Анна Федоровна назвалась графиней фон Ронау, протестанткой и вдовой. Но биография ее была хорошо известна, и чиновник приписал на опросном листе: «Grossfurstin Konstantin» — «великая княгиня Константин»{180}. Анна Федоровна умерла глубокой, но бодрой старушкой, оплакиваемая десятками бедняков кантона, о которых она трогательно заботилась до конца своих дней.

Только пять лет своей долгой жизни Анна Федоровна провела в России, но ее здесь отнюдь не забыли. В 1808 году в среде скопцов появилась самозванка, выдававшая себя за супругу Константина, великую княгиню Анну, а заодно и за Богородицу. Скопцы ей охотно верили. При ближайшем рассмотрении самозванка оказалась купчихой из города Лебедяни, Ириной Николаевной Голевой. Свою духовную карьеру Голева закончила в 1831 году, в остроге.

Анна Федоровна оставила след и в русской культуре — в начале XIX века в России охотно пели романс «Звук унылый форто-пьяно». Особую притягательность песне придавал аромат запретности, про романс шепотом передавали, что сочинен он был «знаменитой особой» — именно такая пометка стояла под песней в сборнике 1818 года. Как доказывает фольклорист Н.Е. Онучков, под знаменитой особой подразумевалась сама Анна Федоровна, горько жалующаяся на свою несчастную судьбу и неверного супруга.

Звук унылой форто-пьяно,
Выражай тоску мою:
Я люблю, хотя и рано,
Облегчи тоску мою…
Где же клятва? Все презренно:
Верность, честность, долг, любовь,
Но поступком сим пронзенна
Сохраню я святость слов.
Судья правый,
Бог хранитель,
Внемли сердца томный глас,

Вод и суши сотворитель,
Взгляни с трона ты в сей час[{181}].

Как видим, Анна Федоровна предстает здесь образцом супружеской чистоты — она-то в отличие от мужа сохраняет «святость слов» — очевидно, слов «клятвы» верности, даваемой супругами друг другу.

Романс перепечатывался в разных песенниках 27 раз, что свидетельствует о его бурной популярности. Не раз поминается он и в литературных произведениях — от «Пошехонской старины» Салтыкова-Щедрина до повести Тараса Шевченко «Несчастный»; позднее авторы исторических романов (Дмитрий Мережковский, Марк Алданов, Юрий Тынянов) использовали его как выразительную виньетку, представляющую эпоху.

Вероятно, не одна мелодия и слова, но и красивая легенда привлекала исполнителей и слушателей. Невинное страдание всегда вызывало в русском сердце умиление, тем более что в одном из вариантов романса вместо довольно смутного «хотя и рано» стояло гораздо более ясное «люблю тирана», возможно, элиминированное как слишком опасное. Понятно, что немка, учившая русский всего несколько лет, вряд ли могла сочинить такие складные и грамотные стихи. Истинный автор слов остался неизвестен; как предполагает Онучков, это вполне мог быть кто-то из близкого окружения Анны Федоровны, сочинивший романс специально под конкретную ситуацию. Если версия с автором из близкого круга верна, не следует исключать и того, что сама великая княгиня действительно могла напевать его в минуты печали.

Вместе с тем к моменту первой публикации песни в 1818 году Анны Федоровны уже 17 лет как не было в России, так что либо песня до этого жила в устном виде, либо была сочинена уже после отъезда великой княгини и сочинитель не имел к супруге Константина ни малейшего отношения. Занятно, что вторую часть романса — молитвенное обращение к Всевышнему — раскольники пели наряду с псалмами.

Интерес к Анне Федоровне проявился однажды и в православной духовной среде. В июле 1852 года в Усманский женский монастырь Тамбовской губернии вкатилась большая тяжелая карета. В карете сидела опрятная семидесятилетняя старушка, с которой ехал, между прочим, и серый говорящий попугай в клетке. «Жила приезжая в монастыре совершенно уединенно, скромно, тихо, никуда не показывалась, даже в церковь ходила только по большим праздникам; работала,

молилась дома, очень успешно лечила всех, монашкам тонко предсказывала будущее. Обладала приятной наружностью, изящными манерами, была чрезвычайно чистоплотна, говорила совершенно правильно по-русски, с еле заметным немецким акцентом; по-немецки изъяснялась прекрасно. По ее собственным словам, она странствовала 13 лет пешком, 8 лет была в Иркутском монастыре, которым управляла, полгода была в Мариинской больнице (в Петербурге), в схиму была пострижена в Старом Иерусалиме. В схимнической одежде никогда не ходила, только всегда в белом апостольнике, и, по-видимому, носила вериги… Про себя она говорила разно, по-видимому, нарочно путая: “Я господская, вольноотпущенная”. Другим говорила: “Я арестантка”. Третьим: “Муж мой печник, печи делает и не служит”. Некоторые монахини от нее слыхали: “Муж мой знаменитого роду, и я тоже не простая. После венца просила мужа дать мне три дня покоя, муж не согласился, и я ушла от мужа в самый день свадьбы и долго должна была скрываться от его преследования. Семь дней пробыла на необитаемом острове, с которого взял меня английский пароход и отвез в Иерусалим, там я жила семь лет, вернулась в Россию с волчьим билетом и живу по монастырям…” Белье у ней было тонкое, полотняное, с царскими гербами. После ее смерти остался между прочим имуществом золотой наперсный крест с надписью: “Царевна Анна”»{182}.

В жадной до таинственных превращений духовной среде все эти загадочные детали были истолкованы без труда: в старице сейчас же разглядели великую княгиню Анну Федоровну. Любопытным образом преломляются в легенде и сложные отношения Анны Федоровны с супругом, вызывающие в памяти ключевые эпизоды из жития Алексия, человека Божия, — побег после свадьбы, преследования, безвестность…

Старице Анне было в 1852 году около семидесяти лет, реальной Анне Федоровне исполнился 71 год — уж не заехала ли великая княгиня и в самом деле в русские края инкогнито, скромной странницей — вспомнить молодость, помолиться у великих русских святынь? Предположение увлекательное, однако слишком пахнущее падкой до чудес Русью, а не прохладно-просвещенной Европой, и потому, разумеется, невероятное. Как невероятна и продолжительность народной памяти, не забывшей о женщине, мелькнувшей в истории русского двора быстрой и слабой тенью. Нет сомнений: великая княгиня Анна Федоровна стала героиней легенд благодаря своей необычной судьбе — несчастному замужеству, расставанию с мужем, отъезду в «чужие край» и разводу. Случай был исключительный: история царской

фамилии не знала разводов со времен Петра I.

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

Радость освобождения от отцовского гнета быстро достигла у Константина эйфории. Впрочем, безнаказанность цесаревича поддерживало не только отсутствие грозного отца, но и ощущение вины, которое испытывал император Александр. После убийства Павла Александр стал вечным заложником, в том числе и Константина Павловича, который хорошо знал, какую роль сыграл старший брат в гибели отца, и теперь всегда мог намекнуть государю, кто из них двоих истинный нарушитель закона и отцеубийца. Александру оставалось потворствовать брату во всем.

По глухим упоминаниям современников, в Мраморном дворце творилось невообразимое. Одна история вырвалась наружу и получила огласку. «В первые годы царствования Александра одна из его (Константина. — *М. К.)* оргий сопровождалась плачевными последствиями, — рассказывает графиня Эдлинг о нравах в Мраморном дворце великого князя. — Публика приходила в ужас, и сам государь вознегодовал до того, что повелел нарядить самое строгое следствие, без всякой пощады его высочества: так именно было сказано в приказе. Однако удалось ублажить родителей потерпевшей жертвы и, благодаря посредничеству императрицы-матери, постарались покрыть случившееся забвением. Но общество не было забывчиво, и великий князь, не лишенный прозорливости, читал себе осуждение на лицах людей, с которыми встречался»[183]. Другой мемуарист, Н.И. Греч, выражается гораздо прямее: «В Петербурге жила молодая вдова португальского консула Араужо, и жила немножко блудно. Однажды поехала она в гости к придворной повивальной бабушке, Моренгейм, жившей в Мраморном дворце, принадлежавшем великому князю Константину Павловичу, осталась там необыкновенно долго и, воротясь домой в самом расстроенном положении, вскоре умерла. Разнеслись слухи, что она как-то ошибкой попала на половину великого князя и что он с помощью приятелей своих, адъютантов и офицеров, изнасильничал ее самым злодейским образом. Слух об этом был так громок и повсеместен, что правительство публичным объявлением приглашало всякого, кто имеет точные сведения о образе смерти вдовы Араужо, довести о том до сведения правительства. Разумеется, никто не явился»[184].

Декабрист В.И. Штейнгель рассказывает эту историю несколько иначе: «Это была самая гнусная история, омрачившая начало царствования Александра. Араужо был придворный,

ювелир, жена которого славилась красотою. Константин-цесаревич, пленясь ею, чрез посредников сделал ей оскорбительное предложение. Она отвечала явным презрением. Летом 1803 года, в один день под вечер, за ней приехала карета, будто бы от ее больной родственницы. Когда она сошла и села в карету, ее схватили, зажали ей рот и отвезли в Мраморный дворец. Там были приготовлены конногвардейцы… Она потом отвезена была к своему крыльцу, и когда на звон колокольчика вышли ее принять, кареты уже не было. Несчастная Араужо, бросившись почти без чувств, могла только сказать: “я обесчещена!” и умерла. На крик мужа сбежалось множество: свидетельство было огромное! На другой же день весь Петербург узнал об этом. Произошел общий ропот. От имени государя, огорченного в высшей степени, прибито было ко всем будкам столицы на 24 часа объявление, которым приглашались все, кто знает хотя малейшее обстоятельство из этого гнусного происшествия, прямо к императору, с уверением в обеспечении от всякого преследования сильных. Составлена была комиссия под председательством старца гр. Татищева, который всячески отказывался; но уговорили и, наконец, дело повернули так, что по *подозрению* генер<ала> Боура, любимца Константина, выключили из службы»[{185}].[16]

Наконец, по версии графа Ф.П. Толстого, цесаревич настойчиво добивался благосклонности вдовы, но получал отказ — так как сердце ее принадлежало близкому приятелю Константина, человеку с репутацией кутилы и подлеца, генералу Бауру, который свою возлюбленную цесаревичу легко уступил. Но она отчего-то пожелала сохранить верность генералу и на просьбы цесаревича не поддалась. Константин отомстил упрямице по-своему. Далее почти все детали совпадают — вдова была приглашена в Мраморный дворец после обеда, а ночью ее привезли домой в наемной карете почти бездыханной. Вскоре женщина скончалась[{186}].[17]

Разговоры о свершенном злодеянии шли настолько громкие, что Александр вынужден был назначить целых два расследования, в результате которых обнаружилось, что «жена купца» госпожа Араужо посещала в роковой день исключительно генерала Баура, после чего и скончалась от апоплексического удара, а никаких следов насилия на теле покойной обнаружено не было. 30 марта 1802 года в Петербурге была расклеена специальная афиша, напечатанная в Сенатской типографии и подробно излагающая выводы следствия[{187}]. Сам факт ее появления — случай беспрецедентный в истории российской юриспруденции, что скорее всего косвенно подтверждает

виновность Константина Павловича. Иначе император не был бы так заинтересован в пресечении нежелательных слухов и не стал бы выпускать специального «объявления».

Впрочем, мы уже никогда не узнаем в точности, какова была степень участия Константина в этой истории. Современный исследователь недаром видит в ней все признаки «городской легенды»{188} — слишком много деталей в рассказах мемуаристов не совпадают: госпожа Араужо именуется то вдовой португальского консула, то супругой придворного ювелира, то женой купца, а злодейский поступок приписывается то Константину и его клевретам, то исключительно его свите, действовавшей самостоятельно.

Но даже если многое в этом происшествии легендарно и вина за смерть госпожи Араужо полностью лежит на совести известного своими мерзостями Баура, имя госпожи Араужо надолго оказалось связано с именем цесаревича, и недоброжелательное отношение к нему сохранялось в русском обществе еще многие годы. Статс-секретарь Марии Федоровны Григорий Иванович Вилламов в дневниковой записи за 1807 год пересказывает свою беседу с императрицей. На вопрос Марии Федоровны, «изменилось ли мнение в публике о великом князе Константине и говорят ли лучше на его счет», Вилламов отвечает, что о нем по-прежнему «судят неодобрительно»{189}.

И это было действительно так. 30 января 1807 года скончался кавалергардский офицер Алексей Яковлевич Охотников, состоявший в романтических отношениях с императрицей Елизаветой Алексеевной. Согласно сложившейся уже значительно позже легенде, молва обвинила в его смерти великого князя Константина, который, желая пресечь отношения кавалергарда с женой брата, якобы подослал убийцу, ударившего Охотникова кинжалом при выходе из театра. Охотников скончался спустя некоторое время от полученных ран. Как показывают Е.Э. Лямина и О.В. Эдельман, эпизод с ударом кинжала вряд ли достоверен: иначе сохранились бы свидетельства современников на этот счет, хотя бы потому, что нападение на представителя аристократии в центре Петербурга — случай беспрецедентный. Но анекдот сложился, очевидно, уже после смерти императора Николая I, когда все свидетели умерли, и носил «очевидную направленность против Константина»{190}.

Впрочем, сам Константин о репутации своей заботился мало и жил себе по-прежнему. В начале 1800-х годов он вновь влюбился в полячку, княгиню Жанетту Антоновну Четвертинскую, фрейлину, уже несколько лет жившую при дворе, родную сестру фаворитки Александра, Марии Антоновны Нарышкиной.

Четвертинская великого князя не любила, однако замуж за него пойти соглашалась — из расчета[191].

Великий князь снова просил у Марии Федоровны позволения развестись с Анной Федоровной и жениться на Четвертинской. Вдовствующая императрица отвечала, что согласится на развод лишь в случае, если великий князь выберет себе невесту из немецкого владетельного дома[192]. В конце концов Жанетту тоже пришлось забыть.

В 1806 году на горизонте цесаревича появилась госпожа Жозефина Фридерикс, ставшая его постоянной спутницей и заменившая ему законную супругу на долгие годы.

Судьба Жозефины любопытна. Француженка по происхождению, урожденная госпожа Лемерсье[193], в 14 лет она поступила приказчицей в модную парижскую лавку мадам де Террей, где поражала покупателей расторопностью и выразительным взглядом своих черных глаз. Один из посетителей магазина, богатый и уже немолодой английский лорд, был пленен проворной Фифин настолько, что рискнул обратиться к хозяйке с несколько необычным предложением. Он увезет Фифин в Лондон, даст ей хорошее образование и воспитание, с тем чтобы затем на ней жениться! Хозяйка обратилась к родителям девочки, и те после некоторых колебаний согласились. Так ли безнадежно было их материальное положение, чтобы отдавать дочь в руки незнакомому человеку, — неизвестно.

Английский лорд поначалу сдержал свои обещания. Жозефина была отдана в английский пансион, где и получила хорошее воспитание. В 18 лет, окончив учебное заведение, она поселилась в квартире, снятой ее покровителем. Как часто посещал он эту квартиру и с какой целью, остается лишь гадать; слишком трудно удержаться от очевидного предположения, но для того, чтобы утвердиться в нем, у нас нет никаких оснований. При Жозефине была служанка, исполнявшая все ее просьбы и заодно бывшая ее негласной надзирательницей, но это девушку ничуть не смущало; она жила, как пташка, ездила в театры и оперу, вкусно ела, мягко спала, как вдруг лорд умер. Умер, так и не успев исполнить последнюю часть своего проекта — жениться. Фифин осталась одна, без связей, без друзей, в уютной квартире, за которую вскоре надо было внести очередной взнос, окруженная множеством красивых, дорогих и вполне бесполезных вещей.

Девушка переехала в квартиру поскромнее, рассталась с частью безделушек и, одевшись, как подобает настоящей леди, благо гардероб у нее был образцовый, вновь начала ездить в театр, регулярно прогуливалась по улицам — в надежде познакомиться с достойным молодым человеком и составить его

счастье. Отчаянные попытки выйти замуж ничем не кончались, Фифин натыкалась лишь на предложения вполне недвусмысленные и с негодованием отвергала их.

Внезапно девушке посчастливилось. Русский немец, прибывший в Лондон из Петербурга по казенной надобности, полковник и флигель-адъютант, барон Фридерикс, в надежде на состояние Жозефины, о котором он мог судить по роскошным нарядам, хорошему воспитанию и неясным намекам девушки, предложил ей руку и сердце. Они обвенчались по католическому обряду, но, проведя вместе несколько счастливых недель, вынуждены были расстаться — неотложные дела требовали барона в Россию. Он обещал написать молодой супруге немедленно по приезде и вызвать ее к себе. Жозефина осталась ждать. Шли дни, недели, наконец, месяцы, от барона не было никаких известий. Тогда, прожив всё, что у нее было, доведенная до крайности, госпожа Фридерикс отправилась в Россию на поиски исчезнувшего мужа.

Барон рассказывал ей, что служит в Петербурге, и госпоже Фридерикс удалось напасть на его след… Но, о ужас! Полковник и флигель-адъютант Фридерикс оказался не полковником, а всего лишь фельдъегерем Фридрихсом, действительно русским немцем (хоть в этом он не солгал), который жил, однако, не в большом доме с лакеями, но в большой казарме. Mit Soldaten…[18]

По описанию его внешности после долгих расспросов госпожа Фридерикс совершенно убедилась в том, что ее блестящий полковник и грубый, нищий фельдъегерь — одно и то же лицо. На свое счастье, обманщик отсутствовал в ту драматическую минуту в Петербурге.

В конце концов супруги встретились. Им было что сказать друг другу. Оба выдавали себя не совсем за то, чем являлись на самом деле. Один женился на богатой невесте из хорошей семьи, другая вышла замуж за полковника. Теперь выяснилось, что в объятия друг к другу их толкнули бедность и авантюризм. Любви здесь не оставалось места. Жить госпоже Фри-дерикс было негде, но оставаться рядом с таким мужем она не желала. Судьба на время освободила ее от этой обязанности — однажды на улице Петербурга она случайно повстречала госпожу де Террей, хозяйку того самого модного магазина в Париже, в котором юной Фридерикс когда-то довелось работать. Госпожа с трудом, но узнала в красавице Фифин! Теперь мадам де Террей держала магазин одежды в Петербурге, на французов в России завелась большая мода. Некоторое время Фифин прожила в ее доме, но вскоре госпоже понадобилось уехать в Москву. В сопровождении она не нуждалась. Жозефина снова осталась одна. Единственным

человеком, к которому она могла пойти, был ненавистный муж. Некоторое время они опять жили вместе, но грубость нрава и обращения Фридрихса были слишком невыносимы для Фифин. Ссоры, скандалы, слезы и полная безвыходность.

Что было делать, к кому взывать о помощи? Возможно, Жозефина вспомнила лорда, который был к ней так добр, и теперь не желала для себя ничего иного, кроме подобного же щедрого покровительства и спокойной жизни в уютных, пусть и нанятых комнатах. Возможно, она наслушалась историй о том, как милостива бывает некая высокопоставленная особа ко всем обездоленным и несправедливо обиженным, а может быть, эти истории были совсем иного рода. Как бы то ни было, на одном из маскарадов Жозефина бросилась в ноги великому князю Константину, запинающейся, слегка картавой скороговоркой изложила ему все кошмарные обстоятельства загубленной жизни, весь обман и зло, которые обрушились на ее хрупкие плечи, моля о защите. «Роста среднего, с темно-русыми, почти черными волосами, зачесанными по современной моде маленькими кудрями на лбу, она… имела лицо неправильное; маленький носик, несколько вздернутый, губы тонкие, всегда улыбающиеся, цвет лица чистый, слегка румяный, придавали ей большую миловидность; но главную ее прелесть составляли глаза, большие, карие, с выражением необыкновенной доброты и осененные длинными черными ресницами»{194}.

Знала ли она, на что шла? Трудно предположить, что нет.

Константин Павлович воспринял жалобы как истинный кавалергард, который никогда не берет с женщин денег, и вскоре Жозефина навсегда забыла о нужде. Она стала спутницей Константина на долгие годы, по меньшей мере на 14 лет (их встреча произошла около 1806 года, окончательно расстались они в 1820-м). Вскоре миловидная госпожа Фридерикс обнаружила необыкновенную веселость и легкость характера, часто смеялась, непринужденно болтала и, в отличие от Анны Федоровны, с удовольствием участвовала в первобытных затеях своего нового покровителя, самой невинной из которых была травля новой возлюбленной собачкой, сопровождавшаяся соответствующим случаю дамским визгом{195}. Похоже, отчасти Жозефина выполняла роль девки и шутихи при барине — роль незавидную, но сытую и, кажется, ничуть ее не тяготившую. Цесаревич обещал со временем на ней жениться и действительно вел переговоры с императором и Марией Федоровной, вновь пытаясь добиться разрешения на развод, но по-прежнему безуспешно.

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ

24 марта 1808 года у Жозефины и Константина родился сын, названный в честь покойного деда Павлом. Злые языки шептали, что мальчик не великокняжеский, виня цесаревича в бесплодии{196}. Подтвердить, равно как и опровергнуть подобные слухи всегда сложно. Великий князь признал новорожденного своим, был искренне к нему привязан, дал ему превосходное образование и обеспечил карьеру — стал бы цесаревич возиться так с чужим, пусть и сыном своей любовницы? Учитывая природное добродушие Константина, и этого вовсе исключать не следует.

Поначалу мальчика записали Павлом Константиновичем Линдстремом{197} — эту фамилию носил лейб-медик Константина. Узнав о прибавлении, император Александр захотел было сам стать крестным родителем племянника, а в крестные матери предложил великую княгиню Екатерину Павловну, но ввиду пикантных обстоятельств «для соблюдения приличия» от этой мысли отказался, хотя в дальнейшем наградил племянника фамилией, происходящей от императорского имени. От купели младенца принял близкий друг Константина, полковник конногвардейского полка Николай Дмитриевич Олсуфьев, без крестной матери решили обойтись — церковные законы это позволяли. Крестины прошли 5 апреля, тихо и без лишней огласки, обряд совершил протоиерей придворной церкви Мраморного дворца отец Симеон Ласкин, который тоже обещал молчать. В метриках младенца состарили на неделю, записали, что он родился 1 апреля, а крещен был 5-го. Сделано это было, кажется, сознательно, но зачем понадобилось — бог весть; во всяком случае, когда сыну исполнилось 20 лет, Константин попросил, чтобы ошибку исправили{198}.

Государь пожаловал госпоже Фридерикс бриллиантовые серьги, которые Константин Павлович и вручил счастливой матери{199}. В 1812 году император повелел дать мальчику другую фамилию, Александров, и даровал ему дворянское достоинство; спустя еще четыре года его мать также стала русской дворянкой по имени Ульяна Михайловна Александрова{200}.

Судя по всему, Константин был нежным отцом. В одном из писем тому самому лейб-медику Линдстрему, что подарил младенцу первую фамилию и заботился о здоровье Павла Константиновича, цесаревич пишет: «Поцелуйте Павлика от меня и скажите ему, что нет на дню такой минуты, когда бы я не думал

о нем и о его доброй прекрасной матери, которую я люблю всем сердцем»[201].

По свидетельству воспитателя Павла Константиновича, графа Мориоля, в 13 лет мальчик был груб, вздорен, тщеславен, ленив и невежествен, несмотря на даваемые ему уроки[202]. Упоминания о Павле Александрове встречаются и в донесениях Куруты Константину Павловичу — по тону и оценкам они противоположны заключениям Мориоля. Как правило, Курута сообщает великому князю о некоторых событиях из жизни сына — вот Павел Константинович уехали с нянькой на несколько дней в гости, вот у Павла Константиновича заболело горло и доктор прописал ему «вместо габер супу скушать котлетку», вот мальчик ездил смотреть с княгиней Лович скакуна[203]. Однажды Курута позволяет себе замечание и о нраве Павла Константиновича: «… мягкость и благонамеренность характера, кротость нрава и послушание и покорность к приставникам; следовательно, чего желать? Дай Бог, чтобы воспитатели и детоводители исполняли в полной мере свои обязанности; неусыпный с их стороны надзор может получить желанный успех, а благонравие и точность в исполнении их обязанностей соделают дражайшего Павла вам достойным!»[204]Казалось бы, ясно — угодник и хитрец пытается доставить своему господину приятные минуты.

Однако из Павла Константиновича, похоже, вырос действительно добрый малый, пусть, судя по воспоминаниям, и не блещущий остротой ума. В 1823 году Александров поступил в лейб-гвардию Подольского кирасирского полка, спустя шесть лет стал флигель-адъютантом императора Николая, в 1831 году сражался против восставших поляков, в награду за отвагу в сражениях под Гроховым и Вильной получил орден Святого Владимира (4-й степени), золотую шпагу с надписью «За храбрость» и чин ротмистра. Павел Константинович дослужился до генерал-адъютанта, на досуге собирал фамильные портреты и гравюры, в ровном и благопристойном поведении не обнаруживая не малейшего сходства с эксцентричным Константином Павловичем.

Сохранились две «памятные книжки» Павла Константиновича, за 1833 и 1843 годы. Записки эти отчасти выдают ровность дыхания их автора. «21/2 февр. В 10 ч. был у Государя, и он поздравил и благословил меня на свадьбу. Потом был у Вел. Кн. Все утро у княгини Щербатовой. Обедал дома. После обеда у кн. Щербатовой. Вечер на бале у Кочубея»[205]. В 1833 году государь Николай Павлович благословил Павла Константиновича на свадьбу с княжной Анной Александровной Щербатовой; близились события волнующие, однако и о

предстоящей свадьбе, и о посещении своей невесты сообщается тоном столь же бесстрастным, что и о принятой серной ванне: «29/11 июля. Встал в 7 ч. В 10 ч. поехал в Петергоф. Завтракал с Государем после обедни. Воротился в 10 ч. и взял 18-ую серную ванну. Лег в 11 ч».

Завидная невозмутимость. Возможно, вызванная требованием жанра: «памятная книжка» не предполагает излияния чувств. Но не исключено, что Александров действительно ровно относился к невесте.

Во всяком случае за год до свадьбы он попал в довольно щекотливое положение. Уже после смерти Константина Павел Александров влюбился в княжну Софью Александровну Урусову, отличавшуюся редкой красотой, и начал ухаживать за ней. Софья Александровна была фавориткой Николая, но Александров этого не ведал. Влюбленность племянника императора обрадовала — он был не прочь выдать Урусову замуж, а партия с Александровым его совершенно устраивала. Однако Павел Константинович, узнав от доброжелателей, чьим невольным соперником явился, сейчас же прекратил ухаживания и зачастил к Александрии Федоровне Опочининой. О браке сына с Александрии, дочерью Федора Петровича Опочинина, к тому времени ставшего придворным шталмейстером, шутливо мечтал еще Константин Павлович. Александрии тоже была к Павлу Константиновичу вполне расположена, если не более. Но тут-то и состоялся знаменательный разговор, во время которого Николай ясно дал понять своему Опочинину, какой свадьбы желал бы он сам. «Дорогой друг, — сказал, в передаче Доли Фикельмон, император, — не скрою от вас, что я люблю княжну Урусову превыше всего и что это то супружество, которого я желаю для Александрова. Но подождем полгода, пусть юноша за это время решит, какая из двух особ ему больше подходит, и если его выбор не падет на княжну, я предпочитаю, чтобы его избранницей стала ваша дочь, чем какая-либо иная»[{206}]. После этого разговора Опочинин отказал Александрову от дома. Александрии едва не повредилась в рассудке, а Павел Константинович в конце концов женился на княжне Щербатовой, в которой современники отмечали миловидность, но не ум. На пышной свадьбе император и императрица были посаженными родителями жениха, однако выглядел названый сын не слишком веселым.

С годами Павел Константинович так и не изменил себе. Дыхание его осталось ровным, образ жизни — прежним. «12/14 июля. Встал в 7 ч. В 10 ч. поехал в г. Петергоф. Был у развода и обедни. Обедал в Монплезире. Возвратился домой в 11 ч. и лег спать»[{207}], — записывал он уже в 1843 году. «Брал 22-ую серную

ванну. Лег спать в 11 часов». «Дежурный по полку», «дежурный у государя», «вечер в Аничковом дворце», «французский театр на Каменном острову»… Так и текла жизнь. Правда «у меня» сменилось на «у нас», появились новые лица, новые родственники, в 1836 году у Павла Константиновича родилась дочь Александра.

Со временем Александра Павловна вышла замуж за флигель-адъютанта, а затем и шталмейстера двора его величества князя Дмитрия Александровича Львова. В 1863 году, когда Павла Константиновича уже не было на свете (он умер в 1857 году), она родила сына Александра, прозванного с годами «огненным князем» — после двух пожаров в поселке Стрельна тогда совсем еще юный Александр Дмитриевич увлекся тушением пожаров. В своей усадьбе, построенной еще отцом неподалеку от дворца Константина, он возвел первое в Стрельне здание пожарной части с каланчой и собрал команду добровольцев «тушилыциков», вместе с которой погасил в Стрельне и окрестностях десятки пожаров. Внук Павла Константиновича даже фотографироваться любил в золотой пожарной каске, преподнесенной ему благодарными жителями Стрельны. В 1893 году «огненный князь» стал председателем новообразованного Российского пожарного общества….Впрочем, мы слишком забежали вперед. Вернемся во времена, когда ни Павла Константиновича, ни огнеборца-внука еще не было на свете.

ДЕЛА ВОЕННЫЕ

Летом 1802 года Константин переехал в отремонтированную Стрельну. Дворец доделывался на его глазах, но в конце 1803 года случился пожар, о котором мы уже упоминали, и от прежнего великолепия остались угли. За полгода Стрельну восстановили, и в июле 1804-го Константин снова поселился в своей резиденции. Со временем третий этаж дворца заняла госпожа Фридерикс.

В подвалах располагались конюшни, на первом этаже — лазарет, аптека, гауптвахта и штаб адъютантов, во флигеле — целый арсенал, который великий князь собирал с детства. Тут висели и крошечные богато разукрашенные сабельки, которые давным-давно ему дарила бабка, и взрослое оружие с дарственными надписями и вензелями.

В стрельнинском парке находился пчельник с ульями всех сортов, в том числе с диковинными стеклянными — из Франции. Гостей, приезжавших в Стрельну, обязательно угощали липовым чаем и местным медом. Но потом пчелы повывелись, скорее всего им не понравилась пальба, которая здесь не смолкала. Братия расположенной неподалеку от Стрельны Троицесергиевой пустыни тоже сильно страдала от военных упражнений цесаревича, которым он предавался даже по ночам.

Пока молодой царь вместе с «Негласным комитетом» вершил судьбы России — объявлял амнистию, открывал границы, разрешал свободный ввоз иностранных книг и товаров, реформировал органы государственной власти и народное просвещение, мысли Константина по-прежнему были сосредоточены на «игре в солдатики». Государь старался угодить вкусам брата, а потому привлекал его к занятиям ему близким.

24 июня (6 июля) 1801 года в Петербурге была учреждена воинская комиссия, главой ее Александр назначил Константина. Комиссия должна была заняться реорганизацией военных сил — определить число войск по разным родам, количество людей в полку и роте, решить вопросы продовольствия, обмундирования, содержания артиллерии и в итоге сократить расходы на армию. То была родная для цесаревича стихия: мелкие уточнения, поправки, подсчеты, таблицы, никаких потрясений и реформ — комиссия предложила приписать полки к постоянным квартирам, распределить войска по четырнадцати инспекциям, прибавить к пехоте мушкетерский и егерский полки… Попутно Константин учреждал при кавалерийских полках запасные эскадроны и полуэскадроны (приказ от 21 декабря 1803 года), усиливал состав

лейб-казачьего полка (приказ от 17 февраля 1804 года), составил устав о лагерной службе. В марте 1804 года император учредил совет о военных корпусах, председателем которого тоже стал цесаревич, — совет занялся созданием губернских военных училищ и преобразованием кадетских корпусов. Но еще до того, зимой 1803 года, у великого князя завелась новая военная игрушка.

В зимний Петербург приехал красавец и молодец граф Пальфи, австрийский уланский офицер, прикомандированный к австрийской миссии в столице. Самым заметным достоинством графа была военная форма. «Уланский мундир в обтяжку сидел на нем бесподобно, и все дамы и мужчины заглядывались на прекрасного улана. Уланский австрийский мундир был усовершенствованный старинный польский уланский наряд, с той разницей, что куртка с тыла была сшита колетом и не имела на боках отворотов, что она и панталоны были узкие, в обтяжку, и шапка была красивой формы, как нынешние уланские шапки, а при шапке был султан»{208}.

Константин Павлович был очарован изяществом чудесного мундира с первого взгляда. Являясь генерал-инспектором кавалерии, он испросил у императора позволения сформировать особый конный полк, по образцу австрийского, и назвать его уланским. В это время как раз формировались Белорусский и Одесский гусарские полки, причем средства, отпущенные на обмундирование последнего, еще не были израсходованы. И вместо гусарского Одесского в свет явился Уланский Его Императорского Высочества Цесаревича и Великого князя Константина Павловича полк. Цесаревич стал шефом полка, а командиром назначил одного из лучших кавалерийских офицеров, генерал-майора и барона Меллера-Закомельского. Штаб был устроен в Киевской губернии, в местечке Махновка, там же за неимением казарм в домах обывателей расположились и уланы. В Махновку приехали петербургские и австрийские ремесленники и портные, чтобы помочь новому войску правильно обмундироваться. Уланских шапок с галунами и белыми султанами из перьев, эполет и этишкетов в русских лавках не было — шапки делали галицийские мастера, остальное изготовлялось на фабрике. Из Петербурга в Махновку то и дело приезжали курьеры его высочества, везя в полк деньги и офицерские вещи. Сам Константин тоже посещал местечко несколько раз.

Анекдот

«Великий князь цесаревич Константин Павлович (по рассказу покойного артиста [Сосницкого]) однажды был так доволен его игрою в роли гусарского офицера (причем Сосницкий танцевал мазурку), что по окончании пьесы пришел на сцену, расцеловал артиста и со свойственной своей живостью сказал:

— Сосницкий! Если б только моя воля. Да я бы, братец, тебя за твою игру да за мазурку… в штаб-ротмистры произвел! Хочешь ко мне в уланы?»[19]

К весне 1804-го полк был окончательно сформирован, одет, обут и усажен на крепких донских скакунов, которых подарил его высочеству атаман Войска Донского граф Матвей Иванович Платов. Вскоре, правда, оказалось, что донским красавцам тяжело уланское седло с вьюком и пистолетами, лошадь приседала и отказывалась идти галопом. Это были издержки. Когда платовских лошадей поубивали в сражении, уланы пересели на других, более подходящих.

Пять офицеров и пять унтер-офицеров из новенького полка, сплошь молодцов, цесаревич взял с собой в столицу для обучения тонкостям кавалерийского дела. На улице вокруг уланов собирались толпы, дивящиеся на необычную форму, синие шапки с петушиными султанами, красные воротники; на вахтпарадах от уланов невозможно было оторвать глаз, цесаревич возил своих нарядных подопечных и в частные дома. Вскоре уланский мундир вошел в моду. Многие гвардейцы стали проситься к цесаревичу в полк, но великий князь всем отказывал, не желая, чтобы «старшие», то есть тертые гвардейцы, сели «на голову» младшим — уланам.

В Махновке тем временем начались эскадронные учения. Однако мирным военным упражнениям суждено было продолжаться недолго. Все разговоры и в обществе, и в казарме велись только о политике — одни хотели с французами мира, другие говорили о союзе с Англией, мечтали о деле и надеялись, что война с Наполеоном вот-вот будет объявлена. В ночь с 20 на 21 марта по приговору французского военного суда был казнен принц Бурбонского дома, герцог Энгиенский — якобы за организацию заговора на жизнь Наполеона. В Европе поднялась антибонапартовская буря, особенно мощная в России, молодые люди вступали в новообразуемые полки и ежедневно ждали приказа выступить за границу.

ЖРЕБИЙ БРОШЕН

2 декабря 1804 года состоялась пышная коронация Наполеона, первый консул Бонапарт превратился в наследственного императора французов. В Париже несколько дней продолжались празднества, сияли иллюминации, играла музыка, гремел салют — но и в дни триумфа Наполеон знал, что формирование антифранцузской коалиции идет полным ходом. К осени 1805 года в нее входили Швеция, Англия, Австрия и Россия.

Лето 1805 года прошло в приготовлениях к войне. Русские войска сосредоточивались на границе и в августе выступили за ее пределы, торопясь на помощь австрийцам. 3 августа уланы двинулись из Махновки в Брест-Литовск, а оттуда через Радом и Краков — на Троппау к Ольмюцу. В середине августа из Петербурга вышла и гвардия под командованием Константина Павловича. В сентябре вслед за братом отправился император Александр. Наполеон тоже не терял времени. Узнав, что австрийцы вступили в Баварию, он немедленно пошел им навстречу и вскоре вынудил капитулировать 28-тысячную армию генерала Макка. Оставшиеся части австрийского войска были разбиты, уничтожены или взяты в плен. Наполеон двинулся к Вене.

Наступил день печального для союзной армии сражения, состоявшегося в 120 километрах от Вены, рядом с деревней Аустерлиц. День 20 ноября 1805 года выдался солнечным. «В 8 часов утра русские двинулись к нападению на французов, по составленной с вечера диспозиции. Наполеон стоял на кургане и смотрел на движение русских… Видя, что русские исполняют движение, которое он предвидел, а именно тянутся на правый фланг французской армии, Наполеон не мог скрыть своей радости и воскликнул: “Попались в мои руки! (lis sont a moi!)”».

Так и было. Попался и Константин Павлович со своей гвардией и Уланским полком, одетым как для парада, — сам цесаревич был в нарядной каске и колете. По диспозиции, соединившись с австрийским отрядом князя Лихтенштейна, гвардия цесаревича должна была составлять резерв правого крыла, но Лихтенштейн опоздал, и гвардия оказалась на первой линии, лицом к лицу с неприятелем. Великий князь повел гвардейцев назад, к деревне Блазовицы, там по диспозиции должны были стоять русские, однако французы, диспозицию не читавшие, уже вытеснили их оттуда и открыли по русской гвардии пушечный огонь. Тут прибыл наконец и Лихтенштейн с отрядом. Цесаревич обрадовался ему как родному, на радостях

прискакал к Уланскому полку, поздоровался с солдатами, а генерала Меллера-Закомельского обнял и поцеловал.

— Ребята! — прокричал Константин солдатам. — Помните, чье имя вы носите! Не выдавай!

— Рады умереть! — выдохнули ребята.

Вот она, суворовская школа, быстрота и натиск, личная преданность предводителю, отцу родному. Умирать за кого-то всегда легче. У великого князя, тоже в полном согласии с суворовскими заветами, и мысли не было о том, чтобы пожалеть людей, — на то и война, чтобы убивать и быть убитым. И всё же зоркий суворовский глаз, как правило, видел, когда гибель солдат обеспечит желанную победу — принесенные им жертвы редко оставались без плода. Константин послал уланов не только на верную смерть, но и на верный проигрыш.

«С криком *ура!* стремглав понесся Уланский его высочества полк за генералом своим и офицерами, которые скакали перед фронтом. Французская кавалерия, хотя и превосходная числом, обратилась в тыл, проскакала через интервалы, между батальонами пехоты, и построилась за пушками. Уланы бросились на пехоту и, невзирая на жестокий ружейный огонь, пробились через нее. Французская пехота побежала направо и налево и выстроилась, и артиллерия, стоявшая за пехотою, встретила улан картечью. И это не удержало геройского порыва полка! Уланы смело поскакали на пушки и стали рубить французских артиллеристов. Дошло до ручной схватки. Ротмистра Ганемана, замахнувшегося саблею на одного из них и нагнувшегося, другой артиллерист сбил с лошади ударом банника в голову. Некоторые уланы даже соскакивали с лошадей и с саблею в руке бросались на артиллеристов. Ожесточение равнялось мужеству. Но при атаке пехоты и при картечных выстрелах сжатый фронт Уланского полка расстроился, и уланы сражались или поодиночке, или малыми толпами, а кроме того, донские лошади, не способные вовсе к мундштуку, закусив удила, занесли множество улан в средину неприятелей. Видя, что уланы уже не могут опереться фронтом, Келлерман бросился на них с тремя отличнейшими полками французской конницы — и уланы должны были обратиться в тыл. Тут приняла их с обоих флангов ружейным огнем та самая пехота, через которую они прежде проскакали, и Уланский полк совершенно расстроился»[20].

Расцелованный великим князем Егор Иванович Меллер-Закомельский сражался с отменной храбростью, был ранен в грудь и едва не убит — Владимирский крест уберег его от неминуемой гибели, пуля скользнула по металлу. На раненого полководца налетели французские гусары и взяли его в плен

вместе с несколькими офицерами, защищавшими генерала до последней минуты. Константин Павлович отвел остатки гвардии за Раусницкий ручей. Началось всеобщее беспорядочное отступление. Сражение было проиграно. Вместо веселого парада и молодецкой победы вышли бойня и конфуз. Из тысячи улан домой не вернулась даже половина. За храбрость полк наградили особой военной наградой — 24 серебряными трубами с орлами, но затмить позора поражения это никак не могло.

Константин Павлович вернулся в Петербург. Началось комплектование поредевшего Уланского полка, и к следующей войне с французами полк был уже в полном порядке. На этот раз, правда, в нем оказалось множество поляков и малороссов. Когда уланы шли с новым походом по Петербургской губернии, крестьяне прятали от них детей — пронесся слух, что чудища-уланы кушают младенцев — причиной тому были невиданный прежде уланский наряд и их дурной русский язык.

16 ноября 1806 года вышел манифест о новой войне с французами. 30 ноября был издан манифест об учреждении милиции. «По поводу милиции всюду были назначены областные начальники, отправлены генералы, сенаторы для обмундирования и наблюдения за порядком, вооружением ратников и так далее»[21]. Главное же, в милицейских отрядах, набираемых из крестьян, уже тлел будущий пламень народной войны, это была словно бы репетиция предстоящей партизанской войны с Бонапартом. «Военная деятельность охватила всю Россию. Эта деятельность была несколько платоническая; она мало дала знать себя врагу на деле, но могла бы надоумить его, что в народе есть глубокое чувство ненависти к нему и что разгорится она во всей ярости своей, когда вызовет он ее на родной почве и на рукопашный бой», — замечал П.А. Вяземский[22].

Формированием батальона императорской милиции из собственных крестьян императорской фамилии занялся и Константин Павлович. Почти все солдаты были чухонцы, командовать ими великий князь назначил корпусных офицеров и выпускников кадетских корпусов, которым пришлось для этого выучить финский. В военном зале стрельнинского дворца проходили смотры милицейских отрядов. И в кампании 1807 года чухонцы не подвели; милицейский батальон сражался до того храбро, что был включен в гвардию и стал основой лейб-гвардии Финляндского полка.

По приказу Александра гвардия выступила из Петербурга 13 февраля 1807 года и зашагала по Рижскому тракту. Стояли морозы, боевой дух мерзнущего войска поддерживал военный оркестр, трубачи трубили марши. Константин Павлович, по-

прежнему возглавлявший гвардию, шел с родным Уланским полком, был бодр, весел, шутил с офицерами и солдатами, приказал выдавать офицерам порционные (то есть столовые, предназначенные на обед) деньги из собственного кармана. Офицеры денег не брали, хватало пока своих, но когда порционных накопилось до семи тысяч, отдали их израненному в Аустерлицком сражении товарищу, бедному отцу семейства. Узнав об этом, великий князь прослезился и прижал к сердцу полкового командира, добрейшего полковника Чаликова, а в его лице — весь полк[23].

Однако поход был снова неудачен для русских и союзников, на этот раз пруссаков, которых русские солдаты недолюбливали за немецкую скупость и спесь. В сражении под Гейльсбергом русские потерпели сокрушительное поражение.

Главнокомандующий русской армией Беннигсен отправил Константина Павловича в Тильзит к императору с докладом об истинном и весьма бедственном положении дел. Великий князь настоятельно советовал брату заключить мир, он лично убедился, какие огромные потери терпит русская армия, и притом впустую[24]. Александр колебался. Условия мира не были для России унизительны, однако русский император мыслил себя освободителем Европы от корсиканского самозванца, ему же предлагали вступить с самозванцем в переговоры… Но пришло сообщение о новом поражении русских при Фридланде. Положение сделалось угрожающим, деваться было некуда.

Произошла знаменитая встреча императоров на реке Неман, 27 июня 1807 года был подписан мир. Константин находился в свите Александра, так же, как брат, обнял Наполеона, улыбался ему и не скрывал своего восхищения перед военным гением французского императора. Он обменялся с Наполеоном шпагами, с почтительностью принял ленту Почетного легиона — орден, которым французский император наградил цесаревича и еще нескольких человек из русской свиты.

Александр и Наполеон по очереди обедали друг у друга, ходили под руку. Александру было горько, но он свою горечь умело скрывал. Константин вздыхал с облегчением. Война кончалась, а значит, кончались и неудачи, поражения, гибель сотен и тысяч людей. То самое войско, та самая гвардия, уланы, о которых он пекся денно и нощно, для которых рисовал эскизы формы, кому распределял довольствие, на кого орал в часы учения, кому ссуживал деньги из собственного кармана, кого за провинности отправлял на гауптвахту и от всего сердца прощал, — словом, его любезные дети превращались в пушечное мясо.

Анекдот

«Несчастные наши войны с Наполеоном грустно отозвались во всем государстве, живо еще помнившем победы Суворова при Екатерине и при Павле… Когда узнали в России о свидании императоров, зашла о том речь у двух мужичков. “Как же это, — говорит один, — наш батюшка, православный царь, мог решиться сойтись с этим окаянным, с этим нехристем? Ведь это страшный грех!” — “Да как же ты, братец, — отвечает другой, — не разумеешь и не смекаешь дела? Разве ты не знаешь, что они встретились на реке? Наш батюшка именно с тем и велел приготовить плот, чтобы сперва окрестить Бонапартия в реке, а потом уже допустить его пред свои светлые царские очи»[25].

СТРЕЛЬНИНСКИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

30 августа (11 сентября) 1807 года Константин был назначен генерал-инспектором всей кавалерии. В 1808-м вошел в состав Комитета для образования воинских уставов, который работал вплоть до войны 1812 года и подготовил первую часть Пехотного устава и Устав эскадронного учения[26], составленный непосредственно великим князем.

Похоже, именно в это время в Константине Павловиче совершился перелом — он окончательно разлюбил войну. «Война портит войско!» — теперь это была любимая его поговорка. Отныне он хотел для себя лишь славы блестящего организатора армии, составителя законов и правил, которым армия должна подчиняться, репутации отца солдатов, наконец, — но только не лавров победителя-полководца, отдающих кровью и тлением разлагающихся на поле сражения трупов. Нет, нет и нет. Константин Павлович вернулся в Стрельну и с удовольствием занялся своим любимым военным делом — таким невинным и мирным, пока пушки стреляют вхолостую. Унылые мелочи, коими переполнена жизнь военного администратора, его не тяготили, скучное однообразие парадов только веселило — и сердце, и глаз цесаревича устали от пестроты и тяжести военных впечатлений.

Служилось под его началом по-прежнему трудно. Цесаревич был вспыльчив, непредсказуем, во гневе страшен, несправедлив, окружающих уважал мало. Уважение к человеку — это было из какой-то совсем другой, европейской, просвещенческой, либералами сочиненной оперы; Константин же шагал в ритме русской солдатской песни, знавшей всего два чувства — любовь и страх. Из первой следовала слепая покорность, из второго вытекало нерассуждающее послушание. Офицер есть не что иное, как машина.

Слух

> *«По слухам, великий князь отхлестал, как школьника, молодого прапорщика Перейру, обрусевшего датчанина, который в течение месяца без позволения отсутствовал из своего отряда и уже был разжалован по суду в солдаты. Он помиловал его. В обществе возбуждение вследствие такого проявления суровости, чему дворянство придает особое значение, считая, что не может быть самоличных наказаний»*[{209}].

Относительно спокойно было лишь самому ближайшему кругу — адъютантам, которые прощали своему начальнику всё, исполняя любые его прихоти, поддерживая самые странные его затеи, ничему не дивясь. Адъютант цесаревича Николай Дмитриевич Олсуфьев{210}, храбрый полковник, преданный подчиненный, умевший гасить гнев Константина незамысловатой шуткой, умерший раньше других, в 1817 году, в чине генерал-майора. Друг сердечный, Федор Петрович Опочинин, в котором Вяземский отмечал «и тонкость, и сметливость, и наблюдательность», а также шутливость и ум «совершенно русской складки и русского содержания»{211}. Константин Павлович, в котором, по выражению Вяземского, тоже била «чисто русская струя», любил Опочинина за живую беседу и рассказы, на которые тот был неистощим. Федор Петрович сделал отличную карьеру, долгие годы являлся членом Государственного совета, дослужился до действительного тайного советника. Наконец, маленький, плотный Дмитрий Дмитриевич Курута, более верный раб, чем друг, умный и хитрый, тот самый вышедший из «греческого проекта» чистокровный грек, до сих пор в конце писем Константину прибавляющий словечко-другое по-гречески, *«апо один кардион»* — «от всего сердца». Ближайшее окружение кое-как приспособилось к нраву великого князя, но получалось это далеко не у всех, многие службой в Уланском полку, когда-то казавшейся привлекательной и праздничной, тяготились.

Не только в трудном характере Константина Павловича заключалось тут дело. Служить в Стрельне было еще и отменно скучно — в стрельнинской слободе, состоявшей из убогих лачуг, располагался всего один трактир, куда и собирались любители метнуть банк и пропустить чарку-другую. А рядом был Петербург, желанный, но почти недоступный — ездить в столицу позволялось лишь с личного разрешения Константина Павловича, по получении специального билета, подписанного его высочеством. «Это-то обстоятельство и служило всегдашним камнем преткновения для молодых офицеров. Проситься в Петербург можно было только по очереди и то в свободное время и не слишком часто — обстоятельства, которым молодежь подчинялась не без труда, тем более что жажда удовольствий магнитом притягивала к столице: то на русском театре дают озеровско-го “Эдипа в Афинах” — трагедию с хорами, балетами и сражениями, то примадонна Манджолетти поет в итальянской опере, то чудная красавица Данилова танцует в волшебном балете, то маскарад у Фельета или бал в знакомом доме. Все это влекло сердца и мысли к Петербургу; и вот, отслужив день, уланская молодежь на тройках мчалась к вечеру “в город”, часто

без спроса. Удалось — превосходно, нет — на гауптвахту!»

Особенно велика в то время у молодых повес была страсть к так называемым «гросс-шкандалам» с немцами. «Петербургские бюргеры и ремесленники любили повеселиться со своими семействами в трактирах на Крестовском острове, в Екатерингофе и в Красном Кабачке. Уланская молодежь ездила в эти места как на охоту. Начиналось обыкновенно с того, что заставляли дюжих маменек и тетушек вальсировать до упаду, потом подпаивали мужчин, наконец, затягивали хором песню: “Freu't euch des Lebens”[27], упирая на слова “Pflucke die Rose”[28], — и пошло волокитство, а в конце концов обыкновенно следовала генеральная баталия с немцами. После кутежа всю ночь напролет уланские тройки разлетались в разные стороны, и к девяти часам утра ночные повесы, как ни в чем не бывало, все уже присутствовали на разводе, кто в Петербурге, кто в Стрельне, в Петергофе, в Гатчине. Через несколько дней обыкновенно приходили в полк жалобы, и виновные тотчас же сознавались по первому спросу, кто был там-то. Лгать было стыдно, да и цесаревич не переносил никакой лжи и презирал лжецов. На полковой гауптвахте частенько-таки бывало тесно от арестованных офицеров»{212}.

Одним из постоянных стрельнинских проказников был Фаддей Булгарин, известный литератор, прославившийся приятельством с Грибоедовым и сотрудничеством с Третьим отделением. Булгарину служить в Уланском полку цесаревича было несладко. «Однажды с дежурства по эскадрону в Стрельне он (Булгарин. — *М. К.)* махнул, без спросу, в Петербург, чтоб потешиться в публичном маскараде; заехал к одному товарищу, адъютанту цесаревича, жившему в Мраморном дворце, нарядился амуром в трико, накинул на себя форменную шинель, надел уланскую шапку и спускался по задней лестнице. Вдруг увидел перед собой цесаревича.

— Булгарин?

— Точно так, ваше высочество.

— Ты, помнится, сегодня дежуришь, да что ты закрываешься? — вскричал великий князь, сбросил с него шинель и увидел амура с крылышками и колчаном. — Хорош! Мил! Ступай за мной.

Сошли с крыльца. Цесаревич посадил его к себе в карету и привез на бал к княгине Четвертинской, взял за руку и ввел в залу, наполненную бомондом.

— Полюбуйтесь! — сказал он хозяйке и гостям. — Вот дежурный по караулам в Стрельне. Вон, мерзавец! Сию минуту отправляйся к полковому командиру под арест!

Амур, пристыженный, одураченный, удалился при общем хохоте. Дело кончилось арестом, но последствия его не прекращались. Цесаревич при всяком случае напоминал шалуну его дерзость и взыскивал с него более, чем с других»{213}.[29]

История случилась в первой половине 1808 года. Булгарин до того измучился служить у Константина, что написал на начальника сатиру. История сохранила лишь три первые ее строки:

Трепещет Стрельна вся, повсюду ужас, страх.

Неужели землетрясенье?

Нет! нет! великий князь ведет нас на ученье{214}.

Эпизод, сильно напоминавший конфуз с Булгариным, случился и с другим офицером в те же стрельнинские времена, и опять, несмотря на обычную свою импульсивность, цесаревич был не совсем не прав.

Анекдот

«Великий князь Константин Павлович, до переселения своего в Варшаву, живал обыкновенно по летам в Стрельне своей. Там квартировали и некоторые гвардейские полки. Одним из них, кажется, конногвардейским, начальствовал Раевский (не из фамилии, известной по 1812 году). Он бьш краснобай и балагур; был в некотором отношении лингвист, по крайней мере обогатил гвардейский язык многими новыми словами и выражениями, которые долго были в ходу и в общем употреблении, например: пропустить за галстук, немного подшофе *(chaufe),* фрамбуаз *(framboise — малиновый) и пр. Все это по словотолкованию его значило, что человек лишнее выпил, подгулял. Ему же, кажется, принадлежит выражение:* в тонком, *то есть в плохих обстоятельствах. Слово* хрип *также его производства; оно означало какое-то хвастовство, соединенное с высокомерием и выражаемое насильственною хриплостью голоса. Великий князь забавлялся шутками его. Часто во время пребывания в Стрельне заходил он к нему в прогулках своих. Однажды застал он его в халате. Разумеется, Раевский бросился бежать, чтобы одеться. Великий князь остановил его, усадил и разговаривал с ним с полчаса. В продолжение лета несколько раз заставал он его в халате, и мало-помалу попытки облечь себя в мундирную форму и*

извинения, что он застигнут врасплох, выражались всё слабее и слабее. Наконец стал он в халате принимать великого князя, уже запросто, без всяких оговорок и околичностей. Однажды, когда он сидел с великим князем в своем утреннем наряде, Константин Павлович сказал: "Давно не видал я лошадей. Отправимся в конюшни!"— "Сейчас, — отвечал Раевский, — позвольте мне одеться!" — "Какой вздор! Лошади не взыщут, можешь и так явиться к ним. Поедем! Коляска моя у подъезда ". Раевский просил еще позволения одеться, но великий князь так твердо стоял на своем, что делать было нечего. Только что уселись они в коляске, как великий князь закричал кучеру: "В Петербург!" Коляска помчалась. Доехав до Невского проспекта, Константин Павлович приказал кучеру остановиться, а Раевскому сказал: "Теперь милости просим, изволь выходить!" Можно представить себе картину: Раевский в халате, пробирающийся пешком сквозь толпу многолюдного Невского проспекта.

Какую мораль вывести из этого рассказа? А вот какую: не должно никогда забываться пред высшими и следует строго держаться этого правила вовсе не из порабощения и низкопоклонства, а напротив, из уважения к себе и из личного достоинства»{215}.

На фоне этих домашних бурь вершились события исторические. В 1809 году после недолгой войны со Швецией Российская империя присоединила к себе Финляндию в качестве автономного Великого княжества Финляндского со своим сеймом и конституцией. Автономность княжества часто нарушалась, но финны, в отличие от поляков, никогда не восставали. В апреле 1812 года Россия заключила со Швецией союз, к которому вскоре присоединилась и Англия.

С 1806 года тянулась Русско-турецкая война. О воцарении Константина в Царьграде речи уже не заходило. Несмотря на успехи русских войск, войну никак не удавалось закончить, сил разбить турок недоставало, пока в 1811 году командование армией не принял опытный Михаил Илларионович Кутузов. Вскоре турецкая армия была окружена и капитулировала, в мае 1812 года был наконец заключен выгодный для России Бухарестский мирный договор — теперь в случае войны с «корсиканским чудовищем» Россия была избавлена от необходимости воевать на два фронта, а Наполеон лишался ста тысяч турецких солдат, которых надеялся использовать для похода.

ФЕЛЬДЪЕГЕРЬ

Слухи

> *«Недаром, — говорят простолюдины, — прошлого года так долго ходила в небесах невиданная звезда; недаром горели города, села, леса и во многих местах земля выгорала: не к добру это всё! Быть великой войне!»*{216}

В декабре 1809 года Наполеон попросил у Александра Павловича руки его младшей сестры, великой княгини Анны Павловны: брак с особой русского императорского дома избавлял Наполеона от сильного и опасного противника. Французский император получил вежливый отказ — под предлогом молодости пятнадцатилетней невесты. И сейчас же начал переговоры о браке с дочерью австрийского императора Франца I, эрцгерцогиней Марией Луизой; уже 11 марта 1810 года в Вене состоялось торжественное бракосочетание Наполеона и Марии Луизы, вернее же — Франции и Австрии.

Россия начала готовиться к войне с французами; переговоры Александра с Наполеоном в Эрфурте отодвинули войну на четыре года, но не отменили ее. Звезда пугала всех неспроста, пожары пылали недаром — гроза приближалась. Потеснив Аракчеева, пост военного министра занял деятельный Барклай де Толли — он начал преобразование и усиление русской армии, на западных границах строились новые крепости, пополнялись арсеналы, проводились дополнительные наборы, после которых армия увеличилась почти вдвое. В марте 1812 года Барклай был назначен главнокомандующим 1-й Западной армией.

На счету Константина Павловича к 1812 году было уже четыре военные кампании: две удачные, две окрашенные горечью поражения. Великий князь навоевался, и после Тильзита оставался горячим сторонником мира с Наполеоном. Величественные замыслы Александра сокрушить непобедимого корсиканца казались Константину безумием и самоубийством. Военный гений Бонапарта и ослеплял, и восхищал, и страшил цесаревича, лишая воли к сопротивлению, — Константин не сомневался, что новое столкновение с французами закончится сокрушительным разгромом русских. Слишком хорошо он помнил аустерлицкий позор и спокойные прогулки с французским императором по Тильзиту. Константин убеждал

Александра вернуться на прежний путь договоров, предлагал себя в качестве посла мира и действительно готов был лично ехать к Наполеону для переговоров. Но Александр, как и весь российский народ, смотрел на дело иначе. «Мой друг! настают времена Минина и Пожарского! Везде гремит оружие, везде движутся люди! Дух народный, после двухсотлетнего сна, пробуждается, чуя угрозу военную»{217} — так выражал настроения эпохи Федор Глинка, офицер, публицист и будущий поэт.

Увы, Константин предпочитал бы от сна не пробуждаться. Миг всеобщего подъема, величия духа, всероссийского торжества, победы и ликования в судьбе нашего героя отзывается сумрачным провалом. Когда война все-таки началась, Константин естественно принял в ней участие, однако за что ни брался, всё немедленно разваливал и портил.

Цесаревич был назначен командующим пятым корпусом 1-й Западной армии Барклая. В корпус входили две пехотные, одна гвардейская, одна гренадерская и одна кирасирская дивизии. Кирасирской командовал генерал Н.И. Депрерадович, гвардейской — А.П. Ермолов. В начале 1812 года корпус цесаревича выступил в поход из Петербурга и остановился в Свенцянах и Видзах Виленской губернии. Полумиллионная наполеоновская армия двигалась к границам России. После перехода Наполеона через Неман в ночь с 11 (23) на 12 (24) июня Барклай приказал начать отступление к Витебску, затем к Смоленску. В русских войсках слышался ропот — отступать казалось стыдно. Цесаревич возмущался действиями главнокомандующего громче всех и только распалял страсти. За бестактные разговоры Барклай отправил оппозиционера из Витебска в Москву, отправил под благовидным предлогом — Константин должен был лично доложить государю о планах главнокомандующего и «на словах» рассказать о положении русской армии{218}.

Понимая, что присутствие Константина в армии создает Барклаю ненужные трудности, Александр хотел поручить брату формирование конного полка в Москве. Цесаревич обещал исполнить эту задачу в две недели, что означало только одно: годные люди и лошади будут забираться, невзирая на слезы, возражения и мольбы. Московский генерал-губернатор Ф.В. Ростопчин встревожился — подобная беспардонность сулила ему только неприятности в ситуации и без того накаленной и беспокойной. И попросил государя занять цесаревича чем-нибудь другим. Тогда Александр предложил Константину взяться за организацию нижегородского ополчения, но тот отказался и попросился в армию. Император, видимо, уже понимая, что

Барклаю все равно не устоять, согласился.

Армия Наполеона слишком превосходила силы русских; не только сражаться с ней лоб в лоб, но даже вести оборонительную войну было невозможно. Еще в 1810 году, вскоре после назначения на пост военного министра, Барклай представил государю записку «О защите западных пределов России», где предлагал «избрать… оборонительную линию, углубляясь внутрь края по Западной Двине и Днепру», то есть вести с Наполеоном «скифскую войну», избегать с ним прямых сражений, в которых корсиканцу не было равных, заманивать его всё глубже в центр страны с непривычным для его солдат суровым климатом, бездорожьем и отсутствием продовольствия. Идея не была личным изобретением Барклая, похожие рекомендации звучали и со стороны штабного офицерства и военной разведки{219}. Александр согласился с доводами министра, и впоследствии именно записка «О защите западных пределов России» стала основой военного плана 1812 года.

Но когда солдаты наполеоновской армии зашагали по русской земле, император дрогнул. Опасался он не того, что план Барклая не сработает. Александра тревожило брожение в народе и в армии, которое должно было возникнуть неизбежно. Первые возмущенные голоса и обвинения Барклая в измене действительно раздались очень быстро, причем в военной среде. В Смоленске собрался военный совет, который буквально принуждал Барклая к наступательным действиям. Среди самых активных сторонников наступления был Константин Павлович. Генерал Ермолов, тоже активно интриговавший против Барклая, пишет о Константине на военном совете в самых хвалебных тонах: «Я в первый раз, в случае столь важном, видел великого князя и не могу довольно сказать похвалы как о рассуждении его, чрезвычайно основательном, так и о скромности, с каковою предлагал он его, и с сего времени удвоилось мое к нему почтение»{220}.

Невзирая на давление и интриги, Барклай продолжал придерживаться отступательной стратегии. Руки у него были по-прежнему связаны, он оставался главнокомандующим лишь 1-й Западной армией. 3-ю возглавлял генерал Тормасов, а 2-й командовал главный соперник Барклая, Багратион. Авторитет Багратиона в русской армии был непререкаем, его обожали и генералитет, и солдаты, военную карьеру его навсегда освятили походы с Суворовым, который особенно выделял и любил Петра Ивановича. Багратион и в самом деле был прекрасным боевым генералом, хотя серьезно уступал Барклаю в образованности и уме. Оппоненты Барклая, среди которых были генералы Н.Н.

Раевский, Д.С. Дохтуров, М.И. Платов, братья Тучковы, давно пытались добиться того, чтобы единым главнокомандующим армией стал Багратион, но попытки их терпели неудачу. Тогда генералы обратились за помощью к Константину Павловичу.

Неприязнь цесаревича к главнокомандующему была известна. Краткая высылка в Москву, завершившаяся, впрочем, возвращением в главную квартиру, только усилила в нем антибарклаевский пыл. В дни, когда горел Смоленск, Константин Павлович утешал несчастных жителей старинным способом — указывал на крайнего. «Что делать, друзья! — вздыхал великий князь. — Мы не виноваты. Не допустили нас выручить вас. Не русская кровь течет в том, кто нами командует. А мы, и больно, но должны слушать его! У меня не менее вашего сердце надрывается!»{221}

Вполне естественно, что противники Барклая воззвали именно к великому князю — и Константин с удовольствием взялся за дело. После очередного бурного совещания с оппозиционно настроенной генеральской партией цесаревич воскликнул: «Курута, поезжай за мной!» — вскочил на лошадь и поскакал к Барклаю. Передаем слово А.Н. Муравьеву, бывшему в тот день дежурным адъютантом великого князя. «За ним (Константином. — *М. К.)* последовали его адъютанты и я, как на этот день дежурный при нем. Поскакали мы за ним к Барклаю и застали его в открытом сенном сарае, откуда он осматривал местность и отдавал приказания. День был жаркий, мы около полудня прискакали к Барклаю и слезли с лошадей. Константин Павлович без доклада взошел к нему со шляпой на голове, тогда как главнокомандующий был без шляпы, и громким и грубым голосом закричал… “Немец, шмерц, изменник, подлец, ты продаешь Россию, я не хочу состоять у тебя в команде. Курута, напиши от меня рапорт к Багратиону, я с корпусом перехожу в его команду”, и сопровождал эту дерзкую выходку многими упреками и ругательствами. Константин Павлович, натешившись бранью и ругательством и не получив ни слова в ответ, сел опять на лошадь и поехал домой, и мы за ним; дорогою он с насмешкою говорил: “Каково я этого немца отделал!”»{222}.

Кто кого отделал, стало ясно два часа спустя. Константин получил от Барклая конверт с предписанием сдать корпус и выехать из армии. Цесаревич вынужден был повиноваться. Гвардейский артиллерист И.С. Жиркевич писал, что после встречи с Барклаем великий князь «рвал на себе волосы и сравнивал свое положение с должностью фельдъегеря»{223}. 10 августа Константин поскакал в Петербург, чтобы взять реванш и склонить императора к отставке Барклая{224}. Цесаревич

беспокоился напрасно — решение о назначении главнокомандующим человека с русской фамилией давно уже было принято царем. Известие о том, что место Барклая займет один из самых умудренных и опытных генералов армии светлейший князь М.И. Кутузов, застало Константина на пути в Петербург.

На подъезде к столице он встретил Кутузова, спешащего в армию, и рассказал ему об общем положении русских войск. А чуть раньше на дорогах войны увидел Константина адъютант нового главнокомандующего, Александр Иванович Михайловский-Данилевский, который тоже направлялся в действующую армию. «Я никогда не забуду впечатления, — вспоминал молодой адъютант Кутузова, — которое произвело на меня следующее зрелище на станции Тосна, близ Новгорода. Приехав туда довольно поздно вечером, я увидел множество народа, стоявшего около одного дома в величайшем молчании, и на вопрос мой, что это значило, мне показали спавшего под навесом сего дома на соломе Константина Павловича, возвращавшегося из армии в Петербург. Он был завернут в серую шинель, спокойствие и вместе с тем горесть изображались на бледном лице его; вблизи никого не было видно из свиты его, и только скромная коляска, запряженная четырьмя лошадьми, стояла неподалеку. Вид внука Екатерины, спавшего на соломе, меня поразил; но усладительно было смотреть на заботливость народа, вокруг него собравшегося, обнаружившего оную безмолвием и телодвижениями, чтобы не нарушать покоя его. Добрые ямщики, с коими я говорил, изъяснили мне в самых сильных выражениях неограниченную преданность свою к императорскому дому»[225].

Есть в этой сцене что-то провидческое — Константину предстояло пережить еще немало скитаний, в скитаниях он и умер.

Пока же, приехав в Петербург, Константин Павлович, по воспоминаниям сильно недолюбливавшей его императорской фрейлины графини Р.С. Эдлинг, «только и твердил, что об ужасе, который ему внушало приближение Наполеона, и повторял всякому встречному, что надо просить мира и добиться его во что бы то ни стало. Он одинаково боялся и неприятеля, и своего народа и, ввиду общего напряжения умов, вообразил, что вспыхнет восстание в пользу императрицы Елизаветы. Питая постоянное отвращение к невестке своей, тут он вдруг переменился и начал оказывать ей всякое внимание, на которое эта возвышенная душа отвечала лишь улыбкою сожаления»[226].

Графиня Эдлинг обвиняла Константина в трусости, замечая,

что «в виду опасности» он терялся так, что его «можно было принять за виновного или умоповрежденного»{227}. Графиня судит предвзято, на поле боя она не бывала, мы же знаем, что во многих сражениях цесаревич проявлял и отвагу, и проницательность хорошего военного тактика. Тем не менее утратить мужество в решительную минуту великий князь тоже мог, это тоже было в его характере, и нам еще предстоит убедиться в этом. Посему в роковых для русского народа событиях 1812 года цесаревич не принимал участия. Он присоединился к войскам лишь тогда, когда началось отступление французской армии и победа России в войне стала делом решенным. Как утверждает графиня Эдлинг, до своего выезда в армию Константин находился в Твери у великой княгини Екатерины Павловны. Этому, однако, противоречат камер-фурьерские журналы, в которых отъезд Константина из Петербурга в эти месяцы не зафиксирован — вероятнее всего, великий князь провел их в столице{228}. Тверь же он посетил еще до войны, зимой 1811 года, пробыв там всего десять дней{229}.

1812-й, 1813-й, 1814-й

В день Рождества Христова 1812 года Александр издал знаменитый манифест об окончании Отечественной войны и изгнании захватчиков из российских пределов: «Объявленное нами при открытии войны сей свыше меры исполнилось: уже нет ни единого врага на лице земли нашей, или лучше сказать, все они здесь очутились, но как? — мертвые, раненые и пленные! Сам гордый завоеватель и предводитель их едва с главнейшими чиновниками своими отселе ускакать мог, растеряв все свое воинство и все привезенные с собою пушки»{230}.

Дальше можно было не воевать, отправиться на зимние квартиры, сбросить с плеч увесистые ранцы, отдохнуть и, наконец, согреться. На таком сценарии особенно настаивал Кутузов — он считал задачу исполненной, войну оконченной и за пределы России идти не хотел. Константин совершенно разделял мнение главнокомандующего и желал мира{231}. Александр не сомневался в необходимости продолжить военные действия. Он понимал, что остановиться на русской границе, прекратить преследование Наполеона значит лишь затянуть войну. Поражение в России только раззадорило французского императора, и это было очевидно — не успев закончить одну кампанию, Наполеон уже готовился к новой и собирал войска. Александр не знал этого доподлинно, но был в этом убежден. А потому освобождение Европы от власти Наполеона должно было стать полным. И освободителем Европы будет он, русский православный император.

Константин Павлович нагнал армию 16 (28) декабря. Это было уже в Вильне. Не успев явиться перед русскими войсками, цесаревич — по язвительному определению Николая Тургенева, «закоренелый капрал» — немедленно доказал, что не слишком изменился за месяцы, проведенные вдали от армии. Как известно, зима 1812 года выдалась необычайно морозной. «Воины, встреченные императором и великим князем на границе, были одеты и обуты так, как того требовали длинные утомительные переходы и суровость времени года. Учитывая особенности службы и климата, именно так их и следовало бы одевать всегда; их форма должна до некоторой степени походить на одежду крестьян. Смотря на проходивший мимо гвардейский Егерский полк, покрывший себя славой во время кампании, великий князь Константин был оскорблен видом этих солдат; особенно его покоробила, кажется, их грубая и неуклюжая обувь. Он был также недоволен нестройностью рядов и не мог удержаться от

негодующего восклицания: “Эти люди только и умеют, что сражаться!”»[232].

1 (13) января 1813 года, отслужив молебен, русские войска во главе с Кутузовым и Александром перешли Неман, а спустя десять месяцев, после победы русских при Лейпциге, Наполеон отступил за Рейн. Ровно через год «первого генваря мы перешли парадом Рейн в Базеле, и громогласное “ура!”, произнесенное войсками на мосту, ведущему через реку сию, возвестило, что мы наконец вступили во Францию, цель нашего похода, где в сердце владычества Наполеона должно было нанести ему последний удар»[233].

Миг торжества настал — на этот раз не без участия Константина. Он отважно сражался и в августе 1813 года под Дрезденом, и в Битве народов под Лейпцигом получил золотую шпагу «За храбрость» и орден Святого Георгия 2-й степени, смело и умно руководил своими войсками в сражении под деревней Фер-Шампенуаз. Конногвардейский и лейб-драгунский полки под командованием цесаревича произвели блестящую атаку, отбили у неприятеля шесть пушек, а кавалергарды и уланы — семнадцать[234]. Историки признали эту атаку одной из самых замечательных в истории Наполеоновских войн.

Позднее, когда петербургские купцы и дворянство пожелали дать в честь приехавшего в столицу Константина бал, великий князь отказался, пожелав, чтобы собранные на бал средства были отданы на лечение русских солдат, раненных в сражении при Фер-Шампенуаз и взятии Парижа. Государь «в ознаменование благоразумных распоряжений и отличного мужества», явленного его высочеством в сражении при Фер-Шампенуаз, всемилостивейше пожаловал Константину «золотой палаш, алмазами украшенный, с надписью времени и места, на коем происходило оное сражение»[235].

ПАРИЖ, ПАРИЖ!

Русские и союзные войска продолжали двигаться к Парижу, занимая деревню за деревней. Насмотревшись на пышное довольство немецких селян, с изумлением наблюдали российские офицеры бедность и неопрятность, царствовавшие во французских деревушках, — не о том толковали им с детства их веселые гувернеры, не так расписывали богатую, радушную и приветливую Францию. Но Франция радушия не проявляла, жители деревень были истерзаны и опустошены революцией и желали только облегчения своей участи — неважно, из чьих рук. А потому на призыв Наполеона восстать и теснить противников откликались вяло, ничего похожего на партизанское движение здесь не было и в помине.

«17 марта по полудни авангард наш настиг неприятеля, началось сражение, и государь поехал к войскам по горам и между кустарников. Солнце садилось, прохладный ветер освежал воздух после дневного зноя, на небе не было ни одного облака. Вдруг сквозь дым сражения увидели мы башни Парижа: “Париж! Париж! вот он!” — воскликнули все, и все на него указывали. Восторг овладел нами, забыты трудности, усталость, болезнь, раны; забыты падшие друзья и братья, и мы стояли, как вновь оживленные на высотах, с коих обозревали Париж и его окрестности… В эту минуту торжествовала Россия; общая радость превратилась в безмолвие; у многих видны были на глазах слезы»[{236}].

Манифест о взятии Парижа

> *«Буря брани, врагом общего спокойствия, врагом непримиримым России подъятая, недавно свирепствовавшая в сердце Отечества НАШЕГО, ныне в страну неприятелей перенесшаяся, на ней отяготилась. Исполнилась мера терпения Бога защитника правых! Всемогущий ополчил Россию, да ею возвратит свободу народам и царства, да воздвигнет падшие!»*[{237}]

Александр вошел во французскую столицу 18 марта 1814 года. Парижские пригороды встретили завоевателя с прежней, уже хорошо знакомой русским робостью и недоверием: жители ожидали косолапых и бородатых мужиков-медвежатников, но с изумлением увидели рослых усачей, с отличной военной

выправкой, с французскими остротами на устах. Слухи о русских красавцах опередили армию, и чем ближе войска продвигались к центру столицы, тем теплее их встречали французы. Поначалу слабо, но потом все громче зазвучали приветствия: «Vive L'Emperor Alexander! Vive le Roi de Prusse! Vive la paix! A bas Napoleon!»[30] Балконы покрылись дамами с платочками, крыши — мальчишками, всё кричало, подпрыгивало, смеялось, самые отважные требовали, чтобы офицеры встали на седла — так их лучше было видно. Не то чтобы парижане так уж ненавидели Наполеона или столь восхищались российским императором — то было обычное опьянение толпы, радость от того, что в жизнь вступает ее величество перемена, на парижские улицы врывается ураган большой истории, а значит, духота сменяется воздухом и свежим ветром.

После нескольких эскадронов кавалерии на серой лошади, некогда подаренной Наполеоном, следовал Александр; рядом ехали король Прусский Фридрих Вильгельм III и Константин Павлович, за ними главнокомандующий союзной армией австрийский фельдмаршал князь Шварценберг и Барклай де Толли. Народ кричал: «Вот настоящие Государи! А наш корсиканец из грязи! Долой его!» Окружив русских офицеров, французы в возбуждении восклицали: «Пусть нами правит ваш император!» Слыша в ответ, что государь Александр вряд ли на это согласится, парижские ветреники добавляли: «Ну, так князь Константин»{238}.

Разбушевавшийся французский народ немедленно хотел разбить громадную статую Наполеона, возвышавшуюся на Вандомской площади. Александр, узнав об этом, заметил с легкой улыбкою, что когда стоишь так высоко, голова может закружиться, но мягко остудил пыл бушевавшей черни: «Я не хотел бы ее разрушать». Статую оставили. Другие слова российского императора, сказанные при входе в Париж, на следующий день также облетели все газеты: «Я принес вам мир и торговлю»{239}.

Хозяйки кофеен не желали брать с русских денег, мирные парижане предлагали раненым свои услуги и кров. «Все обнимались, жали друг другу руки, поздравляли себя взаимно в театральных залах, в коридорах, на лестницах. У всех голоса осипли, даже дамы потеряли сладкую приятность своего голоса; только взоры их блистали живее, пламеннее, и лица их сияли восторгом радости»{240}.

В ночь на 25 марта Наполеон подписал отречение, тем самым облегчив совесть присягавших ему солдат и маршалов: «Так как союзные державы провозгласили, что император Наполеон есть

единственное препятствие к установлению мира в Европе, то император Наполеон, верный своей присяге, объявляет, что он отказывается за себя и за своих наследников от трона Франции и от трона Италии, потому что нет той личной жертвы, даже жертвы жизнью, которую он не был бы готов принести в интересах Франции»[241].

Наполеоновские маршалы плакали, целовали императору руки, Александр отдал средиземноморский остров Эльба в полное распоряжение и владение бывшему императору, куда изгнанник и отправился спустя две недели к радости пиитов. На престол была вновь возведена сброшенная революцией династия Бурбонов, королем стал брат казненного Людовика XVI Людовик XVIII. Роялисты ликовали.

Победа и всеобщее ликование мало изменили цесаревича. Константин проводил парижские досуги в обычном своем духе — устраивал смотры, ради развлечения обучал маршировке высокопоставленных российских военных, которые, разумеется, не смели возражать. Он остался прежним. Однажды, решив показать французским фельдмаршалам свой любимый конногвардейский полк и не обнаружив в казарме большинства офицеров — те разбрелись гулять по Парижу, — в гневе приказал сажать под арест всех, кто не оказался на месте[242]. По свидетельству современников, напившись пьян, Константин в заграничном своем путешествии не доходил до нужника и испражнялся прямо в комодные ящики гостиницы; то-то интересно было потом слугам великого князя разыскивать по шкафам вещи своего господина. Французского кучера в дилижансе, не уступившего ему дорогу, цесаревич хорошенько огрел по лицу — мудрено было, однако, узнать в проезжающем брата императора: Константин был одет в штатское платье[243].

Но довольно неуместных подробностей, когда вокруг бушует одна лишь радость. Война была окончена, Наполеон изгнан, Константин отправился с известием о заключении мира в Петербург. 9 июня 1814 года пушки известили о его прибытии в столицу.

В Исаакиевский собор Константин прибыл с августейшей матушкой и сестрой, Александрой Павловной. Министр юстиции Иван Иванович Дмитриев зачитал высочайший манифест «О заключении мира России с Францией», после чего был отслужен благодарственный молебен и произведена оглушительная пушечная пальба. Город сиял иллюминациями, аллегорическими картинами — коленопреклоненная Франция, благодарная Европа, торжествующая Россия, великодушный российский император, Александр Благословенный, плывущий на светлой звезде

спасения человеков, под крестом с хорошо знакомой нам надписью: «Сим победиши!»…

В Павловске в честь брата императора был дан большой праздник, сопровождавшийся театральной постановкой.

Так радость ту герой, и сын царей принес,
Увенчан лаврами и славою Бессмертной
Он зрится ангелом, ниспосланным с небес,
С восторгом все твердят: царева благость нова
Еще явилась нам;
Он брата своего и правнука Петрова,
Достойна обоих почувствовал по делам,
Прислал к своим детям…{244}

Не слишком складно, зато от чистого сердца.

Спустя несколько месяцев, в начале сентября, дальнейшую судьбу правнука Петрова определил Венский конгресс. По решению его было восстановлено Царство Польское с российским государем во главе. Возрождение Польского королевства было инициативой Александра, он на этом настаивал и, преодолевая сопротивление союзников, добился своего.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. КОРОЛЬ ПОЛЬСКИЙ

Дитя! Всех рек синее — Висла,
Всех стран прекраснее — Литва.
Владислав Ходасевич{245}

ЦАРСТВО ПОЛЬСКОЕ

Екатерина трижды делила вместе с Пруссией и Австрией Польшу, последовательно присоединяя к Российской империи Южную Лифляндию, Восточную и Западную Белоруссию, Правобережную Украину, Восточную Волынь и Подолию. После третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году, позднее аукнувшегося и в судьбе Константина Павловича, России отошли литовские, курляндские и волынские земли[31].

Разбив Пруссию, Наполеон в 1807 году создал из польских территорий, доставшихся Пруссии во время двух предыдущих разделов, Великое княжество, или герцогство, Варшавское, а через два года прибавил к ним и польские земли, входившие в состав Австрии, — получилось маленькое, зависимое от Франции, однако государство. В скором будущем император обещал полякам новые территории и полную независимость. Окрыленные надеждой, польские войска с готовностью встали под французские знамена. Наполеон сделался их кумиром. Однако кумир обещания своего исполнить не сумел, полякам грозил четвертый раздел, союзники антифранцузской коалиции уже точили ножи и снова готовились вонзить их в истерзанное тело Польши. Тучи рассеялись внезапно, спасение пришло оттуда, откуда никто не ждал, — полякам явился новый, чудный покровитель — император Александр.

«Жители Варшавского герцогства!

Тщетно и неблагоразумно надеялись вы на французов. Чем вознаградили они вас за службу вашу? Обещая вам покровительство, пощадили ли они землю вашу? Вы от них ограблены, они от нас побиты. Единоплеменный с вами народ, россияне, желая делать вам добро, принуждены были по неволе и с сожалением убивать вас и брать в плен, яко невольников и рабов, служащих чуждому для вас пришельцу! Как могли вы впасть в такую слепоту ума, что тот даст вам свободу и восставит державу вашу, кто явным и гласным образом хочет всякую державу разорить и покорить под иго свое? Заблуждение ваше достойно жалости… Вы опасаетесь мщения. Не бойтесь. Россия умеет побеждать, но никогда не мстит. Вы можете спокойно оставаться в домах своих. Жизнь, имущество и свобода ваша безопасны, когда вы сами не захотите, чтоб висящая над главами вашими туча пустила на вас молнию и громы. Избирайте любое!» (Вильно, 25 декабря 1812 года)[246].

Александр желал восстановления Царства Польского и возвращения полякам конституции — для большинства

участников Венского конгресса это оказалось совершеннейшей неожиданностью. Кроме разве что князя Адама Чарторыйского, который еще в юные годы толковал с будущим императором об освобождении своей родины, позднее был членом Негласного комитета и три года прослужил министром иностранных дел России. Он уже не раз предлагал государю восстановить Польшу то под скипетром русского императора, то под управлением великого князя Михаила Павловича — о Константине Павловиче, которого Чарторыйский знал слишком хорошо, речи никогда не шло. Александр от предложений уклонялся, хотя и заверял князя, что озабочен интересами Польши не меньше, чем в ранней юности, и прежних своих идей отнюдь не забыл.

По пути на Венский конгресс император ненадолго заехал в Пулавы, поместье Чарторыйских, совершенно очаровал старую княгиню, мать князя Адама, расточал любезности и заманчивые обещания. «У Польши три врага: Пруссия, Австрия и Россия, и один друг — я»{247}. Князь Адам выехал вслед за императором на Венский конгресс, чтобы быть его советником в польских делах и защитником польских интересов.

Император не угадал, врагов у Польши оказалось несколько больше. Только Пруссия готова была закрыть глаза на образование Царства Польского — в обмен на Саксонию. Франция, Англия, Австрия, наконец и Россия в лице ближайшего окружения императора проявляли редкое единодушие: Царству Польскому быть не следует. Государь получил сразу три урезонивающие его либеральный пыл записки — от немецкого дипломата барона Карла фон Штейна, от российского посланника в Париже Поццо ди Борго и от генерал-губернатора герцогства Варшавского Василия Ланского{248}. Все трое убеждали императора, что образование независимого Царства Польского бессмысленно, опасно, обречено. Забегая вперед заметим, что в 1830 и 1831 годах поляки разыграли расписанные Поццо ди Борго и Штейном сценарии так, будто перед восстанием заглянули в обе записки и выучили их наизусть.

Аргументы противников Александра и в самом деле были убийственны, оттого что очевидны. И фон Штейн, и Поццо ди Борго писали, что поляки, живущие на территориях, доставшихся Австрии и Пруссии, равно как и в Литве, Волынской и Подольской губерниях, вошедших в состав Российской империи в результате разделов Польши, будут испытывать вполне понятное беспокойство, взирая на своих освободившихся и независимых братьев в Царстве Польском. Можно ли ручаться, что поляки не захотят протянуть руки друг другу — одни, чтобы освободиться от чужеземного владычества, другие, чтобы освободить бывших

своих соотечественников и придать Царству территориальную целостность? А русские? Что скажут живущие в стране с абсолютной монархией россияне, на глазах которых «слабая и униженная» нация будет свободно управлять собою, голосовать и подчиняться конституции? «Россия в таком исключительном положении Царства Польского найдет причины к зависти и всегда будет рада замене унии инкорпорацией»{249}. Однако и полякам всегда будет мало дарованного; никогда не смирятся они с русскими штыками, размещенными в их тылу для наблюдения за тем, насколько мудро они собой управляют, — внушали русскому императору проницательные дипломаты.

«“Дайте нам национальную независимость, и мы будем благоразумно вести себя с соседями, будем искренними с Россией и прекратим внутренние распри” — вот их постоянный припев, — писал в своей записке Поццо ди Борго. — Но разумный политик ответит им: “Получив то, что вы называете независимостью, вы нисколько не изменитесь и сохраните свою обычную ненависть к русским, прибавив к ней презрение, внушаемое вашим торжеством. Любому чужеземцу, который захочет причинить неприятности империи, вы позволите развращать себя золотом и интригами. Добиваясь создания польской армии, какой бы слабой она ни была поначалу, вы хотите противостоять русской армии. Всякий раз, как только польский царь не пожертвует ради вас интересами русского императора, вы станете вопить, что вашу независимость ущемляют… Если бы ваша система победила, то сам титул царя польского окончательно осветил бы вашу национальность, а не был бы только прелюдией к политическому возрождению. Как только русский император примет этот титул, благоразумие лишится последнего убежища. Вы не понимаете, что в таких великих делах ошибочно с самого начала ставить перед собой крайний выбор: всё или ничего. А если произойдет второе, задумываетесь ли вы о суровой необходимости вновь подчинить вас, о том, что великодушие и доброта приведут к истребительной войне?”»{250}. Чуть менее резко, но по сути о том же говорил и барон фон Штейн: «Польша же будет беспокоиться о сохранении своих прав, и ее беспокойство примет мятежный характер, свойственный нации. Унию сменит система постепенного захвата, которая в конечном результате, после ряда новых потрясений, приведет либо к покорению, либо к отложению Царства Польского»{251}.

Александр ничему и никому не хотел внимать, отвечая на все возражения возвышенно и романтично: как можно не «уступить страстному желанию целой нации, с такой энергией и постоянством высказываемому в бесчисленных петициях, которые

неустанно поступают из всех частей Великого княжества Варшавского к стопам Русского императора и в которых польский народ вручает свою судьбу в его руки. Необходимо, наконец, помнить и о тех всегда священных правах, которые приобрела польская нация, ценою столь долгих несчастий и превратностей судьбы искупивши все то, в чем ее можно было винить»[{252}].

Препирательства заходили в тупик. Австрия, Англия и Франция заключили против России тайную конвенцию, потихоньку вооружались и готовились к разрыву Сохранять беззаботность удавалось, кажется, только одному гостю конгресса — цесаревичу Константину Павловичу; он развлекался во время пребывания в Вене по-своему — муштровал солдат, скучные музеи не посещал, в дипломатических играх и придворной жизни не участвовал.

Анекдоты

> *«Особенно возмущало всех поведение великого князя Константина Павловича и лиц его военной свиты. О последних говорили, что они были весьма дерзки и грубы (grossiers et insolents), что составляло резкий контраст с вежливым обхождением пруссаков и прочих иностранцев. Во многих донесениях рассказывается о его ни с чем несообразных мальчишечьих выходках. Напр[имер], однажды ночью, спрятавшись во дворе Гофбурга, он крикнул: "Wacht heraus!"[32]; караул выбежал, взял на караул, но не мог понять, по какому поводу его вызвали, а великий князь "хохотал до упада ". Другой раз на вечере у Штакельберга Константин Павлович вышутил старика графа Эстергази за его костюм и за косу, которую он продолжал носить, на что Эстергази ответил сожалением, что он так дурно воспитан для человека его ранга. Рассказывали, что в начале ноября великий князь как-то вздумал кататься верхом в дворцовом парке в Шенбруне, в очень сырую дождливую погоду и на вежливую просьбу садовника и привратников отложить прогулку, чтобы не портить чудных дорожек парка, отвечал грубой бранью и продолжал кататься»[{253}].*

Взаимные неудовольствия на Венском конгрессе, неизбежный разрыв бывших союзников предотвратил другой веселый и мало с кем считавшийся человек — бывший французский император.

Бежав с острова Эльба, Наполеон без единого выстрела дошел

до Парижа, вернул себе трон, а заодно обнаружил во дворце Тюильри на столе в кабинете Людовика XVIII забытое в суматохе побега тайное антирусское соглашение официальных союзников России и немедленно отправил его Александру. Александр почти не удивился, предателей простил, а соглашение бросил в огонь прямо на глазах пристыженного Меттерниха. Расчет Наполеона перессорить союзников не оправдался. Напротив, они немедленно примирились и поторопились с решениями. 21 апреля (3 мая) 1815 года Россия, Австрия и Пруссия подписали трактат, определяющий судьбу Польши. Часть земель бывшего княжества Варшавского образовали Царство Польское — в новое государство вошло восемь воеводств{254}. Другие земли бывшего княжества были поделены между Австрией и Пруссией. Первой достались восточная и западная Галиция, второй — западная часть княжества, которая стала называться Великим княжеством Познанским, к княжеству Познанскому добавился и Гданьск. Краков признали вольным городом под покровительством Австрии, Пруссии и России. Россия удержала за собой все прежде приобретенные польские земли и соединялась с новообразованным Царством Польским личной унией.

9 (21) мая в Варшаве праздновали восстановление Царства Польского. Служили праздничный молебен в центральном городском соборе, присягали русскому императору, палили из пушек, звонили в колокола, кричали: «Да здравствует наш король Александр!» На знаменах, которые колыхались теперь повсюду, распустил крылышки белый орел. Константин Павлович давно уже был здесь.

«КОМАНДОВАТЬ ВАМИ БУДЕТ БРАТ МОЙ»

Еще в апреле 1814 года в Париже императора Александра посетила депутация польских генералов с просьбой позволить польским легионам, сражавшимся на стороне французов, возвратиться домой. Александр позволил. Великодушно (и не слишком дальновидно) разрешив даже сформировать из остатков польских легионов отдельный корпус под названием «войско герцогства Варшавского» — зародыш будущей польской армии. «Командовать вами будет брат мой», — добавил император, указывая на цесаревича, который присутствовал здесь же. Так и решилась его судьба. Цесаревичу суждено было стать главнокомандующим польской армией.

С ноября 1814 года он поселился в Варшаве, ненадолго покинув ее лишь в 1815 году для участия в кратком антинаполеоновском походе. Зимой цесаревич жил в сияющем свежими красками, только что отремонтированном Брюлевском дворце, летом — в простом, но изящном Бельведерском замке.

Наконец-то дымка рассеивалась, призрак обретал плоть. Карикатурная, миражная жизнь прекращалась. В последний раз хороводом мелькнули ненавистные, еще до рождения навязываемые ему роли. Капризная Фортуна, которая когда-то так приветливо склонялась над его колыбелью, затем только смеялась над ним, поднося к юной голове царские, императорские, королевские короны — и тут же роняя их из слабых рук, не успев толком даже примерить. Короны катились по натертому до блеска полу, рассыпались, превращались в мираж. И он, быстро шагающий по анфиладе Зимнего, мелькающий в дворцовых зеркалах, розовощекий, курносый, бровастый, с голубыми сверкающими глазами, крепко сложенный, некрасивый, выкрикивающий хриплые ругательства, однако такой настоящий, живой! — неизменно оказывался пустоцветом на этой чужими руками возделанной клумбе, бесплодным отражением чужих замыслов, прожектов, идей… Ни в одном из замыслов о возведении его на престол не принимал он личного участия. Маски, грезы, мечты, бред, мутный морок, сырой ноябрьский туман, крадущий у предметов очертания, у людей тела, у жизни смысл, у бытия суть…

Многие уже тогда предположили, что, отсылая Константина в Польшу, Александр попросту отделывался от брата, слишком шумного и настолько *иного,* что оппозиционные императору силы легко могли объединиться под его началом и склонить его на свою сторону. Не случайно офицер Семеновского полка Шубин,

выдумав из карьерных соображений, что против Александра образован тайный заговор, поначалу утверждал, что во главе заговора — великий князь Константин{255}. Вскоре выяснилось, что речи пожелавшего выслужиться офицера — ложь от первого и до последнего слова. Но очевидно, что лгать Шубин пытался правдоподобно. В фантазиях его был намек на реальную расстановку сил. Ф.В. Ростопчин также указывает в своих записках, что в 1812 году московские мартинисты открыто обсуждали возможность переворота в пользу великого князя Константина{256}. Константин Павлович действительно вступил в одну из масонских лож в начале 1800-х годов, а в 1812 году являлся членом ложи конной гвардии, но всё это было скорее данью моде и духу времени, чем серьезным увлечением{257}. В планы мартинистов цесаревич посвящен не был и, похоже, даже не подозревал, что имя его хотят сделать знаменем дворцового заговора. Кажется, и император ничего не знал об этих замыслах. Не знал, но боялся.

Как обнаружат события конца 1825 года, Александр Павлович, дружно именуемый и современниками, и родными братьями «ангелом», с совсем не ангельскими жесткостью и расчетливостью заботился о непоколебимости своего трона. Отъезд цесаревича в Польшу, безусловно, укреплял позиции императора и обеспечивал его безопасность. Впрочем, видимо, не только оппозиции с братом во главе опасался государь. Константин Павлович с госпожой Фридерикс, незаконнорожденным шестилетним Павлушей, со своей скандальной манерой командовать войсками, мордобоем, открытой ненавистью к придворной жизни и ее условностям мозолил глаза, был источником постоянного напряжения, причиной вечного беспокойства.

И Константин отправился царствовать в Польшу. Так лучше было не только Александру, так лучше было и самому великому князю, хотя поначалу цесаревич воспринимал это назначение как ссылку. Но со временем ссылка обернулась земным раем.

24 апреля 1814 года еще в Париже был учрежден военный комитет под председательством Константина. В состав комитета вошли семь польских генералов, среди которых были будущий наместник Иосиф Зайончек и будущий военный министр Иосиф Виельгорский. Остатки польского войска, рассеянные по Европе, начали стягиваться в Варшаву — деньги на содержание польских военных решено было пока что выделять из русского казначейства. 17 сентября 1814 года русский гвардейский корпус и польские легионы вступили под командой цесаревича в Варшаву и прошли церемониальным маршем перед бывшим

врагом Константина, фельдмаршалом Барклаем де Толли. Толпы поляков кричали русским войскам приветствия. Константина в Варшаве давно и нетерпеливо ждали, слух о том, что Александр собирается сделать его главнокомандующим, принесли в Варшаву первые возвращенцы из Парижа. День Константиновых именин, 21 мая, за полгода до прибытия цесаревича был отпразднован и в польской столице, и в провинции. Вскоре по приезде в Польшу великому князю пришлось отлучиться в Вену, на Венский конгресс, где он участвовал в праздновании годовщины Лейпцигской битвы, командовал своими кирасирами, салютовал австрийскому императору, обедал и танцевал. Но уже в конце ноября великий князь вновь приехал в польскую столицу.

Многие русские офицеры уже были здесь полтора года назад, во время Заграничного похода, зимой 1813-го, оставив о себе, по собственному их мнению, не самую дурную память. Тогда Варшава, по приказу Александра, была освобождена от постоя, москали сорили в трактирах деньгами, одаривая трактирщиков и нищих. Поляки, записывал один из участников событий, «дивятся русским: народ полюбил нас чрезвычайно. Подумаешь, что все офицеры у нас богачи, напротив, самая большая часть из них очень небогата — но таровата»[{258}]. Как раз в это время, в начале 1813 года, князь Адам вновь предложил Александру образовать Царство Польское под управлением великого князя Михаила Павловича. Александр, как всегда с утонченной любезностью, отвечал, что образование отдельного государства преждевременно — лед отчуждения между поляками и русскими пока не растоплен.

Еще бы — совсем недавно польские войска под наполеоновскими знаменами грабили Смоленск и Москву; в декабре 1812 года вся польская знать, узнав о взятии Вильны и приближении русской армии, немедленно покинула Варшаву. Поляки страшились самой жестокой мести, они слишком хорошо помнили суворовскую мясорубку и уничтожение Праги. Так что в начале 1813 года, прежде чем началось упомянутое мемуаристом трактирное веселье, русские войска встретили брошенные дома, унылые ряды черепичных крыш, печать утомления от перенесенных бурь на лицах местных жителей. Да и вообще стоял ледяной ветреный январь, кружила метелица.

Теперь всё стало иначе. Наполеон был повержен, вместо него явился Александр, подаривший полякам Царство и обещавший конституцию. Польша буквально кинулась в его отеческие объятья. Что еще оставалось стране, истощенной войной до крайности, вынужденной поставлять фураж и провиант русским войскам, часть которых так и пребывала в герцогстве и уже давно

не вызывала изумления своей щедростью?! Когда спустя годы император Николай Павлович говорил, что в период Венского конгресса Польша представляла из себя совершеннейшую пустыню, он был не слишком далек от истины — промышленность страны была разрушена, сельское хозяйство едва теплилось, строительство давно остановилось, старые здания обветшали.

Осень 1814 года обернулась медовым месяцем союза России и Польши. Утопающая в еще не облетевших садах Варшава, толпы гуляющих, атмосфера праздника, во всех, на всем — улыбка надежды. С приездом великого князя город и вовсе ожил. Вражда, отчуждение стали бессмысленны и отошли в прошлое. «Общественное настроение благоприятно и с каждым днем делается всё лучше. Русские и польские гвардейцы устраивали взаимные чествования, между ними царит наилучшее согласие. Его высочество весьма любезно способствует этому»{259}.

«Знатнейшие магнаты поспешили открыть свои богатые хоромы для принятия новых гостей — и загремели празднества. Забывая временные раздоры, старались они заглушить их в роскошных пирах, где испивалось полными чашами вино за дружеское соединение двух славянских племен»{260}. Польские эмигранты, получив амнистию, возвращались в оставленные земли, съезжались магнаты, собиралась мелкая шляхта — покинутые поместья оживали, на месте разрушенных или обветшавших возводились новые дома. «Польские красивые панны перестали уже коситься на москалей. В угодность им заговорила наша молодежь на их языке, ломая свой благозвучный язык на их шипящее наречие; все шло как нельзя лучше, и хотя были слышны от времени до времени некоторые глухие голоса недовольных, но все это ограничивалось столь ничтожными в начале выходками, что оставалось в тайне от большинства и хранилось только в высших административных сферах…»{261}

Цесаревич поначалу был любезен, мил. Он приглядывался, привыкал, знакомился, посещал балы, ездил на званые обеды. Некоторые странности и резкости на плацу ему пока что прощали — как-никак главной обязанностью Константина было создание польской армии, и всякий здесь понимал: собственная, хорошо обученная армия Польше не помешает. Тем более что цесаревич взялся задело рьяно, с почти маниакальным вдохновением.

Из России в Польшу отправлялись оружие, снаряды, порох — в количествах фантастических. Оклады, назначенные в польском войске, намного превышали те, что были установлены в русской армии, — так что служить в веселой, праздничной, европейской Варшаве в глазах русской военной молодежи казалось намного

заманчивее, чем в России. Цесаревич выписал из Австрии инструкторов по плаванию и организовал в Лазенках школу плавания, ввел обучение фехтованию на саблях и штыках, организовал в Варшаве военную школу подхорунжих для подготовки офицеров — в школу принимались молодые люди, отличавшиеся прилежанием к службе и добрым поведением. В гвардейских полках было введено применение ракет с гранатами, которые бросались с ручного станка{262}. Постепенно польское войско стало образцовым, одним из лучших в Европе, хотя цена за это была заплачена высокая, исчисляемая не только миллионами злотых.

О том, что Константин не умеет подчиняться никому и ничему, понятно стало не сразу. Роль его прояснилась только со временем — многие догадывались, конечно, что брат императора — «государево око» в чужом царстве. Но не более. Чем это назначение обернется на самом деле, причиной какой бесконечной цепи последствий вскоре явится — никто поначалу не предполагал. Даже император Александр. Тем более князь Адам. После Венского конгресса Чарторыйский, вполне логично, стал вице-президентом временного правительства. Кому как не ему было браться за организацию нового государства, за реализацию своей давней, любимой, безнадежной, но наконец сбывшейся мечты? От должности вице-президентской до президентской, или наместнической, оставался шаг почти нечувствительный, само собой подразумевающийся. Ни князь Адам, ни его аристократическое окружение не сомневались, что наследник старинного рода, наперсник Александра, ближайший советчик на враждебном Польше Венском конгрессе этот шажок совершит. Иначе и быть не могло. Требовалось только немного времени, немного терпения.

Пока же Чарторыйский энергично, деятельно, вдохновенно взялся за роль акушерки. Царство Польское рождалось его стараниями, его мастерством, его неусыпными трудами; все муки затмевало предчувствие скорейшей встречи с новорожденным. Создавались министерства — юстиции, внутренних дел и полиции, исповеданий и народного просвещения, финансов, военное. На ключевые должности назначались чиновники, шла подковерная борьба, плелись интриги, но дело мало-помалу двигалось, началось восстановление торговли, сельского хозяйства, промышленности. Польша расцветала на глазах. Задышало и просвещение — в Варшаве готовились к открытию университета с пятью факультетами и длинной очередью желающих там учиться, обсуждалось основание лесного и политехнического институтов, военного училища. Труднее всего

оказалось с финансами; войны, зависимое положение совершенно подорвали польский бюджет, казначейство новоявленного царства находилось в плачевном состоянии, к тому же казна была отягчена невыплаченным долгом перед Австрией и Пруссией. Впрочем, дружелюбное российское правительство пока что (до 1817 года) щедро оплачивало все расходы на содержание польского войска.

В горле бодро пережевывающего трудности временного правительства стояла единственная кость — военный комитет. Комитет во главе с Константином, состоявший из семи польских генералов и занимавшийся организацией польской армии, временному правительству не подчинялся. Поначалу столь близкое присутствие непредсказуемого Константина казалось Чарторыйскому неприятным, досадным, но не слишком опасным. Князь Адам хорошо знал великого князя со времен его петербургской юности. Уже в те далекие времена идеалом цесаревича было беспрекословное повиновение; его, в отличие от Александра, не пленяли республиканские мечты, тем более идея освобождения Польши. Тогда князь Адам спорил с Константином не только до хрипоты — до драки. Однажды великий князь и Чарторыйский, потеряв веру в силу слов, повалили друг друга на землю и покатились по шуршащим листьям гатчинских аллей. Всё это, впрочем, почти в шутку, почти добродушно. Впоследствии юношеские драки и споры сослужили князю Адаму неоценимую службу, став для него чудодейственной броней, защищавшей его от гнева цесаревича. «Я думаю, что именно эти воспоминания побуждали великого князя постоянно до известной степени щадить меня в то время, когда он всесильно господствовал в Польше и был очень раздражен против меня. То были для него воспоминания школьных лет, какие бывают у всякого, и они служили мне защитой от более тяжелых проявлений его гнева»{263}, — вспоминал князь Адам много позднее о той поре, когда ему самому было двадцать шесть, а великому князю восемнадцать.

Чарторыйский хорошо знал, что Константин в делах и замыслах Александра серьезного участия не принимал, в Негласный комитет не входил, предпочитая обширным государственным реформам решение военно-административных вопросов. На Венском конгрессе Константин откровенно скучал, никакой роли в переговорах не играл, и князь Адам не сомневался, что именно с ним, а не со своим бесполезным братом, будет советоваться император. А в случае надобности и на Константина легко найдется управа — твердая государева воля, конституционные законы.

КОНСТИТУЦИЯ

31 октября (12 ноября) 1815 года Александр торжественно въехал в Варшаву и пробыл здесь до 20 ноября (2 декабря). Всюду являлся в польском мундире с орденом Белого орла на груди, раздавал польским военным звания и награды, дарил офицеров и солдат деньгами, жаловал девиц во фрейлины. На одном из парадов гвардейский полк кавалеристов, проходя мимо императора, дружно прокричал от полноты чувств: «Niech zyje!»[33] Однако кричать на парадах устав не позволял, великий князь разгневался и приказал командующего чувствительным полком лишить шпаги. Узнав об аресте, Александр велел немедленно освободить узника, а брату сделал мягкий выговор{264}. Слух об очередной милости императора сейчас же облетел польское войско, и поляки вновь расправили плечи, обрели уверенность в том, что на неистовства цесаревича найдется противоядие.

15 (27) ноября Александр подписал конституцию. Для составления ее был учрежден специальный комитет, в состав которого вошел и Чарторыйский. В подготовленный комитетом проект государь внес свои поправки, суть их сводилась к расширению полномочий императора и ограничению свободы сейма.

В итоговом варианте осталось семь разделов, состоящих из 165 статей. Царство Польское соединялось с Россией личной унией, российский император делался наследственным польским королем. Император должен был короноваться в Варшаве и принести присягу. Он определял внешнюю политику обоих государств, назначал духовных сановников и гражданских чиновников. В остальном вся полнота власти вручалась его наместнику, который не мог только созывать сеймы и издавать законы. Конституция гарантировала свободу печати, неприкосновенность личности и народное представительство в сейме. Двухпалатный сейм должен был собираться раз в два года для обсуждения законодательных проектов и определения бюджета, быть открытым для публики и продолжаться 30 дней. Высшим правительственным органом становился Государственный совет, состоящий из Административного совета и общего собрания. Административный совет включал наместника, пять министерств, обладал исполнительной властью. В обязанности общего собрания Государственного совета входило составление проектов законов, разрешение споров между административными и судебными властями, привлечение к

ответственности чиновников.

У польской конституции были искренние противники. Уже упомянутый нами прежний губернатор герцогства Варшавского, ставший главой временного правительства Василий Сергеевич Ланской. Бывший член Негласного комитета, к польским временам давно забывший либеральные мечты сенатор Николай Николаевич Новосильцев. Александр назначил Новосильцева собственным комиссаром при правительстве Царства Польского, то есть посредником между польским правительством и государем. Новосильцев своего отношения к конституции не скрывал и в период работы над текстом хартии даже представил императору мнение о конституционном проекте в письменном виде: «Демократический и революционный принцип привьют гангрену всему народу и, наконец, вызовут в нем пламенное желание переменить монархическое, даже отечески-попечительное, правительство на самое тираническое и буйное, основанное на самодержавии народа, то есть правительство республиканское»[265]. В эпоху Негласного комитета Новосильцеву, который был старше Александра на 15 лет, удавалось удерживать молодого монарха от необдуманных шагов — ни один из трех существовавших тогда конституционных проектов (Державина, Платона Зубова и Никиты Панина) императором всерьез не рассматривался[266]. Но нынче возмужавший император прежнего советчика уже не слушал.

В сенаторе и комиссаре это вызывало вполне понятную досаду, которую он не скрывал за бутылкой рома в приятельском кругу. «Главный, самый интересный и чаще других повторявшийся предмет разговоров были рассуждения Новосильцева об учреждении императором Александром Царства Польского. Он вообще не одобрял этого достопамятного акта и находил его неполитичным в отношениях и к России, и к Европе. Смотря по степени действия рома, он, на различных стадиях своего настроения, выражался об этом различно, хотя всегда в одинаковом духе. После второго или третьего стакана он начинал уже отзываться о государе все менее и менее почтительно, называл его слабым и непоследовательным мечтателем и упрекал в недальновидности»[267].

Недоволен конституцией был и цесаревич. Он ее просто не замечал и превращал, как выражался в одном из писем князь Адам, в «тяжелую и бесполезную комедию».

«Я ВАМ ЗАДАМ КОНСТИТУЦИЮ!»

Итак, слово найдено: комедия! Константин Павлович над конституцией открыто смеялся. Довольно скоро после приезда в Варшаву великий князь обнаружил свое истинное лицо — с одной стороны, как будто сердечно преданного императору человека, с другой — живущего по собственным неписаным правилам и законам. «Я вам задам конституцию!» — то и дело покрикивал цесаревич и в общем творил, что хотел. Как водится, безобразничал.

Некоторые его безобразия в подробностях описаны в письмах Чарторыйского Александру Павловичу. Послания князя русскому государю в ту пору — одно непрерывное стенание, плач, причитания и постоянно меняющийся тон — то предостерегающий, то умоляющий, то почти льстивый, то безнадежный. Князь Адам знал, что Александру всегда была свойственна мягкость, до сих пор его не так уж трудно было убедить в чем-либо. И тешил себя надеждой: императором по-прежнему можно управлять. Он не заметил, что освобождение Европы от Наполеона и дипломатическая победа на Венском конгрессе сделали Александра другим.

Более всего Чарторыйский жаловался на цесаревича. «Никакое усердие, никакая покорность не способны его умилостивить. Он, кажется, возымел отвращение к этому краю и ко всему в нем происходящему, и эта ненависть, к нашему ужасу, постепенно усиливается. Эго служит темой для его ежедневных разговоров со всеми. Он не щадит ни армии, ни народа, ни частных лиц. Конституция в особенности дает ему повод к постоянным сарказмам; он осмеивает все, относящееся к правилам, порядку, законам, и, к несчастию, факты уже последовали за словами. Его высочество великий князь остается при своем мнении даже относительно военных законов, им самим утвержденных. Он безусловно хочет ввести в армию палочные удары и даже вчера отдал по этому поводу приказ, не обращая внимания на единодушные уверения комитета. Бегство с военной службы, значительное уже теперь, сделается повсеместным; в сентябре большая часть офицеров подает прошение об отставке… Враг не мог бы более навредить вашему императорскому величеству»{268}.

Да, это основной аргумент Чарторыйского и его сторонников — совершаемое цесаревичем разрушает замыслы его императорского величества. То, о чем государь всегда мечтал, — независимое Царство Польское, облегчение тяжкой участи вечно

притесняемой нации, конституция, — безжалостно попирается. Князь Адам надеялся убедить царя всё новыми историями, свежими примерами беззаконий Константина Павловича.

Вот великий князь арестовал капитана, который давно вышел в отставку и, значит, не несет ответственности как военный. Поняв, что судить капитана никто не будет, Константин отправил его в тюрьму без суда и следствия. Вот цесаревич велит привести к себе то мэров, то чиновников, то подпрефектов, хотя юридически не имеет на это права. Вот приказывает всыпать палочных ударов польским солдатам, воровавшим в огороде картошку, невзирая на то, что в польской армии телесные наказания запрещены. Исполнять экзекуцию великий князь велит русским солдатам — дружба между поляками и русскими после этого, видимо, должна только окрепнуть. А вот оскорбляет «самыми кровавыми оскорблениями» польского генерала и полкового командира, которые после унижения «дали знать о своей болезни».

Въедливо и скрупулезно князь Адам пересказывал императору все поступки Константина. «Армия все еще надеется на отозвание великого князя…»{269} Но Александр отзывать Константина не торопился. Князь, заметив бесплодность своих стенаний, наконец начинает просить только об одном — ограничить полномочия его императорского высочества в соответствии с основами конституции. Чарторыйский всё еще чувствует себя вправе давать императору настойчивые советы, он по-прежнему не сомневается, что скоро, вот-вот станет наместником императора в родном, с такой любовью организуемом им государстве. Тогда дела пойдут намного легче, тогда мы еще поборемся!

17 ноября 1815 года Александр назвал, наконец, имя наместника. Им стал польский генерал Иосиф Зайончек. По свидетельству современников, Чарторыйский, узнав о приговоре императора, впал «как бы в исступление»{270}. Он был поверенным государя, с ним, единственным, Александр так горячо шептался когда-то о республике, конституции, свободе. И как только Александр Павлович сделался императором, князь Адам был сейчас же вызван из почетной сардинской ссылки в Петербург… Чарторыйский умел быть гибким, соглашаться на уступки, он давно отступил от безумного принципа своих соотечественников «всё или ничего» и готов был довольствоваться тем, что предлагают. Он был умен, многоопытен, дальновиден, добросовестен, бесконечно предан полякам, лоялен русским, в конце концов он был сложившимся политиком, и лучшей кандидатуры на пост наместника, по сути вице-короля

государства, не существовало — это казалось ясно как божий день.

Император сделал по-своему, соблаговолив прислушаться к совету брата. Именно Константин приметил Зайончека и составил ему протекцию.

Генерал Иосиф Зайончек (1752—1826) немало повоевал против русских: участвовал в войне 1792 года, в 1794 году — в восстании Костюшко, в 1812-м служил под знаменами Наполеона. Во время переправы через Березину генерал лишился ноги и попал в русский плен. В плену с Зайончеком что-то случилось. То ли безжалостность в обращении и, следовательно, страх, то ли, напротив, неожиданное великодушие и любезность русских, а следовательно, приязнь, потрясли измученное кровавыми сценами и потерей ноги воображение генерала. Как бы то ни было, но со времен русского плена Зайончек проникся к своим поработителям несколько странной, оттого что снисходительной без меры, всё покрывающей симпатией.

Когда началось формирование польской армии, Константин призвал его в состав военного комитета, совершенно убедился в покладистости престарелого генерала и порекомендовал его Александру. Государь против кандидатуры Зайончека не возражал. Так гражданское управление Царством Польским во главе с Зайончеком уютно разместилось у Константина Павловича в кармане. Генерал сообщал цесаревичу обо всех постановлениях администрации, согласовывал с ним повышения и назначения чиновников, обсуждал дела, которые требовали личного утверждения императора. С первых же дней существования Царства Польского участие Константина в управлении государством намного превысило обязанности главнокомандующего польской армией.

Очевидно, что для Чарторыйского марионеточное существование в роли наместника при великом князе было невозможно; он нудно отстаивал бы конституционные свободы, защищал интересы поляков, упорствовал, торговался, ссорился с императором и главнокомандующим, а в часы бессонницы мечтал бы о короне, гордо вспоминая свою родословную — отец Чарторыйского, князь Адам Казимеж Чарторыйский, был кандидатом в короли, но уступил корону двоюродному брату. Такой наместник никому не был нужен. И Чарторыйскому досталась должность сенатора и члена Административного совета. С этой поры письма Чарторыйского императору сделались отчаянны и сухи, полны почти нескрываемой обиды, в них легко угадывались и скорое удаление князя от политической жизни, и его отъезд из Варшавы. «Как отдельные личности, так и нации

бывают несчастны. Обстоятельства сложились счастливо для нас, что в особе вашего величества мы имеем лучшего из монархов, но вы далеко, государь, вас занимают важные заботы. Как можно льстить себя надеждой, что принципы, характер и привычки его высочества, великого князя, могли бы когда-нибудь измениться до такой степени, что он стал бы способствовать нашему настоящему и будущему благосостоянию? Непосредственное, постоянное, имеющее вес влияние, которым он пользуется до сих пор и которое он и впредь будет еще более оказывать на судьбы страны, внушает мне страх, что бедствия, преследовавшие в течение многих веков мое злополучное отечество, еще не исчерпаны»[{271}].

Анекдот

«Князь Адам Чарторыйский, находившийся в то время… за границей, приехал в Варшаву, чтобы принять участие в заседаниях сеймового суда. Согласно этикету он сделал визит великому князю Константину, который принял его с обычным выражением суровости на лице. Он стал упрекать князя за то, что тот старается посеять вражду в семье, и очернил его перед императором Александром. Когда Чарторыйский попытался оправдываться, великий князь ответил: “Как ты смеешь отрицать!” И, вынув из ящика пачку бумаг, сказал: “Вот твои письма к императору!”»[{272}].

РОЗОВАЯ ШЕЛКОВИНКА

«Если в России юноша 15-летний станет толковать о конституции, то это знак, что ему дают дурное направление, противное установленному порядку вещей, — но в Польше юноша наслушается этого не только от отца, но от управителя или камердинера из дворян, потому что каждый из них участвовал в сеймиках (dietines) и был знаком с сими предметами. Но об этом в Польше более любят толковать, нежели действовать, и каждый, кто только управлял Польшею, владел как хотел, если умел льстить народному самолюбию, то есть давая дворянству для забавы игрушки народности и право говорить вольно. В Польше издревле существует пословица, что поляка можно вести на край света на розовой шелковинке, но никак нельзя удержать цепью. Это правда, и если все народы — дети и любят более признаки политической свободы, нежели самую свободу, то поляки в этом отношении младенцы. Кто обходится с поляком нежно, мягко и вежливо и притом льстит народному самолюбию, тот удивится мягкости его. Прикрикните на него, обойдитесь грубо — и он камень, на коем начертано слово “ненависть”… Напрасно думают, что солдат в Польше — простая машина. Нет. Польский мужик знает вместо оружия, что такое ojczyzna[34]. Он и его предки сражались за отечество с косою и сошником», — проницательно писал Фаддей Булгарин в начале 1828 года в записке «О духе и характере польского народа»{273}.

Знакомец Пушкина (которого сам поэт, впрочем, искренне презирал), издатель газеты «Северная пчела», Фаддей Булгарин, по происхождению поляк, не просто представлял здесь живой портрет родного народа. Сотрудник Третьего отделения, Булгарин и в процитированной записке управляющему Третьим отделением М.Я. Фоку точно бы строчит скрытый донос. На Константина Павловича, разумеется. Манеры и поговорки цесаревича («Офицер есть не что иное, как машина») были хорошо известны бывшему корнету Уланского полка с давних пор. Как помнит читатель, будучи уланом, Булгарин сочинил даже насмешливый стишок про стрельнинского тирана. Это он, Константин, кричал и «обходился грубо» с польским народом, это он ошибочно думал, что и в Польше солдат — «машина», это он вызывал в сердцах одну лишь «ненависть». Булгарин рисовал с натуры.

Анекдот

«Великий князь в минуту гнева назвал одного польского генерала коровой. Его превосходительство в отчаянии явился с жалобой к графу Куруте; он считал себя оскорбленным, даже обесчещенным. Граф дал ему высказаться, высморкался четыре или пять раз и, складывая платок, сказал:

— Словом, генерал, что же он вам сказал?

— Он назвал меня коровой.

— Э, Боже мой, любезный генерал, со мною это случалось не раз, и, однако, я все же остался человеком»{274}.

Несчастный генерал из анекдота и не подозревал, что «корова» — одно из самых ласковых, практически дружеских прозвищ, которыми награждал великий князь тех, кем бывал недоволен. Валерьян Лукасинский в позднейших своих записках писал о первых годах пребывания Константина в Царстве Польском с так и не остывшим чувством ужаса. Он вспоминал, как однажды во время смотра прибывшего из Франции отряда «один солдат, выступив, как это было принято, вперед и отдав честь, хотел доложить о чем-то — наградой за такую мнимую дерзость было сто палочных ударов». «Тогда-то мы узнали и убедились, чего можно ожидать от подобного вождя. Самым малым наказанием за малейший проступок было сто палок; в других случаях доходило до тысячи. Он не любил проливать кровь, но находил удовлетворение в истязании людей»{275}, — замечает мемуарист. Лукасинскому просто не довелось пожить в России (38 лет, проведенных в Шлиссельбургской крепости, не в счет). Шарль Массой, который прожил в Петербурге долгие годы, называет именно такое наказание самым обычным. «Я сам бывал свидетелем, как хозяин во время обеда за легкий проступок холодно приказывал, как нечто обычное, отсчитать лакею сто палочных ударов»{276}. Константин был не более чем родным сыном своей отчизны.

Поляки разобрались в этом не сразу Поначалу польские генералы, искренне надеявшиеся на благие перемены в Царстве Польском, старались угождать Константину во всем и, зная его страсть к муштре, ревностно взялись за военные учения. «Все эти Хлопицкие, Красинские, Курнатовские по два раза в день выводили полки на городские площади и производили долгие учения, чтобы предстать с честью на смотр великого князя… Проезжая по площадям, где происходили учения, великий князь приказывал остановиться; генерал подбегал к экипажу, вытягивался под козырек, и начинался приблизительно

следующий разговор: “Qu'est-ce que vous faites-ici? — Nous exeçons, monseigneur! — Vous exercez! Est-ce que vous savez ce que c'est que des exercices militaries? Je ne sais pas, par quoi j'ai merite cette punition de devoir commander a des ignares pareils![35] Пошел!”»{277}.

Хорошее это было начало. Как и указывал Александру Чарторыйский, угодить Константину было решительно невозможно, в гневе цесаревич терял над собой контроль: «… сердечные движения в нем всегда были вполне сознательны, тогда как его вспышки гнева и ярости весьма часто были результатом минутного полнейшего самозабвения и отсутствия всякого сознания, и самые их размеры, не соответствовавшие нисколько ничтожности вызвавших их поводов, свидетельствовали подчас о какой-то действительной, почти психической невменяемости»{278}. Однако таким Константин Павлович был только на плацу. Ужасная картина тирании цесаревича смягчается одним фактом — близкие цесаревича любили. Любили искренне, прощая ему и буйства, и брань. Любили, потому что знали: в домашнем дружеском кругу этот крикливый, полубезумный человек преображается — становится не только весел, остроумен, но и участлив, великодушен, щедр. Ценит и свои, и чужие шутки, готов хохотать не только над другими, но и над самим собой. Страстный человек, Константин и любил близких ему людей страстно.

Ради любимца он шел на всё. Иван Сергеевич Гагарин приводит в своем «Дневнике» историю о том, с каким усердием Константин Павлович защищал интересы своего любимого слуги, француза Парраша. Парраш овдовел, сильно скучал по жене и признался великому князю, что женился бы снова, но лишь на сестре своей покойной супруги. Это запрещалось законом. Константин, преодолевая сопротивление Александра, не соглашавшегося на брак, все-таки выбил из императора разрешение, и Парраш женился вторично. Он овдовел снова, а перед смертью жена взяла с мужа слово, что тот будет похоронен рядом с ней. Парраш передал ее завещание Константину Павловичу, и тот обещал его исполнить. «Когда Парраш умер, великий князь вспомнил свои слова; он приказал, чтобы желание Парраша было исполнено; но тот был католиком и его нельзя было похоронить на протестантском кладбище. Капеллан обратился к архиепископу, который был непреклонен. Великий князь пришел в ярость; он послал одного из своих адъютантов к прелату с приказом сообщить сему последнему дословно, что он — каналья, что во время событий в Гродно он был подкуплен русским правительством за 20 тысяч дукатов, что за его

поведение в этом эпизоде патриоты хотели его повесить, что на шее его была уже веревка, но что его спасли русские, что за ним шла погоня до прусской границы, теперь он хочет превратить это дело в вопрос национальный, партийный, он хочет вызвать скандал — в таком случае он его получит и т. д. и т. д».. Константин вспоминал давние события, случившиеся во время одного из екатерининских разделов Польши. «Архиепископ смиренно отвечал, что все это правда, что времена мучеников миновали, что он не желает быть виновником скандала и т. д., и дал свое разрешение»{279}. Парраш оказался похоронен там, где желал.

Подобные истории случались постоянно. Однажды, в осеннюю ночь 1816 года, немедленно после отъезда из Варшавы императора Александра, а значит, после длинного, полного забот дня, Константин повелел вдруг разбудить своего адъютанта Ивана Семеновича Тимирязева. Тот только что уснул и надеялся провести ночь спокойно, тем более что высокий гость уехал. Передаем слово Тимирязеву: «Раздраженный и недовольный вскочил я с постели, наскоро оделся и отправился во дворец. Меня прямо провели в уборную, где я застал Константина Павловича в кресле, в белом как снег пикейном халате, с сигарою во рту и в необыкновенно веселом настроении духа. “Фи, какая заспанная фигура! — встретил он меня. — Как ты думаешь, зачем я тебя вызвал?” — “Не могу знать, ваше высочество”. — “Ну, однако?” — “Вероятно, какая-нибудь командировка”. — “Ошибся!” — воскликнул великий князь, видимо, наслаждаясь моим недоумением, и, помучив меня еще несколько вопросами, вдруг объявил: “Вот зачем!” — и с этими словами вынул из-под полы своего халата пару полковничьих эполет. Сюрприз был действительно неожиданный…» Полковничий чин был монаршей милостью. Великий князь так обрадовался за обласканного государем адъютанта, что не мог ждать, пожелав поделиться радостью немедленно, представая в этой сцене и детски непосредственным, и деспотичным.

Ревнитель воинской дисциплины, цесаревич в иных случаях легко ею пренебрегал. Выразительный эпизод приводится в воспоминаниях отличного рассказчика, польского шляхтича и украинско-русского казака Михаила Чайковского. Весь отпуск офицер Каменский кутил с товарищами и до того увлекся, что не успел вернуться в полк к нужной дате. Товарищи посоветовали ему написать письмо цесаревичу, к которому, как хвастал сам Каменский, он был близок. Каменский послушал совета и написал письмо, в котором извинялся за просрочку, чистосердечно назвав и причину опоздания — кутеж со старыми

друзьями. Тем временем губернатор города, в котором веселился Каменский, арестовал его за просрочку отпуска и под конвоем препроводил в Варшаву. Письмо Каменского с извинениями и сообщение о том, что прогульщик доставлен в Варшаву жандармами, настигли Константина одновременно. «Цесаревич прочел письмо, приказал привести Каменского и спросил его: “Скажи на милость, или ты глуп, или действительно меня любишь?” Каменский был в состоянии только ответить: “Люблю, ваше высочество”, причем в его словах звучало столько правды, что цесаревич потрепал его по плечу, простил просрочку отпуска и перевел поручиком в другой полк, говоря: “Он любит начальника — это заслуга!”»{280}.

Каменского спас не только подобострастный тон, но и откровенность, подразумевающая безграничное доверие своему начальнику, непритворную личную преданность. Так к отцу относятся дети — не скрывают своих шалостей, просят прощения, когда виноваты, бывают наказаны, бывают прощены, но всегда знают — они любимы. Воспитанник Суворова, сформировавшийся в традициях русской армии XVIII века[36], Константин Павлович и ощущал себя «отцом солдат». Помогал нуждающимся офицерам, ссуживал деньги, никогда не требуя возвращения долга, всерьез заболевших поручал собственному медику, иногда мог и сам неожиданно навестить больного, утешить и ободрить, а заметив нужду, сунуть под подушку несколько крупных ассигнаций. С особым удовольствием цесаревич поощрял усердие в службе: за удачный развод, хорошо проведенное учение жаловал всем по чарке вина и фунту мяса, самых прилежных солдат одаривал червонцами, посещая их и вне службы, ходил на солдатские свадьбы, был крестным отцом новорожденных и щедро посылал младенцу «на зубок». Константин устроил в Варшаве, почти полностью за свой счет, школу для русских солдатских детей — со сносной учебной программой{281}. Один из авторов записок о Константине, вполне в духе времени, называет цесаревича «настоящим отцом подчиненных»{282}.

Понятно, что теплое участие цесаревича в судьбах своих солдат и офицеров, отеческая забота о них — не что иное, как оборотная сторона его вспыльчивости: и то и другое диктовалось желанием упразднить дистанцию между собой и подчиненными, сделать отношения фамильярными — в исходном смысле этого слова, как производное от *familia,* «семья». Сокращение дистанции подчеркивалось и на уровне жестов. Принимая в свой конногвардейский полк уже знакомого нам семнадцатилетнего Тимирязева, будущего своего адъютанта, Константин Павлович «ласково взял его за ухо и своим отрывистым голосом спросил

его: “Разве ты не боишься меня?” — “Никак нет, ваше высочество”, — бойко отвечал юноша. “Но ведь ты знаешь, что я шутить не люблю», — все так же ласково продолжал великий князь. “Если я буду служить, как следует, чего же мне бояться ваше высочество”, — отвечал Тимирязев. “Молодец!” — воскликнул великий князь и, потрепав его по щеке, приказал немедленно записать их (братьев Тимирязевых. — *М. К.)* в какой-то эскадрон конногвардейского полка»{283}.

Щеки, а особенно уши своих подчиненных Константин вообще как-то особенно жаловал. По рассказу генерал-адъютанта П.А. Колзакова, переданному его сыном, цесаревич, желая после очередной несправедливости загладить свою вспыльчивость, взял Колзакова-старшего «за уши обеими руками (обыкновенный его прием, когда он был в духе)» и, притянув к себе, «стал целовать его в лицо, ласково приговаривая: “Надеюсь, ты на меня не сердишься; кто старое помянет, тому глаз вон. Я знаю тебя давно — ты мне душою предан, сохрани мне это чувство до конца и будь уверен, я сумею всегда ценить это, вот тебе моя рука!”»{284}.

Цесаревич сознательно переводил служебные отношения во внеслужебную сферу, предпочитая регламенту патриархальную теплоту семейственности, дистанции — предельное сближение, иногда буквальное: забывшись, Константин мог в гневе подойти к подчиненному совсем близко и случайно оплевать его. Так, похоже, и случилось в конфликте Константина с капитаном лейб-гвардии Литовского полка Николаем Пущиным. Не умея уладить ссоры Пущина с другим, высшим по положению офицером, Константин накалялся все больше. «Ваше высочество, осторожнее, вы плюетесь!» — сказал Пущин. «Как вы смеете говорить это! Я на своего лакея плюю, а не только что на офицера. После этого вы не стоите своего мундира». — «А пока я в мундире, то не позволю себя оскорблять». «И, сказав это, Пущин снял с себя мундир и бросил его на пол»{285}.

Отвлекаясь от крайностей, к которым приводил беспокойный нрав Константина, заметим, что превращение подчиненных в своих домашних было принято не только в русской армии, но и вообще в России. Вспомним Обломова, который, как и все в его родительском доме, был уверен, что начальник — это «что-то вроде второго отца», который «до того входит в положение своего подчиненного, что заботливо расспросит его: каково он почивал ночью, отчего у него мутные глаза и не болит ли голова?». Вспомним и императора Павла, устроившего ящик для прошений своих подданных, писавших ему «об обиде на полкового командира, о покраже скота со двора, о разрешении выйти замуж, о разрешении жениться, о дозволении открыть торговую лавку, об

унятии дерзновенных разговоров соседей, о пожарах, грабежах, притеснениях, убийствах…»{286}.

В неверном пространстве нерегламентированных, «семейных» отношений и сам начальник оказывался неуязвим для закона, исполняя роль «бога». Это в Византии и на Западе монарх «при помазании уподоблялся царям Израиля», в России же «царь уподоблялся самому Христу»{287}. Представления о царе, подобном Богу, в русском сознании переносились и на фигуру любого начальствующего лица, который оказывался неподсуден. «У нас *не Англия,* — писал Карамзин, — мы столько веков видели судью в монархе и добрую волю его признавали высшим уставом… В России государь есть живой закон: добрых милует, злых казнит, и любовь первых приобретается страхом последних. В монархе российском соединяются все власти: наше правление есть *отеческое, патриархальное.* Отец семейства судит и наказывает без протокола — так и монарх в иных случаях должен необходимо действовать по единой совести»{288}.

Трагический парадокс судьбы Константина состоял в том, что избранный им тип поведения, насквозь русский, предлагался полякам. С годами Константин действительно полюбил поляков и предпочитал их русским не таясь — молва приписывала ему возглас: «В душе я поляк, совершеннейший поляк!»{289}А один из мемуаристов замечает, что «некоторые называли великого князя матерью польского войска и мачехою русского»{290}. В 1831 году, когда всё уже было кончено и поверженный Константин отступал из пределов Царства Польского, он в изумлении и горечи повторял одно: «Да ведь они же не знают, как я их любил»{291}. Но то была *русская* любовь к польскому народу, крепкая и тяжеловесная, как цепь, ничем даже отдаленно не напоминавшая «розовую шелковинку».

САМОУБИЙСТВА

Весной 1816 года в Варшаве разразился скандал. Цесаревич во время развода приказал двум польским офицерам встать в общий строй и взять ружья, то есть приравнял их к простым солдатам. История умалчивает, в чем состояла их провинность. Офицеры в солдатские ряды встали, ружья взяли, дважды послушно промаршировали вокруг проклятой Саксонской площади, на которой проходили учения, а затем по приказу великого князя вновь вернули ружья и заняли свои обычные места. Случалось такое и раньше. Случалось и не такое.

Однако на этот раз после развода офицеры того самого третьего полка, в котором служили двое провинившихся, дружно заявили своим командирам, что служить вместе с наказанными товарищами больше не могут, те ведь разжалованы в солдаты. Это был бунт, затеянный в надежде на то, что генералы донесут об инциденте великому князю. Генералы доносить не стали, сочтя, что дело замнется само собой, а оскорбленное самолюбие офицеров найдет какой-нибудь мирный выход. И ошиблись: чаша офицерского терпения переполнилась.

Служивший в том же третьем полку капитан Велижек, адъютант генерала Красинского, блестящий офицер, зарекомендовавший себя отличной службой еще в армии Наполеона, явился на собрание генералов и в самых резких выражениях объяснил своим командирам, что малодушие не лучший помощник в деле защиты польского офицерства от оскорблений. Изумленный Красинский приказал посадить дерзкого капитана под домашний арест. И только добавил масла в огонь. Однополчане сейчас же прославили Велижека как героя, пришли навестить пленника и дали клятву умереть за благо отечества и товарищей, если только обращение с ними не переменится. Впрочем, ждать перемен терпения уже недоставало. В знак протеста против наносимых цесаревичем оскорблений трое из славного офицерского братства, договорившись между собой, по очереди покончили жизнь самоубийством. Четвертым стал Велижек. Он оставил предсмертное письмо, которое сохранилось благодаря усердию Чарторыйского, вложившего его в собственное послание Александру (от 17 апреля 1816 года).

«Дорогая сестра,

Скоро наступит конец тоске, которую так часто вы мне ставили в упрек. Вот ее конечный результат. Несмотря на мою любовь и преданность к родине, иной удел не допустил меня погибнуть смертью моих братьев, чья слава распространилась и

на нас. Мое настоящее положение лишило меня всякого спокойствия. Я вижу унижение моих братьев по оружию и сограждан, славу отцов, попираемую ногами, и ежедневно нарушение законов лучшего из монархов. Одним словом, я покидаю свое бедное отечество в беспомощном состоянии, преданное капризу одного человека.

Сколько раз я пропускал случай сделаться убийцей! Какой бы это был удар для вас, сестра! Да, я хотел пожертвовать собой для вашего освобождения от позорных цепей, наложенных на нас против воли лучшего из царей.

Между тем, принимая во внимание, что последствия не оправдали бы, может, моей надежды, я предпочитаю лишить себя жизни, способной сделаться пагубной для моей родины; самопожертвования для ее счастья — мое единственное желание. Я знаю, что мой поступок вызовет против меня обвинение в слабости характера! Я совершил бы его тотчас же по его прибытии сюда, если бы меня от этого не удержали наша святая религия и привязанность к вам. Теперь, убедившись, что я более не могу быть полезен своему отечеству, я условился с моими друзьями покинуть эту землю.

Я покидаю ее с презрением, а вас, дорогая сестра, и вас, родители мои, с сожалением.

Найденную саблю передайте вашему сыну, пусть он ее носит, как я, для родины и друзей»{292}.

Из письма капитана многое видно. Мысль убить цесаревича! Она явилась в первый же год пребывания великого князя в Варшаве, и, надо полагать, не в одной голове Велижека, — остается только дивиться, что ноябрьское восстание вспыхнуло в Варшаве спустя целых 15 лет. Пятнадцать лет ангельского терпения оскорбляемых офицеров, которым ничего не стоило выстрелить в разбушевавшегося цесаревича прямо на плацу.

Велижек трогательно объясняет, что не стал убийцей из любви к сестре и уважения к святой религии. Хотя ни одно из этих чувств не оградило его от самоубийства. Очевидно, дело состояло и в понятной робости — убить себя легче, чем убивать брата лучшего из царей. Велижек, как и многие, тешил себя иллюзией: лучший из царей *не знал,* что законы, им установленные, так цинично попираются, что конституция, им подписанная, предается самому безжалостному осмеянию. Как известно, Александр знал намного больше, чем сам Велижек, но польский офицер не читал переписки императора ни с Новосильцевым, ни с Адамом Чарторыйским, и умирал с мыслью о государе-ангеле.

Скрыть от Константина четыре самоубийства не

представлялось возможным. Узнав о них, великий князь встревожился. И повелел генералу Тульчинскому немедленно извиниться от его имени перед двумя офицерами, поставленными в ряд с солдатами. Тульчинский приказание исполнил, после чего спросил одного из оскорбленных:

— Удовлетворены ли вы, господин Шуцкий?

— Для моей чести этого мало, и я прошу удовлетворения для себя лично, — отвечал гордый поляк.

— Уж не стреляться ли вы хотите с великим князем?

— Точно так.

Генерал Тульчинский повелел немедленно арестовать смутьяна, приказав караульному глядеть за арестованным в оба. Караульный задремал. Шуцкому того только и надо было. Он схватил форменный галстук, привязал его повыше… и вскоре захрипел! Тут караульный проснулся. Галстук у висельника отняли, неудачливого самоубийцу перевели на гауптвахту и доложили обо всем великому князю.

Константин явился к Шуцкому лично, захватив с собой Куруту.

— Вы объявили, что желаете стреляться со мною. Генерал Тульчинский арестовал вас и тем не исполнил моего поручения так, как я того желал. Я явился сюда, чтобы исполнить ваше желание, смотрите на меня не как на брата вашего монарха, но как на человека, как на товарища, который очень со жалеет, что оскорбил такого хорошего офицера. Все мои дела в порядке, и генерал Курута получил мои указания на случай моей смерти, как распорядиться всем тем, что я желал бы еще устроить.

Пораженный Шуцкий просил у великого князя прощения и сказал, что совершенно теперь удовлетворен… Цесаревич упорствовал, все принялись его уговаривать. Только хитрый Курута не произносил ни слова. Наконец Константин Павлович поддался на уговоры и отменил дуэль. Комедия была сыграна совсем не плохо{293}.

После этой истории польские офицеры ненадолго даже полюбили цесаревича. Поляки не ведали, что это не первая дуэль, в которой он едва не принял участие. Впрочем, однажды разработанный сценарий чуть было не дал сбой. Это случилось еще в Петербурге.

Анекдот о Константине и Лунине

«Наследник престола великий князь Константин Павлович… очень резко отозвался о кавалергардском

полку. Так как обвинение оказалось незаслуженным, то ему было приказано свыше извиниться перед полком. Он выбрал день, когда полк был в сборе на учении, и, подъезжая к фронту, громогласно сказал: “Я слышал, что кавалергарды считают себя обиженными мною, и я готов предоставить им сатисфакцию — кто желает?” И, насмешливо оглядывая ряды, он рассчитывал на неизбежное смущение перед столь неожиданным вызовом. Но один из офицеров, М.С. Лунин, известный всему Петербургу своей беззаветной храбростью и частыми поединками, пришпорив лошадь, вырос перед ним. “Ваше высочество, — почтительным тоном, но глядя ему прямо в глаза, ответил он, — честь так велика, что одного я только опасаюсь: никто из товарищей не согласится ее уступить мне “. Дело замяли, и дуэль, понятно, не могла состояться»{294}.

Еще два анекдота о дуэли, один с добрым, другой с дурным концом

«По требованиям своего высокого положения в обществе Новосильцев обязан был давать время от времени балы, на которых присутствовала высшая польская аристократия. Во время одного из таких балов случилось следующее: хозяин, по обыкновению, ничуть не стеснялся в своих привычках присутствием гостей и к концу бала уже очень и очень напробовался разных питий. Между гостями находились молодой полковник Киль, адъютант цесаревича, и еще одна молодая полька, красавица, за которою Киль очень ухаживал и к которой в то же время был весьма неравнодушен и сам хозяин, хотя и очень немолодой, но большой поклонник прекрасного пола. Его мучила страшная ревность, и в конце концов, а также и вследствие обильных возлияний он не выдержал и, придравшись к чему-то, наговорил больших неприятностей молодому полковнику.

— Это что значит? — сказал оскорбленный Киль. — Вы позволяете себе говорить дерзости своим гостям у себя дома! Не угодно ли вам дать мне за это удовлетворение?

— Какого удовлетворения требуете вы от меня?

— В шести шагах расстояния и с пистолетом в руках!

— Вот еще что вздумали! Стану я с вами стреляться: я гожусь вам в дедушки.

— Вы можете годиться хоть в прадедушки, но должны быть вежливы со всеми, а тем более со своими гостями. А если вы забыли это и сделались невежею, то должны со мною стреляться.

— Стану я с вами стреляться… Стара штука!

— Так я заставлю вас стреляться со мною! Пока прощайте. На другой день Киль является к цесаревичу и рассказывает ему о случившемся на бале.

— А! хорошо! — сказал великий князь, выслушав с участием рассказ своего адъютанта. — Сейчас же поезжай к Новосильцеву и скажи ему, что я твой секундант и прошу, чтобы он сейчас же прислал ко мне своего секунданта, для того чтобы условиться с ним о месте и времени поединка между тобою и Новосильцевым. Да скажи ему, чтобы он немедленно исполнил мое приказание. А то ведь я шутить не люблю.

Новосильцев обмер от страха, и, как говорится, у него душа ушла в пятки. С братом царя, да еще с таким вспыльчивым, как цесаревич, шутить нельзя. Сейчас же едет он вместе с Килем к великому князю и слезно-умоляющим голосом говорит ему:

— Ваше высочество, помилосердствуйте! Как же я буду стреляться, когда я отроду не брал в руки пистолета?

— А! это не мое дело. Киль вверил мне дело чести. Поэтому я теперь не начальник его, а товарищ и друг, который обязан принять близко к сердцу его обиду и быть секундантом в деле военной чести, которая строга и не допускает шуток.

— Да я готов просить прощение у полковника, лишь бы покончить дело миром, без поединка.

— Это опять-таки немое дело, а Киля. Если он простит тебя, настаивать на поединке я не буду.

— Полковник, простите меня, ради Бога, простите! Я был вчера не совсем здоров, в ненормальном положении.

— Пожалуй, я прошу вас, но только тогда, когда вы дадите такой же бал, как вчера, пригласите тех же гостей, что и вчера, и при всех, публично, будете просить у меня прощение.

И Новосильцев дал бал, с теми же гостями, и при всех просил у Киля прощение.

— Прощаю вас, — сказал адъютант цесаревича, — и

надеюсь, что вперед вы будете со мною вежливее.

* * *

Приведу теперь другой пример, как поединки иногда приказывались. Генерал Ушаков, командир Волынского гвардейского полка, уезжая в отпуск, сдал командование старшему полковнику Ралю. По возвращении из отпуска и при приеме полка обратно между Ушаковым и Ралем произошел крупный разговор, а затем и вызов на дуэль. Роль был глубоко уважаем и любим всем полком и, вследствие этого, многие штаб- и обер-офицеры горячо вступились в это дело и, так как тут не было кровавой обиды, а только одно более или менее оскорбленное самолюбие, им удалось помирить поссорившихся. И вдруг узнает об этой истории великий князь. Сейчас же посылает к Ушакову и к Ролю своего адъютанта и свои кухенрейтерские пистолеты и приказывает передать им следующее:

— Военная честь шуток не допускает: когда кто кого вызвал на поединок и вызов принят, то следует стреляться, а не мириться. Поэтому и Ушаков, и Роль должны стреляться или выходить в отставку.

Итак, поединок состоялся. У Раля было огромное семейство и потому он просил отсрочить поединок на две недели, чтобы иметь время привести в порядок свои дела и не оставить семейству путаницы. Он стрелял превосходно, а Ушаков весьма плохо. Но последний воспользовался отсрочкою и каждый день упражнялся в стрельбе из пистолета и набил себе руку. Роковой день настает. Роль стреляет первый и попал бы прямо в сердце противника, если бы не золотой образ, благословение матери, по которому пуля проскользнула, не задев Ушакова. Роль был убит наповал. Отсрочка дуэли на две недели была для него гибельна: она дала возможность его противнику из плохого стрелка сделаться хорошим»{295}.

ВОДА И ПЛАМЕНЬ

В июне 1816 года варшавская тайная полиция перехватила послание генерала Лазаря Карно. Убежденный республиканец, в прошлом член Конвента и Директории и ненавистник Бурбонов, генерал бежал из Франции и получил в Варшаве политическое убежище. До приезда в Варшаву Карно побывал в Брюсселе, где обсудил с французскими беженцами будущее своего отечества. Скорое падение Бурбонов ни у кого не вызывало сомнений, и потому главной темой дискуссий была кандидатура на французский престол. Одним из возможных претендентов заговорщики сочли российского великого князя. Какого-нибудь. Не исключено, что Константина Павловича. В одном из писем Карно, уже прибыв в Варшаву, писал, что после свержения Людовика XVIII его место может занять представитель династии Романовых. Карно прекрасно знал, что его письма перлюстрируются, и решил таким изысканным способом сообщить Константину о смелых планах своих соотечественников.

Константин сейчас же известил Александра об этом проекте, не высказывая собственного мнения и, похоже, не слишком веря в реалистичность эмигрантских планов. Странно было бы, если бы Александр пожелал свержения Бурбонов, которых он собственноручно вернул на французский трон. Русский император предпочел не менять такими трудами обретенный порядок, пока что царивший во Франции. Карно, поняв, что Александр антибурбоновскими планами не заинтересовался, отправился в Пруссию{296}.

Так что и французского престола Константин избежал, оставшись править в тихой и уютной Варшаве. Остался, чтобы заниматься своим любимым делом, муштровать солдатиков, радоваться как ребенок, что далек от столицы, от военных поселений, от приемного зала Мраморного дворца и «придворных шаркунов». Похоже, что в глубине души, несмотря на множество новых обязанностей и занятий, Константин испытывал лишь безмятежность.

Его состояние в это время прекрасно передают письма в Петербург, адресованные начальнику штаба гвардейского корпуса генерал-адъютанту Николаю Мартемьяновичу Сипягину, тогда близкому его приятелю. Отношения Константина к брату, неизменно описываемые современниками как безоблачно-восхищенные, в этих письмах отзываются самой язвительной иронией и трезвостью. Шесть месяцев курьер из Варшавы дожидался в Петербурге решений государя по разным важным

вопросам, но вернулся, не привезя ответа ни на один из них. «Это испытание походит хотя бы как в масонской ложе, когда бывает в высшей степени оное, и потому я уже решился теперь сам собою здесь разрешать дела, что называется очертя голову, — не знаю, хорошо ли будет или худо!» (10 июня 1816 года)[297].

Ерничая и подшучивая, Константин расшифровывал молчание Александра как согласие на все его чудачества и решения. Однако у цесаревича были и более веские основания думать, что государь предоставил ему неограниченную власть.

К середине мая 1816 года завершилось противостояние великого князя и военного министра Иосифа Виельгорского. На министерскую должность генерала Виельгорского назначил сам цесаревич, который ценил его за любовь к военной дисциплине, бескомпромиссность, порядочность и благородство. Все эти качества хорошо были известны в обществе, и назначение Виельгорского вызвало среди поляков самое горячее одобрение. Цесаревич не сомневался, что назначенный по его воле военный министр будет ему лишь безмолвным помощником, чем-то вроде высокопоставленного секретаря. Но Виельгорский понял свои обязанности иначе.

Согласно конституции военный министр должен был подчиняться Административному совету, так как военное министерство являлось частью правительства. Сразу после назначения Виельгорского на пост Административный совет потребовал, чтобы новый военный министр предоставил донесение о том, как будет организовано его министерство. Однако на следующий день после этого Константин Павлович запретил Виельгорскому предоставлять в совет это донесение, и не только это, а и какие бы то ни было другие тоже, до тех пор, пока документ не будет согласован с ним, главнокомандующим польской армией.

Виельгорский оказался перед выбором — нарушать конституцию и подчиняться великому князю, формально не имеющему над ним никакой власти, или не нарушать конституцию и великому князю не подчиняться. Для любого поляка ответ был очевиден, но родной брат императора находился в Царстве Польском на особом положении. Виельгорский написал цесаревичу письмо, в котором спрашивал, как ему поступать и у кого быть в подчинении. Константин ответил на следующий день, не лично, но приказом (от 11 января 1816 года), в котором сообщалось, что военное министерство отделено от правительства и главе правительства не подчиняется, а военный министр является представителем штаб-квартиры главнокомандующего армией и подчиняется ему одному.

Казалось бы, яснее ясного. Честный вояка должен был послушаться и смириться.

Но Виельгорский решился интриговать — он попытался обмануть великого князя с помощью бумажных хитростей (всё равно предоставлю в Административный совет требуемый проект, но его не подпишу, так как проект не был утвержден военным министерством, а без подписи проект недействителен) и писем Александру. Вслед за Чарторыйским министр объяснял императору, что Константин действует против интересов страны, нарушает своими распоряжениями конституцию, слушать никого не желает, польских обычаев не уважает и т. д. и т. п. Александр Виельгорского утешал, объяснял ему, что со временем всё, конечно, уладится, а кончил тем, что в середине мая 1816 года подписал отчаявшемуся министру отставку. Его место занял неглупый и лояльный цесаревичу генерал Маврикий Гауке. Это была не просто победа цесаревича. Это означало, что император предоставляет Константину Павловичу неограниченные полномочия, власть, не ведающую ни о конституции, ни об Административном совете, ни о наместнике.

Тут — тайна. Император, выдержавший сложнейшую, многодневную битву на Венском конгрессе, не внявший ни одному из предупреждений об опасности образования Царства Польского, искренне убежденный в том, что создание независимого государства необходимо, подписавший в конце концов конституцию, теперь своими руками разрушал собственное создание. Это многим казалось непостижимым. Ведь он не просто приставил Константина к любимому им военному делу, он предоставил ему в Польше абсолютную власть. Тайными, явными ли соображениями руководствовался «лучший из монархов» в столь путаной и противоречивой политике?

О причинах назначения Константина на пост главнокомандующего польской армией мы уже говорили — под благовидным предлогом Александр избавлялся от смутьяна и возможного конкурента. Но и предоставление брату неограниченных полномочий тоже имело свои резоны.

Константин не раз повторял, что царствовать не хочет, что его удушат, как удушили отца, что не чувствует в себе ни сил, ни способностей для управления огромным государством… «Я не раз говорил об этом с братом Константином, но он, будучи одних со мною лет, в тех же семейных обстоятельствах и с врожденным, сверх того, отвращением от престола, решительно не хочет мне наследовать…»{298} — признавался Александр летом 1819 года великому князю Николаю и его супруге Александре Федоровне.

В 1816 году до этого разговора, как и до рождения

Александра Николаевича, на которое Александр указывал как на знак благоволения Божьего Николаю, еще оставалось время. Тем не менее очевидно, что к тому времени Константин высказывал мысль об отказе от престола уже неоднократно («Я не раз говорил об этом с братом Константином…»). Вспомним смертельный страх, который испытал Константин после гибели императора Павла: недаром именно в марте 1801 года он впервые и заговорил о нежелании царствовать.

И всё же. Кто мог поручиться за душу, пред которой однажды откроются заманчивые просторы бесконечной власти государя Российской империи? Кто знает до конца собственное сердце? Никто. Константин не знал тоже. Что и доказали его замешательство и очевидная внутренняя борьба, которую пережил он позднее, в дни междуцарствия, когда он так явно и мучительно колебался. И потому Царство Польское было бесценным подарком судьбы и для Александра, и для Константина. Здесь цесаревич мог почувствовать себя владыкой, хозяином, царем, наконец. Варшава реализовывала императорские амбиции Константина, если таковые у него все-таки имелись. Готовый подозревать всех, Александр оказывался в безопасности — Константин не был в этой ситуации соперником ни ему самому, ни брату Николаю. При этом тяжесть ответственности, хорошо знакомой любому правителю, почти не давила цесаревичу на плечи — номинально-то он не был ни царем, ни королем, ни даже наместником… Отдавая Царство Польское на растерзание брату, Александр, возможно, оберегал от Константина Царство Российское. А заодно и себя.

Анекдот

«Александр: Я должен сказать тебе, любезный брат, что я хочу абдикировать (отречься от престола); я устал и не в силах сносить тягот правительства. Я тебя предупреждаю для того, чтобы ты подумал, что тебе надобно будет делать в сем случае.

Константин: Тогда я буду просить места второго камердинера вашего, я буду служить вам и, ежели нужно, чистить вам сапоги. Когда бы я теперь это сделал, то почел бы подлостью; но когда вы будете не на престоле, я докажу преданность мою к вам как благодетелю моему.

При сих словах император Александр поцеловал меня так креп ко*, присовокупил цесаревич, как никогда в 45лет не целовал»*[{299}].

«Не знаю, может ли брат обойтись без меня, а я жить не могу без брата», — говорил Константин еще в юношеские годы[300]. Но и самая искренняя любовь не означает полного понимания. Константин всегда был иначе настроен, иным увлечен — как мы помним, он восхищался Наполеоном не только в год Тильзита, но и в 1812 году, убеждая Александра немедленно заключить мир. Он не одобрял польской конституции, насмехался над Библейским обществом и всеобщей очарованностью мистицизмом, был недоволен военными поселениями и никогда не желал отмены крепостного права. Словом, всегда оставался в стороне от магистралей, по которым двигалась политическая мысль Александра.

Принято считать, что раздражение цесаревича происходящим в Петербурге началось только в николаевское время — на самом деле раздражаться он начал задолго до того.

«Искренне вам сказать, я никак не могу равнодушно и без некоторого даже содрогания слышать и читать все эти разные поповщины и распространения сочинений Библейских обществ и подражания, как видно из “Северной Почты”, фельдмаршала и графа Воронцова. У нас, благодаря Бога, еще такое не завелось, и я надеюсь, что мы с вами не будем членами; и божусь вам, что все это меня так пригвощивает к стулу в моей здесь комнате, чтобы не видеть и не слыхать даже об этих великих подвигах…»[301] — писал цесаревич в 1816 году. Обругав далее изменения во фронтовой службе и обозвав их «танцовальной наукой», Константин даже приписывает: «Brules cette lettre, elle est trop franche» («Сожги это письмо, оно слишком откровенное»).

Сипягин его высочества, к счастью для историков, не послушал и все его письма бережно сохранил. Из них мы можем узнать и историю кадета Волоцкого, рассказанную Константином в подробностях, всё с той же насмешкой и неудовольствием. «Поповщины», то есть увлечение мистикой, доводили его, кажется, до тихого бешенства. Процитируем его письмо почти полностью.

«До вас дошли, может быть, слухи, что 2-го кадетского корпуса кадету Волоцкому, мальчику лет 15-ти, каждую ночь является видение в белой монашеской мантии, в клобуке и с деревянным крестом в руках и уговаривает его, чтобы он непременно шел в монахи, почему сей Волоцкой со слезами просил корпусного иеромонаха какими-нибудь средствами избавить его от сего видения. Иеромонах по простоте своей и особенно еще услышав от него, что и прежде еще дома являлась ему ночью какая-то женщина, которая также уговаривала его, чтобы он шел в монахи, и потому суеверные его родители возили

его тогда к Феодосию Тотемскому, где умывали его святою водою и давали ему в воде пить какой-то песок, в подражание чего и корпусный иеромонах поил его святою водою, водил его в алтарь кругом престола, читал над ним молитвы, но когда ничего не помогло, тогда уже он доложил начальствующему в корпусе генерал-майору Маркевичу, но между тем министр духовных дел князь Александр Николаевич Голицын требовал уже по сему делу к себе иеромонаха

Я в ответ на уведомление о сем происшествии генерал-майора Маркевича предписываю ему: 1) что иеромонаху не следовало приступать к оному, не доложась ему, и если бы за кадетами был надлежащий какой следует присмотр и наблюдение, что они никогда не могут отлучаться без позволения, то тогда не было бы возможности иеромонаху приступить прежде, нежели дошло бы сие по начальству до его сведения; 2) находя, что сим иеромонах не соблюл своей обязанности, приступив к делу не доложась корпусному начальству, а при том, что такового простого ума священнослужителя, каков оказался сим поступком оный иеромонах, не прилично иметь при кадетах в корпусе, которого настоящая обязанность была бы стараться своими убеждениями отклонить суеверные вкоренившиеся во младенчестве заблуждения в кадете Волоцком, а не вкоренять более оные в мыслях молодого человека читанием над ним молитв и прочаго, представить о перемещении иеромонаха в другое место и о назначении на место его другого. Кадета же отдадут на руки лекарям, ибо полагают, что в нем действует воображение от болезни. Насчет же того, что почтенный наш князь Александр Николаевич вмешивается во все дела, даже и в видения, я вам скажу, что я видениев никогда никаких не видывал, а ежели увижу князя Александра Николаевича хотя и в виде видения, то верно увижу его и тогда *с одной и той же стороны,* с которой я, как вам известно, всегда его вижу»[{302}].

Константина не послушали. С кадетом, которого цесаревич считал возможным исцелить с помощью лекарей, обошлись бережно, сам князь Голицын вызвал юношу на беседу, а иеромонаха Феофила, который пользовался расположением обер-прокурора, не только не наказали, а и наградили наперсным крестом и перевели законоучителем в Первый кадетский корпус. Это была ласковая пощечина директору Первого кадетского корпуса, Константину Павловичу. Как передавали Константину, император брался лично объяснить ему это назначение. Дошло ли дело до объяснения, история умалчивает.

Несмотря на столь резкие расхождения в области религиозно-

мистической, существовала площадка, где Александр и Константин понимали друг друга с полуслова и говорили на одном языке, — плац.

18 (30) сентября 1816 года Александр снова посетил Варшаву. В честь его приезда на Саксонской площади состоялся парад, в котором государь принял участие — ехал верхом в польском мундире, с зеленым и белым султаном на шляпе. Вечером наместник дал бал. «На следующий день состоялся большой смотр польских войск на Пованской равнине, где днем съехалось бесчисленное количество экипажей и собралась громадная толпа лиц, прибывших пешком и верхом, чтобы присутствовать на этом блестящем военном зрелище. Чудное осеннее солнце освещало эту двигающуюся живую картину. По прибытии его величества войска прокричали “ура”, и военная музыка заиграла любимый гимн “*Godsave the king*”[37]. Его императорское величество великий князь Константин, казалось, был счастлив, что может показать своему августейшему брату прекрасное войско с такой отличной выправкой. По окончании смотра войска продефилировали в полном порядке, причем офицеры гарцевали на своих боевых конях, отдавая концом шпаги салют его величеству, который, когда проходили войска, все время держал руку под козырек»[303].

Константин делился с Сипягиным своими впечатлениями о приезде государя в самых восторженных тонах: «30-го сентября (12 октября) развод был польского гвардейского батальона и 1-го пехотного полка обоих батальонов, с учением гренадерскому батальону, которое чрезвычайно было хорошо, и государь император совершенно был доволен и притом изволил заметить и хвалить, что в построении колонн и деплоядах, равно и в других построениях, где движение происходило рядами, то люди во всех трех шеренгах так верно держали плечи и равнялись взаимно на передовых, что следы на земле означали три черты, совершенно прямые и параллельные, чем доказывалось, что не было никакого волнения в сторону и отрывания и толкания локтями, и от соблюдения верности в плечах не происходило никакого линейного направления»[304].

Идеальные граждане шагают в идеальном порядке перед идеальным государем-самодержцем — науку маршировать оба брата постигали еще в Гатчине: «…парад становился эстетизированной моделью идеала не только военной, но и общегосударственной организации. Это был грандиозный спектакль, ежедневно утверждающий идею самодержавия»[305]. И вот в этом братья совершенно понимали друг друга. На параде мечтательный, меланхоличный, двуличный Александр и прямой,

открытый, нередко и трезвый, и здравомыслящий Константин сходились, шагали точно в ногу.

Вновь награды сыпались на поляков из щедрых рук русского императора, как из рога изобилия — рядовым польского войска жаловался рубль серебром (русским — рубль простой!), инвалиды Отечественной войны тоже щедро награждались, хотя изувечены они были, как едко замечает историк Н.К. Шильдер, «конечно, не для защиты России»{306}, ибо сражались на стороне Наполеона. Впрочем, государь готовил полякам дар несравненно больший, нежели рубли и звания, о чем и заявил на первом Польском сейме 1818 года.

Константину было не до сеймов, не до высокоторжественных намеков и обещаний, другие заботы занимали его и теснили сердце.

Приказ цесаревича по польским войскам от 11 июля 1818,

№73

«Заметив неоднократно, что у нижних чинов ранцы, вместо положенных в оных вещей, наполняются, вопреки неоднократно отданных от меня насчет сего приказаний и противу самых правил службы, соломою или сеном, подкладывая лубки для обманчивого вида, я строго и настоятельным образом запрещаю отнюдь впредь сего не делать и чтобы ни под каким видом в оных ничего не было, кроме положенных вещей, уложенных, как следует; но ежели и можно позволить иметь в ранце еще некоторые вещи сверх положенных, то не иначе как такие, которые полезны для солдата, как то: рубашки, панталоны суконные или летние, сапоги или башмаки, носки или портянки, а отнюдь не ненужные, которые его бесполезно отягощать могут, что самое относится и до чемоданов и укладки в оные в кавалерии, и, ежели и за сим подтверждением я, паче чаяния, замечу противное, то тогда обращу всю строгость взыскания с гг. начальников частей»{307}.

Из кучи выброшенной из ранцев соломы, вороха суконных панталон, носков, лубков и портянок вновь проступал образ удушенного императора Павла, тихой скороговоркою приборматывавшего: «Чтоб те, кто желает иметь на окошках горшки с цветами, держали бы оные по внутреннюю сторону

окон, но если по наружную, то не иначе, чтоб были решетки, и запрещается носить жабо. Чтоб никто не имел бакенбардов»; «Запрещается дамам носить через плечо разноцветные ленты на подобие кавалерских»; «Подтверждается, чтоб кучера и форейтора ехавши не кричали»{308}. Цесаревич оказался достойным сыном своего отца, вникая в самые мелкие подробности жизни своих подданных, требуя взамен своих забот и неусыпных попечений одну лишь награду — «священное и безропотное повиновение»{309}.

Но поляки смотрели совсем в другую сторону.

ЦАРЬ ВХОДИТ И ВЕЩАЕТ

В зале Сената стояла гробовая тишина. Застыла блестящая публика на хорах, вытянулся в струнку российский и польский генералитет, почтительно замерли великие князья Константин и Михаил, министры, члены Государственного совета, благоухающая свита и придворные, стоявшие у трона.

Российский император открывал работу парламента речью, слушая которую, его подданные не верили своим ушам.

«Представители Царства Польского! Надежды ваши и мои желания совершаются. Народ, который вы представлять призваны, наслаждается, наконец, собственным бытием, обеспеченным и созревшими уже и временем освещенными установлениями.

…Поляки! Освободитесь от гибельных предубеждений, причинивших вам толикия бедствия, от вас ныне самих зависит дать прочное основание вашему возрождению. Существование ваше неразрывно соединено с жребием России. К укреплению себя спасительно и покровительствующего вас союза должны стремиться все ваши усилия. Восстановление ваше определено торжественными договорами. Оно освящено законоположительною хартиею. Ненарушимость сих внешних обязательств и сего коренного закона назначают отныне Польше достойное место между народами Европы…

Не имея возможности посреди вас всегда находиться, я оставил вам брата, искреннего моего друга, неразлучного сотрудника от самой юности. Я поручил ему ваше войско. Зная мои намерения и разделяя мои о вас попечения, он возлюбил плоды собственных трудов своих. Его стараниями сие войско, уже столь богатое славными воспоминаниями и воинскими доблестями, обратилось еще с тех пор, как он им предводительствует, тем навыком к порядку и устройству, который только в мирное время приобретается и приуготовляет воина к истинному его предназначению…

Наконец, да не покидает вас никогда чувство братской любви, нам всем предписанной божественным законодателем»{310}.

Самое же важное вот: «Вы открыли мне возможность предоставить моему отечеству то, что я давно для него готовлю и что оно получит, коль скоро начала столь важного дела достигнут необходимого развития. Сумейте же стать на высоте вашей задачи. Плоды ваших трудов укажут мне, смогу ли я, верный моим намерениям, и дальше расширять то, что я уже для вас сделал».

В речи Александра, произнесенной на открытии варшавского сейма 15 (27) марта 1818 года, содержались два важнейших обещания — конституции для России и возвращения литовских провинций для Польши. Поляки ликовали, русские обижались и надеялись.

«Впрочем, речь государя, у нас читанная, кажется должна быть закускою перед приготовляемым пиром», — замечал в письме Тургеневу официальный переводчик речи государя литератор Петр Андреевич Вяземский, приехавший в Варшаву весной 1818 года в качестве чиновника канцелярии Новосильцева. «Я стоял в двух шагах от него, — писал Вяземский, — когда он произносил ее, и слезы были у меня на глазах от радости и от досады: зачем говорить полякам о русских надеждах! Дети ли мы, с которыми о деле говорить нельзя? Тогда нечего и думать о нас. Боится ли он слишком рано проговориться? Но разве слова его не дошли до России? Тем хуже, что Россия не слыхала их, а только что подслушала. Подслушанная речь принимает тотчас вид важности, вид тайны; а тут разродятся сплетни, толки, кривые и криводушные. Как бы то ни было, государь был велик в эту минуту: душою или умом, но был велик»{311}.

Взрыв, который произвела речь императора в русском обществе, подробно описан{312}. Обещания, данные государем на сейме, вдруг оживили угасшие надежды. Охлаждение к Александру, всё глубже захватывавшее либерально настроенную русскую молодежь, сменилось чувством гордости за своего императора. Вместе с тем обострилась и досада — победитель Наполеона, освободитель Европы вел себя с поляками, со страной, чье бытие и само существование полностью зависело от его воли, с оскорбительной для русских патриотов щепетильностью. В благоволении Александра Польше многим почудилось унижение России.

В конце того же 1818 года юный Пушкин сочинил известную святочную песенку — «ноэль». К тому времени Александр уже успел посетить Ахенский конгресс, на котором вместе с австрийским императором и прусским королем подписал декларации, направленные на противодействие революционным настроениям и поддержку существующего порядка. Поэт вложил в уста персонажей Нового Завета реплики на злободневные политические темы, под «сказками» подразумевая, конечно, обещания Александра на варшавском сейме, неисполнимость которых стала совершенно очевидна после Ахенского конгресса.

От радости в постеле

Запрыгало дитя:
«Неужто в самом деле?
Неужто не шутя?»
А мать ему: «Бай-бай! закрой свои ты глазки;
Пора уснуть уж наконец,
Послушавши, как царь-отец
Рассказывает сказки».

«Ноэль» ходил по рукам, его цитировали и распевали «чуть не на улице»{313}. Якушкин, пушкинскую песенку сильно полюбивший, еще осенью 1817 года обнажал цареубийственный кинжал по похожему поводу. Страсти вспыхнули на собрании Союза спасения, проходившем в доме Александра Николаевича Муравьева, когда хозяин прочел вслух письмо Сергея Трубецкого. Тот сообщал, что «государь намерен возвратить Польше все завоеванные нами области и что будто, предвидя неудовольствие, даже сопротивление русских, он думает удалиться в Варшаву со всем двором и предать отечество в жертву неустройств и смятений»{314}. Откуда взял Трубецкой подобные сведения, он и сам потом не мог хорошенько вспомнить, но в тот вечер Муравьев немедленно заговорил об уничтожении императора-лицедея, который так открыто предпочитает чужой народ собственному. Решили кинуть жребий, Якушкин предложил без всякого жребия в убийцы себя, однако собравшись на следующий день, по здравом размышлении заговорщики даровали Александру жизнь. Случилось это, впрочем, еще за полгода до мартовского сейма.

Между тем в сеймовой речи, так сильно взволновавшей русские умы, император вовсе не лгал. Над проектом российской конституции — Государственной Уставной грамоты Российской империи — уже работал Новосильцев, ему помогали сотрудники его канцелярии Петр Пешар-Дешан и Петр Вяземский. Работа велась в атмосфере строжайшей секретности, нарушенной, впрочем, публичным сеймовым обещанием России вольности. Императору вручали одну написанную порцию за другой, весной 1820 года с учетом поправок Александру был представлен окончательный краткий вариант конституции{315}. Не стояло на месте и дело освобождения крестьян, на императора сыпались записки, предлагающие пути решения этого вопроса. Сам Александр не раз уже клялся, что освободит свой народ от рабства, и в 1818 году поручил министру финансов А.Д. Гурьеву начать работу над проектом крестьянской реформы.

Итак, император не лгал. Речь его одних обнадежила, других раздражила, третьих всполошила, четвертых разочаровала, пятых

ошеломила. Лишь один человек счел происходившее на сейме нелепым. «Посылаю вам экземпляр программы бывшей здесь 15 (27) числа в замке пиесы гратис[38], на которой я фигурировал в толпе народа, играя ролю пражского депутата по избранию меня в оные обывателями варшавского предместья Праги, — язвительно писал Константин верному Сипягину. — Пьеса сия похожа на некоторую русскую комедию: когда чихнет кто впереди, то наши братья депутаты всею толпою отвешивают поклоны. Посылаю при сем вам также экземпляр речи, говоренной его императорским величеством сенату и сейму… В дополнение сего еще скажу вам, что его императорское высочество великий князь Михаил Павлович во время всего сего церемониала занимал свое место по здешней конституции между сенаторами, как я был между депутатами, и как он польского языка не разумеет, то из этого можете заключить, как ему было весело выдержать несколько тут часов сряду»{316}.

В историческом для поляков сейме Константин увидел лишь комедию, и хотя ни одного недоброго слова в адрес ее сочинителя и главного режиссера он, разумеется, себе не позволил, само творение высмеял. Ложной и неловкой ему казалась собственная «роля» пражского депутата, посланника от той самой области и города, который был разгромлен войсками Суворова. Глупым представлялось Константину и положение великого князя Михаила, по мнению цесаревича, хорошенько не понимавшего происходящее — что было явным преувеличением. Главное Михаил Павлович, безусловно, понял: сначала Александр зачитал свою речь по-французски, и лишь после этого ее перевели на польский.

Речи императора, сути его обещаний Константин не коснулся, однако контекст его письма, ядовитый и раздраженный, выдает автора с головой — сеймовые игры были не по нему. По некоторым сведениям, Константин знал о содержании речи еще до ее оглашения и выражал Александру несогласие, однако государь и тут его не услышал{317}.

В нескрываемой неприязни цесаревича к происходившему можно увидеть ограниченность его взглядов, еще легче разглядеть чувства, какие испытывали многие русские патриоты к полякам, — могущественной России не следует кроить собственные территории ради поверженной и крошечной Польши. Но пряталось в его недовольстве и другое.

Цесаревич протестовал еще и против театральности, против красивых, но пустых жестов, выразительных, но бессмысленных поз. Снова и снова сквозь все наслоения дурного воспитания, отвратительного характера, бешеного нрава в нашем герое

проступало всё то же качество, то самое, которого напрочь лишен был его великодержавный брат, — искренность. Константин Павлович терпеть не мог фальши, лицедейства, в том числе и на политической арене. Великосветские церемонии недолюбливал и Александр, слишком много было их в его жизни. Однако, кажется, у Константина отвращение к придворным ритуалам, интригам и играм вызвано было не одной только перекормленностью, но еще и этим, уже упомянутым нами природным качеством.

Польская конституция, сейм, речь императора были неприятны Константину не только оттого, что они не соответствовали его взглядам, но и потому, что он подозревал во всем этом очередную пиесу, «комедию», которую для чего-то понадобилось ломать его брату.

Недоволен Александром был не только великий князь, не только русские патриоты, но и русский гражданин Николай Михайлович Карамзин, к тому времени уже преподнесший государю первые тома «Истории государства Российского». Его сарказм сопоставим с константиновским: «Варшавские речи сильно отозвались в молодых сердцах: спят и видят конституцию, судят, рядят; начинают и писать — в “Сыне Отечества”, в речи Уварова: иное уже вышло, другое готовится. И смешно, и жалко! Но будет, чему быть»{318}. В октябре 1819 года историк написал даже специально для императора «Мнение Русского гражданина», где повторял, что восстановление Польши вредно для России, что поляки любят Россию лишь до тех пор, пока слабы, и отступятся от нее, как только окрепнут. Карамзин пророчил, но император этого не знал. При личной встрече он терпеливо выслушал историка, напоил его чаем и просидел с ним в собственном кабинете пять часов.

РАЗВОД

Константин встретил ее на балу наместника, Иосифа Зайончека, в 1815 году. Жанетта (или Иоанна) Грудзинская была дочерью небогатого помещика Антона Грудзинского, к тому времени уже покойного, и падчерицей веселого и добродушного выпивохи графа Бронницы. Воспитание она получила изрядное — в пансионе французской эмигрантки девицы Ваушер (Vaucher), имевшем религиозную направленность, впрочем, не соединявшуюся ни с крайностями, ни с фанатизмом. Во главе пансиона стоял французский аббат Маллерб, образованный и умный, внушавший своим воспитанницам здравое отношение к религии. Завершила же свое воспитание княгиня Грудзинская в Париже под руководством умной и просвещенной гувернантки мисс Коллинс. В конце 1815 года Жанетта вернулась из Парижа в Варшаву{319}.

Хрупкая, изящная двадцатилетняя польская княжна пленила цесаревича сразу — полагают, что красотой и грацией, которая особенно проявлялась в танце. Остряки шутили, что в сердце великого князя она проскользнула, танцуя гавот. Из последовавших далее событий легко заключить: не в одной грации состояло дело, но и в редком душевном такте княжны. Главной ее добродетелью, вероятно, действительно было чувство меры, проявлявшееся в исключительной гибкости и мудрости, с которыми она обращалась с князем. Что ничуть не отменяло того достоинства, с которым она держалась. Константин полюбил княжну не шутя. И ухаживал за Жанеттой неотступно, в продолжение пяти лет, официально по-прежнему оставаясь мужем Анны Федоровны.

Согласно неведомому нам свидетельству, на которое ссылается лучший биограф Константина Евгений Карнович как на «достоверное», последний раз цесаревич виделся с великой княгиней Анной Федоровной в 1811 году, возвращаясь из Франции. Константин предлагал супруге вернуться в Россию, «выражая надежду, что потомство их будет на русском престоле»{320}. Великая княгиня отказала, не оставив цесаревичу ни малейшей надежды.

Константин Павлович начал просить у Марии Федоровны позволения развестись с той, что долгие годы являлась его супругой лишь номинально. Императрица не соглашалась — урезонивала, увещевала, вдалбливала: «…При самом начале приведу я вам пагубные последствия для общественных нравов, также огорчительный для всей нации опасный соблазн, произойти

оттого долженствующий, ибо по разрушении брака вашего последний крестьянин отдаленнейшей губернии, не слыша боле имени великой княгини при церковных молебствиях произносимого, известится о разводе вашем, его почтение к таинству брака и к самой вере поколеблется, тем паче, что с ним неудобно войти в исследование причин, возмогущих подать к тому повод, он предположит, что вера *для* императорской фамилии менее священна, нежели *для* него, а такового мнения довольно, чтоб отщетить сердца и умы подданных от государя и всего дома, сколь ужасно вымолвят, что соблазн сей производится от императорского брата, обязанного быть *для* подданных образцом добродетели, нравы же и без того растленные и испорченные придут в вящее развращение, чрез пагубный пример стоящий при самых ступенях престола, занимающего первое по государе место: поверьте мне, любезный Константин Павлович…»{321}

И все же императрица смягчилась и на развод согласилась, однако потребовала, чтобы Константин женился на великокняжеской особе, лучше бы немке. Цесаревич же распевал потихоньку от матушки песенку собственного сочинения: «Избави мя, Боже, от пожара, наводнения и немецкой принцессы…» Немецкой принцессе он предпочел польскую княжну. Как мы помним, в череде польских красавиц Жанетта Грудзинская была по крайней мере третьей. Но зато самой успешной, ибо романтические отношения Константина Павловича с Еленой Любомирской и Жанеттой Четвертинской ничем не окончились.

Императрица Мария Федоровна смирилась с разводом Константина не без причины: у Николая Павловича подрастал сын, родившийся в 1818 году, и к 1820 году вопрос о престолонаследии был практически решен — Константин добровольно отказывался царствовать и следующим русским императором должен был стать Николай. Оставалось только подтвердить приватно принятые решения документально. Это и смягчило непреклонность Марии Федоровны, которую Николай в качестве российского императора устраивал больше, чем Константин.

Между Константином Павловичем и Анной Федоровной возникла краткая переписка, сохранившаяся лишь в русском переводе. «Вы пишете мне, что оставление вами меня чрез выезд в чужие края последовал потому, что мы не сходны друг с другом нравами, — писал Константин Павлович супруге, — почему вы и любви своей мне сказывать не можете, то покорно прошу вас для успокоения себя и меня в устроении жребия жизни нашей все сии обстоятельства изобразить письменно, и что кроме сего, других

причин вы не имеете, и то письмо с засвидетельствованием, что оное действительно вами писано и подписано рукой российского министра или находящегося при нем священника, доставить немедля к вашему покорнейшему слуге Константину»{322}.

«Я уже к вам и прежде писала, что я оставила вас по несходству наших нравов, — отвечала Анна Федоровна, — и чрез сие еще повторяю решительно, что не имея никаких других причин, кроме оной, не могу к вам возвратиться; и для успокоения меня и себя представляю вам самим устроить жизнь вашу; а потому сие письмо и может вам служить довольным доказательством моей в сем случае решимости вас навсегда оставить»{323}.

На основании 35-го правила святого Василия Великого (супругу, которого покинула жена, позволялось вступить в брак) Синод разрешил развод. 20 марта (1 апреля) 1820 года последовал манифест о разводе цесаревича с великой княгиней Анной Федоровной, которая, как сообщал манифест, еще «в 1801 году удалилась в чужие край, по крайнему расстроенному состоянию ее здоровья», и больше уже не возвращалась и «возвратиться в Россию не может». «Из всех сих обстоятельств усмотрели мы, что бесплодное было бы усилие удерживать в составе Императорской Нашей фамилии брачный союз четы, девятнадцатый год уже разлученной, без всякой надежды быть соединенною…»

Манифест — и это крайне существенно для развития дальнейших событий — ни в коем случае не лишал Константина прав на престол. В нем оговаривалось только одно: «…Если какое лицо из императорской фамилии вступит в брачный союз с лицом, не имеющим соответствующего достоинства, то есть не принадлежащим ни к какому царствующему или владетельному дому, в таком случае лицо императорской фамилии не может сообщить другому прав, принадлежащих членам императорской фамилии, и рождаемые от такого союза дети не имеют права на наследование престола»{324}. То есть если Константин вступал в так называемый морганатический брак, иначе говоря, в брак с особой, не принадлежащей к владетельному дому, дети его и супруга не наследовали престол. Однако самому цесаревичу путь к престолу оставался открыт в любом случае. Очевидно было также, что, взойдя на престол, он мог поменять правила игры и издать манифест, дающий его супруге и детям право царствовать.

Тем не менее в обществе поползли настойчивые слухи о том, что за развод и союз с Иоанной Грудзинской цесаревич заплатил законным правом своим на русскую корону После трагических событий декабря 1825 года задним числом подобное мнение

утвердилось окончательно. «При рассуждениях об этом (манифесте о разводе. — *М. К.)* в моем присутствии не только ясно было доказано, что это было постановление равносильно назначению Николая наследником (так как неестественно было предполагать, что раз Константин вступил бы на престол, он не отменил бы акта, лишающего его детей наследства, и, следовательно, очевидно было, что без отречения не было никакой гарантии исполнению постановления), но прямо говорилось о завещании в этом смысле и о передаче завещания в Успенский собор для хранения»{325}, — писал в своих записках декабрист Дмитрий Завалишин.

Константин первым из семьи Романовых развелся с женой публично, гласно. Казалось бы, это событие должно было обсуждаться в обществе с жадностью, однако нация, вопреки опасениям Марии Федоровны, развода Константина Павловича не заметила. Этому способствовало и то, что манифест о разводе цесаревича не был опубликован в империи. Однако и о первой женитьбе Константина никакие особенные документы не выходили в свет, тем не менее, как мы помним, Москва была «наслушана» вестью о предстоящей свадьбе удалого великого князя. То было время веселое, сытое, спокойное, и свадьба молодого задиристого Константина была прекрасным и приятным поводом посудачить. Нынче всё переменилось. Иные мысли и настроения бродили в умах. Когда петербургских сенаторов собрали для объявления манифеста о разводе, они терялись в догадках, о чем же будет манифест, пока не решили, что речь в документе пойдет об облегчении тяжкой участи российских крестьян{326}. Истины не предположил никто — обществу было не до развода цесаревича.

Сам виновник всей этой суеты, узнав о выходе манифеста, надо полагать, вздохнул с большим облегчением. С его плеч свалилась, наконец, тяжкая, многолетняя и, как казалось еще недавно, пожизненная обуза. Положение Константина прояснилось, к нему вернулась долгожданная свобода.

С госпожой Фридерикс, к тому времени давно ставшей госпожой Александровой, тоже всё было как будто решено и улажено. С мужем-обманщиком она давно развелась, в роли постоянной спутницы великого князя закрепилась, все годы пребывания с цесаревичем выслушивая обещания жениться на ней. Но как только в жизни Константина появилась княгиня Грудзинская, стало очевидно, что надеждам Жозефины не суждено сбыться. Впрочем, новая влюбленность поначалу никак не нарушала теплоты отношений великого князя и его старинной подруги.

Пока цесаревич ухаживал за Жанеттой, ездил к княжне с визитами, Жозефина по-прежнему поджидала его в Бельведерском дворце, где жила с ним с первых же варшавских дней. Константин уезжал в мундире, при всех орденах, просиживал у невесты долгие часы и приезжал обессиленный. Дома он переодевался в сюртук без эполет, садился на скамейку и клал голову Жозефине на колени{327}. Точно после тяжелой работы возвращался, наконец, в родные пенаты. Но нежным домашним сценам близился конец.

Едва вопрос о разводе цесаревича с Анной Федоровной разрешился и стал возможен брак Константина с Иоанной Грудзинской, госпожа Александрова, очевидно по настоянию великого князя, вышла замуж за его адъютанта, 38-летнего полковника Александра Сергеевича Вейса (в прошлом виленского полицмейстера), превратившись в госпожу Вейс. Из каких соображений приносил себя в жертву Вейс — неведомо, вероятнее всего, не имел отваги возражать Константину Павловичу; впрочем, не стоит исключать, что покладистым его делало и приданое невесты, которое наверняка было внушительным. Брак заключили 7(19) марта 1820 года, за два месяца до венчания Константина, — с понятной целью окоротить злые языки и пресечь недобрые домыслы. Но всё равно поговаривали, что отношений Жозефины с великим князем это не прервало.

Анекдот

«Однажды после обеда в Гатчине (это было осенью 1820 года) нянька-англичанка принесла маленького князя [Александра Николаевича, будущего Александра II]… Остались несколько человек, в том числе адъютант великого князя Михаила Павловича (Илья Гаврилович Бибиков) и еще гусарские офицеры… Потом они, и я с ними, окружили великого князька и начали играть с ним. Шевич сказал ему: “Ваше высочество, представьте дядюшку Константина Павловича“. Ребенок поднял и сжал носик. Все расхохотались. “Смотрите, — сказал Бибиков няньке, — если он будет похож: на этого дядюшку, мы вам свернем шею»{328}.[39]

КНЯГИНЯ ЛОВИЧ

Для польского общества брак великого князя с княгиней оказался неожиданностью, в тайны личной жизни цесаревича не были посвящены даже близкие люди. На двух венчаниях, по православному и католическому обряду, состоявшихся 12 (24) мая, присутствовали лишь близкие родные Жанетты, а со стороны Константина — императорский комиссар при польском правительстве Николай Николаевич Новосильцев и четыре генерала. Княгиня впервые была представлена варшавскому обществу в новом качестве, а через три дня после свадьбы — и польской армии. Одетая в костюм амазонки, Жанетта вместе с цесаревичем проехалась вдоль всего войска, Константин здоровался с офицерами и солдатами, бо́льшую часть которых знал по имени, княгиня тоже коротко беседовала с офицерами, затем, сев в коляску, уехала. Цесаревич остался на Саксонской площади и занялся любимым делом. Так войско познакомилось с первой леди государства.

Госпожа Вейс сдалась не сразу, тем более что и Константин поначалу хотел, чтобы всё шло по-старому. До какой степени — неизвестно, но уже на следующий день после венчания он представил госпожу Вейс молодой жене, выразив надежду, что между дамами установятся добрые отношения. К его изумлению княгиня отказалась от этого знакомства наотрез — между супругами возник разлад. На празднествах, устроенных в честь бракосочетания, у нее был растерянный и смятенный вид. Взаимные недоумения продолжались почти целое лето, до появления императора Александра, приехавшего в Варшаву открыть второй сейм.

Анекдот

«Император, желая доставить удовольствие своей belle-soeur и видя, что у нее нет клавикорда, прислал ей самый лучший инструмент, какой только нашелся в Варшаве. В один из утренних визитов, которые великий князь особенно любил, госпожа Вейс, сумев проникнуть в будуар княгини, не без удивления заметила там великолепный клавикорд. Вообразив, что этот подарок сделан не кем иным, как самим великим князем, она устроила ему сцену ревности и, желая показать свою силу великой княгине, которую она беспрестанно

оскорбляла, имела дерзость потребовать этот клавикорд себе. Княгиня ответила гордым отказом. Произошла бурная сцена, но после энергичного отпора, оказавшегося для Константина полной неожиданностью, княгиня всё же уступила, и чудесный инструмент с этого дня стал украшением салона госпожи Вейс.

Случай, часто обнаруживающий самые сокровенные тайны, помог и здесь. Александр почти каждый день обедал у брата в Бельведере. Однажды после обеда он предложил своей belle-soeur пройти в ее будуар, уставленный цветами, и доставить ему удовольствие игрой на клавикорде.

Неизвестно, кто из супругов был более смущен этим предложением, но как бы то ни было, великий князь хотел обратить всё в шутку, в то время как его жена, не говоря ни слова, залилась слезами»{329}.

Как только императору открылись подробности этой истории, по его настоянию госпожа Вейс вместе с супругом покинула Варшаву. Константин не мог возражать. К тому же Жозефина дурно себя чувствовала — покинув Варшаву, она вместе с мужем после посещения Франции отправилась лечиться в Ниццу. Госпожа Вейс прекрасно сознавала, что была принесена в жертву, что в несколько месяцев лишилась всего, и больше не протестовала, однако этого удара судьбы уже не снесла—и скончалась в Ницце в 1824 году.

Семейной жизни Константина ее отъезд послужил на пользу. Между супругами установилось полное согласие. Наблюдавшие в те годы великого князя с изумлением повторяли, что княгиня Лович — этот титул даровал ей после замужества Александр — оказала на Константина самое отрадное, почти чудотворное действие. В присутствии жены он смягчался, делался кроток, признавал свои ошибки, раскаивался в излишней вспыльчивости. Сам Константин Павлович относился к жене с самым трогательным беспокойством. Если княгиня заболевала, мог просидеть с нею ночь, поддерживая огонь в камине и не позволяя слугам сменить его. И в разговорах, и в письмах великого князя, когда речь заходила о жене, неизменно сквозили и нежность, и забота, и уважение.

Ее присутствие словно бы озарило жизнь великого князя. Иоанна Грудзинская сумела дать цесаревичу ту любовь, на какую не были способны ни юная немецкая принцесса, ни многочисленные мимолетные подруги, ни очаровательная содержанка. Вместе с тем, очевидно, и сам он к сорока годам до

подобной любви наконец-то дозрел. Вообще же людей, любивших цесаревича бескорыстно, можно было сосчитать по пальцам: Курута, до сих пор исполнявший роль дядьки при барине, ежедневно рассматривавший сквозь лорнет содержимое горшка своего питомца и докладывавший ему, хорошо ли он сходил{330}. Приятели, с которыми Константин мог быть откровенен почти до конца, — Николай Олсуфьев (пока не умер), Николай Сипягин, Федор Опочинин. Пожалуй, и великий князь Михаил Павлович, который часто и с удовольствием гостил в Бельведере и всегда тянулся к старшему брату.

Сам Константин Павлович относился к Михаилу Павловичу тепло, но с понятным превосходством — между ними было почти 20 лет разницы. Император Александр если и любил брата, то давно уже несколько издалека и с учетом задач политических. Мария Федоровна была слишком часто им недовольна, от нее приходилось гораздо чаще обороняться, чем принимать знаки любви. В итоге получалось не столь уж многолюдно, а для человека столь известного даже пустынно.

Княгиня Лович мгновенно заполнила пустоту. Вероятно, оттого, что сама не была пуста. Сохранившиеся после нее немногочисленные личные записи на французском выдают в ней человека искренне верующего. Княгиня размышляла, какова природа кротости и чувственности, как обуздать страсти и прийти к покаянию. «Кротость не есть приветливость, которая относится главным образом к манерам. Человек светский может быть любезен, не будучи кроток. Кротость есть общее настроение, вызываемое добротою. Это — уступчивость и снисходительность с нашей стороны к мнению других. Но уступчивость эта должна быть добровольная, должна быть плодом собственного побуждения. Иначе человек становится уже не кротким, а слабым». «Чувственность есть сладострастие по отношению к чувственным удовольствиям. Человек чувственный ждет высшего блаженства от слабой машины, причиняющей чаще страдание, нежели ощущение сладостного чувства. Чувственность присуща людям, пренебрегающим метафизикой, мыслию и признающим лишь одни чувства, подчиняясь их власти»{331}.

Судя по всему, княгиня Лович была не только действительно нравственна, но и умна умом мудрой женщины — имея такт оставаться в тени мужа и вместе с тем благотворно влиять на него. Вместе с тем тихой, «пастельной» (как выразилась о ее облике графиня Анна Потоцкая) княгиня была лишь до той поры, пока обстоятельства не требовали от нее проявления иных качеств. В свое время именно ей удастся убедить супруга явиться в Петербург на коронацию Николая Павловича и тем самым

прекратить неутихавшие в народе сомнения и толки. В дни ноябрьского восстания, в минуты полной потерянности цесаревича, мы увидим княгиню и вовсе в активном действии, в поступке, подтверждающем, что в момент опасности она могла проявить и непреклонную волю, и решительность. Очевидно, качества эти присутствовали в ней всегда, и Константин, человек, как уже успел понять читатель, не самый решительный и сильный, находил в супруге надежную опору.

Конечно, на что-то ей приходилось закрывать глаза. Как ни смягчился цесаревич после свадьбы, во многом он остался прежним. «Вот еще забава. Он велит пустить целую стаю бульдогов, которых у него было много разных пород и малых, и больших; в то же время целую стаю кошек и огромных крыс, которых нарочно выкармливал в подвалах дворца, и всё это вместе разом пускалось в огромную залу. Можете себе представить, что происходило! Зрители потешались этим концертом, глядя в стеклянное окно из другого зала!»{332} Мемуарист не уточняет, когда устраивались подобные развлечения — не исключено, что еще до женитьбы Константина на Грудзинской. Однако вполне вероятно, что и после. И если так, то чем занималась во время подобных забав княгиня? Переписывала очередную молитву, проверяла у Павла Константиновича уроки? Или стояла вместе со всеми за стеклом? Как бы то ни было, вряд ли она упрекала мужа за дурное обращение с животными, принимая его таким, как есть, попросту — любя. Иначе терпеть этого человека было бы немыслимо, никакое честолюбие не перевесило бы крыс, буйств и несправедливостей.

Лишь один из мемуаристов пишет о княгине Лович без симпатии — воспитатель внебрачного сына цесаревича Павла Константиновича граф Мориоль. По его мнению, княгиня преобладала в доме, «великому князю часто многое не нравилось, но он ограничивался обыкновенно какою-либо шуткою, подчас довольно язвительной, но вообще любезно соглашался на многое, чему он вовсе не сочувствовал. Он не противоречил жене, лишь бы его оставили в покое, лишь бы с ним были ласковы и предупредительны. Супруга же его была слишком умна для того, чтобы не воспользоваться слабостью мужа»{333}. Мориоль не относился к поклонникам княгини, еще и ревнуя ее ко второму воспитателю Павла, литератору и переводчику Ивану Михайловичу Фавицкому, которого княгиня явно предпочитала французу. Так что трудно доверять графу совершенно. Хотя в деталях он, видимо, прав. Например, Мориоль упрекает княгиню Лович в чрезмерной любви к разным бессмысленным вещицам,

которые напоминали ей те или иные события, на взгляд мемуариста, слишком мелкие, чтобы так долго хранить память о них. Вероятно, «тихий ангел» Жанетта и в самом деле была, что называется, «барахольщицей», берегла все нужные и ненужные мелочи, а также записочки и записки, распределяя их по конвертам, отдельно вырезки из газет, отдельно выписки, которые делала для одной себя, — по преимуществу из святых отцов, иногда из философских сочинений, если авторы их рассуждали о бренности всего земного, о памяти смертной и мире ином — ее архив ясно свидетельствует об этом{334}.

И всё же то были мелкие слабости. Когда дело касалось интересов ее мужа, княгиня Лович проявляла и твердость, и силу, и мудрость. Она не оправдала надежд польских аристократов, так и не став рычагом их влияния на великого князя. Константин, разумеется, знал, с какими чувствами поляки смотрят на его супругу, и в дни своих отъездов из Варшавы старался изолировать княгиню от родни и варшавского общества{335}. Предосторожность, возможно, совершенно излишняя.

«ИСТРЕБЛЯТЬ СЕМЕНА РАССТРОЙСТВА»

Так в бездны ада смотрит херувим,
И зрит народов неповинных муки,
И чувствует, что им страдать века,
Что в безутешной жажде избавленья
Сменяться долго будут поколенья
И что заря свободы не близка.
Адам Мицкевич. Петербург

1(13) сентября 1820 года в Варшаве открылся второй сейм. От прежней безоблачности не осталось и следа; за два года, прошедшие с прошлого сейма, многое успело перемениться. Общественная атмосфера накалялась всё больше, тайные общества росли как на дрожжах. Поначалу и Александр, и Константин смотрели на это национальное вольномыслие сквозь пальцы. В 1814—1815 годах, пока борьба с Наполеоном не окончилась, России были выгодны польский патриотизм и собрания, его аккумулирующие. И когда в мае 1819 года майор 4-го линейного полка Валериан Лукасинский, всеобщий любимец, которого за образцовую службу ценил и цесаревич, основал «Национальный союз вольных каменщиков», никто его не тронул. Масонские общества еще не были запрещены, а национальные цели, которые преследовал союз, ни в чем не противоречили желаниям императора — он тоже надеялся вернуть Польше литовские губернии, тоже был заинтересован в скорейшем возрождении Царства Польского. Никто и не помышлял пока о революции, члены «Национального союза» клялись в верности русскому императору непритворно. Но Александр возложенных на него надежд не оправдал.

22 мая 1819 года после смелых публикаций «Ежедневной газеты» о злоупотреблениях правительства император подписал постановление наместника Иосифа Зайончека: отныне все журналы и периодические издания должны были подвергаться цензуре. Спустя два месяца, согласно следующему предписанию наместника, цензура распространилась и на книги. «Ежедневная газета» была закрыта, за ней прекратила существование и газета с недвусмысленным названием «Белый орел», а ее главный редактор бежал от преследований за границу. «Не быть им свободными, пока мы будем в цепях; не царствовать у них законам, пока у нас Божиею милостью будет царствовать самовластие», — писал Вяземский в одном из писем{336}. К тому времени в Варшаве действовали сразу три тайные полиции: одна

из них подчинялась российскому Министерству внутренних дел, другая — Новосильцеву, третья — великому князю. Ее агентам предписывалось не только контролировать население, но и доносить друг на друга[337].

По приказу Константина Павловича лица, подозреваемые в революционной пропаганде, сажались без суда и следствия в кармелите кий монастырь в Лешне, превратившийся в тюрьму[338]. Император, прекрасно осведомленный о происходящем в Польше, произволу брата, как водится, не противился. За год с небольшим правительство уничтожило сразу две конституционные гарантии — свободу печати и неприкосновенность личности.

Александр вновь приехал в Варшаву открывать второй сейм. Нынешнее его пребывание в столице ничем не напоминало предыдущее — теперь это было не торжество щедрости, но сухой рабочий визит. И речь государя на открытии сейма была гораздо сдержаннее предыдущей. Александр остерегал поляков от увлечения либерализмом, призывал к умеренности, еще мягко, но уже явственно угрожая: «Дух зла покушается похитить снова бедственное владычество и уже парит над частью Европы, уже накопляет происшествия… Без сомнения, век, в котором мы живем, требует, чтобы порядок общественный имел основанием и ручательством законы, его охраняющие. Но сей век налагает также на правительство обязанность ограждать сии самые законы от пагубного влияния страстей всегда беспокойных, всегда слепых. Лежащая на мне обязанность… обязывает меня для предупреждения самого возрождения зла и необходимости прибегать к средствам насильственным, истреблять семена расстройства, как скоро они окажутся»[339]. Все намеки на присоединение литовских земель и введение конституции в России, звучавшие на первом сейме, неприметно растворились в воздухе, и без того пронизанном тревогой.

Но «дух зла» коснулся уже и Варшавы. На втором сейме образовалась оппозиция, инициатором которой стала так называемая «калишская партия» — представители шляхты из Калишского воеводства, во главе которых стояли братья Викентий и Бонавентура Немоевские. Оппозиция, отстаивавшая конституционные гарантии, действовала умно и организованно, в итоге два главных проекта, представленных на сейм правительством, были отклонены большинством голосов, так как оба нарушали конституцию — в первом, касавшемся судопроизводства, не упоминалось о суде присяжных, который давно требовали поляки. Во втором, посвященном привлечению министров к сеймовому суду, посольская палата, представлявшая

интересы польской шляхты, лишалась права обвинения министров. Закрывая сейм 1 (13) октября, Александр напомнил полякам, что они только замедляют дело восстановления их отчизны.

Покидая Польшу, император уже без всяких намеков прямо сказал Константину Павловичу, что предоставляет ему *carte blanche* — власть действовать по своему усмотрению. «А конституция?» — спросил Константин. «Конституцию я беру на себя»{340}.

Попутный ветер стих, русский император всерьез подумывал о том, не лишить ли Польшу конституции и независимости. Для такого решения у него было два предлога. На первый Александру указал Новосильцев, завершивший работу над конституционным проектом для России: одна империя не нуждается в существовании двух конституций, это «бесполезно и даже вредно для необходимого единства и успешности управления»{341}. Другой был связан с финансовым положением Царства Польского — содержать Административный совет с министерствами было еще и очень дорого, само Польское государство с этим не справлялось. Дефицит в бюджете ежегодно составлял несколько миллионов злотых.

Положение спас князь Францишек Ксаверий Друцкой-Любецкий, в июле 1821 года назначенный министром финансов. Сторонник Александра и союза России с Польшей, но Польшей независимой, Любецкий ринулся в бой за государственную казну с фантастической энергией и бесстрашием — ведь защищать ее предстояло еще и от цесаревича. Константин давно уже относился к государственным деньгам как к собственным — тратя их и на тайную полицию, и на внезапные армейские нужды, и на денежные подарки любимцам. Новый министр финансов составил точный бюджет с подробным указанием всех статей; на расходы, не указанные в бюджете, деньги выдавать он отказывался. Любецкий ввел государственную монополию на водку, самовольно определял сумму податей, организовал комиссию, которая начала собирать недоимки за последние 40 лет, — к этому была привлечена и армия, и старые долги оказались быстро заплачены. Князя возненавидели, но казну он спас — к 1830 году двадцатимиллионный дефицит в государственном бюджете был покрыт{342}.

Анекдот

«Главным врагом его [Любецкого] был великий князь

Константин Павлович, который всегда стремился увеличивать расходы на армию и умножать доходы своих фаворитов. Князь Любецкий неуклонно ограждал казну от его притязаний, и между ними происходили частые столкновения.

Однажды великий князь потребовал его к себе, чтобы добиться разрешения на значительные издержки. После продолжительной беседы, когда Любецкий остался непреклонен, великий князь сказал ему: "Князь, вы слишком высоко поднимаете нос". — "Ваше высочество, вы такого большого роста, а я так мал, что, обращаясь к вам, я не могу поступить иначе", — ответил с величайшим спокойствием князь Любецкий и посмотрел в глаза великому князю. Князь Любецкий был в самом деле очень маленького роста и во время разговора всегда смотрел в глаза собеседнику. Убедившись, что и угрозами он ничего не добьется, великий князь отказался от своего требования»{343}.

В декабре 1821 года вышел указ императора, запрещающий тайные общества, в том числе и масонские. Польский «Национальный союз вольных каменщиков» был распущен Валерианом Лукасинским еще до того — в августе 1820 года; таким образом Лукасинский надеялся избавиться от случайных людей. В начале мая 1821 года он организовал «Патриотическое общество», цель которого заключалась в том, чтобы сформировать общественное мнение, «вывести его из оцепенения, подготовить для того, чтобы оно могло стоять на страже законодательных гарантий, которым грозила опасность»{344}. Но уже летом Константин Павлович получил от одного из бывших членов «Национального союза» донос на Лукасинского и его новое общество. Тут великий князь первый раз спас любимца — вызвал майора для разговора и взял с него слово не участвовать более ни в чем подобном. Цесаревич не сообщил об инциденте ни Новосильцеву, ни императору Александру. Однако следующий донос на Лукасинского попал уже прямо в Петербург — и вскоре в Варшаву пришло предписание о производстве строжайшего следствия. Положить под сукно этот приказ было уже невозможно.

Летом 1822 года Лукасинского и нескольких его товарищей арестовали, спустя еще два года над головой майора и двух его единомышленников сломали сабли. Осужденных одели в тюремные халаты, обрили, заковали в кандалы и отвезли в крепость Замостье.

И все же в 1825 году Константин спас Лукасинского вторично, на этот раз уже не от тюрьмы, а от смерти: арестант вздумал организовать в крепости заговор с целью побега. План не удался, и бунтовщик был приговорен к расстрелу. Цесаревич заменил смертную казнь четырнадцатилетней каторгой, которая уже никогда не кончилась. Майор стал вечным узником. Ни у одного из русских императоров не достало милосердия на облегчение его участи — в общей сложности Лукасинский провел в заключении 44 года, из них 37 лет в Шлиссельбургской крепости, где и скончался в 1868 году дряхлым, полубезумным, всеми забытым стариком.

Параллельно с удушением тайных обществ правительство развернуло борьбу, направленную на истребление вольного духа в польских школах и университетах, по сути же — на разрушение всей системы образования в Царстве Польском.

Многие начальные школы закрывались, в средней школе сокращались учебные программы, в частности, исключили безусловно опасный курс по всеобщей истории. Особое внимание было обращено на Виленский университет, куратором которого являлся Адам Чарторыйский. Университет славился высоким уровнем профессорского состава: историю здесь преподавал один из лучших польских историков, демократ и республиканец Иоахим Лелевель (позднее именно он станет одним из идеологов Польского восстания 1830 года), философию — ученик Шеллинга профессор Иосиф Голуховский. Вдохновленные пламенными речами Лелевеля студенты собирались в кружки, обсуждали политические вопросы, сочиняли свободолюбивые стихи. Одним из таких юных стихотворцев был Адам Мицкевич{345}, вместе с товарищем организовавший в 1817 году «общество филоматов» (любителей науки) и «общество филаретов» (любителей добродетели). Поначалу они не ставили перед собой политических целей — исключительно просветительские: на общих собраниях обсуждали вопросы науки, искусства, читали стихи, однако естественно касались и политики.

Новосильцев давно уже следил за происходящим в Вильне с особой зоркостью, и случай, доказывающий, что все меры оправданны, не заставил себя долго ждать. 3 мая 1823 года пятиклассник Виленской гимназии вместе с тремя приятелями написал на доске: «Vivat konstitucya 3 maja, jak słodkie wspominienie dla nas rodaków, lecz nie ma ktoby się o nią dopomniał» («Да здравствует конституция 3 мая, какое приятное воспоминание для соотечественников, только вот некому о ней напомнить»).

Обычная мальчишеская шалость? Но мальчишке исполнилось

уже 15 лет, да и не сам же он сочинил такие мысли — услыхал, подхватил от старших! К тому же приятелей, принимавших участие в выходке, было четверо, а это уже означало заговор. Напуганный учитель донес обо всем виленскому военному генерал-губернатору Александру Михайловичу Римскому-Корсакову, тот — Константину Павловичу. Цесаревич поручил расследовать дело Новосильцеву, и вскоре шалун с товарищами был отдан в солдаты. На мольбу матери юного революционера и напоминание о его возрасте Александр ответил, что мальчик может служить в армии флейтщиком{346}.

Бедная мать не ведала, о чем просила. Судьба других, не менее юных нарушителей спокойствия была много печальнее. Учеников гимназии в Крожах за попытки организовать очередное тайное общество судили военным судом. Двух зачинщиков приговорили к десяти годам работ в крепости с последующей сдачей в солдаты без выслуги, четверых их единомышленников просто отдали в солдаты без тюрьмы. В Поневеже следствие так и не сумело найти авторов разбросанных повсюду листовок и принудило признаться в содеянном двух учеников, девятнадцати и тринадцати лет. Они признались, потом отказались от напраслины, но старшего начали сечь, и он признался заново. На суде он показывал раны и вновь всё отрицал — его всё равно осудили{347}.

Юношей Молесона и Тюра (по другим источникам — Тира) из Кейдан за прокламации с угрозами в адрес цесаревича приговорили к смертной казни. Следствию, на котором вновь применялись телесные наказания, удалось выудить из молодых людей признание, что они и в самом деле собирались убить Константина на станции, при перемене лошадей, и держали для этой цели два двуствольных заряженных пистолета. Цесаревич лично поинтересовался у Молесона, между прочим сына директора кейданской пятиклассной гимназии, за что тот хотел убить брата царя. И в ответ услышал: страшное решение юноша принял, узнав, что по приказанию Константина Павловича «в Вильно терзают студентов». После этого Молесон вдруг добавил: «К тому же нам обоим жизнь и без того надоела, потому что я влюблен в сестру Тюра, а Тюр в мою, без взаимной любви с их стороны»{348}. Ощущение несправедливости мира, несчастная юношеская любовь, толкающая на самоубийственные поступки, — тут бы нашему герою и растаять, махнуть рукой, как это не раз уже с ним бывало, поддаться чувству, проявить великодушие да и прогнать мальчиков хорошим пинком с глаз долой до дому, но положение обязывало, полного прощения юные террористы заслужить не могли. Константин повелел заменить смертную

казнь на пожизненную каторгу. Юношей отправили в Нерчинск — благодарили ли они цесаревича за спасенную, но загубленную жизнь?

В конце осени 1823 года десятки студентов, и «филоматов», и «филаретов», включая Адама Мицкевича, были арестованы. Делалось это, разумеется, с согласия Константина Павловича.

Параллельно польскому в судьбе Константина развивался и «греческий» сюжет — цесаревич и здесь оставался верен себе и интересам Российской империи.

В 1821 году в Греции началось восстание под предводительством Александра Ипсиланти. Русское правительство осталось к восстанию безучастным, а Россия — «неподвижной», как выразился тогдашний министр иностранных дел Иоанн Каподистрия в ответе Ипсиланти, написанном по поручению Александра{349}.

Константин был убежден, что восстание следует подавить; греки же, вспомнив о давнем проекте Екатерины, в смешанной с отчаянием надежде именовали цесаревича «кротчайшим греческим самодержцем Константином II»{350}. «Константин II» о судьбе греков высказывался не раз и всегда в одном духе — столь многонациональная империя, каковой является Россия, борьбу греческого народа, несмотря на естественное ему сочувствие, поддерживать не должна. «Сколько различных народностей, входящих в состав обширной империи и исповедующих столько различных религий, с жадностью схватились бы за идеи, которые показались бы очень для них благоприятными. Если мы прибавим к этому злонамеренных людей и авантюристов, то мы непременно придем к тому заключению, что верность, в которой эти различные народы поклялись своему монарху, будет поколеблена»{351}, — писал цесаревич в письме Бенкендорфу в августе 1827 года.

НЕМЕДЛЕННОЕ ИСТРЕБЛЕНИЕ ЦЕСАРЕВИЧА

Приказ цесаревича по польским войскам от 19 ноября 1823 года

«Заметил я с некоторого времени, что когда начальник, подходя к фронту и приветствуя людей: здорово ребята! — обыкновенный их на это ответ: здравия желаем! (такому-то) мало-помалу изменился в некоторый род почти непонятного восклицания, равно когда начальник, будучи доволен и в изъявление своей благодарности, говорит: хорошо, ребята, или: спасибо, ребята! — они таким же невнятным образом отвечают: рады стараться! Отчего и происходит, что слова, принятые между начальником и войском в изъявление удовольствия и в ответ благодарности, со временем делаются пустыми звуками, которые солдат произносит, не соединяя с оными никакого значения, точно так же, как бы он делал ружейный прием.

Я люблю единообразие. От этого зависит исправность и точность в службе, но не могу одобрить оного там, где оно совершенно противно цели, ибо тогда сие единообразие делается столь же вредным, сколько оно полезно при уместном соблюдении оного. На сей конец предписываю, что когда начальник будет приветствовать солдат или изъявлять свое удовольствие вышесказанными словами, то вместо того, чтоб произносить невнятный общий крик, они должны отвечать коротко, но ясно и каждый особенно теми словами, какие в таковых случаях приняты в употреблении, и без крику…»{352}

* * *

В январе 1824 года император Александр Павлович опасно заболел горячкой и воспалением на ноге. Положение было столь серьезно, что тихо заговорили о возможной перемене царствования. Константин поспешно приехал в Петербург к больному брату. Простись Александр с жизнью в это время, междуцарствия бы не случилось — просто оттого, что цесаревич был в столице. Но государь поправился, хотя день ото дня

делался всё мрачнее, получая донесения о тайных обществах и цареубийственных замыслах. Слежка была установлена даже за преданнейшим Аракчеевым, император постоянно говорил близким об усталости, о желании сбросить непосильное бремя царствования, а между тем боялся внести в дело престолонаследия необходимую ясность и вел себя так, будто по-прежнему страшился соперничества.

Константин Павлович, вернувшись в Варшаву, обратился к прежним своим занятиям, военным и семейным. Осенью 1824 года цесаревич ездил в Германию, сопровождая свою супругу на воды в Эмс, осматривал строящуюся в Кобленце величественную военную крепость и был недоволен, что пруссаки не ограничивают доступ и показывают диковинку всем желающим, как бы говоря всему миру: «Наша крепость так неприступна, что мы не боимся посторонних наблюдателей»{353}. Крепость и в самом деле смотрелась неприступной и даже у великого князя вызвала одобрение. В конце ноября Константин и княгиня Лович вернулись в Варшаву.

В начале 1825 года их посетил великий князь Николай Павлович с Александрой Федоровной. Супруги провели в гостях восемь дней, цесаревич казался любезным до крайности и отдавал младшему брату почести, которые не соответствовали его сану Николай Павлович пробовал возражать, но Константин только посмеивался в ответ: «Это всё оттого, что ты царь Мирликийский!»{354} На что намекал цесаревич? Очевидно, не только на то, что Николай Павлович был назван в честь святителя Николая, епископа Мир Ликийских. «Царь Мирликийский» смущался не напрасно, в подобном наименовании отчетливо слышалась не слишком доброжелательная ирония — мол, хоть ты и царь, да не российский — мирликийский! Решительное объяснение было неотвратимо.

Константин и не подозревал, что совсем незадолго до этого, в зимние дни уходящего 1824 года, решалась его судьба — совсем неподалеку, в Киеве. Здесь один из самых деятельных членов тайного Южного общества Михаил Павлович Бестужев-Рюмин уже в третий раз встречался с помещиком Анастасием Гродецким, представителем польского «Патриотического общества», продолжавшего существовать и после ареста Лукасинского. На этот раз Бестужев-Рюмин просил передать варшавскому комитету предложение Южного общества о «немедленном истреблении цесаревича»{355}.

Поляки шли на контакт с русскими не слишком охотно, и Пестель начал подозревать их в измене. Прежде предполагалось, что польское тайное общество употребит все меры, «какого бы то

рода ни были, дабы великий князь Константин Павлович не мог возвратиться в Россию»{356}, однако Пестель засомневался, употребит ли и все ли… Не возведут ли вместо этого во время переворота цесаревича на польский престол, не потребуют ли у нового короля в благодарность за корону вернуть им независимость (со временем, когда Пестель давно уже будет казнен, поляки и в самом деле попытаются исполнить похожий план). Бестужев-Рюмин рассказал Гродецкому о возникших у русских подозрениях; для того чтобы рассеять их, требовалось немногое — убить Константина. Кровь цесаревича должна была стать залогом единодушия поляков и русских в будущем восстании{357}. К тому же до тех пор, «доколе его высочество будет жив, до тех пор польское общество не может полагаться на войска свои, преданные цесаревичу»{358}.

Весной 1825 года страшное требование было смягчено. Во время переговоров, на этот раз самого Пестеля с Гродецким, было решено, что поляки поступят с цесаревичем так же, как русские «с прочими великими князьями» — то есть убьют, но не немедленно, а во время восстания или даже после него. С уничтожением царской фамилии в Петербурге тоже не было ясности — истребить царскую семью сразу после захвата власти или для видимости сначала арестовать, а убить уже потом, инсценировав попытку побега, окончательно решено так и не было.

Очередной сейм, который по конституции должен был состояться в 1822 году, был пропущен и собрался лишь после пятилетнего перерыва. В феврале 1825 года в польскую конституцию был внесен дополнительный акт о том, что отныне заседания сейма будут проводиться при закрытых дверях. Подобное ограничение гласности, разумеется, еще сильнее раздражило поляков, однако сейм прошел тихо, калишский посол Викентий Немоевский, пытавшийся явиться на заседание, был задержан на подъезде к Варшаве и препровожден жандармами в свое имение. Оппозиция затаилась, все проекты предложенных правительством законов сейм принял. Александр смягчился, вновь заговорил в частных беседах о присоединении западных губерний к Царству Польскому. В этот свой приезд император совершил небольшое путешествие по краю, везде встречая процветание и восторженный прием населения, в большинстве своем ничуть не затронутого замыслами польских тайных обществ. В заключительной речи Александр одобрил работу сейма. 1(13) июня сейм закрылся. На следующий день государь покинул Варшаву и простился с Константином Павловичем — навсегда.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ИМПЕРАТОР И САМОДЕРЖЕЦ ВСЕРОССИЙСКИЙ

Альцест: «Я Димитрий! Я наследник Сирийского престола! В один день и пастух я, и Царь! Кто может уверить меня, чтоб буйством рока не возвратился я паки в пастухи»{359}.

Из оперы господина Метастазия «Димитрий»

«ПЛАЧЕТ ГОСУДАРСТВО, ПЛАЧЕТ ВЕСЬ НАРОД»

Слово об Антихристе-Наполеоне

> *«Царьград взят будет тремя царями и будет между ими брань о Цареграде, и выдут на поле брань имети друг со другом царь царя покорит, а силу убиет, и два царя соединятся, и той царь царя убиет, а силу покорит, и останется един царь во всей вселенной единой Европы, именем будет Константин»*[{360}].

Наступал час роковой для нашего героя. Час, потребовавший от него мужества и решительности, таинственный и смутный час, когда от плотного мужчины сорока четырех лет, с желтыми щетинистыми бровями и блестящим взором, беспокойного, взбалмошного, но в общем незлого, вдруг отделилась тонкая тень. Тени коварны, они легко отнимают у хозяев биографию и судьбу. Тень Константина усаживалась на польский трон, отважно сражалась со своими обидчиками в России, рубя их голой саблей, отправлялась странствовать по Русской земле, смотреть, как плачут в избах голодные дети, как болеют от непосильного труда их матери, заглядывала в казармы, чтобы узнать, как на службе в четверть века длиной добры молодцы обращаются в стариков-инвалидов. Странствия эти приносили дивные плоды — срок солдатской службы сокращался, крестьяне получали из рук Константина волю. Словом, в конце 1825 года у Константина Павловича началась вторая жизнь, полная заманчивых приключений, волшебных событий и встреч, потекло призрачное бытие, не имевшее ничего общего с реальным положением дел, зато бесконечно привлекательное для простого люда. В один миг цесаревич стал всеобщим любимцем. Просто потому, что отказался взойти на русский престол после смерти Александра.

О событиях междуцарствия сказано очень много, но не обойтись без подробностей и нам — события зимы 1825/26 года слишком важны для нашего героя.

Мы помним, как не понравились Константину обстоятельства гибели Павла и сопровождавшая ее «каша»; помним, как торжественно цесаревич обещал Саблукову отказаться от престола, если тот ему достанется. Тогда, 25 лет назад, Константин мог находиться под непосредственным впечатлением

злодеяния, однако и в последующие годы свежесть ощущений его, кажется, не оставила. Цесаревич неоднократно повторял, что царствовать не хочет и не будет, приговаривая: «Меня задушат, как задушили отца»{361}. Не склонный к мистике, здесь Константин Палович ощущал какой-то суеверный ужас — из-за внешнего ли сходства с Павлом, из-за внутренней ли, душевной связи, которая существовала между ними, или совсем по другим, неведомым нам причинам, но едва вопрос о царствовании поднимался, Константин начинал ужасаться и тосковать.

Убийство Павла было прологом. Завязка грядущей династической драмы пришлась на июль 1819 года. 13 (25) июля Александр Павлович присутствовал на учениях 2-й бригады 1-й гвардейской дивизии, которой командовал Николай Павлович. Учения прошли превосходно, император остался доволен, пожаловал к великому князю и великой княгине обедать, сел между супругами, беседовал дружески, был ласков и любезен.

После обеда император вдруг переменил тон. По воспоминаниям Николая Павловича, Александр сказал ему и его супруге следующее. «Государь начал говорить, что он с радостию видит наше семейное блаженство (тогда был у нас один старший сын Александр, и жена моя была беременна старшей дочерью Мариею); что он счастия сего никогда не знал, виня себя в связи, которую имел в молодости; что ни он, ни брат Константин Павлович не были воспитаны так, чтоб уметь ценить молодости сия щастие; что последствия для обоих были, что ни один, ни другой не имели детей, которых бы признать могли, и что сие чувство самое для него тяжелое. Что он чувствует, что силы его ослабевают; что в нашем веке государям, кроме других качеств, нужна физическая сила и здоровье для перенесения больших и постоянных трудов; что скоро он лишится потребных сил, чтоб по совести исполнять свой долг, как он его разумеет; и что потому он решился, ибо сие считает долгом, отречься от правления с той минуты, когда почувствует время. Что он неоднократно об том говорил брату Константину Павловичу, который был одних с ним почти лет, в тех же семейных обстоятельствах, притом имея природное отвращение к сему месту, решительно не хочет ему наследовать, тем более, что они оба видят в нас знак благодати Божией, дарованного нам сына. Что поэтому мы должны знать наперед, что мы призываемся на сие достоинство!

Мы были поражены, как громом. В слезах, в рыданиях от сей ужасной неожиданной вести мы молчали! Наконец государь, видя, какое глубокое, терзающее впечатление слова его произвели, сжалился над нами и с ангельскою, ему одному свойственною ласкою начал нас успокаивать и утешать, начав с

того, что минута сему ужасному для нас перевороту еще не настала и не так скоро настанет, что может быть лет десять еще до оной, но что мы должны заблаговременно только привыкать к сей будущности неизбежной»{362}.

Сколько неясностей и недомолвок! Достаточное ли основание бездетность для отказа царствовать? Ничуть. И что значит — Александр отречется от престола, едва «почувствует время»? Когда наступит это время, когда он его почувствует? Не позавидуешь великому князю, первая его реакция — неподдельные страх и ужас — легко объяснима. Он ощутил себя вдруг под подозрением, начал заверять Александра, что и в мыслях ничего подобного не держал, что не чувствует в себе ни духа, ни сил на такое великое служение — и в ответ услыхал новые утешения и ободрения.

Александр ссылался на мнение Константина, питающего «природное отвращение» к русскому трону. Через два года после этого разговора, летом 1821 года, великий князь Михаил Павлович, посетив любимого старшего брата в Варшаве, услышал уже от самого Константина «великую тайну» его души: цесаревич признался Михаилу, что «дал себе святой обет отказаться навсегда и невозвратимо» от наследственных прав. «Я, во-первых, слишком чту, уважаю и люблю государя, чтоб вообразить себя иначе как с прискорбием и даже ужасом на том престоле, который прежде был занят им, и во-вторых, я женат на женщине, которая не принадлежит ни к какому владетельному дому, и, что еще более, на польке. Следственно, нация не может иметь ко мне необходимой доверенности и отношения наши всегда останутся двусмысленными. Итак, я твердо положил себе уступить престол брату Николаю, и ничто не поколеблет этой зрело обдуманной решимости»{363}. Объяснения не менее странные, чем аргументы Александра. Сложи мы их все вместе на одну из двух чаш — бездетность, морганатический брак с иноземкой, нежелание занять престол, который прежде занимал Александр, наконец, «природное отвращение» Константина к «царскому месту» — весы даже не поколеблются, не дрогнут. Перевесить святой обязанности цесаревича — вступить в права наследства по праву рождения — ни один из этих доводов не в силах!

Константин думал иначе, он уже совершил неслыханный для члена императорской фамилии поступок — развелся с законной женой (вольности Петра в этой области были к тому времени давно забыты, к тому же и статус Петра был иным). Предстоял следующий шаг — отказ от престола. В январе 1822 года Константин, находясь в Петербурге, подтвердил свою готовность еще раз — в присутствии Марии Федоровны и Александра.

«Сегодня вечером всё устроилось, — рассказывал цесаревич в тот же день Михаилу Павловичу. — Я окончательно подтвердил государю и матушке мои намерения и неизменную решимость. Они поняли и оценили мой образ мыслей. Государь обещал составить обо всем особый акт и положить его к прочим, хранящимся на престоле в Московском Успенском соборе; но акт этот будет содержим в глубокой тайне и огласится только тогда, когда настанет для того нужная пора»{364}.

14 (26) января 1822 года Константин обратился к государю со знаменитым письмом. «Не чувствуя в себе ни тех дарований, ни тех сил, ни того духа, чтоб быть, когда бы то ни было, возведену на то достоинство, к которому по рождению моему могу иметь право, — писал Константин, — осмеливаюсь просить Вашего Императорского Величества передать сие право тому, кому оно принадлежит после меня, и тем самым утвердить навсегда непоколебимое положение нашего государства. Сим *могу я прибавить* еще новый залог и новую силу тому обязательству, которое дал *я непринужденно и торжественно,* при случае развода моего с первой моей женой»{365}. Вот оно, прямое указание на обязательство, которое дал Константин Павлович при разводе с Анной Федоровной, дал в обмен на свободу.

Всё было решено, обо всём договорено. Осталось заверить устные договоренности документально. Но государь медлил. И ответил спустя только две недели. «Умея всегда ценить возвышенные чувства вашей доброй души, сие письмо меня не удивило. Оно дало мне новое доказательство искренней любви вашей к государству и попечения о непоколебимом спокойствии оного. По вашему желанию предъявил я письмо сие любезнейшей родительнице нашей. Она его читала с тем же, как и я, чувством признательности к почтенным побуждениям, вас руководствовавшим. Нам обоим остается, уважив причины, вами изъясненные, дать полную свободу вам следовать непоколебимому решению вашему, прося всемогущего Бога, дабы он благословил последствия столь чистейших намерений»{366}.

Чудеса русской дипломатии — ни одного слова по делу, ни единого упоминания о том, кто именно взойдет на престол после Александра, когда будут написаны акты и кто их подпишет. И необходимые документы, которые узаконили бы отречение Константина, так и не были составлены! Прошел еще год, перевалил за середину второй, когда наконец по поручению императора будущий митрополит, а тогда еще архиепископ Филарет (Дроздов), в августе 1823 года составил необходимый документ. Это был манифест, в котором государь подтверждал добровольное отречение от престола великого князя Константина

и объявлял своим наследником Николая Павловича. Манифест после небольшой доработки был набело переписан, затем положен в конверт, запечатан и в строжайшей тайне помещен Филаретом в ковчег, хранившийся в алтаре Успенского собора. Манифест был подписан императором Александром и датирован 16 (28) августа 1823 года. Копии документа отправили в Государственный совет, Синод и Сенат, но поскольку конверты были запечатаны, содержимое их оставалось никому не известно. Надпись, сделанная рукой государя на конвертах, тоже мало что поясняла: «Хранить в Государственном совете до моего востребования, а в случае моей кончины раскрыть, прежде всякого другого действия, в чрезвычайном собрании».

Очевидно, что, оставаясь неоглашенным, манифест не имел законной силы — на это указал государю посвященный в дело князь Александр Николаевич Голицын. Но с поразительным упорством Александр желал тайны. Кроме Голицына в нее были посвящены только Аракчеев и архиепископ Филарет. Главные действующие лица — Николай Павлович и Константин Павлович о манифесте ничего доподлинно не знали! Это кажется невероятным{367}. Однако когда в Варшаву пришла весть о смерти государя и Константин принялся за официальные письма Марии Федоровне и Николаю, он ни словом не обмолвился в них о лежащем в Успенском соборе манифесте. Как и в письмах князю Волконскому и Дибичу, которым он тоже написал в тот день.

Всем своим адресатам цесаревич послал только копию того самого необыкновенно любезного и невнятного «рескрипта» Александра от 2 февраля 1822 года, в котором Константин Павлович и видел «высочайшее соизволение» на его отречение от престола. Куда как естественнее было присовокупить упоминание о государевом манифесте, меняющем порядок престолонаследия, документе определяющем в данной ситуации — Константин молчит, не оттого ли что или ничего о нем не ведает, или ни в чем не уверен?

Загадочное поведение Александра, туман, которым он окружил вопрос о престолонаследии, имеют свои объяснения, сформулированные историками позднейшего времени{368}. Невнятность ситуации удерживала обоих младших братьев государя на почтительном расстоянии от престола, так что ни один из них не мог питать сколько-нибудь определенных надежд на корону. Константин был уверен, что наследник Александра — Николай. Николай не исключал, что наследник — Константин. В итоге наследником не был никто.

Слух

«Император Константин Павлович и великий князь Михаил Павлович, отправившийся к брату своему в Варшаву, арестованы и уже привезены в Петропавловскую крепость»{369}.

Генерал-губернатор Санкт-Петербурга граф Михаил Андреевич Милорадович про хранившийся в Успенском соборе манифест Александра не ведал тоже. И не оставил великому князю Николаю никаких шансов. Власть Милорадовича была настолько велика, убежденность в собственной правоте так тверда, что он вышел победителем. И еще больше запутал дело.

25 ноября, в день, когда из Таганрога пришла весть о том, что государь при смерти, Николай Павлович пригласил к себе председателя Госсовета князя Петра Васильевича Лопухина, князя Алексея Борисовича Куракина и Милорадовича. Великий князь наконец открыл им тайну, о которой давно бродили в обществе слухи, но никто ничего не знал доподлинно. Николай Павлович сообщил собравшимся, что после развода с первой своей супругой, великой княгиней Анной Федоровной, Константин отрекся от престола и Александр завещал престол ему, Николаю. Похоже, и Николай говорил лишь об устном завещании императора и не упомянул о том, что в Успенском соборе лежит разъясняющий дело манифест. Впрочем, и манифест Николаю не оказал бы никакой помощи.

«Гр[аф] Милорадович ответил наотрез, что вел[икий] кн[язь] Николай не может и не должен никак надеяться наследовать брату своему Александру в случае его смерти; что законы империи не дозволяют государю располагать престолом по завещанию; что притом завещание Александра известно только некоторым лицам и неизвестно в народе; что отречение Константина также не явное и осталось необнародованным; что Александр, если хотел, чтоб Николай наследовал после него престол, должен был обнародовать при жизни своей волю свою и согласие на нее Константина; что ни народ, ни войско не поймет отречения и припишет всё измене, тем более что ни государя самого, ни наследника по первородству нет в столице, но оба были в отсутствии; что, наконец, гвардия решительно откажется принести Николаю присягу в таких обстоятельствах, и неминуемое за тем последствие будет возмущение. Совещание продолжалось до двух часов ночи. Великий князь доказывал свои права, но гр[аф] Милорадович их признать не хотел и отказал в своем содействии. На том и разошлись»{370}.

Милорадович хорошо знал свой народ, который просто не понял бы отречения, проделанного в столь странной форме.

Будущее подтвердило его правоту. Граф верно указал и на то, что подобные договоренности не могут заключаться в узком семейном кругу и должны предаваться гласности. Вместе с тем в настойчивости Милорадовича можно увидеть не только жажду законности, но и искреннюю симпатию к Константину Павловичу, желание видеть на престоле именно его. Когда позднее из Варшавы пришло известие о том, что Константин не хочет принять уже принесенной ему присяги, Милорадович остановился перед портретом цесаревича и сказал сопровождавшему его полковнику Федору Глинке: «Я надеялся на него, а он губит Россию»{371}.[40]

Смелый, ясный, быстрый и точный генерал, герой войны 1812 года, бок о бок воевавший с Константином во время суворовских походов, обладавший даром говорить с солдатами так, что они ему верили, всегда готовый разделить с войском невзгоды и лишения военного похода… Когда мятеж на Сенатской площади уже начался и подученные офицерами солдаты кричали «Ура, Константин!», именно Милорадович поехал их уговаривать. «Став перед передним фасом каре, он вынул свою шпагу и, показывая клинок ее солдатам, сказал им с необыкновенным одушевлением: “Эту шпагу подарил мне великий князь Константин Павлович после похода Суворова в Италию и Швейцарию в знак своей дружбы ко мне и с надписью о том вот на клинке: 'Другу моему Милорадовичу'. С тех пор я никогда не разлучался с этой шпагой и она была при мне во всех походах и сражениях. И я ли, после этого, стал бы действовать против моего друга и благодетеля и обманывать вас, друзья, многие из которых были со мною в походах и сражениях?”»{372}.

Слушатели внимали ему с доверием, многие из них прошли с генералом огонь и воду и были почти им убеждены. Колебание стало настолько заметно, что прогремел выстрел. Милорадович упал. Он провел около пятидесяти сражений, но это было его первое ранение. Когда домашний врач вынул из тела пулю, генерал внимательно осмотрел ее, перекрестился и сказал: «Слава Богу! Это не солдатская!» Теперь и умирать было не страшно. Он умер, прижав к груди собственноручное письмо государя Николая Павловича, подписанное словами: «Твой друг искренний».

Как хорошо известно, выстрелил в Милорадовича, смешавшись с толпой и приблизившись к генералу почти вплотную, переодетый отставной поручик Астраханского кирасирского полка Петр Каховский.

Историки не исключают, что Милорадович мог представлять и интересы Марии Федоровны, которая не возражала бы в этой неразберихе сама взойти на престол — хотя бы и в роли регента

при малолетнем Александре Николаевиче, сыне Николая Павловича. За плечами Марии Федоровны стояла небольшая «немецкая партия» во главе с братом вдовствующей императрицы Александром Вюртембергским и немцем по происхождению, министром финансов Е.Ф. Канкрином. В воцарении Марии Федоровны была заинтересована и Российско-американская компания, надеявшаяся с ее помощью «направить русскую экспансию в Северную Америку, в Калифорнию, на Гаити, Сандвичевы острова»{373}. Однако и теперь, уже второй раз в своей жизни, императрица была оттеснена от престола.

Слух

«Государь жив, уехал в легкой шлюпке в море»{374}.

Николай поспешил присягнуть Константину немедленно после получения известия о смерти Александра. В Малой церкви Зимнего дворца в присутствии ближайшего окружения, плача об «отлетевшем ангеле», великий князь принес присягу Константину Павловичу. Приближенные сейчас же последовали примеру Николая. В тот же день 27 ноября, около двух часов пополудни, в Зимнем дворце собрался Государственный совет.

По инициативе Александра Николаевича Голицына, посвященного в тайну манифеста, пакет, хранящийся в Государственном совете, был, наконец, вскрыт и духовное завещание императора зачитано вслух. Голицын, рыдающий от скорби и от совершенной непоправимой ошибки, рассказал членам Государственного совета об экземплярах, хранившихся в Синоде и Сенате, а также о подлиннике, лежащем на престоле Успенского собора. Присягать Константину поторопились! Но вновь Милорадович твердо повторил, что манифест не имеет законной силы, а Николай Павлович уже отрекся от предоставленного ему права и присягнул Константину. Члены совета колебались и постановили, что необходимо услышать подтверждение самого Николая Павловича. Совет провели к Николаю, который находился здесь же, в Зимнем дворце, и великий князь подтвердил свое решение, а затем лично повел всех в дворцовую церковь — присягать Константину. Послышались восклицания: «Какой великодушный подвиг!»

Не будем преуменьшать благородства Николая — хотя вернее было бы сказать, что он вел себя осторожно. Он не желал прослыть захватчиком престола, вместе с тем он и не смог бы его захватить — Милорадович, а значит, и вся военная власть

Петербурга были не на его стороне.

Пакет, хранящийся в Сенате, решено было не вскрывать, и вскоре за Государственным советом присягнул Сенат.

Так началось царствование нового российского императора Константина[41]. Царствовать ему предстояло 17 дней.

Фельдъегеря повезли в Варшаву донесение обо всем случившемся в Государственном совете и личную записку Николая, в которой тот именовал брата государем. В столичных церквях императору Константину провозглашали многая лета, об Александре служили панихиды, одописцы слагали «оды на восшествие», священники призывали народ любить нового государя как отца. «Ему, ему, россияне, поклянемся в нелицемерной нашей верности, ту кровь, которую мы желали пролить за монарха Александра, прольем, когда потребует того долг нашего звания, за милое Отечество и Государя нашего Константина — воскликнем, россияне: “Да здравствует Константин!”». В лавках выставлялись портреты нового государя, его именем подписывались подорожные, бровастые курносые бюсты шли нарасхват. На Петербургском монетном дворе чеканили знаменитый Константиновский рубль — будущий раритет и предмет страсти нумизматов. Двуглавый орел на одной стороне, знакомый профиль в бакенбардах — на другой. Под портретом стояла дата— 1825, а вокруг плыла надпись: « Б.М. КОНСТАНТИНЪ I ИМП. и САМ. ВСЕРОСС», что означало, конечно: «Божьей милостью Константин I император и самодержец Всероссийский»{375}.

«НЕ ЕДЕТ К НАМ НА ЦАРСТВО КОНСТАНТИН-УРОД»

Плачет государство,
Планет весь народ:
Едет к нам на царство
Константин-урод{376}.

Николай Павлович — брату Константину

Санкт-Петербург, 2 декабря 1825 года

«Дорогой Константин!

Считаю своим долгом сообщить вам о здоровьи матушки. Слава Богу, она не испытывает никаких физических недомоганий, а столь жестоко потрясенная душа ее находит себе поддержку в истинно христианском смирении; она нас всех изумляет; она вся поглощена своей скорбью и с нетерпением ожидает сообщений от вас и от Михаила.

Беспокойство наше об императрице все более и более усиливается; сведения, полученные сегодня, ужасны; они дают предвидеть ужасное и почти неизбежное будущее.

Мы все ожидаем вас с крайним нетерпением; совершенная неосведомленность, в которой мы находимся, о том, что вы делаете и где находитесь, чрезвычайно тягостна. Присутствие ваше здесь необходимо, хотя бы ради матушки!

С Божьей помощью нам удается пока сохранять во всем порядок; все поглощены скорбью; все думают лишь об этом и о выполнении предписываемого присягой долга. Порядок полный.

Мы получили сообщения из Финляндии; они вполне удовлетворительны. Но приезжайте, приезжайте, как можно скорей, умоляю вас.

Жена моя вас обнимает; я — у ног моей невестки; скажите ей, что я полагаюсь на нее; мы все надеемся, что она поможет вам перенести постигший нас удар, как то подобает христианину. Да сохранит вас Господь и да поможет он вам!

Ваш преданный и верный брат и ваш верноподданный
Николай»{377}.

Мария Федоровна — сыну Константину

Санкт-Петербург, 2 декабря 1825 года

«Дорогой и добрый Константин.

Гнет моей скорби увеличивается еще неполучением известий от вас с тех самых пор, как нас поразил этот смертельный удар. Я надеюсь испытать некоторое успокоение, когда я вас увижу, когда я смогу вас наконец обнять! Приезжайте, ради Бога, умоляю вас об этом, это ваш долг — быть здесь! Сердце ваше должно внять голосу матери; поспешите в объятия вашей матери, вашего друга.

Мария.

Обнимаю дорогую Жаннетт, пусть она разделит с нами наше горе»[{378}].

* * *

Дело было за малым — император и самодержец Всероссийский должен был признать себя таковым. Николай Павлович и Мария Федоровна прямо давали понять Константину Павловичу, что все прежние договоренности дезавуированы, что его брак с княгиней Лович не может служить препятствием к царствованию, что порядок в столице хрупок — поэтому они ждут его, ждут!

Дорога в польскую столицу занимала около недели, курьер укладывался в шесть суток. Всю эту неделю Николай и императрица протомились в неизвестности. 3 декабря из Варшавы приехал Михаил Павлович с письмами от Константина, которые не оставляли сомнений в твердости его намерений, однако цесаревич писал их, еще не зная, что войско и чиновники ему уже присягнули. Поклявшаяся в верности Россия простиралась у ног Константина. Как знать, не дрогнет ли новый государь, не пожелает ли всё же взойти на престол?

Оставалось ждать известий от курьеров, уже увезших в Варшаву и сообщение о присяге, и слезные просьбы приехать «хотя бы ради матушки». Очевидно было, что Константин скорее всего подтвердит свое отречение и, значит, понадобится вторая присяга. Но как объяснить ее необходимость народу? Как избежать разговоров, толков и, главное, пролития крови? «Всё, впрочем, могло бы еще поправиться и получить оборот более благоприятный, если бы цесаревич сам приехал в Петербург, и только упорство его оставаться в Варшаве будет причиной несчастий, которых возможности я не отвергаю, но в которых, по всей вероятности, сам первый и паду жертвой», — заметил Николай Михаилу Павловичу в те дни[{379}].

После беседы с Михаилом Павловичем 3 декабря Николай

написал Константину снова, длинно, подробно, заверяя его в своей верности, преданности, а вместе с тем испрашивая окончательное решение своей участи. «Теперь же, с душою чистой перед вами, моим государем, перед Богом, моим Спасителем, и пред этим ангелом, в отношении которого я связан был этим долгом, этою обязанностью — найдите, какое хотите, слово: я чувствую это, но не могу выразить, — теперь я спокойно и безропотно подчиняюсь вашей воле и повторяю вам свою клятву пред *Богом* исполнить вашу волю, как бы тяжела для меня она ни была. Больше ничего не могу вам сказать; я исповедался пред вами, как перед самим *Всевышним*». И снова: «Приезжайте, ради Бога»{380}. И опять поскакал в Варшаву фельдъегерь.

Явись цесаревич народу, заяви лично о том, что отказывается от престола добровольно, — соблазн усомниться в законности действий царской фамилии стал бы заметно меньше. Но Константин в Петербург не ехал.

Слухи

> *«В Курске, Орле и частью в Москве не верят и по сей час, чтоб письма от цесаревича были неподдельны и что он не отрекся от трона, но отдален; в Курске… жалели о государе, но плакать стали о Константине, коего полагали увидеть строгим и справедливым»*{381}.

Печальная весть о кончине государя пришла в Варшаву на два дня раньше, чем в Петербург, — 25 ноября в семь часов вечера. Великий князь Михаил Павлович гостил в это время у Константина и разделил с братом скорбь. Всю ночь цесаревич провел в слезах, а наутро собрал круг самых близких друзей. «Выйдя с заплаканными глазами из кабинета своего, объявил им о горестном событии, постигшем его и всю Россию. Он говорил с большим чувством, утирая беспрестанно платком катившиеся слезы, и с возрастающим волнением повторял:

— Наш ангел отлетел, я потерял в нем друга, благодетеля, а Россия отца своего… и т. п.

Наконец, увлекаясь постепенно, цесаревич прибавил:

— Кто из нас поведет теперь к победам, где наш вождь!.. Россия осиротела. Россия пропала!

Затем, закрыв лицо платком, Константин Павлович предался на несколько минут величайшему горю. Все присутствующие молчали, стоя с поникшими головами, в это самое время отец мой (Павел Андреевич Колзаков. — *М. К),* видя, что никто не

решается приветствовать нового государя и не зная ничего об отречении его от престола, решился, вступив из среды других, сказать: “Ваше Императорское Величество, Россия не пропала… а приветствует…”, но не успел докончить свою фразу, как великий князь, весь вспыхнув, бросился на него, схватив его за грудь, с гневом вскрикнул: “Да замолчите ли вы! Как вы осмелились выговорить эти слова!! Кто вам дал право предрешать дела, до вас не касающиеся?., вы знаете ли, чему вы подвергаетесь? Знаете ли, что за это в Сибирь и в кандалы сажают?! Извольте идти сей час под арест и отдайте вашу шпагу”.

Изумленный, не зная, что и подумать, молча отдал отец мой свою шпагу гр[афу] Куруте, тут же бывшему, и удалился во флигель дворца, в комнаты, занимаемые этим генералом…»{382}

Спустя полчаса, когда буря стихла, шпага была возвращена Колзакову, ничего, разумеется, не слышавшему о переменах в порядке престолонаследия.

Любопытно, что Константин не снисходит до объяснений и ведет себя так, будто его отказ от престола — факт общеизвестный. Он не позволяет себя называть государем и вместе с тем не отдает распоряжений о присяге! На две недели Варшава погружается в состояние неизвестности, догадок и страстного ожидания развязки. «Движение в городе сделалось необычайное. Все знатнейшие чины двора, военные и гражданские, войско и духовенство русское и польское готовились к присяге и ждали только приказаний. Весь город был на ногах. К Брюлевскому дворцу подъезжали отовсюду толпы, адъютанты, наконец, и сами начальники за приказаниями и за новостями, но приказа не было. Великий князь сказался нездоровым — и один и тот же ответ всё получался: “приказания в свое время будут объявлены, а покуда всё остается по-прежнему”. Любопытство дошло донельзя»{383}.

Не умея ничего добиться от цесаревича, ехали к Куруте, но его лакей с посетителями не церемонился и отвечал им только: «Почивают» или же: «Нет дома». Пробить оборону приехал сам господин наместник. Иосиф Зайончек явился к Куруте в парадном мундире и на слова лакея о том, что генерал спит, велел разбудить его немедленно и передать, что Государственный совет и Сенат собрались в полном составе для присяги. Не помогло: Курута ускользнул из дома с черного хода. Между поляками распространился слух, что цесаревич отказывается от русской короны в надежде на польскую, что будто бы когда один из генералов назвал цесаревича «императорским величеством», тот рассердился, а когда «королевским» величеством, принял это как должное…{384}

Во всем происходящем есть по меньшей мере одна странность — Константин явно медлил. Он не позволял называть себя императором, но и не подводил войска к присяге, словно бы ожидая, когда дело разъяснится окончательно. Хотя кто как не он должен был его окончательно разъяснить?

Но возможно, у этой предосторожности были причины. Существует свидетельство, как будто записанное со слов Михаила Лунина: «Когда великий князь Константин получил известие о смерти императора Александра, он, верный своему отречению, намеревался на другой день собрать полки Литовского корпуса, гвардейские и армейские, бывшие тогда в Варшаве, чтобы привести их к присяге императору Николаю. Начальники этих войск, любимцы великого князя, никак не хотели допустить того, желая видеть его самого императором, чтобы пользоваться его милостями и благоволением. Накануне принесения присяги все эти господа собрались у больного генерала Альбрехта и приняли единогласно решительное намерение заставить все полки вместо Николая присягнуть Константину и насильно возвести его на трон. На это дал согласие и действительный тайный советник Новосильцев, который тогда заведовал высшей администрацией церкви»{385}.[42]

Итак, за Константином стояла реальная сила, гораздо более внушительная, чем малочисленная «немецкая» партия и Российско-американская компания Марии Федоровны. Цесаревича вопреки его воле хотели возвести на престол приближенные, надеявшиеся на его милостивое по отношению к Польше и к ним самим правление. Заговор был предупрежден — генерал Красинский открыл великому князю о готовящемся замысле, и всё разрушилось. Добавим также, что, как показывает современный исследователь Ольга Эдельман, Константин мог не желать появляться в столице еще из-за опасения, что в Петербурге его буквально вынудят принять корону: судя по дневникам периода междуцарствия, Николай поначалу вполне искренне не хотел царствовать{386}.

Слухи

«Посадили Константина Павловича на царство, но которого Польша упросила остаться у них королем, а то мы без тебя пропадем; у нас такого короля не бывало и нас без тебя паны разорят, то он послушал и отказался от русского престолу».

«Будто бы цесаревич домогается быть вице-королем

Польши, с тем, чтоб в Царстве Польском присоединить не только Белоруссию, Литву, Волынию и Подолию, но и Смоленскую и Киевскую губернию»{387}.

ПРИЮТ СПОКОЙСТВИЯ

Цесаревич не объявил истины до тех пор, пока не убедился в ней сам. Выяснилась она в двухнедельной переписке с братом и императрицей. Обратимся вновь к этому челночному движению между столицей и Варшавой, от которого до сих пор пестрит у историков в глазах.

26 ноября в Петербург пришла весть о смерти государя, 27-го Петербург присягал новому государю Константину Павловичу. В тот же день Николай призвал одного из ближайших друзей Константина, действительного статского советника Федора Петровича Опочинина. Николай попросил его отправиться в Варшаву, с тем чтобы привезти от Константина формальное отречение — на этом настаивал Милорадович. По дороге в Варшаву, в Нарве, Опочинин встретился с великим князем Михаилом Павловичем, который ехал в противоположном направлении — из Варшавы в Петербург, с письмами цесаревича об отречении. Опочинин повернул назад, решив, что писем будет достаточно. Михаил Павлович приехал в столицу 3 декабря, но, к всеобщему изумлению, не торопился присягать Константину — сейчас же пошли разговоры, недоумения, и спустя два дня Михаил Павлович скрылся от толков прочь, 5 декабря опять отправившись в Варшаву якобы для того, чтобы успокоить Константина Павловича относительно здоровья императрицы (но на этот раз до Польши он так и не доехал и снова вернулся в Петербург).

Вечером 2 декабря фельдъегерь привез, наконец, в Варшаву известие о присяге Константину. Присяга многое меняла, дело было сделано, Россия обещалась служить новому императору — ему оставалось лишь согласиться царствовать или же лично приехать в столицу, чтобы публично, на глазах народа подтвердить свой отказ от престола. Но вместо Константина 6 декабря в Петербург приехало очередное письмо цесаревича—с новым подтверждением решимости не царствовать и странным обещанием, сильно напоминавшим угрозу: «Приглашение ваше приехать скорее к вам не может быть принято мною, и я объявляю вам, что я удалюсь еще далее, если всё не устроится сообразно воле покойного нашего императора»{388}.

8 декабря до Варшавы доехал и второй посланник с просьбой Николая решить участь его окончательно, и вновь Константин ответил и брату, и матушке, что на престол не взойдет, а в столицу не приедет. «Если бы я приехал теперь же, то это имело бы такой вид, будто я водворяю на трон моего брата, он же это

должен сделать сам…»{389} Этого-то ему, похоже, особенно не хотелось — собственными руками водворять на трон брата.

12 декабря, в тот самый день, когда Николай узнал о готовящемся заговоре, этот третий по счету отказ цесаревича достиг Петербурга. Отказываясь от короны и приезда, цесаревич мог сделать и другой, совсем уж не обременительный для него жест, о котором тоже просили его Николай Павлович и Мария Федоровна, — написать официальный акт отречения от престола. Но и того он не хотел совершить — от престола отрекаются императоры, он же императором, по собственному его убеждению, ни минуты не был. Николай Павлович и Мария Федоровна согласились бы даже и на облеченное в торжественную форму «объявление» с прямым обращением к народу — подобное тому, какое он и написал, но спустя годы, адресуя его «любезнейшим своим соотчичам»{390} (обращение, так и оставшееся под спудом). Однако в 1825 году и объявления Константин писать не стал, искренне переживая, скорбя об Александре, не скрывая недовольства поторопившимся с присягой Петербургом, гордясь собственной непоколебимостью… и думая в столь решительную для Российской империи минуту об одном себе!

Для того чтобы хоть как-то растопить разраставшийся с каждым днем снежный ком проблем и противоречий, Константин Павлович не сделал ничего. Более того, он усугубил и многократно осложнил и без того непростое положение — подлинно, «не чувствуя в себе ни тех дарований, ни тех сил, ни того духа, чтоб быть, когда бы то ни было, возведену на то достоинство, к которому по рождению» имел право. Любопытно, что на каждое недействие у Константина было объяснение. Не отрекаюсь от престола, потому что его и не принимал. Не еду в столицу, потому что это воспримут как посягательство на корону. В том, что *не совершить* поступка всегда проще, чем его *совершить,* Константин, кажется, так никогда себе и не признался, позднее обвиняя во всех петербургских беспорядках ошибочные действия «местных властей»{391}.

Анекдот

«Однажды он [Константин Павлович] сказал одному из своих любимцев, помнится, графу Миниху:

— Как ты думаешь, что бы я сделал, лишь только бы вступил на престол?

Миних гадал то и другое.

— Всё не то: повесил бы одного человека.

— И кого?

— Графа Николая Ивановича Салтыкова за то, что он воспитал нас такими болванами»{392}.

«ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОНСТАНТИН!»

Ночь с 13 на 14 декабря для многих в Петербурге выдалась бессонной. С восьми часов вечера члены Государственного совета находились в Зимнем дворце, ожидая Николая Павловича, который должен был зачитать манифест о своем восшествии на престол. Около часа ночи великий князь прочитал манифест и распрощался с членами совета уже императором. Присягу назначили на девять утра. Члены совета разъехались по домам, Николай Павлович прошел к Александре Федоровне и просил ее мужественно перенести всё, чему бы ни предстояло случиться.

В доме на Мойке на квартире у Кондратия Рылеева тоже не спали. Нервно, шумно, бестолково, под восклицания Александра Одоевского: «Умрем, ах как славно мы умрем!» — разрабатывался план действий. Восставшие войска должны были выйти на Сенатскую площадь, принудить сенаторов отказаться от присяги, низложить правительство и издать Манифест к русскому народу. Черновик манифеста сохранился — он сообщал об учреждении временного правительства, об отмене крепостного права, рекрутских наборов, о равенстве прав всех граждан, объявлял свободу печати, вероисповедания и занятий. Манифест предполагалось опубликовать сразу после того, как революционная делегация в лице Рылеева и Ивана Пущина войдет в помещение Сената, потребует отмены присяги и объявит о низложении правительства. Тем временем Измайловский полк, Гвардейский морской экипаж и конно-пионерный эскадрон под предводительством Александра Якубовича отправятся к Зимнему дворцу и арестуют царскую семью. Лейб-гренадерский полк под командованием Александра Булатова должен был захватить Петропавловскую крепость и превратить ее в центр восстания.

«Диктатором», или руководителем восстания, выбрали гвардейского полковника князя Сергея Петровича Трубецкого. Рылеев предложил, чтобы Каховский, переодевшись в лейб-гренадерский мундир, проник в Зимний дворец и убил Николая Павловича. Но Каховский, как и Якубович, по некотором размышлении один за другим отказались от возложенных на них обязанностей — первый не пожелал убивать царя, второй — арестовывать.

После победы восстания, по плану заговорщиков, созывался Великий собор, которому и предстояло решить, какая форма правления, республика или конституционная монархия, установится в России и как поступить с царской семьей.

Около одиннадцати часов утра 14 декабря Московский полк

под предводительством красноречивого автора романтических сочинений штабс-капитана Александра Бестужева, убедившего солдат восстать против «переприсяги», выстроился в форме каре на Сенатской площади. Именно в этот момент на площадь явился генерал Милорадович и был смертельно ранен. Тут выяснилось, что мятежники опоздали — Сенат пуст, сенаторы уже присягнули государю. Ожидали, что «диктатор» Трубецкой приедет на площадь и возьмет на себя командование, но князь не ехал; сидя в Генштабе, он только изредка выглядывал из-за угла — проверить, сколько войск прибыло на площадь. Но так и не решился возглавить восстание.

Слух

> *«На Черном море показывается престол со следующею на оном надписью: “Отпущен в море Константином, и будет взят Константином царем; а более никто взять меня не может»*{393}.

На площади раздавались беспорядочные выкрики: «Да здравствует император Константин! Да здравствует Конституция!».

Заговорщики уверяли солдат и простой народ, что Конституция — жена нового императора{394}. Это смахивало на правду: все знали, что женой Константина была полячка, а значит, и имя у нее должно быть нерусское, неродное, сломаешь язык… Что за острослов тут скаламбурил, неведомо, но шутка его вошла в историю.

Опускаем хорошо известные подробности. Войска мятежников и государя стягивались на площадь. Уговоры митрополитов Серафима Глаголевского и Евгения Болховитинова ни к чему не привели. Митрополиту Серафиму кричали про Константина:

— Нет, он не в Варшаве, а на последней станции в оковах. Подайте его сюда!.. Ура, Константин!.. Скажи своему государю, чтобы он послал к нам Михаила Павловича: мы с ним хотим говорить, а ты, калугер[43], знай свою церковь!

В этой путанице и неразберихе звучали разговоры и о том, что законный наследник престола — великий князь Михаил Павлович. Ведь он, в отличие от трех старших братьев, родился после воцарения Павла, а значит, только он являлся сыном императора{395}. В смутные дни января 1826 года в беседе с астраханским губернатором блаженный Гриша предсказал, что

при Николае «постраждет человечество, прольются кровавые реки и волною их унесется Николай в море». «Когда же Россия озарится счастием и кем из монархов успокоится пророчествуемое тобою треволнение?» — поинтересовался губернатор. «Михаилом, — заключил блаженный, — им утвердится закон и им хвалиться будут народы не только ему подвластные, но и в соседстве живущие»{396}.

Михаил Павлович, который в день присяги приехал в Петербург со станции Ненналь, где томился неделю, ожидая окончания разбирательств между старшими братьями, тоже был на Сенатской площади. Великий князь также пытался уговорить взбунтовавшееся войско и только чудом не был убит Кюхельбекером, который уже прицелился, но трое матросов из числа мятежников выбили из его рук пистолет и слегка прибили поэта прикладами ружей. В конце концов на Сенатскую площадь явился генерал артиллерии Сухозанет. Появление боевого генерала, прославившегося храбростью в Наполеоновских войнах, должно было послужить восставшим ясным намеком на то, что скоро с ними заговорят пушки.

На всё был один ответ: «Ура, Константин! Да здравствует Конституция!»

На площади стояли около трех тысяч восставших солдат и нейтральная толпа наблюдавшей за происходящим черни, которая легко могла перекинуться на сторону заговорщиков. Мороз усиливался, дворцовый караул развел костры, короткий зимний день кончался. Темнота могла сослужить мятежникам добрую службу, и новый государь приказал стрелять картечью. Стрельба длилась не больше пятнадцати минут, силы были слишком неравными, войска восставших и народ немедленно бежали. «В промежутках между выстрелами можно было слышать, как лилась кровь струями по мостовой, растопляя снег, потом сама, алея, замерзала»{397}.

«Дорогой, дорогой Константин! Ваша воля исполнена; я — император, но какой ценой. Боже мой! Ценой крови моих подданных!»{398} — писал Николай I Константину Павловичу поздним вечером 14 декабря.

Константин, как водится, умывал руки. «Какое счастье среди этого горя, — отвечал он брату, — что я не был в Петербурге во время этого злополучного события, в этот критический момент, когда эта сволочь волновалась якобы во имя меня! Бог знает, какое зло могло бы произойти, и даже теперь я буду сильно опасаться, как бы одно мое присутствие не могло вызвать подобных сцен. По-видимому, во всем этом деле мое имя является как бы средоточием всего»{399}.

КОНСТАНТИН И ДЕКАБРИСТЫ

Анекдот

> *«Третьего дня, или четвертого дня имел я во сне разговор с каким-то иностранцем о России. Между прочим говорили мы с ним о 14 декабря. Он удивлялся, что мятежники полагали возмутить народ именем цесаревича. Я отвечал ему: nous ne pouvons pas avoir de revolution pour une idee, nous ne pouvons en avoir que pour un pot[44]. Я готов подтвердить наяву сказанное во сне: история тому свидетельница» (Князь Вяземский, 18 мая 1829-го, Мещерское)*{400}.

И Константин, и Вяземский были правы, имя цесаревича послужило удобным знаменем для руководителей восстания, которые неплохо разбирались в психологии русского солдата, хотя в действительности никакой симпатии к Константину, разумеется, не питали. Как помнит читатель, еще в 1824 году цесаревич был приговорен заговорщиками к смерти как член царской фамилии — совершить его казнь предстояло членам польского Патриотического общества.

Идея уничтожения цесаревича принадлежала главе Южного тайного общества Павлу Пестелю, который не собирался ограничиваться Константином. В беседе с одним из членов общества, подполковником Александром Поджио, наполовину итальянцем, известным своим горячим темпераментом, Пестель речами о недостатках монархического правления воспламенил собеседника «до бешенства». «Принесем на жертву всех!» — воскликнул Поджио. «Тогда Пестель, сжав руку, сказал: “Давай считать их по пальцам, для удара я готовлю двенадцать удальцов: Барятинской уже набрал некоторых”. Дошедши до царственных особ женского пола, он на минуту остановился: “Знаешь ли, Поджио, что это ужасно!” и однако ж заключил свой страшный счет числом 13, прибавя: “Если убивать и в чужих краях, то конца не будет, у всех великих княгинь есть дети: довольно объявить их лишенными прав на царство, и кто захочет престола, облитого кровью?”»{401}. Очевидно, что палец, означавший Константина, был загнут вторым, сразу же после Александра, без всяких остановок и задумчивости. Беседа эта состоялась осенью 1824 года.

Тот замысел не удался, поляки шли на контакт с русскими не

слишком охотно, и Константин остался в живых.

Слух

> *«В Царстве Польском, неизвестно в каком месте, случилось напали вооруженные пятеро человек на его императорское высочество. Четырех сам его высочество своеручно положил на месте, а пятый внезапно с тылу ранил его высочество»*{402}.

В период междуцарствия Константин и будущая судьба его вновь оказались в центре общественного внимания. «Цесаревич же славный наездник, — язвительно замечал Иван Якушкин, — первый фрунтовик во всей империи, ничего и никогда не хотел знать, кроме солдатиков. Всем был известен его неистовый нрав и дикий обычай. Что же можно было от него ожидать доброго для России?»{403} Выразительнее многих отозвался о предстоящем царствовании Александр Якубович, гуляка и бретер, человек довольно сомнительной нравственности. Во время восстания на Сенатской площади он избрал странную «челночную» дипломатию — подошел к Николаю и предложил ему посреднические услуги. Прочитав в 1826 году биографию Якубовича, Константин обронил: «Злодей, которого без омерзения нельзя поминать…» Сам злодей на вопрос, кого он хотел бы видеть царем, Константина или Николая, ответил: «Если уж нельзя ни того, ни другого, так уж, конечно, лучше давайте Константина; этот хоть по крайней мере старый кот, попадешься ему в когти, так разом задушит, а не станет, как котенок, играть с мышкой»{404}. В котенке, играющем с мышкой, угадывается не столько Николай Павлович, сколько ненавистный Якубовичу двоедушный император Александр, в убийцы которого Якубович себя настоятельно предлагал.

В разговоре Кондратия Рылеева с членом Северного общества, полковником Александром Булатовым речь вновь зашла об истреблении «монархического правления» и «власти тиранической». Рылеев желал уничтожения не только самой власти, но и ее представителей, включая нового императора Константина. Булатов возражал, что новый государь любим «народом и войсками». Тогда Рылеев развернул перед ним следующую перспективу: «И мне открывает он, что уже план готов и для царствования Константина, с тою разницею, что так как он народом любим, так надо было дожидать год, а может быть, и более, тогда главные товарищи заговора должны стараться

входить в милость его и искать мест быть ближе к нему и окружить его вместо собственных своих друзей друзьями заговора и таким образом совершенно им завладеть»{405}. Завладеть, а там и отправиться по дорожке, проложенной графом Беннигсеном в спальню императора Павла.

На следствии Каховский утверждал, что у Рылеева был и другой замысел — один из членов общества всенародно убивает Константина и тут же кричит, что убил его по приказанию Николая — «таким образом, говорил он, мы вдруг погубим обоих»{406}. Рылеев объявил следствию, что всё это клевета.

Как очевидно, в том числе и из разговора Рылеева с Булатовым, мнение и привязанности народные для руководителей движения — только карта в политической игре. Любовь народа к Константину Павловичу то используется в целях восстания (когда солдат призывают кричать Константина и его жену Конституцию), то воспринимается как досадная помеха, которую нельзя не учитывать, но в итоге необходимо будет обойти. Народ лишен права голоса — в его уста буквально вкладывают лозунги, которые он должен провозглашать, — и выступает в роли бессмысленного дитяти, слепого в своих привязанностях и неразумного в желаниях. «К чему стадам дары свободы? Их нужно резать или стричь».

Вместе с тем даже вполне пристрастные члены тайного общества единодушно отмечают — Константин был любим в народе. Любопытный срез общественного мнения по этому поводу дан в записках князя С.П. Трубецкого. «Константин, — замечает Трубецкой, — в течение последних лет пребывал в Варшаве, сделался почти чужим для русских и поэтому не имел в Петербурге приверженцев. Воспоминания, которые оставались о нем, не привлекали к нему публики, хотя говорили, что нрав его много изменился к лучшему, но многие, особенно придворные, вооружались против него. Гордость дам оскорблялась мыслью, что полька, и притом незнатного рода, может быть императрицей… Однако ж большая часть высшего круга желали иметь императором Николая. Надеялись, что при нем двор возвысится, что придворная служба получит опять прежний почет и выйдет из ничтожества, в котором была при покойном государе и в которое еще бы более погрузилась при Константине… Другие классы общества молча ожидали окончания междуцарствия. Они понимали свою незначительность, хотя, впрочем, более были склонны к Константину, но только потому, что в пожилом человеке предполагали больше опытности, нежели в молодом, который до тех пор занимался единственно фрунтовою службою. Народ был вообще равнодушен. Одни военные искренне желали,

чтоб Константин остался императором»{407}.[45]

Как видим, придворное общество, о пристрастиях которого князь Трубецкой был осведомлен превосходно, царствования Константина не хотело — незнатная и нерусская жена нового императора была не единственной причиной неудовольствия. Многим был известен непредсказуемый и тяжело переносимый характер великого князя. Вместе с тем Трубецкой, как и другие мемуаристы[46], признавал любовь армии к Константину. Неравнодушен к цесаревичу был и народ — здесь Трубецкой заблуждался.

Но покинем, наконец, эту комнату кривых зеркал, верных и неверных отражений нашего героя, и переместимся к нему самому, в Брюлевский дворец, в Варшаву.

«ВАШЕ …СТВО!»

Здесь, как мы уже говорили, в дни междуцарствия царило великое беспокойство. «Все были, как в лихорадке… Подъезжали с разных сторон к княгине Лович и ее родственникам, допытывались даже у камер-юнгферы и у горничных, но ничто не помогало. Как римский конклав до избрания нового папы — так и Брюлевский дворец был нем и не высказывался, пока наконец после долгих ожиданий истина не разъяснилась и великий князь объявил о своем отречении»[{408}].

Анекдот

> *«Из посланцев находчивостью отличался Андрей Сабуров. Прежде, чем предстать пред в[еликим] к[нязем] Константином Павловичем, он сведал от камердинира, что в[еликий] к[нязь] крайне гневается на тех, кто титулует его императорским величеством. Сабурову, однако, не хотелось именовать Константина Павловича высочеством, так как он еще не мог знать, чем окончится все это событие. И вот Сабуров во все время разговора с в[еликим] к[нязем] ни разу не назвал его ни высочеством, ни величеством, а подавая в[еликому] к[нязю] пакет, на вопрос Константина Павловича “к кому этот пакет?” — только тыкал пальцем на адрес и невнятно бормотал: “к Вашему …ству!” Константин Павлович обратил на это внимание и впоследствии шутил над находчивостью Сабурова»*[{409}].

Константин сообщил варшавским подчиненным, что отказывается от престола, за несколько дней до мятежа на Сенатской площади. Цесаревич предложил собравшимся «матримониальную» версию своего отречения, заметив, что исполняет собственное обязательство, данное императору Александру, так как получил разрешение на брак с княгиней Лович в обмен на отречение от престола. Теперь, при Николае, говорил Константин, он готов остаться служить в той же должности, если же императору это будет неугодно, он удалится от дел и заживет частным человеком в Лазенках — резиденции последнего польского короля Станислава Понятовского.

Готовность удалиться от дел, даже если она была следствием показного смирения, кажется примечательной. Страсть к частной

жизни не оставляла обоих воспитанников Лагарпа. Историки любят вспоминать письмо Александра Павловича Виктору Кочубею (от 10 мая 1796 года), где будущий император так сладко мечтал об отказе от непосильного бремени: «В наших делах господствует неимоверный беспорядок; грабят со всех сторон; все части управляются дурно; порядок, кажется, изгнан отовсюду, а империя, несмотря на то, стремится лишь к расширению. При таком ходе вещей возможно ли одному человеку управлять государством, а тем более исправить укоренившиеся в нем злоупотребления; это выше сил не только человека, одаренного, подобно мне, обыкновенными способностями, но даже и гения, а я постоянно держался правила, что лучше совсем не браться за дело, чем исполнять его дурно. Следуя этому правилу, я и принял то решение, о котором сказал вам выше. Мой план состоит в том, чтобы, по отречении от этого трудного поприща (я не могу еще положительно назначить срок сего отречения), поселиться с женою на берегах Рейна, где буду жить спокойно частным человеком, полагая мое счастье в обществе друзей и изучении природы»{410}.

Александр писал Кочубею, когда Екатерина была еще жива и предпринимала меры по воцарению старшего внука в обход Павла — юный Александр этого совсем не желал и страшился. Ему удалось избежать короны в 1796 году и не удалось в 1801-м, но про свой юношеский план он не забыл и в последний год царствования постоянно говорил о намерении оставить российский престол и зажить частным человеком. Легенда о таинственном старце Федоре Кузьмиче, в котором некоторые желали видеть императора Александра, родилась именно из этих высказываний. А в свой последний приезд в Варшаву в мае 1825 года император убеждал цесаревича и княгиню Лович отправиться в Рим вместе с ним и поселиться там навсегда, наслаждаясь созданиями искусства и дивной итальянской природой{411}.

Слух

> *«Елизавета Алексеевна беременна, Константин Павлович, узнавши о беременности, не принял престола»{412}.*

Нежелание царствовать, страх перед ответственностью — это было что-то фамильное, странный внутренний изъян, душевная слабость, которую гибель Павла только усугубила. «Et, bien,

Nikolas, prostenez vous devant votre frere, car il est respectable et dans sublime dans son inalterable determination de vous abandonner le trone»[47], — сказала Николаю Мария Федоровна в тот день, когда Михаил Павлович привез из Варшавы «отреченные» письма Константина. «Преклонитесь перед вашим братом: он заслуживает почтения…» «Признаюсь, мне слова сии было тяжело слушать, и я в том винюсь; но я себя спрашивал, кто большую приносит из нас двух жертву? — писал позднее Николай. — Тот ли, который отвергает наследство отцовское под предлогом своей неспособности и который, раз на сие решившись, повторяет только свою неизменную волю и остается в том положении, которое сам себе создал сходно всем своим желаниям, — или тот, который, вовсе не готовившийся на звание, на которое по порядку природы не имел никакого права, которому воля братняя была всегда тайной и который неожиданно, в самое тяжелое время и в ужасных обстоятельствах, должен был жертвовать всем, что ему было дорого, дабы покориться воле другого! Участь страшная, и смею думать и ныне, после 10 лет, что жертва моя была в моральном, в справедливом смысле гораздо тягче»{413}.

Николай, кажется, был прав. Какая жертва в побеге? Цесаревич не приехал даже на погребение Александра I, состоявшееся 13 марта 1826 года, хотя в народе настойчиво поговаривали, что теперь уж обязательно «покажут Константина».

Константин же вскоре после воцарения Николая и постоянных с ним несогласий начал тяготиться даже своей должностью в Варшаве. В 1829 году, когда Николай приехал в Варшаву на коронацию, дабы короноваться как король польский, на одной из прогулок цесаревич сделал неожиданное признание.

«Великий князь был угрюм и долгое время молчал, а потом неожиданно обратился к императору с вопросом:

— Знаете ли, государь, о чем я мечтаю?

Затем, не ожидая ответа, великий князь добавил:

— Я хочу уехать на постоянное житье во Франкфурт-на-Майне и жить там частным человеком. Такое мое желание разделяет и княгиня»{414}.

Заметим, что едва цесаревичу предоставилась возможность зажить частным человеком, он нисколько не развеселился. Случилось это, впрочем, только уже после Польского восстания 1830 года, в обстоятельствах, в которых трудно позавидовать нашему герою.

Пока же великий князь оставался в Варшаве, по-прежнему ездил на учения, балы, в театры, писал рескрипты, отвечал на письма, не любил журналов, любил княгиню Лович, словом, почти и жил частным человеком.

Поверить в это низшие сословия отказывались наотрез. В людской, в казарме, в крестьянской избе народ божий рассказывал собственные истории о том, что на самом деле творилось в столицах и где сейчас находится Константин, истинный русский император и бесстрашный заступник простых солдат и крестьян. Слухи множились, росли, бухли, возмещая недостаток гласности, заполняя дома и растекаясь по улицам, площадям, дорогам и городам, словно волшебная каша из известной сказки.

«НЕ ОТПРАВИТЬСЯ ЛЬ, РЕБЯТА, С МОИМ БРАТОМ ВОЕВАТЬ?»

Слух

> *«Константин Павлович, имея себя обиженным, ездил в Царьград и во Иерусалим и нашел в Царьграде отцовское письмо и во Иерусалиме также отцовское письмо и порфиру, и в обоих письмах назначено после Александра быть Константину царем, и привез все оное в Россию и не мог уверить или урезонить, чтоб быть царем ему, то и оставлено до время благопотребного»*{415}.

Эта красивая история родилась в городской среде, в Москве, среди простого люда, и была записана дворовым человеком Федором Федоровым. В слухе отразилось древнее верование о необходимости освящения царской власти в двух священных городах Востока. Соблазнительно увидеть и здесь эхо «греческого проекта». Но едва ли в народной среде были так хорошо известны и так памятны столь давние планы Екатерины. Одни греки к тому времени еще помнили о прожекте и надеялись, что Константин проявит к ним особую милость, а потому радовались его восшествию на престол и слегка задирали нос{416}.

Простой московский люд, вероятнее всего, вспомнил о Царьграде просто как о «царском», «святом» городе. И поставил его чуть ниже Иерусалима — ведь в Иерусалиме цесаревич находит не только письмо, но и царскую порфиру. С исторической точки зрения это не вполне логично — идея и атрибуты царской власти были перенесены на русскую почву именно из Византии, сам народ распевал об этом в своих песнях. «Я повынес царенье из Царя-града / Царскую порфиру на себя одел», — говорит царь Иван Грозный в одной из «старин»{417}. Однако превосходство Иерусалима над Царьградом имело свои объяснения — Иерусалим был древнее, по нему ходил Сам Господь, в нем вершились события Священной истории, и столицей Турции Иерусалим, в отличие от Константинополя, всё же не был. И потому Константин Павлович побывал на всякий случай и здесь, и там. После этого сомневаться в законности его власти стало уже невозможно.

В слухах и толках, ходивших в 1826 году по России, явился и печальный призрак императора Павла, который, как выяснилось,

всё это время содержался в темнице. «Открылось, что служивший в Артиллерийской роте, квартирующей Таврической губернии в селе Знаменском, рядовой Иван Иванов Гусев, переведенный в Пензенский батальон внутренней стражи, пришедши сюда в то самое время… на вопрос, нет ли чего нового, рассказывал крестьянам, что государь император Павел Петрович содержался в каменном столбе или темнице и что цесаревич ходил к нему с войском и освободил его»{418}.

Еще при жизни Павла народ сочинял небылицы, подтверждающие, что между отцом и его вторым сыном — особые отношения. Мы помним, как в одной из ходивших по Москве историй Константин Павлович защищал отца от бабушки и делился с ним деньгами{419}.

Явление Павла в 1826 году объясняло отречение Константина от царства — цесаревич отрекся, потому что жив другой законный российский император, Павел, который, кстати, вполне мог дожить до междуцарствия (ему исполнился бы 71 год). А впрочем, кого в сказках волнует возраст, если даже костлявая смерть опускала пред лицом фольклорных героев свою косу, не имея над ними никакой власти. Иван-царевич, Константин-цесаревич были бессмертны и вечно молоды. В рассказе 1843 года Константин, умерший, напомним, в 1831 году, ожил и «с обнаженной саблей» опять спас «государя и родителя от министров, которые хотели заставить царя передать управление государственными крестьянами в их руки»{420}.

О Константине говорили все и повсюду, но любили его больше других действительно солдаты. Ему ничего не стоило приказать прогнать провинившегося солдата через строй в тысячу палок, однажды он велел обучать на морозе рекрутов, одетых в самую легкую одежду, в другой раз велел отправить полк в плохо отстроенные казармы — в результате среди солдат и офицеров вспыхнула эпидемия, вследствие которой некоторые лишились зрения{421}. Солдатские жизни были для него, вполне в духе времени, только щепками, которые летели, пока рубили лес. Но в России цесаревич не жил уже 15 лет, жестокости его или забылись, или вовсе никогда не были широко известны в солдатской среде, да и самолюбия польских офицеров русские рядовые не имели. Когда один из свидетелей восстания, попавший на Сенатскую площадь, спросил бунтующего солдата, кому он будет присягать, тот ответил: «Кому же больше, как не Константину! Мы знаем, где он… Не хотим Николая, мы испытали его!»[65] Николай находился рядом, в Петербурге, его жесткость в обращении с солдатами была на слуху, и потому — да здравствует Константин!

По секретным донесениям середины 1826 года «об отношении москвичей к членам императорской фамилии», солдаты лейб-гвардии 1-й легкой батарейной роты не сомневались в том, что «не стараются беречь солдат Николай Павлович и Михаил Павлович», а «его императорское высочество Константин Павлович, тот сам везде уже прошел все походы, он видел и знает нужды и старается солдат сберещи»{422}. Посмертные слухи о якобы живом Константине содержат похожие сведения: «Каждому солдату цесаревич обещал дать по два рубля в день жалования, а народу даровать вольность и освобождение от податей»{423}. Мог ли такой человек, отец родной, друг солдата, бесстрашный суворовец, мужественный воин добровольно отдать царскую корону Николаю?!

Вопрос для живущих вдохновением мифа — риторический. А значит, Константин был насильно отстранен от престола. Из этого следовало, что он обязательно будет отстаивать свои права в честном бою. По одним рассказам первых месяцев 1826 года, цесаревич был уже на подступах к Петербургу вместе со своей армией, по другим — только собирал войско.

Пасквиль

«Санкт-Петербург, Генваря, 8 числа 1826 г.

К удивлению Цесаревича наследовавшего Российский престол Константина Павловича, когда уже я отвержен, но нет, вынудила меня польская система быть Польским и Российским Императором, тогда-то вынужденно в Варшаве сказано: Ура! Ура! Ура! Любезные дети, гряду в С.-Петербург с вами и занимаю Престол Российский. В означенное число приходя к оному, узнав, что тут царствует Николай брат мой. Сие зависит от матушки моей М[ариц] Ф[едоровны]. Петербург вострепетал прибытия Константина, ни один из войска солдат не мог противоречить. Тогда-то Константин повелел, дайте мне виновников Сената и по представлении не благочестия сего, неизвестно куда удалены. Но я о их зная, а ты брат потворщик Сената с Матерью моею арестуешься на год. Осрамленный престол лишает Николая, в 10 число приемлю престол Божий и могу даровать всенеослабную льготу. Мария страха сего убояся померла. Простив Бог согрешение мое и приемли великодушного Константина. Ура! Ура! Ура!»{424}

Подлинный сочинитель этого «пасквиля», имитирующего текст, написанный от лица цесаревича, — писарь Тарской инвалидной команды рядовой Николай Семенов. Но грамматические ошибки и путаный синтаксис, видимо, объясняются не одной безграмотностью автора, но и жаждой соответствовать жанру — сочинению, написанному от лица царственной особы. Именно поэтому в пасквиле мешается первое и третье лицо — писарю Семенову по долгу службы наверняка приходилось иметь дело с манифестами, в которых государь называет себя по имени: «Божией милостью, мы, Александр, император и самодержец Всероссийский…» Тем не менее сквозь сумбур семеновского «пасквиля» вполне можно различить отзвуки реальных событий.

Под «вынужденным» «ура», сказанным в Варшаве, скорее всего подразумеваются коронация Александра и «вынужденная» присяга польских войск русскому царю. Видимо, поэтому «польским императором» Семенов называет не Александра, что соответствовало бы действительности, а Константина. Впрочем, быть «императором» в Царстве Польском Константина вынудила «польская система», сам он Польского королевства отнюдь не искал. В письме воспроизводятся и все черты идеального «солдатского царя»: Константин бесстрашен, весел, по-отечески относится к солдатам («любезные дети!»), обещает народу «всенеослабную льготу» (освобождение крестьян), враждует с Сенатом и справедливо наказывает «потворщиков сената» Николая и «матушку». Неприязнь автора к Марии Федоровне выражается в том, что, подобно отрицательным фольклорным персонажам, она, «убояся, померла». На самом деле императрица Мария Федоровна умерла только два года спустя, 24 октября 1828 года[48].

«Пасквиль» Семенова четыре раза переписывался разными лицами, вероятно, также приверженцами Константина, и, возможно, переписывался бы и дальше, не будь автор его арестован. Как признался Николай Семенов следствию, он «сочинил сие письмо без всякого злого умысла и участия других», цель же его «при сочинении означенного пасквиля состояла в том только, чтоб за выданную им новость выпить чарку вина у сидельца в питейном доме, мещанина Романова»{425}.

Вот и вся политика, вот и раскрыт очередной заговор, пружина которого — одно лишь младенческое тщеславие. Удивить товарищей своей осведомленностью в вопросах государственной политики, ощутить себя причастным к большой истории и выпить за это чарку вина! Так наш современник хвастается друзьям, что встретил на улице известную

телеведущую или актера. Повремени полиция еще день-другой, и Семенов, без сомнения, сознался бы приятелям в обмане — за следующей кружкой в том же питейном доме.

Вино развязывало языки, а на языке в эти смутные дни были одни лишь свежие политические события. Трактир превратился в мужской политический клуб, а самые шумные его посетители оказались «гласом народным», высказывая то, что было на уме у всех. Однако и полиция не дремала, хорошо понимая, где искать «бунтовщиков», — и то один, то другой говорун делался жертвой ее бдительности{426}.

Анекдот

> *«2 февраля 1826 года помощник надзирателя Дмитриевского уездного правления питейного сбора губернский секретарь Константин Петрович Викентьев, бывши в трактире в весьма пьяном виде, обратился к присутствующим с требованием, чтобы ему связали руки и везли в Петербург по той причине, что он, будучи привержен более его императорскому высочеству великому князю Константину Павловичу, нежели его императорскому величеству Николаю Павловичу, желает, чтобы он был императором, почитая его того звания достойнейшим, нежели царствующего императора Николая Павловича, потому что сей, по его, Викентьева, мнению, не оказал государству заслуг, какие есть со стороны его высочества. Арестованный Викентьев при допросе показал, что говорил ли он такие слова, не помнит по бытности весьма пьяным и всегда считает обязанностью служить государю как верноподданный»*{427}.

Однако и в трезвом виде россияне говорили о том же — невиданной прежде чехарде на престоле. В письме товарищу (от 26 мая 1826 года) рядовой «музыкантской команды» Ладожского пехотного полка Иван Соколов рассказывает последние столичные «новости», которые услышал от петербургского унтер-офицера. Соколов описывает подробности гибели Александра, который «окружен был господами, отрубили ему левую руку, иссекли грудь и тело, вот его кончина. Он вместо причастия Господней крови свою истощил злодеями, Илья, кучер, привез его рубашку, которая иссечена была местах в тридцати…»{428}.

Александр предстает здесь невинно закланным агнцем,

мучеником, приносящим себя в жертву: династическая неразбериха в данном случае осмысляется в христианском мифологическом контексте, прототипами зарубленного императора оказываются убиенные князья Борис и Глеб, царевич Дмитрий.

Но то Александр. Великий князь Константин, согласно народным представлениям бесстрашный воин, подставить голову под меч никак не мог! И сопротивлялся из последних сил: «…Еще скажу я вам о Константине, за ним в полиции ходят пять генералов, которые стараются его извести, в апреле числах пришли пять генералов в женских платьях и подали просьбу, а сами за пистолеты и изранили крепко. Тогда вскричал: ординарец, не выдавай, начали рубить, на месте всех положили, от чего сделался весьма болен и едва ли будет жив; Константин если помрет, то великое смятение будет, оттого и коронации нет, а когда жив будет, то сделает всё по-своему»[429]. Заметим, что если пять предателей-генералов использовали пистолеты, то удалой Константин Павлович предпочел рубиться в рукопашной.

Всё смешалось в этом письме — древнерусская военная повесть, житие и бульварный авантюрный роман, распространившийся в России как раз в первой четверти XIX века, — с переодеваниями, обманом и стрельбой[430].

Понятно, что следующим после уложенных на месте предателей-генералов должен был оказаться коварный брат Николай[431]. В одной из песен эпохи междуцарствия Константин прямо спрашивает лейб-гвардейцев:

Не отправиться ль, ребята,
С моим братом воевать,
Себе землю забирать?

Но замысел не осуществился, Николай успел отправить Константина в «ссылку»: «За такие слова брат / Константина слал в Кронштадт»[432]. Впрочем, цесаревич был не злопамятен, и в более поздней народной исторической песне, относящейся к эпохе Русско-турецкой войны 1828—1829 годов, Константин уже спасает Николая, на жизнь которого покушается Сенат. «Прирубив» всех часовых, Константин входит в Сенат и говорит коленопреклоненному брату, над которым уже занесена сабля:

Ты ставай, брат, со коленей
Да из сеноту вон пойдем,
Из сеноту вон пойдем же,
Да мы сенотичек зажгем.

Нам не дороги сеноты
Да сеноторские судьи{433}.

К 1829 году события междуцарствия утратили актуальность, настали новые «страшные» времена и тревоги, и в народных представлениях отношения между братьями изменились, соперничество между ними угасло[49]. Но Константин, как и три года назад, остался воинственным и отважным — репутация его оказалась необычайно прочной, и разрушить ее не смогли ни годы, ни даже смерть цесаревича.

У крестьян на Константина Павловича были свои виды. Их мало волновала военная доблесть великого князя; в их версии он пришел на русскую землю с иной целью: для того же, для чего являлись все его предшественники — Стенька Разин, Лжедмитрий, Емельян Пугачев, царевич Алексей{434}. Заступники народные — вот в чем состояло их назначение. Утешить, смахнуть ладонью слезу с высветленных горем крестьянских глаз, одарить рубликом и — освободить. Да не забыть перед этим разобраться со всеми обидчиками, боярами да дворянами.

Слухи

«Из Боровска привез Моисей: боровский городничий женился и во всё время свадьбы была люменация от Калужской заставы до собора и собор был весь улеменован, и в то же время въехала в город карета в восемь лошадей и сзади кибитка тройкой, и вышел из кареты господин и с удивлением спрашивал, для чего такая церемония происходит; ему тут случившийся унтер-офицер у заставы отвечал, что женится городничий, а приезжий отвечал: “А я думал, какой-нибудь фельмаршал женится. Разве у вас он великий человек? Да хорош ли он до городу?” — “Весьма нехорош!”— то приезжий сказал: “Это не для ли Костюшки церемония, который тут где-то ездит?” — А унтер сказал: “Если бы наш батюшка Константин Павлович сюда приехал, то здесь для него не такую церемонию сделали бы”{435}.

«Здешней слободы ямщик сказывал, что он на прошедшей неделе отвозил из Вязьмы великого князя Константина Павловича и что его высочество пожаловал ему империал, приказывая о том не сказывать»{436}.

Образ Костюшки-заступника ткался из знакомых лоскутков,

вышивался по давно известным узорам. Константин Павлович непременно «всех дворян перевешал бы»{437} — так же, как Разин или Пугачев. Мстителем за мужицкие обиды остался он и в слухах, бродивших уже после его смерти: «Говорили о Государе Императоре, что когда он узнал о появлении в Москве Константина Павловича, то весьма обрадовался, что сей августейший брат его, которого почитал умершим, оказывается вдруг в живых, и вследствие того стал звать к себе в Петербург, обещаясь всю дорогу ему туда от Москвы устлать бархатом. “Не надо мне бархата, — отвечал будто бы на это Константин Павлович, — а устли ты мне дорогу боярскими головами, так приеду”»{438}.

И всё же расправа с дворянами да боярами оставалась только частью политической программы мифического Константина Павловича. Окончательная цель его состояла в другом. Он пришел дать крестьянам волю, освободить их от крепостной зависимости. За то и пострадал, потому и был отстранен от престола. «У вас император Николай Павлович, который обманом взял престол у его императорского высочества Константина Павловича, а у нас, у крестьян, императором Константин Павлович»{439}, — заявил крестьянин Тамбовской губернии Евсей Павлов священнику своего прихода и всему честному народу.

«Я та самая воля, что вы ждете! Я — Константин Павлович. Много лет хожу я по земле и смотрю, как люди живут и как маются, — не видать вам воли. Много исходил — теперь уж меньше осталось», — многозначительно замечает странник, путешествующий вместе с богомольцами в Воронеж{440}.

Но в конце концов даже неутомимый Косенькин опустил в борьбе за невольников меч. «Когда посажен был или провозглашен императором, и сенаторы подписались, чтобы невольников избавить, и когда Константин Павлович сказал, каких невольников, то вскорости избрали Николая Павловича, то Константин Павлович сказал: “Ну, братец, владей, а я поеду в Польшу”, — да и мать его ему сказала: “Тебе не должно Польшу оставить”, — то при отъезде положил свою шпагу сверху наперекрест Константиновой и когда садясь в карету, Константин Павлович сказал: “Которая шпага внизу, то будет вверху, а верхняя внизу”, — сел и поскакал, и то проводя его, Н[иколай] П[авлович] пошел к матери, рассказал что при отъезде Константин Павлович говорил, что мать его написавши письмо, чтобы он воротился, и послала за ним фельдъегеря, который, догнавши, подал письмо, и как К[онстантин] П[авлович], почитавши, написал матери: “Мне воротиться весьма затруднительно, ибо дорога весьма неспособна, да и время в

Польшу ехать, а приеду к вам, матушка, в гости весной в мае месяце, когда хорошо дорога просохнет, тогда наверняка буду, извольте ждать”»{441}.

Бесконечная волокита с письмами, разъездами фельдъегерей, отсутствие цесаревича в столице получили в конце концов простое, доступное всем объяснение — дороги в России дурны. На прощание же Константин преподал брату урок, по-своему пересказав изречение Христа о том, что последние будут первыми.

Тень Константина Павловича — и ту, что прихлебывала чай в людской, и ту, что размахивала саблей на подступах к Петербургу, и ту, что брела по пыльным сельским дорогам, — мы описали вполне. В минуты роковые нация начинает дышать единым дыханием, крепостные, дворовые, мещане, захудалые дворяне и аристократы вдруг обнаруживают себя в объятиях друг друга, начиная мыслить и чувствовать похоже. Не только народная молва, но и высокая поэзия, вопреки всему, упрямо вручала Константину скипетр и державу. Поэты, равноудаленные от казарм и крестьянских изб, продолжали славить царское достоинство Константина.

Литератор В.А. Добровольский, успевший написать «Песнь на проезд через Москву 30 ноября 1825 года в день народной присяги Государю императору Константину Павловичу» (проезд в указанную дату, конечно, так и не состоявшийся), спустя недолгое время сочинил новые стихи — «на отказ Его высочества цесаревича великого князя Константина Павловича от Престола»{442}.

Не имеющий прецедента случай породил не имеющую прецедента оду — впервые в истории русской литературы ода писалась в честь невосшествия на престол.

Что Петр и что Екатерина?
Что их великие дела
Перед делами Константина?
Пускай о них гремит хвала.
Они пределы расширяли
Обширность Царства Своего;
Они престолы доставали:
Он отказался от него!..
В усердии царю поклялся
Примером быть земли своей,
Он цесаревичем остался,
Но выше стал он всех царей.

Отречение Константина выглядит здесь как поступок, исполненный христианского смирения. Добровольский следует уже знакомой нам логике — нижняя шпага однажды окажется наверху, Константин остается царем, просто царство его «не от мира сего» *(Ин. 18, 36)*. Именно поэтому он уже не нуждается ни в каких видимых знаках признания и любви: «Ему не нужны диадемы / И клятвы верности в словах. / Народом князь боготворимый! / Без клятв ты царствуешь в сердцах!»

«КАК ПОЭТ, РАДУЮСЬ ВОСШЕСТВИЮ НА ПРЕСТОЛ КОНСТАНТИНА»

Другой русский поэт в дни междуцарствия томился в Михайловском. Новое царство — новые надежды, и Пушкин попробовал воспользоваться сменой власти, чтобы освободиться из ссылки.

«Как верный подданный, должен я, конечно, печалиться о смерти государя, — писал он Павлу Александровичу Катенину 4 декабря 1825 года, — но, как поэт, радуюсь восшествию на престол Константина I. В нем очень много романтизма; бурная его молодость, походы с Суворовым, вражда с немцем Барклаем напоминают Генриха V. К тому же он умен, а с умными людьми все как-то лучше; словом, я надеюсь от него много хорошего»{443}.

Как видим, поэт радуется восшествию на престол фантома, родившегося в его быстром воображении, сочиненного им к случаю почти литературного героя, полного романтического очарования и поэзии. Когда хочется вырваться из плена, обнаружить в Константине «много романтизма» не составляет труда. Тем более что представления Пушкина (как, впрочем, и многих его современников) о романтизме были весьма свободными, романтической поэт считал всякую литературу, ориентированную на создание новых по сравнению с классическими форм{444}, романтизмом могла быть названа любая «новизна» в литературе[50]. Не потому ли и «новизна» в русской истории — а император Константин и в самом деле был мало похож на усредненного русского императора — так легко окутывалась романтической дымкой?

Пушкин подбирает для Константина и исторический прототип — английского короля Генриха V, прославившегося благодаря битве при Азенкуре в 1415 году, во время которой королевские войска разбили французов.

Нигде более, насколько нам известно, Генриха V Пушкин не упоминал. Да и у литераторов пушкинского круга фигура английского короля популярностью тоже не пользовалась. В библиотеке поэта не было ни одной книги по истории Англии XV века{445}. По-английски Пушкин читал скверно, большинство книг на английском, попадавших к нему, оставалось неразрезанными — так что вряд ли он заглядывал и в английские хроники (переводов их на французский и русский в пушкинское время тоже не существовало). Вряд ли еще и потому, что из них ясно следовало: бурная молодость Генриха — факт недостоверный.

Итак, источник Пушкина вполне очевиден — Шекспир. И указывая на сходство Константина и Генриха V, Пушкин имел в виду не столько реальное историческое лицо — короля, стяжавшего славу победами в Столетней войне, сколько литературного героя шекспировских пьес.

Генрих выведен Шекспиром в двух драмах, «Генрих IV» и «Генрих V». В первой он пока что принц Уэльский и ходит в наследниках Генриха IV; репутация принца довольно сомнительна. Он «склонен был к беспутным развлеченьям / В компаниях невежд пустых и грубых; / В пирах, забавах, буйствах дни текли»{446}. Но в конце концов и забавы, и буйства прекратились. В финале драмы беспутный Гарри возмужал и даже одержал победу над врагом короля и трона, безжалостным Генри Персом по прозвищу Хотспер («горячая шпора»). Когда Генрих IV умер, Гарри, отныне Генрих V, взошел на английский престол. Действие пьесы «Генрих V», в которой он предстает уже сложившимся и трезвым политиком, сосредоточено вокруг войны Англии и Франции и битвы при Азенкуре, завершившейся победой англичан. Примерно такой художественный материал и хранился в памяти Пушкина.

«Бурная молодость» Константина напомнила Пушкину ранние годы шекспировского героя. Сравнение лестное для Константина: у Шекспира разгул не только не развратил принца Гарри, но душевно обогатил и развил его. В пьесе «буйства» будущего английского монарха — вовсе не пустая дань юношеским страстям. Таверна — убежище, в котором принц может позволить себе роскошь оставаться частным человеком, жить без оглядки на государственные и политические интриги. Отношения с собутыльниками для Гарри — своеобразная школа человечности, в которой он учится быть чутким, милостивым и свободным{447}. Не случайно едва король Генрих IV подвергся опасности, сын немедленно вспомнил о долге перед отцом и государством, пришел королю на помощь и убил его противника.

Борьба с Хотспером для Гарри сыграла роль инициации, после этой малой победы разгул и буйство совершенно ушли из его жизни. Став королем сам, он окончательно превратился в государственного мужа, несущего ответственность за свой народ и исполненного пиетета перед законом. В сцене беседы с верховным судьей Генрих признал, что в свое время судья поступил совершенно справедливо, взяв его под стражу за оскорбление короля. А при встрече с прежним своим добрым приятелем и собутыльником Фальстафом Генрих даже не пожелал узнать его и призвал Фальстафа покаяться и позаботиться о своей душе. В конце пьесы Генрих покоряет Францию и добивается

признания своих прав на французский престол. Таким образом второй, «государственный», период жизни Генриха V оказывается органичным продолжением эпохи молодого веселья и разгула — более того, именно таверна сблизила его с собственным народом и научила милости.

Пушкин, как и многие российские подданные, знал о репутации *enfant terrible,* утвердившейся за Константином, и не мог не слышать, в чем именно заключались «шалости» великого князя. К декабрю 1825 года они не были забыты. В частности, по свидетельству В.И. Штейнгеля, на многолюдном обеде у директора Российско-американской компании И.В. Прокофьева 12 декабря 1825 года, когда обсуждалось грядущее отречение императора Константина I, о котором все уже знали, кто-то спросил: «А что, если император вдруг явится?» «В ответ Булгарин вскричал: “Как ему явиться, тень мадам Араужо остановит его на заставе”»{448}. Но Пушкин вполне сознательно ускользает от этих совершенно неприличных случаю частностей и делает предельно обобщенный, широкий взмах кистью: «бурная молодость». Не та, что в реальности была у Константина, а та, что Шекспир приписал принцу Гарри. Молодость, в бурях которой скрываются ростки будущей мудрости и внутренней свободы, искренности и любви к подданным — качества, согласно более поздним (но вполне актуальным уже для середины 1820-х годов) размышлениям Пушкина, необходимые всякому государственному мужу («Оставь герою сердце! Что же / Он будет без него? Тиран…»). Итак, «бурная молодость» Константина, помещенная поэтом в шекспировский контекст, могла означать лишь одно — в зрелые годы, как и у принца Гарри, все эти «бури» принесут добрые плоды — великодушие, снисхождение к чужим слабостям и внутреннюю свободу.

Вторая «романтическая» черта Константина, которую называет Пушкин, — *«походы с Суворовым».* Отблески военной славы легендарного полководца, еще при жизни превратившегося в фигуру мифологическую{449}, ложились на всякого, кто участвовал с ним в сражениях. «Походы с Суворовым» оказывались залогом воинской доблести каждого их участника. Константин не был исключением. Как мы помним, в двадцатилетнем возрасте он участвовал в двух суворовских походах, Итальянском и Швейцарском, проявив мужество и выносливость.

Пушкин прекрасно помнил, что к концу 1825 года Константин успел принять участие не только в суворовских, но и еще в нескольких военных кампаниях — войнах против Франции 1805 и 1806—1807 годов и Отечественной войне 1812 года,

Заграничном походе 1813—1814 годов. Цесаревич сражался под Аустерлицем, подписывал мирный договор с Наполеоном в Тильзите, принимал участие в сражении под Смоленском в 1812 году, входил с русской армией в Париж. Однако из этого довольно разнообразного послужного списка цесаревича Пушкин отсеивает лишь походы с Суворовым. И не только потому, что они освящены именем великого полководца. Другие походы не вписывались в парадигму романтического героя: войны 1805, 1806—1807 годов окончились поражением России. Участие цесаревича в войне 1812 года было незначительным и запомнилось не столько подвигами, сколько ссорой с Барклаем.

В 1835 году Пушкин посвятит Барклаю апологетическое стихотворение «Полководец», где его герой предстает фигурой трагической и одинокой, так как вынужден уступить другому «и лавровый венец, и власть, и замысел, обдуманный глубоко». За десять с лишним лет исторические взгляды поэта, безусловно, эволюционировали, но не настолько — в 1825 году тяжесть участи Барклая была поэту очевидна не менее, чем в 1835-м. Но в письме Катенину и вражда цесаревича с Барклаем трансформируется в соответствии с общей, вполне конъюнктурной задачей письма. Барклай превращается у Пушкина (несомненно, отлично осведомленного о шотландском происхождении полководца), как и в устах не симпатизировавшего Барклаю русского народа, в «немца». Пристрастие романтиков к национальным корням и старине известно — так неприязнь великого князя к «немцу» Барклаю тоже оборачивается в пользу «романтического» Константина.

Синтаксис следующей пушкинской фразы *«К тому же он умен, а с умными людьми все как-то лучше; словом, я надеюсь от него много хорошего»* подчеркивает, что речь о романтизме закончена («к тому же»). Ум не входит в число романтических, равно как и фольклорных, добродетелей, так как скорее ассоциируется с классицистической системой ценностей. Покидая пределы романтического, Пушкин выходит и за пределы легендарного, легендарный образ Константина, созданный молвой и слухами, не включал в себя ум: мифический Константин — отважный воин, нарушитель общественного порядка, заступник бедных, но при этом никогда — человек умный. Однако Пушкину нужен умный государь, и поэт наделяет героя и этим свойством. Кстати, и шекспировский принц Гарри тоже совсем не глуп: «Так размышленья долго прятал принц / Под маской буйства; без сомненья, разум / В нем возрастал, как травы по ночам, / Незримо, но упорно развиваясь»{450}.

Заметим, что еще один возможный источник пушкинского

высказывания о романтизме Константина, помимо Шекспира, — роман Вальтера Скотта «Уэверли». Главный герой романа, Уэверли, встречается с Карлом Эдуардом, наследным принцем, ведущим борьбу за свои права, и отмечает, что тот в точности отвечает его представлениям о «романтическом герое»{451}.

Понятно, что в основе романтического панегирика новому императору лежала надежда поэта на скорое освобождение и приезд в столицу. Об этом свидетельствует не только здравый смысл, но и другое письмо Пушкина, адресованное в те же дни П.А. Плетневу. «Милый, дело не до стихов, — пишет Пушкин, — слушай в *оба уха:* Если я друзей моих не слишком отучил от ходатайства, вероятно, они вспомнят обо мне… Если брать, так брать — не то, что и совести марать — ради Бога, не просить у царя позволения мне жить в Опочке или в Риге; черт ли в них? а просить или о *въезде в столицы, или о чужих краях.* В столицу хочется мне для вас, друзья мои, — хочется с вами еще перед смертию поврать; но, конечно, благоразумнее бы отправиться за море. Что мне в России делать? Покажи это письмо Жуковскому, который, может быть, на меня сердит. Он как-нибудь это сладит. Да нельзя ли дам взбуторажить?»{452}

Царем Пушкин естественно называет Константина и предлагает прибегнуть к заступничеству известного ходатая об обиженных, уже не раз выручавшего его, Василия Андреевича Жуковского. Письмо Плетневу дышит жаждой освобождения. Очевидно, и Катенину Пушкин писал с тайной надеждой на перлюстрацию его писем (о которой поэту было хорошо известно), а значит, и на то, что его энергичное, комплиментарное высказывание о Константине станет известно новому императору.

Практическая мотивировка пушкинского высказывания вовсе не отменяет смысловой и культурной насыщенности сопоставления Константина с романтическим героем{453}. Даже если это сравнение было сделано исключительно из конъюнктурных соображений — оно точно отразило некоторые представления о Константине, растворенные в воздухе эпохи. К тому же романтические черты в образе цесаревича различал не один Пушкин. Хотя другой известный нам случай огранки облика нового императора в романтическом духе родился в обстоятельствах гораздо более драматичных, чем пушкинские.

«Я С МАЛОЛЕТСТВА ЛЮБЛЮ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ»

«Зачинщик русской повести», поэт и литератор Александр Александрович Бестужев-Марлинский принял в событиях 14 декабря самое деятельное участие. На Сенатской площади он выдавал себя за адъютанта Константина Павловича и вместе с братом Михаилом и князем Д.А. Щепиным-Ростовским поднял часть Московского полка. Ему приписывается и высказывание, произнесенное ночью накануне мятежа в квартире у Рылеева. Размышляя об аресте царской фамилии, Рылеев начал искать план Зимнего дворца. Александр Бестужев сказал на это с усмешкой: «Царская фамилия не иголка, и если удастся увлечь войска, то она, конечно, не скроется…»{454} Впрочем, безжалостное замечание это, вероятно, всё же не распространялось на Константина, который в тот момент находился в Варшаве.

Под следствием Бестужев дал обширные письменные показания, не обойдя вниманием и фигуру цесаревича. «Я с малолетства люблю великого князя Константина Павловича, — писал он. — Служил в его полку и надеялся у него выйти, что называется, в люди. Я недурно езжу верхом; хотел также поднести ему книжку о верховой езде, которой у меня вчерне написано было с три четверти. Одним словом, я надеялся при нем выбиться на путь, который труден бы мне был без знатной породы и богатства при другом государе»{455}.

Бестужев родился в 1797 году в семье небогатого дворянина, бывшего артиллерийского офицера, литератора и просветителя Александра Феодосьевича Бестужева. «Малолетство» Александра Александровича пришлось на первое десятилетие XIX века — и значит, «любовь» Марлинского к Константину зародилась в эпоху Наполеоновских войн. Цесаревич мог явиться пылкому воображению юноши в героическом ореоле побед 1812 года, опять-таки с выдержанной в духе романтизма репутацией ненавистника всего нерусского — конфликт Константина с Барклаем был широко известен. Но, возможно, сообщение о «малолетстве» было необходимо Бестужеву для указания на победоносные походы 1799 года, в которых принимал участие Константин. Это время Марлинский вряд ли помнил, зато мог слышать о нем позднее. И все-таки под началом цесаревича Бестужев никогда не служил, на службу он поступил в 1816 году юнкером в лейб-гвардии драгунский полк, стоявший под

Петергофом в Марли, которым Константин никогда не командовал, не говоря уже о том, что к тому времени он давно покинул Россию и занимался формированием польской армии.

Бестужев трогательно упоминает недописанную книжку о верховой езде, которую якобы хотел поднести Константину Павловичу, «знатному наезднику», как язвительно выразился о цесаревиче Якушкин. Но так оно и было: с молодых лет великий князь возглавлял кавалерию и действительно превосходно знал кавалерийское дело. Существовала ли у Бестужева книжка о верховой езде — неизвестно, вероятно, и она была плодом воображения узника, как и вообще «любовь» к Константину Павловичу, явно смоделированная Марлинским уже в тюремной камере. Однако направление, по которому двигалась мысль писателя, весьма характерно — как и Пушкин, Бестужев использовал готовую схему, уже существующую легенду о великом князе. Одна из составляющих этой легенды — вера в демократизм и доброту Константина; отсюда и слова Бестужева о надеждах «выбиться на путь», который был бы ему «труден» «без знатной породы и богатства при другом государе».

В этих словах, кстати, также кроется еще одно преувеличение. Богатыми Бестужевы действительно не были, но и захудалым их род назвать нельзя — свою историю они отсчитывают с XV века. Притом и карьера Бестужева поначалу складывалась удачно: с 1823 по 1825 год он служил адъютантом герцога Александра Вюртембергского, брата императрицы Марии Федоровны, в 1825 году стал штабс-капитаном гвардии, что открывало блестящую будущность — словом, в люди он и так уже вышел, без всякого участия Константина. Но заключенным не до документальной точности. Призыв писателя разглядеть на бумаге «следы слез заслуженного наказанья и слез искреннего раскаяния» только подтверждает отчаяние автора.

Представление о демократизме Константина является любопытной смычкой, соединяющей литератора-декабриста с простым людом, точно так же верившим в милосердное отношение цесаревича к незнатным и бедным.

Еще одно подтверждение того, что легенда о великодушии Константина Павловича была распространена в широких кругах, находим в следственных показаниях другого декабриста и поэта, Вильгельма Кюхельбекера. Кюхельбекер — единственный участник восстания, скрывшийся из Петербурга сразу после мятежа. В платье слуги, имея при себе случайно доставшийся ему билет на имя крестьянина, он бежал в Варшаву, надеясь перебраться из Польши за границу. Но в Варшаве Кюхельбекер был арестован. На допросе он сообщил, что стремился сюда лишь

для того, чтобы «прибегнуть к ходатайству и покровительству его императорского высочества цесаревича, менее для самого себя, как для друзей»{456}. Вероятнее всего, что, как и Бестужев, Кюхельбекер сделал подобное утверждение «из тактических соображений»{457}. Вместе с тем он мог придумать и любое другое объяснение, но, по-видимому, желая выглядеть как можно более правдоподобно, развивает всё тот же распространенный в русском обществе мотив великодушия цесаревича.

Вряд ли случайно и то, что этот мотив всплывает в показаниях литераторов, причем романтического склада: им проще было перемещаться из области реальных политических планов и убеждений в мир мифологический, где вместо живых персонажей истории царили их репутации и легенды.

Совершенно довериться показаниям подследственного, которому грозит гибель, невозможно. Но существуют и другие, полученные вовсе не «под давлением», свидетельства о симпатии высшего слоя общества к цесаревичу.

Петербургский почт-директор Константин Яковлевич Булгаков, острослов, светский лев, отличавшийся не только широкими связями, но и верноподданническими настроениями, писал: «В последний приезд цесаревича сюда я его не мог видеть, будучи болен глазами, но в предпоследний был я у него очень долго и, право, с восхищением слушал его рассуждения и разные объяснения о делах, где видны были ум прямой и особенная опытность и истинное стремление к добру и к пользам государственным. Он был столько милостив, что вошел со мною в некоторые подробности насчет виденного им в Польше, и, право, всё было предпринято с отменным благоразумием. Ты, меня зная, не припишешь сие лести, к коей я не сроден, я же пишу для тебя единственно; но в глубочайшей скорби нашей мысль сия утешительна» (28 ноября 1825 года){458}.

Булгаков служил на почте и прекрасно знал механизмы перлюстрации. Не исключено, что он рассчитывал на чужие глаза, слишком уж льстивым получилось его письмо. Но среди апологетов Константина были и совершенно бескорыстные лица.

По позднейшему признанию Николая Огарева, в 1825 году он и его ближайший друг Александр Герцен, будучи тринадцати и двенадцати лет от роду, по собственному почину присягали Константину. «Нам казалось, — вспоминал Огарев, обращаясь к Герцену, — что Константин был действительно обманут, что он несравненно лучше Николая, что он человек свободы, и тебе пришла мысль, что нам надо присягнуть ему и пожертвовать всем для его восстановления. Мы взяли листок бумаги, написали присягу и подписались. Перо, которым мы подписались,

хранилось у кого-то из нас как святыня»[459].

О юношеском увлечении Константином вспоминает в «Былом и думах» и сам Герцен, также отмечая бо́льшую по сравнению с Николаем «народность» Константина Павловича: «Несмотря на то, что политические мечты занимали меня день и ночь, понятия мои не отличались особенной проницательностью; они были до того сбивчивы, что я воображал в самом деле, что петербургское возмущение имело, между прочим, целию посадить на трон цесаревича, ограничив его власть. Отсюда целый год поклонения этому чудаку. Он был тогда народнее Николая; отчего, не понимаю, но массы, для которых он никакого добра не сделал, и солдаты, для которых он делал один вред, любили его»[460].

Герцен признается, что на некоторое время Константин стал для них с Огаревым символом оппозиции существующему консервативному правительству, именно это и побудило мальчиков решиться «действовать в пользу цесаревича Константина»[461]. Герцен рассказывает о своих отроческих пристрастиях с явной иронией, между тем вера в оппозиционность Константина имела под собой некоторую реальную почву.

Мы уже упоминали о добром отношении цесаревича к образцовому офицеру, но не слишком благонадежному гражданину майору Валериану Лукасинскому, которого Константин выгораживал, пока мог. Хорошо известна симпатия Константина Павловича и к Михаилу Лунину, когда-то принявшему вызов великого князя на дуэль и сердечно любимому цесаревичем за мужество и блестящую службу. В 1822—1825 годах Лунин служил в Слуцке и Варшаве под непосредственным начальством Константина. Некоторое время покровительство цесаревича уберегало его от неминуемого ареста — Константин даже отправил Опочинину отдельное письмо о Лунине, предназначенное для доклада Николаю и написанное только для того, чтобы уберечь любимца от неприятностей. «Не для оправдания сего подполковника Лунина, но единственно потому что его императорскому величеству благоугодно, чтоб я говорил правду и открывался перед его величеством со всем моим чистосердечием, не могу я не обратить внимания на положение оного Лунина. Статься может, что он, находясь в неудовольствии против правительства, мог что-либо насчет этого говорить, как это случается не с одним им, — даже его императорское величество изволит припомнить, что мы даже иногда, между собой, сгоряча, не обдумавшись, бывали в подобных случаях не всегда умеренными; но это еще не означает какого-либо вредного направления. Винить его в том, что он знал о тайном обществе и

не донес тогда правительству, хотя можно, но надобно принять в соображение и то, что в оное, как теперь открылось, столько входило двоюродных и троюродных братьев и других родственников его… Он, Лунин, отстав в 1821 году от тайного общества и служа в Литовской уланской дивизии и, наконец, здесь, не имел уже с вышеописанными своими братьями и родственниками никаких сношений по тайному обществу; но они, вероятно, оговаривают его из злости, для того, чтобы запутать и очернить за то, что отстал»[462]. Письмо датировано 26 января 1826 года, на нем осталась великодушная резолюция Николая: «Никакой надобности нет. Здесь он не принесет пользы, там может быть полезен».

Спустя три месяца, в апреле 1826 года, когда вскрылись новые обстоятельства, приказ об аресте Лунина все-таки был получен. Убежденный в благородстве своего подчиненного, великий князь позволил ему уехать на недельную охоту. «Я знаю, Лунин не захочет бежать», — сказал Константин Павлович в ответ на упрек Куруты и не ошибся[463]. Одно ли безмерное доверие блестящему офицеру или еще и надежда на его побег руководили цесаревичем, мы не знаем. Но исключать того, что Константин таким образом давал Лунину шанс, нельзя. Тем более что, по другим сведениям, цесаревич вручил Лунину заграничный паспорт, чтобы тот бежал, но Лунин вернул паспорт со словами: «Я разделял с товарищами их убеждения, разделю и наказание»[464].

Судя по всему, Лунин не знал, что Пестель готовил ему роль главы «обреченной когорты», небольшой группы заговорщиков, которая должна была обезвредить или уничтожить императора и великого князя Константина, после чего пожертвовать собой и отмежеваться от тайного общества. Это помогло бы сохранить добрую репутацию декабристов в глазах широкой русской общественности, по-прежнему питавшей к царской семье сентиментальные чувства. Судьба уберегла его от сомнительной роли[465], и, похоже, Лунин всегда сохранял к цесаревичу глубокую симпатию. Во всяком случае, узнав о смерти Константина Павловича, Лунин, находившийся в то время в ссылке, поручил своей матери в знак благодарности цесаревичу заказать о покойном поминальную службу в Риме.

Случай с Луниным не единственный. Константин вообще любил, когда под его начальство поступали опальные офицеры, некоторые даже пользовались этим и избегали тюрьмы или ссылки[466]. Известно, что Константин Павлович желал также и оправдания декабриста Владимира Федосеевича Раевского. Правда, заступничество его осталось безуспешно — по настоянию

Дибича Раевский был лишен всех гражданских прав и сослан в Иркутск{467}, хотя, подобно Лунину, не принимал в восстании непосредственного участия.

Но быть может, Константин делался заступником неугодных офицеров не только по любви к ним или потому, что ему нравилось выглядеть великодушным «отцом солдатов», но и из-за тайной конфронтации с Николаем, из желания лишний раз продемонстрировать свою независимость от «братца».

«Я ОТПЕТ!»

Следствие над декабристами длилось без малого полгода. Кипы исписанных бумаг, реки покаянных и отчаянных слез подследственных, одно самоубийство, горы сожженных в день казни эполет и мундиров, кучи обломков сломанных над головами осужденных шпаг. Пятеро повешенных, более 120 сосланных в Сибирь и на Кавказ. Казнь над «злоумышленниками» состоялась 13 июля 1826 года в Петропавловской крепости. На следующий день на Сенатской площади в походной церкви были совершены, как выразился Николай в письме цесаревичу, «искупительное богослужение за упокоение душ тех, которые погибли в день 14-го декабря»{468}, а затем и благодарственный, «очистительный» молебен, в конце которого митрополит окропил собравшиеся войска святой водой. Повешенных на Сенатской площади не поминали — их отпел в Казанском соборе протоиерей Петр Мысловский, навещавший осужденных в тюрьме и до последней минуты надеявшийся, что государь проявит милость. В этом он уверял и своих подопечных, к которым успел проникнуться искренним сочувствием.

После того как с самыми отъявленными злоумышленниками было покончено и мятежники, оставшиеся в живых, отправились в ссылки, Николай переехал в Москву для подготовки к коронации.

«За несколько дней до торжества по улицам начали разъезжать герольды в своих богатых нарядах, останавливались на площадях, на перекрестках, трубили в трубы, читали повестку и раздавали печатные объявления о дне коронования»{469}. И снова в воздухе повисла тревога — приедет ли цесаревич в Москву на сей раз? В дни междуцарствия он отказывался «собственноручно» возводить брата на престол — а теперь? Вновь поднялись толки, смутные разговоры, рождались новые грезы об «императоре Константине»{470}. Лишь сам герой всех домыслов и фантазий мог усмирить этот тихий, но явственно различимый ропот (да уж не прячут ли его от нас?), рассеять последние сомнения, подтвердить, что отречение от престола было добровольным. Для этого ему нужно было просто приехать из Варшавы. У Константина появился последний шанс протянуть Николаю руку.

После 14 декабря отношения братьев уже не могли быть простыми. «Я нахожу, что положение ваше и братца вашего неестественно; история ничего подобного нам не представляет, следовательно, и обоюдные ваши отношения должны быть неестественны»{471}, — справедливо замечал Константину его

близкий приятель Федор Опочинин. Цесаревич не приехал в Санкт-Петербург в дни междуцарствия, не приехал, несмотря на почти слезные мольбы брата. Кровь, пролившаяся 14 декабря, лежала и на его совести — не важно, что сам Константин не хотел этого признать. Он не пожелал помочь младшему брату ни одним движением, оставил его в одиночестве, в сущности предал. У Николая были все основания относиться к Константину более чем сдержанно.

Вместе с тем император чувствовал себя пожизненным должником Константина, «лейтенантом», не смеющим принять ни одного серьезного решения без позволения цесаревича, и был убежден, что поступает по совести, «поскольку законы Провидения выше человеческих поступков, какими бы правильными последние ни выглядели в наших глазах»{472}. Это было бы еще полбеды — добровольно, в трезвом уме и доброй памяти отказавшийся царствовать Константин вместе с тем ощущал себя благодетелем младшего брата, так что при любой неуступке со стороны Николая бормотал сквозь зубы, что пожертвовал брату корону, а тот не может поступиться даже мелочью. Но и принятая из рук Константина шапка Мономаха была не единственной виной Николая перед цесаревичем.

За несколько дней до мятежа, 8 (20) декабря 1825 года, Константин писал брату: «Не изменяйте ничего в том, что сделал наш дорогой, превосходный и обожаемый усопший, и в важных делах, и в мелочах… Не нужно ничего придумывать: надо идти в направлении, принятом покойным императором, поддерживать и сохранять то, что он сделал и что стоило стольких трудов и что, быть может, свело его в могилу, так как физические его силы были надломлены душевными тревогами. Одним словом, возьмите за правило, что вы всего лишь уполномоченный покойного благодетеля и что каждую минуту вы должны быть готовы дать ему отчет в том, что вы делаете и будете делать»{473}. Да здравствует Константин! Молодой, прямодушный, обеими ногами стоящий на земле государь Николай каким-то невероятным, сказочным образом должен был превратиться вдруг в «ангела», в необычайно любезного и столь же неискреннего, склонного к коварству, тихому предательству и мистицизму государя Александра. Если же превратиться до конца не получится, так хотя бы пусть чувствует себя никаким не императором Всероссийским, а всего лишь «уполномоченным покойного»!.. В этом состояла вторая вина Николая — он так и не превратился в «ангела» Александра.

При таких отношениях звать цесаревича на коронацию в Москву прямо Николай Павлович не мог. Он не смел даже дать

понять Константину, насколько необходимо его присутствие, хорошо сознавая: намеки, как и самые настойчивые просьбы, даже мольбы напрасны. И тут на сцену выступила до сих пор безмолвствовавшая супруга Константина, княгиня Лович. Еще зимой 1826 года в Петербург приехал министр финансов Царства Польского, уже известный нам ловкий князь Любецкий, к которому Николай питал особое доверие. Прощаясь с императором, Любецкий заметил, как желательно было бы присутствие Константина в Москве на коронации. Государь отвечал, что это вряд ли возможно, но велел поцеловать ручки княгине Лович — Любецкий понял намек, ручки княгине поцеловал и убедил ее повлиять на Константина. Миссия мудрой супруги увенчалась успехом — 14 (26) августа утром Константин Павлович подъезжал к Кремлю, полным инкогнито, нежданным, но горячо желанным гостем. По дороге на станциях он велел спрашивать у едущих из Москвы, была ли уже коронация, и выяснил, что не опоздал. Константин оставил своих спутников у Смоленской заставы и один отправился в Кремль.

Было около одиннадцати часов утра. Николай занимался в своем кабинете. Камердинер доложил, что его ожидает великий князь. Николай, даже не надеявшийся на приезд старшего брата, был уверен, что приехал младший, а потому велел тому немного подождать. Спустя несколько минут второй, более сообразительный камердинер снова доложил государю, что ожидает его не великий князь Михаил, а цесаревич Константин Павлович. С оправданиями, с извинениями государь опрометью бросился навстречу брату.

«Прибыв в 1826 году в Москву для присутствования во время обряда коронования императора Николая, цесаревич был встречен сим последним на дворцовой лестнице; государь, став на колени пред братом, обнял его колени; это вынудило цесаревича сделать то же самое»{474}. По другой версии, Николай хотел обнять Константина, но тот уклонился и поцеловал Николаю руку, как подданный своему государю.

На следующий день на разводе государь вышел из Кремлевского дворца вместе с обоими братьями — народ ликовал, выкрикивая имена цесаревича и императора. Николай подмигнул войску, и войско дружно крикнуло: «Ура, Константин Павлович!» Молодая императрица Александра Федоровна, язвительно прозванная Константином «мадам Николя»{475}, услыхав столь оглушительные возгласы, встревожилась — приветствие слишком живо напомнило ей события 14 декабря. Но, к общей радости, приезд Константина и коронация стали их счастливым эпилогом.

Современник, наблюдавший царственных братьев на службе в Успенском соборе, отмечал следующее: «В соборе первый раз расцвело лицо государя: доказательство уступки налицо! — А Константин Павлович во всю обедню проболтал с братом Михаилом Павловичем. Я думаю, никогда вся семья не была ему так рада, как в этом случае»{476}.

Ликование по поводу приезда Константина царило и на улицах. «Мой брат, — вспоминает другой мемуарист, — находился в Москве и рассказывал мне, что 14-го числа, закупая в лавках на Красной площади какие-то вещи для отправления в Пензу, купцами и сидельцами был приветствуем (равно как и другие покупатели) следующими словами: “Батюшка, слышали вы новость? — Что такое? — Ведь он приехал. — Да кто? — Да Константин Палыч”. Радость была написана у них на лицах. Это было подтверждением сделанного им отречения от престола; в глазах обманутого народа казалось это примирением двух никогда не ссорившихся братьев»{477}.

Когда цесаревич появлялся в публике, толпа окружала его экипаж и приветствовала с восхищением. Сам Константин на веселье взирал без иллюзий: он знал цену уличным восторгам, и уже не однажды ему случалось быть свидетелем переменчивости толпы — люди, кричавшие *vivat* одному правителю сегодня, завтра легко воспевали его врага. «Едучи вместе с Киселевым, он приказывал с сердитым видом, чтобы перестали кричать, употребил даже бранные и матерные слова. На возражение Киселева, что жителей не за что бранить, цесаревич отвечал: “Когда Кромвель въезжал в Лондон, народ приветствовал его громкими восклицаниями. Кромвель, обратясь к окружающим его, сказал: слышите крики сии, но ежели поведут меня на эшафот, то они будут тогда еще сильнее”»{478}. Однако всё вокруг — и люди, и сама природа — протестовало против его мрачности. «Погода установилась хорошая, и когда в навечерии коронования заблаговестили ко всенощному бдению во всей Москве во все большие колокола — дружно и разом, вслед за Иваном Великим, — отрадно было слушать, точно в Светлое Христово Воскресение»{479}.

Солнечным был и день коронации, 22 августа. «В Кремле были построены места для зрителей, некоторые пускались по билетам, а за местами весь Кремль был полон народом. От собора до собора было разостлано красное сукно для шествия Государя; по сторонам стояла гвардия. Мы собрались с раннего утра в Кремлевский дворец в тронную залу. Долго ждали мы Государя и не знали, в которые двери он войдет. Через несколько времени начало доходить до нас *ура;* но по разным местам и голосов от

десяти, не более. Это показалось нам странным, потому что *ура* могло в это время кричаться только в приветствие Государю и было бы всеобщее. Мы подошли к окну и увидели, что через толпу народа пробираются два белые султана. Это были Константин Павлович и Николай Павлович: первый вел его под руку и открывал ему дорогу. Так как въехать в Кремль по множеству народа не было возможности, то они вышли из коляски и пробирались во дворец пешком. Их узнавали только те, с кем они сталкивались в толпе; эти-то несколько человек и кричали *ура,* между тем как другие не видали их и молчали… По совершении коронования, когда начались поздравления, Николай Павлович сам подошел к матери и сделал вид, что хочет стать перед ней на колена; но она не допустила его и приняла в свои объятия. Когда потом он бросился обнимать Константина Павловича (а его было за что благодарить!), чем-то зацепился за его генеральские эполеты, и насилу могли расцепить их!»{480}

В этом легко было увидеть знак — добрый или напротив, судить читателю. По свидетельству Дениса Давыдова, цесаревич, выходя из собора, сказал Опочинину: «Теперь я отпет»{481}. Он уехал в Варшаву на следующий день после коронации, в ночь с 23 на 24 августа, не желая принимать участие в дальнейших празднествах и торжествах.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ. ИЗГНАННИК

Николай (сжимая в бешенстве кулак): Мой брат… поляком стал!

Юлиуш Словацкий. Драма «Кордиан» {482}

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

Константин Павлович ехал в Варшаву стареть, множить промахи, повторять одни и те же ошибки. Но пока экипаж его бодро катился по российским, а затем и польским дорогам, несчастливого будущего он не предвидел, надеясь окончить дни на второй своей родине, в Варшаве, в Бельведере, в семейном и дружеском кругу.

Спустя десять дней после мятежа на Сенатской площади он с явным удовлетворением писал Николаю: «Благодарение Богу, до настоящего времени среди этих гнусных открытий не скомпрометировано имя кого бы то ни было из тех, которых мой покойный благодетель соблаговолил вверить моему начальствованию. Здесь всё спокойно и удивлено и возмущено петербургскими ужасами»{483}. Еще с середины ноября 1825 года, после того как майор Лукасинский дал показания, Константин знал, что организованное им «Патриотическое общество» продолжало существовать. Тем не менее великий князь не счел нужным произвести ни одного нового ареста{484} — он считал вредным дальнейшее ужесточение репрессий.

Иначе думали в Петербурге. Там следствие над декабристами развернулось во всю ширь, все необходимые механизмы были запущены, все доступные веку способы давления на арестантов приведены в действие, колеса вращались, оси скрипели, ниточки дергались, допросы не прекращались — связи между российским тайным обществом и Польшей обнаружились немедленно. Пестель, Бестужев-Рюмин, а в особенности привезенный из Киева в Петербург и дрожавший от ужаса камер-юнкер Антон Яблоновский, впоследствии заслуживший прощение за раскаяние и откровенность, поведали о своих польских братьях всё, что только могли вспомнить. Тут-то Николай и вручил Константину Павловичу *carte blanche,* предоставив ему власть «диктаторскую и неограниченную». Как мы помним, уже вторую в его жизни. В 1822 году, когда над Царством Польским, казалось, нависла революционная угроза — *carte blanche* Константину вручил император Александр. Тогда цесаревичу это было на руку, так как упрощало его жизнь в Варшаве окончательно и легализовало любые злоупотребления.

В 1826 году Константин новым полномочиям не обрадовался — теперь власть диктаторская означала вовсе не безответственность, напротив. Вся полнота ответственности за нарастающее в Царстве Польском бурление, листовки, сомнительные тайные общества и собрания ложилась на плечи

цесаревича. Отныне Константин Павлович должен был действовать как представитель интересов Российской империи, не принимая в расчет никаких личных соображений. До сих пор он поступал ровно наоборот — жил, как чувствовал, делал, что считал нужным, руководствуясь исключительно собственными представлениями об интересах России, причем представления эти мистическим образом совпадали с его личными интересами. Александр на всё закрывал глаза, прощая брату и поругание конституционных законов, и грубости в обращении с подчиненными, и самоубийства польских офицеров, ведь исполнению двух важных задач Константин способствовал: растил прекрасно обученную армию и не мозолил глаза в столице. Большего «ангелу» не требовалось.

С явлением на сцену императора Николая всё стало иначе. Прожив к тому времени в Польше десять с лишним лет, Константин искренне полюбил поляков. Оставляя за скобками княгиню Лович, заметим, что «брак» Константина с ее соотечественниками был все-таки не равным, с польской стороны вынужденным, заключенным под давлением обстоятельств. Великого князя это смущало мало. Плодом странного союза стало польское войско, которое цесаревич и в самом деле обожал как собственное дитя, любя в нем свои неусыпные заботы и попечения. Кто как не он возродил, если не создал заново польскую армию, кому как не ему она была обязана образцовой выучкой? Но дети редко бывают благодарны. Они превосходно запоминают все обиды, наказания, строгости и не хотят знать о родительских трудах и тревогах.

В целом польская армия не испытывала к цесаревичу симпатии. Он по-прежнему унижал польских офицеров, по-прежнему требовал слепого повиновения, а вместе с тем преданности. Сдержанная вежливость, с которой относились к Константину иные польские генералы, никак не означала истинной преданности, ни тем более любви. Польскому офицерству дела не было до того, что Константин Павлович не мыслил иных форм поведения на плацу и верил в то, к чему привык, — гатчинские уроки оказались невытравимы. Даже изменившиеся политические взгляды цесаревича не привлекли к нему польские сердца. Поляки словно бы и не заметили, как эволюционировали его убеждения.

Между тем польская конституция давно не смешила великого князя, и он пусть пока только на словах, но начал признавать, что конституционные законы должны исполняться. Это, впрочем, было из области разговоров. Самый поразительный и реальный результат перемены во взглядах цесаревича состоял в другом:

Константин стал убежденным сторонником присоединения западных губерний к территории Царства Польского. После смерти Александра он словно почувствовал себя наследником его идей и искренне желал, чтобы мечты брата наконец воплотились. Мечты эти шли вразрез с политикой Николая, но оттого делались Константину только дороже.

Однако Александр покоился в могиле, деваться было некуда, власть «диктаторскую и неограниченную» приходилось применять на деле — 7 (19) февраля Константин учредил в Варшаве комитет для расследования деятельности тайных обществ в Царстве Польском и западных губерниях. В следственный комитет вошли десять человек — пять поляков и пятеро русских, сбалансированность судебных решений теперь ни у кого не должна была вызывать сомнений. По стране начались массовые аресты; слежки, предательства, допросы — всё, как всегда. Тайная полиция под руководством страстно ненавидимого поляками генерала Рожнецкого всеми силами пыталась оправдать свое существование и громадные расходы, которые выделялись на ее содержание из казны.

Константин намеренно старался оставаться в стороне от деятельности комитета, чтобы, как писал он в одном из писем Николаю, никто не упрекнул его в «лицеприятии и произволе». То была официальная версия, на самом деле цесаревич просто не считал поляков виновными. Ведь открытого мятежа в Польше не было, на Саксонскую площадь (в отличие от Сенатской) войска не выходили и картечью их никто не разгонял! К тому же, как вполне резонно повторял Константин и государю, и близким, патриотические идеи были внушены полякам лично императором Александром.

«Я их совсем не защищаю, — с плохо скрытой болью писал Константин в письме Опочинину 12 (24) февраля, — пускай что угодно будет с ними сделано; но долг мой есть поставить на вид всю истинную правду и обстоятельства, которые мне ближе всех известны, ибо и мое положение в теперешнее время насчет сего весьма есть критическое. Покойному государю угодно было не только дать им питаться надеждой, но десять лет сряду словами и деяниями своими вкоренял и внушал он в них эту мысль; и посему самому что же мне оставалось делать, как исполнять волю государя и с оною сообразоваться… Словом сказать, государь император не только во всех своих речах к сеймам и действиях, но даже в разговорах во многих случаях с польскими, как штатскими, так и военными чинами, откровенно изъяснял свои насчет их намерения; следовательно, что же мудреного, что у них вскружились головы на чувствах *nationalite*[51]*!* Им это

беспрестанно внушалось, они привыкли к этой мысли и полагали, что это есть положительное; винить же их за это, кажется, нельзя: кто бы такой, будучи на их месте, не пожелал сего?»{485}

Весь 1826 и 1827 годы между цесаревичем и Николаем шло упорное, но почтительное бодание — Константин считал необходимым продолжать политику Александра, то есть соблюдать конституцию и возвратить Польше губернии, когда-то входившие в состав Речи Посполитой. Николай против конституции не возражал, но нарушать территориальную целостность Российской империи не желал.

Отстаивая свое право быть как хорошим поляком, так и хорошим русским, Николай Павлович проявлял не только твердость, но и честность: «Честный человек, даже среди поляков, отдаст мне справедливость, сказав: я ненавижу его, потому что он не исполняет наших желаний, но я уважаю его, потому что он нас не обманывает»{486}. Так оно и было, в отличие от Александра, постоянно дразнившего своих польских подданных обещаниями, которые никогда не исполнялись. Николай не возбуждал напрасных надежд и никому ничего не обещал.

Константину оставалось покориться. В его письмах этой поры зазвучали вдруг новые ноты — жалобы на старость и дряхлость. Это была усталость не только физическая (хотя в последние годы отчасти и она тоже), но и явное ощущение, что время его кончено. Ощущение, которое не отменяли ни внешняя почтительность Николая, ни его готовность советоваться с умудренным опытом братом по всем государственным вопросам, ни даже приписываемые Николаю слова: «Ведь настоящий-то, законный царь — он; а я только по его воле сижу на его месте»{487}. В письмах Константина той поры нетрудно заметить постоянное тайное недовольство — Петербургом и всем, что в нем творится. Мы помним, что и при Александре Константин питал к питерским затеям легкое отвращение, его раздражали и Библейское общество, и военные поселения, и мода на мистицизм, и «танцевальная наука» при разводах, но то недовольство всегда высказывалось в форме насмешки, пусть иногда и злой — теперь в интонациях Константина зазвучала обреченность. Ему стало не до смеха. Он чувствовал, что неудержимо стареет и против своей воли всё дальше отходит от дел.

В конце декабря 1826 года следственный комитет предоставил цесаревичу донесение, обвинявшее членов «Патриотического общества» в государственном преступлении. Верховный уголовный суд, подобный тому, что судил за закрытыми дверями декабристов, лишенных защиты и права голоса, в конституционном государстве был невозможен —

Константин не без чувства превосходства сообщил об этом Николаю. «Я позволю себе представить вам, что состав суда, в роде того как было сделано у вас, не может иметь места у нас без нарушения всех конституционных начал, потому что специальные суды не допускаются, а петербургский суд был именно таким, потому что, наряду с сенатом, в состав его внедрены были члены, назначенные особо в данном случае; в конституционных странах уже отвергают компетентность и правосудие петербургского суда и называют его чем-то вроде военного суда *(cour provotale),* сверх того, самое судопроизводство представляется им незаконным, так как в нем не было допущено гласной защиты; виновные или подсудимые были осуждены, не быв, так сказать, ни выслушаны публично, ни защищены тем же путем…» — писал он 12 (24) октября 1826 года{488}.

По окончании следствия цесаревич поручил Административному совету выбрать, каким судом будут судить подследственных. Совет передал дело не военному (как настаивал Новосильцев), а сеймовому суду, что предопределило мягкий приговор.

Заседания начались в Варшаве 3(15) июня 1827 года, суду было предано восемь человек — среди них фактический глава «Патриотического общества» Северин Крыжановский, граф Станислав Солтык, ксендз Константин Дембек. Председателем суда был назначен Петр Белинский, старший по возрасту сенатор. Цесаревич писал государю, что суд, несомненно, обнаружит, как высоко стоит общественное мнение в Царстве Польском — высоко, значит, далеко от революционных идей и брожения. Константин Павлович заблуждался. Общественное напряжение росло, все с нетерпением ожидали исхода дела; в дни работы суда повсюду стали расклеиваться патриотические листовки в защиту обвиняемых, грозившие местью дурным патриотам.

Суд постановил, что арестованные государственного преступления не совершали. Вина их состояла в том, что они продолжали участвовать в работе тайных обществ, запрещенных еще в 1821 году, и не донесли правительству о заговоре в России. В итоге только Крыжановский был осужден на три года заключения, остальным дали по два-три месяца, с зачетом времени предварительного заключения{489}. Следовательно, за исключением Крыжановского, по окончании суда все осужденные должны были выйти на свободу!

И вновь для Константина это оказалось неожиданностью. Судьба отправляла цесаревичу одно предупреждение за другим — наш герой будто оглох. Он действительно полагал, что беспокойство, разлитое в воздухе, наполовину выдумки, глупые

сплетни склонной к панике толпы и перепуганных русских. Узнав о приговоре, Константин впал в бешенство, точно бы забыв, как защищал поляков, как старался уберечь их от беззакония, — теперь в письме Николаю он обзывал польский сенат и Белинского самыми последними словами{490}. И, похоже, это был вовсе не наигранный гнев, подчеркивавший его лояльность русскому трону, — цесаревич вообще не был склонен к лицедейству, тем более при общении с младшим братом.

Император приговор сеймового суда не утвердил, давая понять, что решением недоволен, и предложил Административному совету высказать собственное мнение по поводу столь странного исхода дела. Совет, проведя несколько заседаний, судебное решение одобрил, указав, впрочем, что вынесенный приговор — результат несовершенств уголовного законодательства. В бумажной волоките и заседаниях прошло еще полтора года. Наконец Николай ратифицировал приговор, но выразил совету свое неудовольствие.

14 (26) марта 1829 года сеймовый суд был закрыт. Поляки торжествовали победу. За месяц до закрытия суда умер его мужественный председатель Петр Белинский. Похороны его вылились в новые манифестации молодежи и только подхлестнули национальные страсти.

ДВОЙНИК

9 (21) сентября 1827 года случилось событие в общем обыкновенное, каких каждый день на земле происходят тысячи, однако неизменно, хотя бы на мгновение вносящее в беспокойный мир нежность и тишину. У Николая Павловича родился второй сын. Император назвал его в честь старшего брата Константином и пригласил цесаревича в крестные. С приятным известием в Варшаву был отправлен генерал-адъютант А.Ф. Орлов. Цесаревич откликнулся как будто растроганным и благодарным, но в то же время крайне напряженным письмом:

«Как, дорогой брат, я сумею когда-либо отблагодарить вас за все внимание и за все милости, которыми вы удостаиваете меня:

1) ваша память обо мне в столь важный момент;

2) дать вашему сыну имя в память обо мне;

3) возвестить об этой более чем счастливой новости через посредство одного из ваших генерал-адъютантов;

4) назначить меня его крестным отцом»{491}.

Есть что-то противоестественное и демонстративное в этом аккуратном перечислении государевых милостей. Хотя благодарить Николая действительно стоило, не столько за «память в столь важный момент» и назначение крестным, сколько за то, что оказалось следствием этой памяти. Явление в свет Константина Николаевича, будущего генерал-адмирала и реформатора русского флота, на несколько десятков лет продлило мифологическое бессмертие нашего героя. В этом смысле Николай сделал цесаревичу действительно царский подарок, о котором сам император, впрочем, не подозревал.

В выборе имени для новорожденного сына Николаем двигало отнюдь не одно уважение к брату. В 1827 году имя Константин обрело новую политическую значимость. Незадолго до рождения Константина Николаевича, 24 июня (6 июля) 1827 года, Англия, Франция и Россия заключили Лондонский договор, предлагавший Оттоманской Порте посредничество с целью установления мира между турками и греками. Реально договор представлял собой форму давления на Порту; союзники протягивали руку помощи грекам. На Среднем Востоке Россия уже вела войну с Персией, которая вот-вот должна была завершиться русской победой, а это означало почти неизбежную войну с Турцией.

В этой сгустившейся предгрозовой атмосфере имя византийского императора, как и прежде, зазвучало для Востока устрашающе, а для россиян призывно. Фантазия поэтов и уличных болтунов немедленно поставила «порфирородного

младенца» Константина Николаевича во главе русских войск и грядущих завоеваний.

Порфирородный! Ты воспрянь!
И, чрез летучие забавы,
Простри на меч, на лавры длань!
Будь Росс! И на боях, огнем
Славян пылая,
Будь Александр, и Константин,
И пращур Петр, и духом исполин,
Будь долго, долго будь утехой Николая![492]

Так в стихах на рождение Константина Николаевича Федор Глинка выстраивал, по литературным обычаям того времени, мифологическую родословную младенца — в упомянутых здесь Александре и Константине можно было увидеть как ближайших родственников и дядьев, так и Александра Македонского и Константина Великого. Глинке вторил поэт и драматург Борис Михайлович Федоров, который намекал на географию будущих побед великого князя яснее, однако тоже осторожничал и размывал очертания и сроки «славных дел», помещая их в лестный для русского патриота, но загадочный туман:

Всевышним послан ты; во славе ты рожден;
Великим именем пред миром наречен:
Воздвигнут Божий Крест
Державным Константином,
И будет Константин победы властелином!
Взрастай, великий Князь, под сению побед!
Живи, дай славных дел! История их ждет…
А Брату, Первенцу пример любви являя,
Будь тем, чем Константин для брата Николая[493].

Как видим, Федоров не забыл раскланяться и с Константином Павловичем, невзирая на явную натяжку этой параллели и возрастное несовпадение — младший брат Константин Николаевич должен был стать старшему брату Александру Николаевичу тем же, чем старший Константин Павлович стал для младшего Николая Павловича.

Толпа на столичных улицах была смелее поэтов. В разговорах, которые вели между собой мещане, дворня, клирики, лавочники и их покупатели, Константин Николаевич уже без затей превращался в освободителя Гроба Господня и спасителя

христиан от мусульманского ига. Иного от царевича с таким именем ждать было невозможно.

Слух

> *«Не менее также занимаются толками на счет новорожденного великого князя, о котором по объявлении высочайшего рескрипта между старообрядцами, духовными и напоследок во всех состояниях стремительно перелетать стали от одного к другому приятные предсказания из Апокалипсиса и прорицание Мартына Задеки, в коих будто бы сказано, что в плодородный год, каковым почитается 1827-й, родится царь Константин, который освободит Иерусалим и Гроб Христов от ига неверных, и наречется 2-м. Почему в публике и предвещают быть спасителем Иерусалима великому князю Константину Николаевичу»*{494}.[52]

Мартын Задека, «глава халдейский мудрецов, гадатель, толкователь снов», был, как известно, персонажем вымышленным. Этот 106-летний старец якобы жил в Швейцарии в Альпийских горах, по одним сведениям — в XI веке, по другим — в XVIII; русская публика хорошо знала его по толкователю снов, включавшему также гадательный оракул и руководство по хиромантии{495}.

Народная молва ссылалась на книжечку с предсказаниями, впервые вышедшую еще в эпоху «греческого проекта», а затем по крайней мере дважды переизданную, в которой Задека не оставил без внимания и восточный вопрос, предсказав туркам разорение, глад, мор и изгнание в чужие края[53]. И хотя гадатель сообщает, что земли неверных будут захвачены христианами, какой именно народ и государь разорят турков, Задека умалчивает. Однако обладавший очами и ушами видел и слышал всё, что требовалось. Любопытно, что в своем прорицании Задека особенно подробно предсказывает завоевание Константинополя и лишь мимоходом упоминает о том, что и Иерусалим будет завоеван христианами.

Согласно же процитированному выше отчету А.Ф. Бенкендорфу о разговорах на улицах, народ толковал о том, что Константин Николаевич воцарится в Иерусалиме, а про Константинополь не вспоминал вовсе. Возможно, Иерусалим вытеснил в народном сознании Царьград потому, что в 1827 году жив еще был главный герой «греческого проекта» Константин Павлович и место освободителя «Седмихолмого» пока еще не

стало вакантным. Еще вероятнее, что осведомитель Бенкендорфа слышал не все разговоры.

Это вполне подтверждает агентурная записка Фаддея Булгарина в Третье отделение о «слухах и толках по поводу рождения великого князя Константина Николаевича» — здесь речь идет уже о Константинополе. Согласно булгаринским сведениям, современники различили провиденциальный смысл и в дате рождения Константина Николаевича, появившегося на свет 9 сентября. «Обстоятельство, что великий князь Константин Николаевич родился в то самое утро, когда Дмитрий Донской праздновал победу над Мамаем, почитают счастливым предзнаменованием для новорожденного, — отмечал Булгарин. — Известно также и напечатано в русской книге при покойной императрице Екатерине, что на Востоке существует пророчество, якобы русский князь Константин освободит Царьград от мусульман. Когда цесаревич Константин Павлович объявлен был императором, многие носились с тою книгою, и особенно купечество. Ныне опять взялись за оную. Любовь к чудесному оживляет разговоры»{496}. «Видок Фиглярин» (как называл Булгарина Пушкин) упоминает ту же книгу с предречениями о падении Турецкой империи, в которой печаталось и предсказание Задеки, но ссылается на другую ее часть — «предречение» звездослова Муста-Эддына султану Амурату о падении Турецкой империи, а также надпись на гробе императора Константина о победе «рода русых» над родом Измаила. Очевидно, что книжка эта, последний раз изданная в XVIII веке, и в самом деле была извлечена из нетей и переиздана в 1828 году.

Календарная близость дня рождения Константина Николаевича и дня Куликовской битвы была воспета и в стихах. 10 сентября 1827 года в газете «Северная пчела», одним из издателей которой являлся как раз Булгарин, появилась анонимная ода «На рождение Его Императорского Высочества, великого князя Константина Николаевича». Победы Дмитрия Донского подавались здесь как предвестие побед Константина Николаевича:

Когда Донской на поле ратном
Победы день торжествовал,
В тот самый час, во громе благодатном
Петрополь весть великую сретал:
Залп победы и новой славы,
Нам юный дан Архистратиг…
Ликуйте вы, сыны полночные Державы!
Восток! Вострепещи: конец судеб твоих!

Автор стихотворения (не исключено, что это был всё тот же Булгарин) сопровождает его подробной сноской, где напоминает читателю о том, что 9 сентября — день торжества для Дмитрия Донского, и сообщает, что сам он является владельцем Куликова поля, посему «в то самое время, когда жители столицы внимали пушечным выстрелам и радовались, что надежды императорского дома и целой России исполнились, день Куликовой битвы и имя Константина, страшные на Востоке врагам Христианства, представились воображению поэта в первую минуту радостной вести о рождении великого князя»{497}.

И всё же Константин Николаевич не был наследником престола. Только бездетность старшего сына Николая, Александра Николаевича, могла сделать его претендентом на императорскую корону. В 1827 году это было делом далекого будущего, и чтобы все мечты и предположения превратились в реальность, должно было пройти еще по крайней мере лет тридцать. Народ всё равно ликовал. У него была своя логика, вытекающая из событий недавней российской истории. Сходство имен определило направление народных ожиданий: если Константин «первый», младший брат императора Александра I, стал наследником престола, почему Константин «второй», младший брат «второго» Александра, будущего императора, также не может оказаться наследником? В уже цитированной агентурной записке Булгарин писал: «Старики говорят: “Мы помним, когда у Императора Павла 1-го родился третий сын, нынешний государь, тогда говорили: довольно для престола и двух молодцов. Что ж вышло, оба молодца остались бездетными, и престол достался третьему. Теперь надобно молить: дай Бог князей!”»{498}.

Бог не поскупился, князья у Николая Павловича и Александры Федоровны родились. Александр Николаевич тоже был награжден несколькими сыновьями, но мифологические судьбы Константина Павловича и Константина Николаевича отныне слились воедино, и с течением лет народная молва всё слабее различала их между собою.

«ПОШЕЛ ТУРОК ВОЕВАТЬ»{499},[54]

Письмо цесаревича Константина графу Ф.В. Сакену, 15 февраля 1827 года

«Я имел честь получить почтеннейшее письмо Вашего Сиятельства от 24 прошедшего января при возвращении моем из С.Петербурга, за которое приношу вам мою искреннейшую благодарность. Изъяснение в оном мнения вашего относительно нынешнего политического положения Европы есть совершенно согласное с моим, присовокупляя к сему, что я в пребывание мое в С.-Петербурге, нимало не скрывая, откровенно и гласно изъявлял оное, начиная сие пред самим Государем Императором, что иметь нам войну нет никакой в виду пользы. Начать оную весьма легко; какой же будет конец — это одному только Богу известно. Надеяться на свою силу невозможно. Наполеон показал над собою разительный пример: при всем могуществе его — какие вышли последствия? И хотя уничтожение его сил приписывают не столько нашему оружию, как морозам. То и с нами не может ли подобного сему случиться от турецких жаров? И турецкие дела представляют такую компликацию, что, начав с турками войну, могут от оной возгореться такие последствия, которым и конца предвидеть не можно. Положим, чтобы мы заняли Царьград; но не говоря уже о чрезмерных пожертвованиях, к чему сие ведет? Установить какую-то показную греческую республику, подобную как Американские штаты и полуденные американские же новые республики. Какую от сего ожидать для России пользу, иметь ли таких себе соседей или турок, в этом, кажется, нет сомнения. Я нашел в С.-Петербурге весьма многих лиц, которые согласно со мною судят и предвидят сии обстоятельства, и я старался, сколько мне было возможно, утушать огонь»{500}.

* * *

14 (26) апреля 1828 года Николай подписал Манифест о войне с Турцией. Через 11 дней русская 95-тысячная армия под предводительством фельдмаршала Витгенштейна вступила на территорию Дунайских княжеств. В конце мая к ней присоединился и сам император, решив лично участвовать в походе, чтобы «быть готовым принять в любой момент предложения султана», которые тот, возможно, пожелает сделать,

«а также и для того, чтобы иметь возможность остановить войска», когда это покажется необходимо{501}.

Прологом к войне послужило истребление союзниками (Россией, Англией и Францией) турецкого и египетского флота в Наваринской бухте. Поводом к сражению послужило убийство парламентера союзнических держав, в итоге 8 (20) октября 1827 года флот союзников одержал верх над турками, несмотря на численное превосходство последних. Николай был доволен и героизмом русских, и единодушием объединенных войск, и тем, что позиция России отныне совершенно прояснилась: «В этом деле мы не являемся ни греками, ни турками», «мы желаем лишь порядка и спокойствия»{502}.

Константин Павлович считал, что наваринская победа выгодна одним англичанам, и, очевидно, совершенно забыв вкус молока вскармливавшей его гречанки, полагал, что греческое восстание должно быть подавлено{503}. Посетив Петербург в начале 1828 года, цесаревич ясно высказывался против войны с Турцией, находя ее делом опасным и непредсказуемым. «По слабому моему разумению, не с Востока можем мы ожидать зла, но с Запада, из этого очага всяких возмутительных мыслей»{504}, — замечал он в одном из частных писем уже в разгар войны.

Нетрудно себе представить, как при таких взглядах цесаревич реагировал на предложение Николая привлечь к участию в войне поляков. Николай, надеясь включить в состав русских войск польские, хотел достичь сразу нескольких целей. Во-первых, для чего-нибудь и существовала же польская армия, доведенная цесаревичем до идеального состояния; отчего было не проверить ее в бою? Во-вторых, поляки, имевшие свою историю отношений с турками, могли вспомнить славные времена короля Яна Собеского, не раз побивавшего турецкую армию в 80-е годы XVII века; участие в новой войне с турками польстило бы их национальному самолюбию. В-третьих, общее сражение против магометан могло сплотить братьев-славян теснее, чем самая пламенная речь российского государя на сейме, самые заманчивые обещания, клятвы в дружбе и договоренности. В результате неприязнь поляков к русскому правительству могла стать слабее.

Но как было бросить в бойню, грязь, пот, хрип, крик — словом, на верную гибель вышколенное, обожаемое, чистенькое польское войско, в котором едва не каждого цесаревич знал лично — и в лицо, и по имени? «Война портит войско». И на предложение государя цесаревич отвечал твердым отказом. «Помню, что государь думал отправить часть польской армии в поход… Великий князь Константин Павлович не согласился с

этим мнением, хотел удержать, сохранить свою армию; и точно, он сохранил ее в целости против себя и России, — с горечью замечала позднее А.Д. Блудова, дочь товарища министра народного просвещения Д.Н. Блудова. — Помню, что батюшка и все наши друзья находили это большой, несчастной ошибкой; но положение великого князя и отношение государя к нему были такие особенные, такие ненормальные, что уступка желанию старшего брата была необходимой»{505}. 18 польских офицеров цесаревич отстоять всё же не смог; по настоянию Николая они были отправлены на Балканский полуостров выполнять не только военную, но и символическую миссию, и справились с обеими задачами отлично — в одном из писем Константину Николай отзывался о них с похвалой.

После капитуляции Варны, сильнейшей турецкой крепости, у стен которой погиб в ноябре 1444 года польский и венгерский король Владислав III, Николай отправил в дар Варшаве 12 найденных в крепости турецких пушек — в воспоминание о героической гибели Владислава, теперь отомщенной русскими войсками. Поляки дружеский жест не оценили, увидев в присланном даре унижение — и не без оснований: польский король Владислав был мусульманами побежден, а русский император мусульман победил{506}.

Увы, победа над Варной не означала прекращения военных действий. Война оказалась гораздо тяжелее и продолжительнее, чем предполагалось вначале. По окончании первой кампании предстояла вторая — уже с генералом Дибичем во главе и без императора в армии, — пока же русские войска отправились на зимние квартиры, а Николай Павлович в Россию. Только чудом он не утонул во время поднявшейся на Черном море бури и 14 (26) октября прибыл в Петербург. Накануне государя томили дурные предчувствия, оттого-то он и спешил в столицу, невзирая на непогоду. Предчувствия не обманули — в Петербурге Николай Павлович застал императрицу Марию Федоровну при смерти. Она умерла 25 октября (5 ноября) 1828 года. Константин тоже приехал из Варшавы на две недели отдать матери последнее целование.

«Из младшего в семействе я сделался силою обстоятельств, так сказать, его ветераном, — писал Константин в письме Лагарпу 31 декабря 1828 года. — Я приближаюсь к пятидесятилетию, а это приводит к размышлению, особенно в наш век, столь обильный событиями всякого рода. Проведши 34 года на действительной службе, из коих имел счастие посвятить 25 лет на службу любимейшему, почтеннейшему и снисходительнейшему из государей, можно сказать себе, что

исполнил свое поприще без стыда и что пора удалиться. Время иллюзий прошло, то время, где всё кажется прекрасным; пора очистить место другим. Утешения и воспоминания о прошедшем остаются, и говоришь себе, что если не делал лучше, то не делал и хуже других. Вы бы не узнали меня по этим философским строкам, любезный и почтенный наставник, но они внушены опытом. Не подумайте, впрочем, чтобы я начертал их в минуту дурного расположения духа; напротив, я не могу нахвалиться всем вниманием и предупредительностью моего семейства или остатков его и всей публики, но 50 лет жизни и 34 года деятельной службы чувствительны и тяготеют. Бывши в Петербурге, чтобы отдать последний долг бренным останкам матушки, я довольно серьезно занемог, так что доктор хмурился в продолжение 48 часов, но благодаря Богу, попечениям моего доктора и 38-летнего друга Линдстрема и благодаря всеобщему участию, выразившемуся во всех слоях общества, я поправился через неделю. Государь, государыня и мой добрый и милый Михаил оказали мне особенное участие, которого я ввек не забуду. Теперь я возвратился к жене и мирно ожидаю событий и что захотят из меня сделать. Я счастлив у себя и главным двигателем к тому моя жена. Я уверен, что, если бы вы ее знали, она бы заслужила ваше одобрение»[507].

Здесь всё — и печаль утраты, и усталость от продолжительной службы и прожитых лет, очевидно особенно усилившаяся после свидания с нелюбимой столицей, и поставленный отдельно от государя и государыни «добрый и милый» великий князь Михаил Павлович, с которым у Константина были особенно теплые отношения, и значимое упоминание о сочувствии ему во время болезни «во всех слоях общества», наконец, процеженное сквозь зубы «что захотят из меня сделать» — хотя, очевидно, никто ничего делать из цесаревича не собирался. Наконец, единственное утешение и источник счастья — любимая супруга, княгиня Лович. Исчерпывающая картина настроений Константина Павловича, справедливая не только для 1828-го, но и для 1829-го, и для 1830 годов, когда наш герой постоянно казался недоволен, обижен, уязвлен и, по тонкому замечанию Карновича, «напустил на себя старость»[508].

Слух

Императрица Мария Федоровна «унесла с собой согласие царской фамилии, что Константин Павлович

повиновался государю только из уважения к ней, что он теперь совершенно отстанет от императорского дома»{509}.

КОРОНАЦИЯ В ВАРШАВЕ

В августе 1829 года, после вступления армии Дибича в Адрианополь, разговоры о Константине Павловиче в русском обществе вновь ожили — путь к Константинополю был открыт, самые смелые мечтатели опять готовы были возвести несостоявшегося российского императора на византийский престол. Они не учитывали того, что русская армия была истощена до предела, десятки тысяч больных страшно ослабляли ее силы, к тому же приближалась осень, время грязи по колено и разбитых дорог. Самое лучшее, что можно было теперь сделать, — немедленно подписать с турками мир. И 2 (14) сентября 1829 года в Адрианополе во дворце Эски-Сарай мир был заключен. Те, кто помнил еще екатерининские замыслы, ворчали; сквозь восхищение великодушием Николая, не взявшего Стамбул штурмом, у иных патриотов проглядывала досада. Константин Павлович патриотических восторгов, вызванных победами русской армии над турками, не разделял{510}.

Еще в июле 1826 года скончался наместник в Царстве Польском Иосиф Зайончек, в политическом смысле, как мы помним, фигура марионеточная. Константин предлагал императору несколько кандидатур на освободившееся место — безрезультатно. Это естественным образом привело к тому, что теперь цесаревич единолично управлял Царством Польским уже без оговорок.

Тем временем в Варшаве всё нетерпеливее поджидали государя. Согласно конституции, Николай должен был короноваться как король польский. Но прошло уже более двух лет его правления, а государь не ехал. Именно в это время польское общество от отчаяния повернулось даже лицом к цесаревичу — по крайней мере вполоборота. В Варшаве стали распространяться слухи о том, что новый русский император «не любит поляков и даже ненавидит», что короноваться он не желает из презрения к народу и к королевскому титулу, а единственный заступник поляков перед Николаем — цесаревич{511}. Многочисленные злоупотребления поклонника Бахуса и женской красоты графа Николая Николаевича Новосильцева, как и нескольких его приближенных, которые бессовестно обирали своих подчиненных, деятельность тайной полиции, отсутствие национальной журналистики и свободы слова — всё это раздражало поляков, страна двигалась к неминуемой катастрофе. Приезд императора мог снять всеобщее неудовольствие и хотя бы ненадолго убедить поляков в том, что ими вовсе не пренебрегают. Да и время для

приезда русского императора наступило благоприятное — расправа над декабристами подернулась легкой дымкой забвения, судебный процесс над членами польских тайных обществ наконец завершился.

Анекдот

«Когда в 1826 году возник вопрос о коронации в Варшаве, то рассказывали, что будто бы император Николай заметил князю Ксаверию Францевичу Друцкому-Любецкому: “Понимаю, что, короновавшись уже императором русским, мне надо еще короноваться и королем польским, потому что этого требует ваша конституция, но не вижу, почему такая коронация должна быть непременно в Варшаве, а не в С.-Петербурге или Москве: в конституции сказано глухо, что этот обряд совершается в столице”.

— Так точно, — отвечал Любецкий в шутку, — и нет ничего легче, как исполнить вашу волю: стоит только объявить, что конституция, в которой это постановлено, распространяется и на русские ваши столицы»{512}.

Николай наконец собрался и, по настоянию Константина, согласился даже на то, чтобы благодарственный молебен по случаю коронации был устроен не во дворце, а в костеле.

5(17) мая 1829 года император торжественно въехал в Варшаву. Погода стояла ясная, немедленно поднялся праздничный звон, народ и войско встречали русского царя с шумными приветствиями, дамы махали платками. К каждому окну приклеились лица, многие забрались на крыши. Особенно умилял всех приехавший вместе с государем одиннадцатилетний Александр Николаевич. Александра Федоровна и Михаил Павлович также прибыли в Варшаву.

Константин потчевал высокого гостя (как когда-то и старшего брата) разводами на Саксонской площади, хвастаясь своим образцовым войском, как ребенок. На разводы собирались толпы народа, желавшего разглядеть императора и его семью получше. Ни дня не обходилось без званых обедов и балов, опять в Саксонском саду играла музыка, город был иллюминирован, только к вензелю «А» прибавился вензель «Н». По улицам разъезжали герольды, зачитывавшие объявление о коронации.

Торжество состоялось в жаркий воскресный день 12 (24) мая

в зале сената Королевского замка.

«Когда государь стал на свое место, то примас прочел молитву и провозгласил его королем польским. При сем последнем слове началась пальба из пушек, после чего примас поднес государю порфиру, которую начали надевать на государя придворные, первые сановники, затем корону, скипетр и державу, — всё это с молитвой подносимо было примасом. Государь поднесенную ему корону надел сам себе на голову; потом двое великих князей подвели к нему императрицу, которая стала на колена, и он надел на нее цепь Белого орла и корону, и она стала с ним рядом у трона. Вслед за тем государь стал на колена и произнес на французском языке молитву; когда он кончил и встал, то императрица и вся свита в зале стали, в свою очередь, на колена, и примас начал читать молитву, после которой все встали и началось шествие. Балдахин стоял у ворот дворца готовый; мы за него взялись, 16 полковников его держали, и мы, 16 генералов, держась за кисти, были ассистентами. Императрица стала под балдахин. Государь в короне и порфире вышел из ворот и стал впереди; за ним шли великие князья Константин и Михаил, потом императрица под балдахином — у ней ассистентами были: граф Соболевский и граф Красинский; потом шел наследник с княгинею Лович, а потом — весь двор. Процессия двинулась к кафедральному костелу, где отслужили тедеум (молебствие. — *М. К.),* по окончании которого всё шествие тем же порядком пошло обратно во дворец при громе музыки, звоне колоколов и криках “ура!” стоявших войск и всей толпы. Зрелище было торжественное. Все это кончилось к 2-м часам»{513} — так описывал церемонию один из ее участников.

Отныне Николай был королем польским. В те дни он не ведал, что только нерешительность и разброд в рядах заговорщиков избавили его самого, великих князей и юного наследника от смерти — предполагалось убить всех членов царской фамилии во время парада на Саксонской площади и начать бунт. Лишь в последний миг организаторы заговора заколебались. Восстание было отсрочено еще на полгода.

Император всюду держался с приветливой любезностью, ходил по городу пешком, без конвоя и свиты, демонстрируя полякам доверие, дружелюбие, щедро раздавая чины и награды. Юный Александр Николаевич, одетый в польский мундир конно-стрелкового полка, был представлен польским офицерам как помощник государя; мальчик уже знал основы польского, общался с офицерами на их родном языке, попутно удивляя всех и познаниями в польской истории. На четвертый день после коронации, 16 (28) мая, в Уяздовских аллеях были накрыты столы

с кушаньями на десять тысяч человек. Государь сам объехал все 100 столов под приветственные крики жующих. Внезапно начался ливень — государыне едва успели подать коляску, все начали разбегаться и прятаться под деревьями, некоторые, впрочем, терпеливо переждав окончание стихии, вскоре вернулись к пиру. Вечером в ратуше были даны бал и ужин на 900 человек. Поляки, казалось, были утешены совершенно.

Николай на шесть дней уехал в Берлин навестить своего тестя, отца Александры Федоровны, короля прусского Фридриха Вильгельма III, был принят там по-семейному и затем возвратился в Польшу. Он покинул Варшаву 13 (25) июня, пообещав полякам вскоре созвать сейм.

По крайней мере один человек по его отъезде вздохнул с облегчением. Это был Константин. Всё время пребывания Николая в столице цесаревич много и несколько демонстративно суетился, играл роль самого верного и послушного слуги государя — хотя давно привык чувствовать себя в Царстве Польском не трепещущим подчиненным, а полновластным хозяином. Положение цесаревича отягощали не только ложность играемой роли, но и бесконечные жалобы, которые выслушивал за его спиной Николай.

Ропот недовольства самоуправством великого князя сопровождал государя повсюду. Требовался немалый такт, чтобы, не обидев старшего брата, дать понять полякам, что жалобы их будут приняты к сведению.

В сентябре Константин Павлович с супругой отправился на воды во Франкфурт-на-Майне отдохнуть от хлопот и поправить здоровье княгини Лович, которая еще весной перенесла тяжелую болезнь.

«СТАРА СТАЛА, Г… СТАЛА»

Письмо цесаревича Константина Павловича Ф.И. Опочинину

Варшава, 13 (25) декабря 1829 года

«Любезнейший Федор Петрович.

Получа письмо ваше от 4-го декабря, я благодарю вас за все изъясненные в оном на мой счет выражения, но за всем тем повторяю изречение покойного князя Багратиона: "Стара стала, г… стала". К тому присовокуплю, что не смею даже сказать, что молод был, янычар был, ибо по указу самовластного Махмута янычары истреблены, и я весьма рад, что в молодости моей сей указ меня не коснулся, при чем опять повторяю: стара стала, г… стала.

Мудрено быть деятельным, любезнейший Федор Петрович, и тянуться с молодыми, коих правила и разумения о вещах всякого рода противны старым правилам, старым привычкам и, может быть, и грубой закоснелости, и грубым предубеждениям, вкоренившимся в продолжении полустолетия, но которые, однако, смею сказать, предостерегли быть замешанным, когда бы то ни было, между злоумышленниками и дозволяют всякому и каждому глядеть прямо в глаза, будучи притом по существу дела близорук, и даже так близко, что под самый нос… На счет прибытия моего в Петербург, где навещал я покойную мою матушку, скажу: что готов бы дать подписку в том, чтобы не ступить туда и ногою, имея токмо в виду теплоту, которую не под 60-м градусом, и притом не зимою сыскать можно, но там, где ни тобою не занимаются, никем не бываешь занят. A demi entendeursalut[55].

Вас и ваших всегда и сердечно любящий

Константин»{514}.

* * *

Судя по тому, что и в очередном своем письме (от 9 января 1830 года) Константин повторил ту же поговорку о старости, Опочинин ему возражал. В следующем письме Федор Петрович, очевидно, подробно рассказал великому князю о замечательном придворном маскараде, данном в Аничковом дворце 4 января в честь святок и Адрианопольского мира{515}.

В сонме других обитателей Олимпа Опочинин явился на этом празднике в костюме Юпитера и заслужил язвительный, полный обидных намеков отклик цесаревича: «…Вы явились Юпитером, с чем вас и поздравляю, но мне только кажется, что приличнее было бы вам быть Меркурием, а особенно Меркурием сублиматом, так как нам обоим с вами во время оно случалось быть с оным знакомым; и сверх того сделаю то примечание, что это необыкновенный был Юпитер в 2 аршина и 4 вершка, который, кажется, представляется величиною не менее, как русские мужички говорят, в косую сажень, и потому 4-х вершковый Юпитер по-русски называться должен Перуном (или Пердуном, ибо вы в том духе воспитаны)»…{516}

Опочинин на перченые шутки цесаревича обиделся и, очевидно, даже сделал вид, что не все их понял — так что Константин Павлович в следующем своем послании снисходительно приносил адресату извинения и прилежно объяснял, что под «Меркурием сублиматом» подразумевал дезинфицирующее средство против венерических заболеваний, которым приходилось в молодости лечиться и самому великому князю, и его приятелю. Эпизод с Юпитером приведен нами как еще одна иллюстрация, демонстрирующая не столько страсть цесаревича к сомнительным шуткам, сколько его раздражение «маскарадом», происходящим в Петербурге, — оно различимо и в словах о том, что он готов был бы дать «подписку в том, чтобы не ступить туда ногой», и в язвительной отповеди Опочинину, с готовностью принимавшему участие в придворных затеях.

Но Петербург в вихре балов и празднеств не забывал и о деле. Николай считал необходимым созвать в Царстве Польском сейм, который не собирался здесь уже пять лет. Цесаревич Константин по-прежнему не видел в сеймах большого смысла — его любовь к полякам в большей степени была любовью к нации, чем к ее институтам. Тем не менее сейм был созван. Государь вновь приехал в Варшаву, и 16 (28) мая 1830 года сейм начал работу. Константин Павлович вынужден был, как обычно, присутствовать на заседаниях в качестве депутата от Пражского предместья. За истекший со времени коронации год всеобщее недовольство только усилилось, поляки относились к приезду Николая и сейму как к последней своей надежде на улучшение и защиту от произвола Новосильцева и цесаревича.

Государь открыл сейм милостивой и лестной для поляков речью, где среди прочего довольно изящно объяснил неучастие поляков в Русско-турецкой войне: «Польская армия не приняла активного участия в войне; мое доверие указало ей другой пост, не менее важный; она составляла авангард армии,

долженствовавшей охранять безопасность империи…» Вот, оказывается, в чем заключалось дело — пока русские воевали, поляки охраняли безопасность Российской империи. Николай и словом не обмолвился о недавнем сеймовом суде, о царящем в государстве духе недовольства, не грозил, не пугал, однако не обещал и лишнего. Никаких лукавых и ласковых намеков на скорое присоединение Литвы в духе Александра Павловича. Поляки благородной честности Николая Павловича не оценили — лишь решение о строительстве памятника императору Александру как восстановителю Царства Польского было принято единодушно. В остальном палата депутатов вела себя неуступчиво и насупленно — правительственный законопроект о разводах, предлагавший передать бракоразводные дела в руки церкви, был жестко отвергнут. Вместе с тем сейм выразил петиции правительству — в том числе о цензуре и о помиловании Лукасинского.

На закрытии сейма 16 (28) июня государь произнес уже ледяную речь и спустя три дня отправился в Петербург. Последние иллюзии рассеялись. Поляки дали Николаю понять, что молчание и терпение отнюдь не их добродетели; Николай полякам — что ни на какие уступки не пойдет. Это был очевидный для всех разрыв. Цесаревич прощался с государем, как обычно, без сантиментов. Возможно, расставание прошло бы теплее, знай братья, что это их последняя встреча.

Константин Павлович не предчувствовал скорого конца. Хотя прежнего цесаревича, бравого, неутомимого, сутками не снимавшего мундира, не слезавшего с коня, и след простыл. Теперь Константин долгие часы просиживал дома, в халате, за письмами, газетами, в приятной беседе с домашними, с княгиней Лович. Его мучили боли в ногах и пояснице, он с трудом садился на лошадь. Франкфурт-на-Майне призывно манил зеленью и неземной тишиной. Попыхивая трубочкой, пуская сизые колечки, цесаревич всё чаще мечтал о покое, устранении от дел, жизни неторопливой и уединенной.

«У НАС ВСЁ СМИРНО»

Из письма Константина Павловича Ф.П. Опочинину

29 августа (10 сентября) 1830 года

«Слава Богу, у нас всё смирно и, скажу, надежно к воздержанию порядка. Речи нет ни о чем — по всем сведениям, и всё старое по-старому, и вновь ничего. В войске дух хорош и генерально насмехающийся над легкомыслием и ветреностью французов со товарищами»{517}.

* * *

Сколькими упреками, явными и тайными, резкими и корректными, был осыпан впоследствии Константин Павлович за свою слепоту! Он как будто ничего не желал знать о кровавых замыслах, повторяя как заведенный из письма в письмо: «У нас всё тихо и покойно», точно заговаривая действительность — пронизанную ощущением скорой и неизбежной бури.

Члены «Патриотического общества», прореженного, но не разгромленного сеймовым судом, продолжали собираться, обсуждали будущее восстание и возможность придания ему легальной формы, однако не предпринимали и не планировали никаких серьезных действий. Намного решительнее был настроен тайный союз, возникший в варшавской школе подхорунжих. Школа располагалась неподалеку от Бельведера, один из ее инструкторов, подпоручик Петр Высоцкий, уговорил нескольких учеников образовать тайный военный союз для защиты конституции. Крайне малочисленный поначалу союз подхорунжих образовался в декабре 1828 года, но со временем число его членов возрастало; горячие молодые головы были готовы на всё. В январе 1829 года в организацию вошел один из руководителей будущего восстания Маврикий Мохнацкий. В итоге именно тайный союз Высоцкого оказался в центре мятежа.

В начале августа 1830 года в Варшаву пришла весть об Июльской французской революции, а затем и смене французского правительства. Союз подхорунжих и другие тайные общества оживились невероятно, очертания восстания прорисовывались всё яснее. «Ветреность французов со товарищами», вопреки

заверениям Константина, стала руководством к действию. На варшавских улицах прошло несколько демонстраций, вновь замелькали листовки, призывающие поляков к борьбе за независимость. На решетке Бельведерского дворца появилась издевательская надпись о том, что дом этот скоро будет сдан в аренду. Штат тайной полиции был удвоен, доносы текли рекой. Однако аресты и допросы вновь не обнаружили ничего опасного для русского правительства. Точнее, Константин этой опасности не желал увидеть: даже когда Высоцкий и один из главных его помощников Урбанский, стоявшие у руля будущего восстания, были арестованы по доносу, их вскоре освободили{518}. Цесаревич не считал возможным множить число заключенных — напротив, он пытался смягчить варшавское общество. В конце августа 1830 года была даже отменена цензура на информацию о событиях, происходящих за границей, — и в варшавских газетах появились сообщения о революциях в европейских странах. Это не только не смягчило поляков, но еще сильнее воспламеняло их мечты о собственной революции{519}. После известия о событиях во Франции в союз подхорунжих вошли еще 70 офицеров варшавского гарнизона{520}.

Тем временем император Николай Павлович разработал план военной кампании против Франции — он предполагал свергнуть Людовика Филиппа, который, по его мнению, незаконно занял место отрекшегося от престола Карла X. Российский государь намеревался вернуть престол Бурбонам, взяв в союзники Пруссию, а в качестве основной силы в войне с французами использовать польскую армию. Константин Павлович вновь, как когда-то Александра, отговаривал Николая от войны. Однако если прежде им руководило опасение проиграть могущественному Наполеону, то теперь в его словах звучали умудренность и спокойствие старого воина, трезво оценивающего положение дел в Европе. «Я сильно сомневаюсь, — замечал цесаревич в письме Николаю от 13 (25) августа 1830 года, — чтобы в случае, если бы произошел вторичный европейский крестовый поход против Франции, подобно случившемуся в 1813, 1814 и 1815 годах, мы встретили то же рвение и то же одушевление к правому делу. С тех пор сколько осталось обещаний, не исполненных или же обойденных, и сколько попранных интересов; тогда, чтобы сокрушить тиранию Бонапарта, тяготевшую над континентом, повсюду пользовались содействием народных масс и не предвидели, что рано или поздно то же оружие могут повернуть против нас самих»{521}. Далее цесаревич заверял императора, что в Польше царит спокойствие и поляки готовы продемонстрировать свою верность

русскому престолу в любой момент.

Николай желал поступить по-своему и назначил главнокомандующим русско-польской армией увенчанного лаврами победы над Турцией фельдмаршала Ивана Ивановича Дибича. В конце сентября Дибич отправился в Берлин, с тем чтобы убедить прусского короля Фридриха Вильгельма III вступить в войну. Однако Пруссия, вслед за Англией и Австрией, признала Людовика Филиппа французским королем, совершенно отрезав Николаю путь к войне. Сквозь зубы он согласился не разрывать с Францией отношения.

В эти неспокойные дни в Москве началась эпидемия холеры, болезни тогда почти неизвестной в России. Меры, которые следовало принять, плохо представляли себе даже медики, в простонародье же поползли слухи о злоумышленниках, наславших мор. Население было близко к панике. Николай Павлович отправился в Москву для поддержания духа москвичей и едва не заболел сам, но отделался лихорадкой. Здесь же, в Москве, 5 октября государь получил от короля Нидерландов Вильгельма I просьбу о военной помощи — 25 августа в Брюсселе вспыхнула революция против голландского господства. Бельгийская революция и просьба Вильгельма послужили предлогом к развязыванию войны — не столько против революционеров в Бельгии, сколько против Франции.

Дибич снова отправился в Берлин, с тем чтобы теперь с учетом изменившихся обстоятельств всё же договориться с Пруссией о совместных действиях — по окончании переговоров он должен был поехать из Берлина в Варшаву и возглавить польскую армию. Константин руководить им же воспитанной армией не желал. Он по-прежнему находил войну с Францией ненужной, считая, что война только объединит все враждующие партии и усилит позиции французов.

Слухи о готовящемся походе с участием польской армии всерьез встревожили польских патриотов — без армии революция невозможна! К тому же едва в Царство Польское явятся русские войска, идущие походом в Бельгию, перевес окажется на русской стороне. В Варшаве перешептывались о том, что русская армия шагает сюда вовсе не для подавления революции в Бельгии, а для того, чтобы усмирить бурление в Польше и задавить национальное чувство. Следовательно, восстание должно быть начато немедленно.

На собрании, состоявшемся 9 (21) ноября на квартире у Иоахима Лелевеля, того самого бывшего профессора истории Виленского университета, одного из лидеров польских патриотов, мятежники назначили крайний срок революции — 17 (29) ноября

1830 года. Воздух дрожал от всеобщего напряжения и предчувствия необычайных событий — на зданиях расклеивали прокламации, всё чаще на улицах звучали революционные песни, в кабаках польские солдаты и офицеры задирали русских, навязывая им ссоры и драки. Во всем Царстве Польском, кажется, только цесаревич сохранял беспечность. Временами он всё же проверял ночью городские караулы, устраивал в русских частях учебные тревоги, переезжал ночевать из Бельведерского в Брюлевский дворец, в Лазенки, иногда и в казармы русских войск{522}, но, похоже, и сам до конца не верил в необходимость всей этой суеты.

Константина не убедило даже покушение на него самого, по счастью, сорвавшееся. Покушение было назначено на 18 (30) октября. Заговорщики предполагали собраться на Саксонской площади, напасть на цесаревича и русских генералов во время развода, всех их уничтожить, после чего провозгласить независимость Польши, отправиться в русские казармы и быстренько подавить сопротивление — чем и довершить этот изящный и легкий переворот. Но в тот самый день, на который было назначено убийство, Константин не явился на развод. Был ли он предупрежден? Кажется, нет.

Заговор почти сразу был раскрыт, но ничему Константина не научил — возможно, он и его принял за происки недоброжелателей. Слишком много цесаревич слышал за свою пятидесятилетнюю жизнь нелепых слухов и о себе, и об отце, и о матери-императрице и царственных братьях и уже устал прислушиваться к этому постоянному гулу, устал различать в воспаленном бреду толпы голос жизненной правды. Он по-прежнему разъезжал по городу в легкой бричке без охраны, рвал анонимные письма, предупреждавшие его о близкой опасности, не усиливал караул даже в Бельведерском дворце, который охраняли два-три инвалида с тесаками в качестве главного оружия, — словом, являл любимому народу вполне младенческое доверие, которое, однако, давно никого не трогало.

Тайная полиция выяснила точную дату восстания и сообщила ее цесаревичу: восстание было назначено на 16 (28) ноября. На этот раз Константин Павлович полиции всё же поверил, и в ночь на 16 ноября все польские караулы были заменены русскими. Заговорщики благоразумно отложили восстание, решив выждать хотя бы сутки. Ни дня больше им ждать не пришлось — увидев, что мятежа не случилось, Константин только посмеялся над общими страхами, и на следующее же утро после предполагаемого восстания в караулах снова стояли поляки. Правда, ночью по городу ходили также и русские караулы, но что

могли бы они сделать с разбушевавшейся чернью? В случае тревоги русским войскам было приказано собраться у Бельведерского дворца. Этими мерами безопасности Константин и ограничился. Напрашивается вопрос: неужели наш герой был таким уж неисправимым идиотом? Как иначе объяснить его поразительную беспечность? Дальнейшие события и отношение к ним цесаревича совершенно разъясняют это.

РЕВОЛЮЦИЯ

Из воспоминаний

> *«Стали подавать чай; не успели генералы сыграть второй ровер, как вошел человек и вызвал отца моего в переднюю. Здесь нашел он посланного от моей матери, крепостного нашего человека Алексея. Бледный, дрожа от страха и весь запыхавшись, проговорил Алексей: “Анна Федоровна приказала вас просить скорей домой, в Варшаве лево… руция!!” …Всё пришло в страшное замешательство: стол, карты были брошены, гости стали расходиться — иные подбегали к окнам, желая что-нибудь разглядеть, но на дворе было темно. Дамы подняли визг, громче всех слышались возгласы хозяйки: “Ахти, батюшки! Да я ни за что не останусь здесь — нас тут первыми убьют “. Все столпились в передней и разбирали свои вещи; все суетились»*{523}.

На последнем, предшествующем восстанию совещании заговорщики, среди которых были Иоахим Лелевель, Петр Высоцкий, Петр Урбанский, Иосиф Заливский и Людвиг Набеляк, постановили, что революцию следует начать с убийства Константина. Часть польских войск симпатизировала великому князю и могла встать на его защиту — это нарушило бы единство в рядах восставших и ослабило силы революции. А потому поражать гидру решено было с головы. Не в меру щепетильный Высоцкий настоял на том, чтобы убивали цесаревича не военные («солдату не подобает наложить руку на своего начальника»), а группа гражданских лиц — студенты во главе с Набеляком.

Убийство цесаревича, захват арсенала и раздача оружия народу, затем разоружение русских войск, которых в Варшаве стояло около семи тысяч, — так выглядел общий план восстания. Начало мятежа наметили на шесть часов вечера 17 (29) ноября. Сигналом к восстанию должен был послужить поджог пивоварни в Сольце, южном предместье Варшавы. После этого в противоположной части города поджигались два старых деревянных дома на улице Новолипье. Как только в сумерках вспыхивало зарево двух, пылающих с разных сторон пожаров, Набеляк и студенты, заранее собравшиеся в Лазенках, направлялись в Бельведер, чтобы умертвить великого князя. В то же самое время подхорунжие под предводительством Высоцкого

шли в русские казармы, дабы обезоружить русских. К участию в восстании предполагалось привлечь не только польское войско, но и гражданское население, собственно, весь город. План был неплохо продуман и очень прост.

Однако старая гнилая пивоварня, поджог которой должен был сигнализировать о начале восстания, долго не разгоралась. К тому же два подпоручика, которым поручили поджог, отчего-то начали свою работу раньше условленного срока. Огонь вспыхнул не в шесть, а в полшестого — когда его никто еще не ждал. Едва пламя появилось, немедленно забили пожарную тревогу и пивоварню погасили. Пожар не продлился и получаса, и его мало кто заметил. В итоге второй поджог не состоялся вовсе — дома в Новолипье остались нетронутыми.

Встревоженные ранним сигналом участники покушения бросились в Лазенки, но не все — и собрались далеко не в полном составе. В растерянности Набеляк отправился в школу подхорунжих, казармы которой располагались рядом с Лазейками, — там стояла тишина, даже Петр Высоцкий еще не вернулся из города. Среди заговорщиков воцарилась нерешительность. Восстание, точно пивоварня в Сольце, могло погаснуть, так и не разгоревшись. Идти в Бельведер, не заручившись поддержкой военных, было бы чистым безумием, и Набеляк отправился в школу подхорунжих во второй раз. Тут он встретил наконец Петра Высоцкого, возвращавшегося в казармы. Всё сейчас же оживилось и пошло по намеченному плану — Высоцкий отправился со своим отрядом в русские казармы, Набеляк со своим — в Бельведер. 18 студентов разделились на две группы: первая должна была напасть на Бельведер с фасада, вторая охраняла тылы на случай, «если птичка вылетела бы в сад»{524}. Чем ближе был Бельведер, тем решительнее делались студенты. «Смерть тирану!» — бормотали они сквозь зубы, подбадривая друг друга.

Тиран тем временем, как и всегда в этот час, мирно спал сладким послеобеденным сном, улегшись по-походному — у себя в кабинете. В Бельведере стояла мертвая тишина, ничто не смело шелохнуться и потревожить блаженный сон его высочества… Заговорщики ворвались во дворец, разбили стекла в сенях, люстру в лакейской и ринулись вверх по лестнице, к кабинету великого князя. Их вел Валентин Витковский, прежде служивший во дворце камердинером и хорошо знавший расположение комнат. Они слышали выстрелы, раздававшиеся с улицы, — это отряд подхорунжих во главе с Высоцким напал на уланские казармы, напал и получил отпор, но заговорщики этого не знали, и далекая пальба придала им сил.

В приемной студенты наткнулись на ожидавших цесаревича его адъютанта генерала Жандра и вице-президента города, начальника варшавской полиции Любовицкого, который собирался сообщить цесаревичу о намеченном на сегодняшнюю ночь восстании. Увидев заговорщиков, и Жандр, и Любовицкий побежали. Первый бросился через задний ход в сад, второй — к кабинету цесаревича, успев крикнуть по-польски: «Худо, ваше высочество!» И сейчас же был поражен штыком. Константин вскочил возмущенный — что за шум? Кто посмел посягнуть на его отдых? Но посягали не на отдых — на его жизнь.

Он кинулся на крики прямо навстречу своим убийцам и тут уж наверняка был бы убит, если бы камердинер Фризе (а по другим сведениям, Козановский) не преградил ему путь. Не церемонясь, он оттолкнул цесаревича от двери и закрыл задвижку изнутри. В дверь бешено заколотили. Константин находился от смерти буквально в пяти шагах. Дубовая, обитая железом дверь не поддавалась, заговорщики били прикладами, ногами, чуть ли не головой — безуспешно. Константин схватил пистолеты и сабли, он хотел немедленно бежать к княгине Лович, но Фризе убедил его, что княгиня в гораздо большей безопасности теперь, когда великий князь далеко от нее. Мужественный слуга повлек цесаревича через потайной ход на чердак, под крышу, где Константин наскоро оделся.

Взбешенные неудачей заговорщики нанесли поверженному Любовицкому еще 12 ран (однако не смертельных, в итоге Любовицкий остался жив и верность его цесаревичу была вознаграждена), в ярости закололи двух лакеев. Но «птичка», похоже, упорхнула. На что еще было им решиться? Внезапно снизу раздался крик: «Великий князь убит!» Решив, что дело наконец сделано, Набеляк и его отряд сошли вниз и, соединившись с товарищами, отправились восвояси.

Вторым, уже невольным, спасителем Константина оказался генерал Алексей Андреевич Жандр. В одном сюртуке, без шляпы он успел выскочить из дворца через задний ход в сад и побежал к конюшне. Здесь его настигла вторая колонна заговорщиков, стерегшая «птичку». Жалобные крики о том, что он всего лишь дежурный генерал, приняли за хитрость, двумя смертельными ударами штыков Жандра прикончили и закричали: «Великий князь убит!» Константина пришли убивать лица гражданского звания, студенты — неудивительно, что большинство из них не знало цесаревича в лицо. Эта ошибка спасла Константину жизнь. Заговорщики покинули Бельведерский дворец, не пытаясь больше разыскивать цесаревича.

Впрочем, в тот день смерть ходила за ним по пятам. Спустя

несколько часов у дворца, когда великий князь убеждал собравшийся здесь польский конно-егерский полк хранить верность присяге, которую этот полк как раз и хранил, в Константина прицелился подпоручик Волочанский, но ружье трижды дало осечку. Раздраженный подпоручик в сердцах бросил оружие на землю и, выйдя из рядов егерей, ушел в лазенковскую рощу, никем не остановленный. Так второй раз за несколько часов Константин Павлович избежал верной смерти{525}.

Он спустился из своего укрытия довольно скоро, когда к Бельведеру уже начали стягиваться русские войска. Великий князь отправил фельдъегеря в разведку — выяснить, что творится в городе. Фельдъегерь вернулся и доложил, что на улицах беспорядки, а 4-й линейный полк раздает народу оружие. Константин не поверил своим ушам. 4-й был элитой, любимейшим его полком, Константин ласкал его, как дитя. Солдат в этот полк набирали из простого звания, из уличной варшавской молодежи — ремесленников, рабочих, служащих, но все служившие здесь славились выправкой, ловкостью и — шалостями. Всё это вполне соответствовало вкусам Константина. Однажды озорники в шутку украли у главнокомандующего бобровую шинель, но тот только посмеялся и погрозил молодцам пальчиком, в глубине души страшно довольный проявленными в операции похищения находчивостью и хитростью. Шинель, разумеется, тут же вернули. Перед парадами и смотрами Константин Павлович, вопреки всем правилам, специально предупреждал командиров любимого 4-го, на что им следует обратить особое внимание, и полк всегда оказывался на высоте. И вот теперь эти-то шалуны, любимцы, любезные дети шли против него, участвовали в мерзком бунте, раздавали народу оружие. Это было немыслимо!

Судьба майора Лукасинского, тоже служившего в 4-м полку и по крайней мере до ареста искренне уважаемого цесаревичем, ни в чем Константина не убедила — майор был всего лишь паршивой овцой в этом избранном стаде. Константин не знал, что заговорщики, хорошо понимая, насколько именно 4-й линейный приручен цесаревичем, и опасаясь, что образцовый полк не присоединится к восстанию, заранее начали распускать по Варшаве слухи, «будто бы ласки цесаревича сделали из них приверженцев России, врагов отечества и т.п.».{526}. Слухи достигли цели — молодцам из 4-го больше других хотелось доказать свою верность отечеству, и они поднялись на восстание первыми.

Константин Павлович был до того потрясен, что отправил фельдъегеря с повелением рассмотреть всё получше и убедиться в

верности его же донесений. Но фельдъегерь уже не вернулся, его взяли в плен. Следующим был отправлен адъютант Константина, Александр Грессер, который подтвердил прежние сведения: беспорядки, вооружение народа, отдельные выстрелы, революционные песни. Цесаревич снова не поверил и приказал капитану ехать обратно в город, чтобы окончательно разобраться в происходящем. Грессер не вернулся тоже — его тяжело ранили и тоже взяли в плен{527}. Оба эпизода выдают смятение, в котором пребывал Константин, — он настолько не предвидел восстания и не был готов к нему нравственно, что отрицал очевидное. Великий князь словно бы тянул время, ждал, что вот-вот всё разрешится само собой, обернется досадным недоразумением, что он в конце концов проснется, очнется от этого абсурдного сна. И с едкой иронией опишет его в очередном письме Федору Петровичу Опочинину.

Но отчего-то сон всё тянулся, обрастал новыми сюжетами, поворотами, один печальнее другого. Вице-адмирал Павел Колзаков, сын которого со временем стал одним из лучших летописцев жизни цесаревича (и, видимо, неспроста был полным тезкой великого князя), уговорил Константина Павловича отправиться в Вержбу, на дачу своего тестя. Вержба находилась напротив Мокотовского поля, на котором можно было расположить войска и в случае необходимости дать отпор с гораздо большим удобством, чем в тесном парке вокруг Бельведера. Вместе с Константином в Вержбу двинулись и все русские войска, оставляя столицу на милость восставшим.

Княгиня Лович, которая еще до того покинула Бельведерский дворец, наотрез отказалась переждать события в безопасном месте и покинуть цесаревича. Убедить ее было невозможно, и теперь она ехала в карете рядом с Константином, который сопровождал ее верхом. «Прощай, Варшава! Брест протягивает нам руки», — сказал цесаревич в совершенно несвойственной для него приподнятой, романтической манере, окидывая последним взглядом столицу.

Он не просто навсегда покидал любимый город — подобно своему отцу, Павлу Петровичу, названному однажды Пушкиным «романтическим императором», Константин вступал в последнюю, самую печальную и, кажется, самую «литературную» эпоху своей жизни, на глазах превращаясь в *романтического* изгнанника, покинутого, преданного, в странника, гонимого по свету злым роком и ничтожными людьми, — с неизбывной печалью в груди, с горькой обидой в сердце. Когда-то сияние романтического ореола увидели над его головой Пушкин и Бестужев-Марлинский, но оба не были совершенно искренни,

обоими руководил расчет; и только теперь судьба Константина, уже без натяжек, могла быть прочитана как судьба романтического персонажа, но не в героической, а в трагической его ипостаси. Та же перемена произошла с любимцем романтиков Наполеоном, в жизненной, а затем и в литературной реальности превратившимся из владыки полумира, из сверхчеловека, не знавшего препятствий, в покинутого узника острова Святой Елены, «изгнанника вселенной». Недаром спустя всего несколько дней после ухода из Варшавы депутат польского временного правительства Валицкий сравнил Константина именно с Наполеоном.

«Я не могу глубоко не чувствовать неблагодарности 4-го линейного и саперного баталионов, которые пользовались моим расположением; они доказали мне, что благодарность — слово, лишенное смысла», — заметил великий князь в беседе с депутатом. «По крайней мере, ваше высочество, — отвечал тот, — чувство это очень редкое, и Наполеон, покинутый своими генералами и преследуемый владетельными особами, делу которых он оказал так много услуг, мог бы быть тому подтверждением»{528}. Валицкий, правда, тут же поправился и сказал, что сравнение не слишком удачно: поляки мало похожи на предавших императора генералов, но слово уже вылетело — Наполеон.

СТРАННИК

Из воспоминаний

> *«Была темная ночь и накрапывал дождь, когда подъехала к этому домику карета с княгиней и великий князь верхом со свитою. В домике все спали, и можно себе представить испуг и изумление сыровара, когда на стук в двери встал он, сонный и полуодетый, и, с ворчанием отпирая дверь, увидел перед собою великого князя с княгинею, а за ними генералов, входящих в его скромные покои. В этом-то домике, сделавшемся историческим, поместился великий князь с княгинею в двух комнатках. Затопили камин, поставили самовар, и, при свете двух сальных огарков, их высочества отогревались и пили чай»*{529}.

Ранним утром следующего дня генерал Даниил Александрович Герштейнцвейг, прискакавший в Вержбу со своей батареей конно-легкой артиллерии, предложил великому князю погасить революцию в несколько часов. Быстрая атака могла рассеять бродившие по городу толпы черни и заставить повиноваться восставшие войска, число которых приближалось к четырем с половиной тысячам — не слишком много против семи тысяч русских, а также хранившего верность польского конно-егерского полка, части гренадерских рот полевых полков и гвардейских гренадеров{530}.

Великий князь от услуг генерала Герштейнцвейга отказался. Он предпочитал верить своему адъютанту, племяннику Адама Чарторыйского Владиславу Замойскому, уверявшему цесаревича, что возмущение началось из-за распространившегося по городу слуха, будто бы русские режут поляков. Сомнительно, чтобы сам адъютант верил в эту версию, на протяжении всего восстания он вообще пытался удержаться на двух стульях сразу и стать посредником между Константином и восставшими. Но цесаревич Замойскому поверил и решил, дабы рассеять лживый слух, продемонстрировать полякам свою доброжелательность. А значит, не противостоять им, не касаться их и пальцем. Такая политика, по мнению Константина, вполне могла опровергнуть опасное и ложное мнение. Окончательное же усмирение бунта, который цесаревич называл не иначе как *polska klotnia* («польская драка») — дело польской администрации, Административного

совета, но никак не брата государя. Константин не сомневался, что польские войска вскоре образумятся и сохранят верность присяге, — сообщения о взбунтовавшемся 4-м полке, нескольких гренадерских ротах с гвардейской конной артиллерией его по-прежнему ни в чем не убеждали.

Многим казалось, что в те решительные для Царства Польского и для него самого дни цесаревич вовсе утратил волю, если не рассудок. Это не совсем так. Просто воля его и все силы души были направлены на осуществление задач, которые в тот момент мало кому могли показаться разумными.

Константин Павлович вновь совершенно сознательно отказывался быть прозорливым политиком, расчетливым стратегом, предпочитая оставаться частным человеком, живущим в теплом кругу большой, по преимуществу польской, семьи. На родственников же руку не поднимают. На них воздействуют кротостью и лаской. Именно эти чувства и диктовали Константину ближайшие цели: любыми средствами избавить взлелеянную им польскую армию от порчи, оградить ее от участия в войне с русскими — во-первых. Уберечь не только армию, но и вообще польский народ от физического и политического уничтожения — во-вторых. Наконец, сохранить собственное положение в Царстве Польском, а как наступит час, спокойно умереть в Бельведерском дворце на руках близких — в-третьих. Однако цели эти никак не согласовывались с действительностью, обстоятельства требовали, чтобы цесаревич оставался фигурой политической (хотя бы для того, чтобы в перспективе сохранить жизни тысяч людей — в том числе жизни любимых поляков), и отказ его прислушаться к этому очевидному требованию, собственно, отказ от ответственности, привел к самым печальным последствиям.

Из Варшавы приходили неутешительные вести — город пережил одну из самых жутких в своей истории ночей. Польские генералы Трембицкий, Гауке, Блюмер, Потоцкий, оказавшие сопротивление народу и солдатам, были убиты. Потоцкого буквально растерзала толпа; тело расстрелянного в упор Блюмера повесили на фонарном столбе. По случайности погиб и числившийся в пламенных патриотах генерал Новицкий — подпрапорщики, стрелявшие в него, не разобрали хорошенько его фамилии, перепутав его с другим, ненавистным им человеком и не разглядев в темноте его лица. Арсенал был захвачен, оружие свободно раздавалось народу.

Все революции похожи одна на другую. Винные лавки были в ту ночь взломаны, бочки вскрыты, повеселевшая после обильных возлияний чернь отправилась грабить магазины и квартиры

русских. Вот одна из уличных сценок первых часов восстания, представленная в воспоминаниях К.П. Колзакова: «Впереди ехал верхом ксендз, с обнаженною саблею в руке, и возбуждал народ к восстанию; несколько пьяных простоволосых женщин шли, обнявшись с солдатами и чернью, посреди толпы. Всё это пело, кричало; послышалось несколько близких выстрелов — весь дом дрожал от стука и топота; на небе виднелось в двух местах зарево от пожаров; звук набата раздавался в отдалении»{531}. Другие свидетели восстания вторят Колзакову — пьяная толпа, крики, буйство, кое-как прикрытое национальной идеей…

18 ноября Административный совет, собравшийся по инициативе министра финансов Любецкого и пытавшийся сохранять лояльность русскому правительству, выпустил прокламацию, выражавшую сожаление о случившемся и призывавшую мятежников к повиновению. Константина Павловича прокламация обнадежила, мятежников — раздражила, они думали вовсе не о повиновении, а о том, кто возглавит восстание, которое очень нуждалось в опытном и авторитетном руководителе.

После долгих уговоров и депутаций встать во главе войска согласился генерал Григорий Хлопицкий, с шестнадцати лет служивший в польской армии, участник нескольких кампаний, сражавшийся под знаменами Наполеона и даже раненный возле Смоленска. Хлопицкий готов был принять должность главнокомандующего только из рук Административного совета, чтобы руководить войсками от имени русского императора. Радикалам это не слишком понравилось: в проправительственном Административном совете им вполне обоснованно почудились контрреволюционные силы. 19 ноября (1 декабря) самые горячие из мятежников учредили собственный патриотический революционный клуб, по сути городскую власть, которая должна была противостоять соглашательским решениям совета. В тот же день в Варшаву явился из Вержбы адъютант изнывавшего от неясности и бездействия Константина Павловича Владислав Замойский. Он дал понять представителям совета, что великий князь может принять у себя депутацию, но это должно иметь вид, будто депутация без всяких подсказок отправилась к цесаревичу по инициативе самого совета.

20 ноября (2 декабря) депутация в составе Адама Чарторыйского, Лелевеля, Островского и Любецкого выехала в Верж-бу и едва не поплатилась за это — как только депутаты сели в карету на Банковской площади, «целые тысячи народа», как эмоционально замечает один из летописцев восстания Мохнацкий, окружили и остановили карету. «Ее отворили: со всех

сторон слышали посланники совета исступленный крик, грязные намеки, острастки; насилу после торжественнейших уверений успели они пробраться сквозь толпу, которая провожала их чрез первые от банка улицы»{532}.

Встреча цесаревича с депутацией состоялась в маленькой тесной комнатке в присутствии княгини Лович, которая поддерживала супруга, как могла. И, судя по всему, он в ее поддержке крайне нуждался. Обсуждение продолжалось пять с лишним часов и кружилось вокруг трех главных вопросов — ухода цесаревича из Царства Польского, судьбы западных губерний, амнистии Николая всем восставшим. Относительно первого вопроса мнения депутатов разделились — Чарторыйский и Любецкий считали, что удаление Константина Павловича за пределы Польши означает окончательный разрыв с Россией, а это вовсе не входило в их планы. Лелевель, Островский и сам великий князь склонялись к тому, что уход необходим, оттого что неизбежен.

Разговор о присоединении провинций быстро зашел в тупик — цесаревич холодно заметил, что не уполномочен императором вести об этом переговоры.

Наконец, депутация настаивала на том, чтобы цесаревич ходатайствовал перед государем обо всех, принимавших участие в восстании, — Константин Павлович обещал заступиться лишь за тех, кто сознается в своем заблуждении, но в итоге согласился с формулировкой депутатов — просить о прощении для всех.

«Тихий ангел», княгиня Лович, выступила на встрече в совершенно непривычной для себя роли. Темперамент страстной и любящей женщины, которая в решительную минуту сумела расстаться со своей кротостью, вполне проявился в сцене переговоров с депутацией.

«Во всё время этих переговоров великий князь казался очень спокоен духом и говорил не много. Зато княгиня говорила с увлечением и запальчивостью, переходя от угроз к просьбам и наоборот; но ничто не помогло, и депутаты удалились, взяв слово от великого князя, что если б он был принужден впоследствии сделать нападение на Варшаву, то должен был предупредить их о том за 48 часов. Рассказывают некоторые очевидцы, что будто бы великому князю предложена была депутатами корона польская, но что княгиня в энергических выражениях отвергла это, высказав им всю дерзость такого предложения; любопытно, что депутаты не на шутку надеялись на успех»{533}.

В конце переговоров Константин заметил в довольно резкой форме, что желает остаться непричастным к восстанию и может только ходатайствовать о помиловании виновных. «Между нами

нет виновных!» — закричал в ответ на это Островский и надел «конфедератку»{534}. Тем всё и закончилось.

На следующий день к Константину приехал выходец из немцев генерал Шембек, которого цесаревич, убежденный в его верности и готовности помочь, принял как родного. Шембек сейчас же обещал привести свой 1-й егерский полк, который хранил верность присяге и стоял в Блони, к лагерю великого князя. Но вернувшись к войску, генерал обнаружил, что полк желает шагать вовсе не в Вержбу, а в Варшаву. Возражения были бесполезны, Шембек отдал приказание присоединиться к восставшим и направил полк в город. Там генерала и его солдат встретили как героев. Силы революции прибывали.

Положение великого князя и русских войск, расположившихся на прилегавшем к Вержбе Мокотовском поле, делалось всё хуже — у них не было ни пищи, ни одежды, ни крыши над головой; выступая из города, никто не ожидал, что поход затянется более чем на сутки. «Восстание берет сильно вверх, порывы его в эту ночь были страшные — удержать их было нельзя ничем, — прыгающим почерком писал Любецкий в записке великому князю в ночь после возвращения депутации. — Совет не может иметь никаких сношений с вашим императорским высочеством — одна мысль договора с вами подвергла его величайшей опасности. В таком положении дел совет предлагает вашему высочеству одно из двух — или сдаться, или тотчас уходить»{535}.

Драгоценное время было упущено — теперь победить революцию не только в несколько часов, но и в несколько дней было невозможно.

Все польские войска, до сих пор хранившие цесаревичу верность, были им отпущены; впрочем, многие из них начали уходить и без его позволения и вскоре уже обнимались с жителями Варшавы, которые кричали: «Да здравствует польское войско!», украшали венками военные знамена и путали ряды. «На всех главных зданиях столицы показался написанный большими буквами стих Мицкевича: “Приветствую тебя, заря свободы! За тобою солнце спасения!”»{536}.

В тот же день, 21 ноября (3 декабря), цесаревич начал отступление к границам России. Временное правительство получило от него объявление: «Я выступаю с императорскими войсками и удаляюсь от столицы. Я надеюсь на великодушие польской нации и уверен, что мои войска не будут во время их движения тревожимы. Я вверяю покровительству нации охранение зданий, собственность разных лиц и жизнь особ»{537}. Хлопицкий принял меры к тому, чтобы отступление цесаревича

было безопасным и покушений на Константина и его войско в продолжение этого похода действительно не было.

Однако заранее об этом, разумеется, не было известно. Отступавшие всё равно страшились преследования, внезапных нападений, каждый невинный слух преувеличивался и оборачивался паникой; войско не имело провианта и обозов, ослабевшие лошади падали одна за одной, не только солдаты, но и сам великий князь с супругой бедствовали до крайности.

«Ничто не могло быть печальнее нашего движения. Мы были принуждены тащить за собою целую вереницу экипажей, наполненных женщинами, стариками, детьми, которым удалось спастись; одни оплакивали потерю своего имущества, другие смерть родных, и все, не имея лишней одежды, страдали от холода. Офицеры и солдаты, плохо одетые, впроголодь, также оставили в Варшаве свое имущество, надежды и счастье. Все вздыхали по Литве, но приходилось еще прежде переправиться через Вислу, а Бог один знает, допустят ли это поляки. Всё это до того омрачало картину, что наш поход напоминал скорее погребальное шествие… Никогда не забыть мне наш бивуак на улицах Гуры; мы прибыли туда довольно поздно вечером; улицы были полны народа, и войско с трудом могло двигаться в толпе. Гостиницы, частные дома, хижины — всё наполнилось голодным людом, который требует за свои деньги поесть, подобно тому, как разбойник требует жизнь или кошелек. Тут посылают за соломой и сеном, там ломают забор на дрова, сто команд с разных полков мечутся во все стороны за разными потребами; темнота ночи не позволяет офицерам смотреть за солдатами. Со всех сторон слышны крики грабимых жителей и визг издыхающих животных»[538], — записывал в своем дневнике участник этого невеселого похода Константин Федорович Опочинин, сын хорошо известного нам постоянного корреспондента Константина Павловича. Сам цесаревич по жестокости лишений сравнивал это отступление с суворовским Швейцарским походом, то есть с переходом через Альпы, — сравнение выразительное!

Из Гур Константин двинулся в Пулавы, где навестил мать Адама Чарторыйского, которую, впрочем, недолюбливал и за глаза звал бабой-ягой; затем в двух милях от Пулав 23 и 24 ноября (5—6 декабря) встречался и долго беседовал с депутатом временного правительства Валицким, сравнившим Константина с Наполеоном, — встреча не принесла никаких плодов[539]. Однако именно Валицкому Константин признался, что прекрасно понимал, как легко мог остановить восстание в самом начале: «Если бы я захотел — вас в первую минуту всех бы уничтожили; я был единственным лицом в моем штабе, которое не хотело, чтобы

по вас стреляли. Потому что я подумал, что русским в польскую распрю *(kiotnia polska)* незачем вмешиваться»{540}.

Начиная с этого времени и вплоть до последних дней жизни Константина Павловича его письма Николаю и верному Опочинину — непрерывный стон, почти не скрываемые рыдания.

…Гуры, Пулавы, Володава…

«И вот творение шестнадцати лет совершенно разрушено подпрапорщиками, молодыми офицерами и студентами с компанией. Я не распространяюсь об этом более, но долг повелевает мне засвидетельствовать перед вами, что собственники, сельское население и все, кто только владеет хоть каким-нибудь имуществом, в отчаянии от этого. Офицеры, генералы, равно как и солдаты, не могли удержаться, чтобы не последовать за общим движением, будучи увлечены молодежью и подпрапорщиками, которые всех сбили с толку. Одним словом, положение дел самое скверное, и я не знаю, что из этого, по благости Божией, выйдет. Все мои средства надзора ни к чему не привели, несмотря на то, что всё начинало раскрываться… Вот мы, русские, у границы, но, великий Боже, в каком положении, почти босиком; все вышли как бы на тревогу, в надежде вернуться в казармы, а вместо сего совершили ужасные переходы. Офицеры всего лишились и имеют лишь то, что на них надето… Я сокрушен сердцем; на 51-м году жизни и после 35-ти лет службы я не думал, что кончу свою карьеру столь плачевным образом.

Молю Бога, чтобы эта армия, которой я посвятил шестнадцать лет жизни, одумалась и вернулась на путь долга и чести, признав свое заблуждение прежде, чем против нее будут приняты понудительные меры»{541}, — писал цесаревич Николаю 1(13) декабря из Володавы.

На что он надеялся, о каком долге говорил? 21 ноября (3 декабря) Административный совет в Варшаве объявил о самороспуске. Вместо этого было учреждено новое временное правительство, в которое вошли всё те же лица, что состояли в совете, — Чарторыйский, Лелевель, Островский, Немцевич. Но известив всех об уничтожении совета, его члены объявляли и о полном разрыве с русским правительством. Революция двигалась всё дальше, в больших городах Царства Польского возникали новые патриотические клубы, всюду шли обсуждения, споры до хрипоты, страсти накалились до предела. Кровь кипела и у юношей, и у стариков{542}. Любимцев носили на руках и готовы были удушить в объятиях, противников легко могли разорвать в клочья.

В день, когда самораспустился совет, генерал Хлопицкий после очередных нападок самых рьяных клубистов на его

политику впал в такой гнев, что упал в обморок, и в народе поднялось недовольство — Хлопицкому верили. На следующий день, 22 ноября (4 декабря), Чарторыйский и Немцевич уговорили Хлопицкого принять полномочия диктатора. Генерал согласился, но лишь с тем условием, что его распоряжения будут исполняться беспрекословно. Сам он считал войну с русской армией самоубийственной и потому желал лишь примирения с Россией, хотя и на выгодных для Польши условиях, главное из которых — исполнение конституции и уничтожение злоупотреблений в управлении. Для мирных переговоров Хлопицкий отправил в Петербург двух посланников — хорошо знакомого нам министра финансов Ксаверия Любецкого и члена сейма графа Яна Езерского. Встреча их с императором, состоявшаяся в пятилетнюю годовщину декабристского мятежа, 14 декабря, ни к чему не привела и еще больше обнажила бездну, разрастающуюся между Россией и Польшей. Спустя шесть дней Николай принял нового посланника из Польши — лейб-гвардейского офицера конно-егерского полка Тадеуша Вылежинского, но и эти переговоры не принесли никаких результатов.

…Володава, Брест…

ВОЙНА

Анекдот

«В 1831 году однажды поздно ночью купец, сидя в столовой, заканчивал свою работу, как вдруг услышал осторожный стук в наружную дверь. Не желая будить прислугу, Розенмайер вышел в сени, открыл дверь и отпрянул в ужасе: перед ним стоял цесаревич, один, без свиты, шапка надвинута на глаза. “Ваше высочество”, — еле выговорил Розенмайер. “Молчи, ни слова”, — грозным шепотом ответил цесаревич, потом молча прошел в столовую и как бы в изнеможении опустился на диван. Оправившись от испуга, хозяин подошел было к двери, чтобы разбудить спавшую дочь и прислугу. “Ни с места, — тихо, но внушительно сказал великий князь. — Никто не должен знать о моем пребывании в твоем доме”. Старик так и застыл у дверей. “Чай, прошу тебя; хочется согреться; только никого не буди, готовь сам и не выходи из этой комнаты”.

Розенмайер безмолвно повиновался, достал из знакомой цесаревичу кладовой при столовой чайный прибор и стал готовить чай. Заметив на себе пристальный взгляд Константина Павловича, хозяин окончательно растерялся, неожиданность ночного визита и странное поведение великого князя приводили его в ужас.

Когда чай был готов, Розенмайер стал искать сахар, но ничего не нашел, кроме маленького ящика с сахарным песком; разбудить дочь или позвать прислугу он, конечно, не смел. Налив чай в стакан, хозяин стал сыпать в него сахарный песок из ящичка. Внезапно цесаревич вскочил с дивана, схватил Розенмайера за руку и громко спросил: “Что ты сделал?”

Тут только хозяин понял странное поведение ночного гостя и, спокойно посмотрев на цесаревича, сказал: “Ваше высочество, чай, наверное, еще не сладок: позвольте мне отведать”. — “Молодец!”— вырвалось у великого князя, и, придвинув к себе стакан, он спокойно поднес его корту.

“Нет ли у тебя лошадей, лишнего пальто и надежного человека?” — спросил Константин Павлович после чаю. “Как не быть“, — ответил хозяин, принес

великому князю широкую шубу с большим меховым воротником, вышел с ним во двор, осторожно разбудил старого слугу: не называя гостя, объяснил слуге, куда и каким путем нужно ехать и как нужно держать себя в пути. Цесаревич сел в сани и, прощаясь с Розенмайером, сказал: "Проси какой хочешь награды".

… "Если ваше высочество хотите успокоить мою старость, прикажите освободить мой дом от постоев". — "Дурак!"— раздраженно крикнул цесаревич и велел погонять лошадей.

Вскоре после ночного визита старик, к крайнему своему изумлению, получил из Петербурга официальное извещение о пожаловании его корнетом гвардии»[543].

Не исключено, что это не совсем легенда — отступая из Польши, Константин Павлович и в самом деле расположился с отрядом в двух верстах от Бреста и простоял там с 4 по 8 декабря 1830 года[544].

…Брест, Высоколитовск, Брестовицы, Белосток…

Константин удалялся от второй своей родины и приближался к первой, которая давно превратилась для него в чужбину. В душе он продолжал надеяться, что поляки справятся с бунтовщиками собственными силами. Когда в лагерь цесаревича пришла весть, что Лелевель по приказу Хлопицкого арестован, Константин повеселел и даже велел «ради забавы» записать ноты польского национального гимна «Ещче Польска не сгинела» — знаменитый марш генерала Домбровского, прославлявший независимую, гордую и уверенную в своих силах Польшу. Дело происходило во время одной из остановок, в благоустроенном доме. Ноты были записаны, и княгиня Лович сейчас же сыграла гимн на рояле, и все с веселостью прослушали его и, вероятно, даже пропели[545]. Сцена, что и говорить, двусмысленная — родной брат российского императора, против которого поднято восстание, едва не убитый заговорщиками, в разгар мятежа радостно слушает польский национальный гимн, который играет на рояле его жена-полячка.

Но Константин, очевидно, не видел в этом никакого противоречия. В переписке с Николаем «истерзанный», чувствовавший себя «совершеннейшим ничто» *(absulment nul),* как он сам себя называл, цесаревич в эти дни просил у государя всё того же — пощады для поляков. «Пощада для них, дорогой и несравненный брат, и снисхождение для всех — это мольба брата, имевшего несчастие из послушания посвятить лучшую часть своей жизни на образование войск, к сожалению, обративших

свое оружие против своей родной страны. Моя общественная роль кончена; после всего того, что случилось со мною в последнее время, никакое командование не прельщает меня»{546}.

5 (17) декабря император выпустил прокламацию, которая была распространена по Царству Польскому. Николай обещал простить и забыть всё, если поляки добровольно покорятся, освободят русских пленных, восстановят Административный совет, вернут в арсенал разграбленное оружие. Прокламация вызвала насмешки не только у поляков; весьма скептически отозвался о ней и великий князь Константин. Он указывал Николаю на то, что и сам ясно видел, — слишком поздно.

Тем не менее спустя неделю, 12 (24) декабря, император подписал манифест, в котором говорилось о примирении с теми, кто вернется к исполнению долга. Стоит ли говорить, что и манифест не произвел на поляков никакого впечатления. 6(18) декабря в варшавском Королевском замке открылось заседание срочно созванного сейма, а 13 (25) января 1831 года сейм объявил династию Романовых низложенной с польского престола. В ответ в тот же день русские войска пересекли границу и вступили на территорию Царства Польского.

Константин Павлович ненадолго покинул княгиню Лович, которая находилась в Белостоке и после всех лишений и мучительного перехода чувствовала себя не совсем здоровой.

Главнокомандующим русской армией был назначен фельдмаршал Дибич, Константину поручено было командование резервами. Русские двигались к Варшаве, и 6 (18) февраля сосредоточились около местечка Грохово, на подступах к знаменитой Праге, предместью Варшавы.

13 (25) февраля произошло сражение, которое могло решить всё. Обе стороны несли многотысячные потери, но силы русских превосходили польские в три раза. Хлопицкий был ранен, и его унесли с поля боя; генерал Радзивилл, принявший на себя командование, трепетал и уже готов был к побегу. Наконец польские войска дрогнули, в тылу их был единственный мост через Вислу, по которому и началось отступление. «Жители Варшавы, следившие с возвышенного берега реки за ходом сражения, были устрашены постепенным приближением гула канонады. Множество приносимых с поля сражения раненых, рассказы беглецов — всё это повергло их в ужас и смятение, национальная гвардия побросала мундиры и смешалась с населением; не много нужно было усилий, чтобы привести город в повиновение русскому правительству…»{547} В Варшаве уже обсуждали, кто войдет в депутацию, несущую победителю ключи.

Как вдруг свершилось чудо. У поляков наверняка существуют

свои благочестивые легенды о том, *кто* же на самом деле помог им в тот гибельный час. Внезапно русские пушки смолкли, а преследовавшие поляков русские войска прекратили движение — Дибич остановил наступление. И в какой момент! Когда до русской победы оставались минуты.

Польская армия была спасена. Польскую артиллерию аккуратно перевезли всё по тому же мосту через Вислу. Восемь тысяч русских погибли зря. То, что поляков пало в сражении в полтора раза больше, служило малым утешением.

Момент был упущен, лед на Висле вот-вот должен был тронуться, и переправа на левый берег делалась невозможной; не теряя времени, поляки взялись за спешную реорганизацию армии.

Николай писал Дибичу изумленные письма, и фельдмаршал даже не оправдывался, император был совершенно прав. Отставка Дибича была делом самого ближайшего будущего (генерал Паскевич уже готовился занять его пост), но Дибич успел умереть прежде — 29 мая (10 июня) фельдмаршал скончался от холеры. На смертном одре он говорил о своей неискупимой вине перед Россией, о том, что в решительную минуту атаки напрасно послушался «пагубного совета» «одного генерала». В этом предсмертном признании кроется ключ к загадочному приказанию. Дибич не назвал имени генерала, давшего ему гибельный совет, однако кому еще, кроме брата царя, мог повиноваться главнокомандующий армией? В своих мемуарах А. Х. Бенкендорф не сомневается в том, что совет остановить наступление русской армии Дибичу подал именно Константин Павлович. Записки Эразма Ивановича Стогова, описывающие ход Гроховского сражения со слов его участника, подтверждают ту же версию.

«Полы у палатки были подняты, Дибич перед палаткой сидит на барабане, пригнулся к коленям и грызет ногти правой руки; заметно, что он слышит каждый выстрел; штабные, адъютанты, ординарцы — все разосланы. Говорили, что сражение к концу, поляки разбиты. При палатке Дибича оставался я один. Вижу: галопом едет великий князь Константин Павлович, подъехал и громко сказал: “Фельдмаршал, поздравляю вас с победой!” — Дибич будто не видит, не пошевелился и продолжал кусать ногти. Я думал, не хватил ли он чересчур. Великий князь громко говорит: “Фельдмаршал, поляков режут, как баранов! Фельдмаршал, милосердия!” — Дибич не пошевелился. Великий князь вспылил: “Фельдмаршал, с вами говорит старший брат вашего государя!” — Дибич, точно кто ткнул шилом, быстро вскочил, руку к шляпе и проговорил: “Что угодно приказать вашему высочеству?” — “Прекратите резню!” — Дибич обернулся

к съехавшимся штабным и адъютантам и повелительно скомандовал: “Отбой на всех пунктах”»[548].

Вот кто, по всей вероятности, и был спасителем поляков. Константин Павлович вновь подчинился чувствам — он не мог смотреть, как убивают любимых поляков, и ужасался мыслью, что скоро Варшава будет разгромлена, может быть, сожжена. «Вид этого города, где цесаревич жил и начальствовал в продолжение пятнадцати лет, где образовались его связи и устроился его брак, где укрепились все его привычки, — вид этого города в минуту грозящего ему бедствия мог тронуть сердце цесаревича и внушить ему мысль о спасении Варшавы»[549].

На следующий день после Гроховского сражения великий князь, впрочем, никак не выдал себя и в письме Николаю лишь расплывчато заметил, что, «если бы все оказались на своих местах, как это следовало бы ожидать, день был бы решительным и кампания оконченной», однако «произошло колебание»[550]. Кто, что послужило причиной колебания? Цесаревич не уточнил.

Конечно, судить о произошедшем с полной достоверностью невозможно. Но в сцене, описанной Стоговым, слишком уж похож на себя цесаревич. Это его душа, его манера — забыть о долге, чести, перестать рассуждать, рассчитывать — и спасти любимцев даже ценой гибели соотечественников.

Гроховская неудача затянула войну с поляками еще на восемь месяцев, несчетно увеличив число жертв. После Грохова цесаревич отправился в Белосток, к княгине Лович, чтобы никогда уже не вернуться к армии.

Слух

> *«Вот это, значит, Паскевич перво-наперво доносил ко двору, в Питер, по секрету, что так, мол, и так, ваше императорское величество, невозможно ничего с поляками поделать: потому как Дибич их руку держит, а ваш, мол, братец всё именем покрывает. Но видя, что из Питера никакого решения, как делу, по делу быть нет — взял да и написал, что вот, мол: Дибич велит нашим осадные работы и пальбу прекратить и нарочитых парламентеров пошлет к им, к полякам, значит, и сам чрез шпионов ихних и велит им по нашему лагерю вылазку сделать, и когда они пойдут, то приказывают отбой играть и отступать, не стреляя, бесчестно, без всяких решений выходных. И решение, значит, просил у батюшки царя»*[551].

Мы не знаем, в какой степени осведомлен был Николай о закулисье Гроховского сражения, но судя по тому, что даже солдаты шептались о «бесчестном» поведении Дибича и покрывавшем всё своим именем цесаревиче, истинные причины поражения Николаю были отлично известны. Во всяком случае, именно после Грохова он взял в переписке с Константином необычный для их отношений тон, тон всевластного государя и самодержца, умеющего настаивать на своем.

Когда затишье кончилось и военные действия против поляков возобновились, Константин Павлович хотел вернуться в армию к своему гвардейскому отряду. Отказ!

«Вы сделали всё, — корректно и безжалостно писал Николай Константину в конце февраля 1831 года, — что могла потребовать от вас честь и ваша любовь к вашей славной гвардии; войско было свидетелем того, как вы подвергали себя опасности под огнем мятежников, коих ваше присутствие должно было вернуть на путь долга; повторяю, вы сделали в этот тяжелый месяц *более того, что вам повелевал долг.* Теперь, позвольте мне говорить с вами откровенно, как я к тому привык; до сих пор мне ничего не оставалось, как предоставить вам полную свободу принять то или иное решение и восхищаться вашими решениями, которые, *признаюсь,* вполне совпадают с тем, что я и сам делал бы в вашем тяжелом положении. Теперь положение дел изменилось; вы заплатили долг признательности войску, и нужно подумать о том, приличествует ли вам вернуться к армии, дабы принять командование, над чем — над *пятью* полками! Вы не пожелали принять командование армией; вы не захотели, по своему великодушию, лишить Розена командования корпусом и имеете душевное удовлетворение знать, что корпус обессмертил себя; что вам нужно еще? Принимая во внимание *ваше положение, ваше происхождение,* дальнейшее ваше пребывание в армии было бы неприлично, и что еще важнее, оно было бы опасно, ибо в тот момент, когда безумие, злоба и отчаяние побуждают несчастных не гнушаться никакими средствами, покушение на вас *легко могло бы быть приведено в исполнение,* кто поручится, что оно не удастся, что *вас не захватят, чтобы иметь в вашем лице заложника,* подумайте, как это было бы ужасно и какие это могло бы иметь неисчислимые последствия! Поэтому я думаю, что эту мысль (уехать в Белосток) внушил вам сам Господь. *Оставайтесь там, где вы находитесь теперь»*{552}.

Всё переменилось в одночасье, младший брат, до сих пор говоривший со старшим в тоне почтительном до неестественности, начинает приказывать ему, причем тоном, не допускающим возражений. Аргументы Николая не были лишены

здравого зерна — брату государя уместнее было бы или возглавить армию (в крайнем случае корпус), или вовсе удалиться. Вместе с тем положение Константина Павловича всегда было особым, он давно уже выгородил себе право не сообразовываться с принятыми нормами, пренебрегать условностями. Если бы не Грохово, возможно, Николай не стал бы так настаивать на удалении брата из армии. Но сама эта настойчивость — еще одно косвенное свидетельство в пользу того сценария событий, который излагал Эразм Стогов.

Константин в перемену не мог поверить, он, конечно, догадывался, что об истинных причинах не допускать его в армию Николай умалчивает, — и в грузном мужчине пятидесяти двух лет вдруг проснулся мальчик, надоевший своими безобразиями учителю ученик, умоляющий все-таки пустить его обратно в класс, уверяющий, что отныне он исправится и будет вести себя превосходно.

«Впрочем, повторяю, вы будете довольны моим поведением, я не стану делать ничего поспешно, все мои решения будут приняты с величайшим спокойствием и хладнокровием, отнюдь не вредя вашим интересам и моим собственным…» Цесаревич просился в армию снова и снова, обещая поступать «обдуманно и осторожно»; Николай продолжал повторять, что роль, которую Константин хочет играть в армии, не соответствует его рангу, что его пребывание в армии опасно, пока наконец не написал, что не имеет прибавить к сказанному ничего более. «Полагаюсь на вашу собственную совесть; решайте, приличествует ли вам во всех отношениях вернуться к вашим пяти полкам».

Цесаревич повиновался. И сразу же оказался между небом и землей. Николай предлагал ему вернуться в Петербург, взять на себя командование петербургской гвардией, но Константин давно уже ненавидел Петербург и придворную жизнь; да и петербургская гвардия, которой он командовал в далекой молодости, стала ему чужой. Император писал ему о возможности поселиться в Стрельне, в которой всё было устроено по вкусу цесаревича и в которой его окружали бы любящие и преданные ему люди, но Константин не хотел и в Стрельну. «При всей моей признательности за всё, что вы благоволили высказать мне, я осмеливаюсь настоятельно умолять вас войти в мое тягостное положение данной минуты и в ту фальшивую роль, которую я вынужден играть; блуждая, как я, разлученный с плачевными остатками моих (войск), которых я не должен был бы покинуть иначе, как расставшись с жизнью, из чувства благодарности за верность, которую они проявляли и доказывали мне во времена моих несчастий; с каким лицом и с каким

выражением хотите вы, дорогой и несравненный брат, чтобы я явился к вам в С.-Петербург, где уже, слава Богу, меня, надеюсь, почти забыли? Или я мог бы приблизиться к вам с выражением стыда? Или же с выражением недовольного, каким я, конечно, никогда не буду? Или же с видом огорченного, который будет истолкован своими и чужими в смысле недовольства и фамильной распри, которая равным образом есть и будет совершенно чуждой мне, но которая, несмотря на это, будет по-своему истолкована недовольными, которые кишат повсюду? Или, наконец, для того, чтобы запереться у себя, почти не выходя оттуда, так как, признаюсь, я не буду в состоянии показаться куда бы то ни было, не ощущая стыда за ту жалкую роль, которую я вынужден играть после 36 лет службы. Таково истинное положение вещей, и все вправе будут сказать: он бросил своих, не захотев или побоявшись остаться с ними, и приехал сюда, чтобы жить спокойно и не подвергаться опасности; я не могу представить всем говорунам и в свое оправдание письма, которые вы соблаговолили написать мне; они увидели бы из них только мою покорность и мое послушание, во исполнение вашей высочайшей воли, которая до конца моей жизни будет для меня непреложным законом…»{553}

Так и продолжались две эти войны — в Царстве Польском и в письмах между двумя братьями.

Николай настаивал на удалении Константина из армии, потому что не желал двусмысленностей, подобных той, что возникла во время сражения под Гроховом. Но мольбы Константина тем более понятны — куда было ему деться? Армия была последним его прибежищем и оправданием. Великому князю буквально негде стало приклонить главу. За последние 16 лет он сросся душой с Варшавой, там находился его дом — он этого дома лишился. Стрельна давно уже превратилась в гостиницу, временное пристанище для кратких заездов в столицу. Ехать туда было и стыдно, и неловко, и тошно.

…Белосток, Слоним, Витебск…

В Белостоке становилось небезопасно, сюда грозил войти отряд генерала Дезидерия Хлаповского (в прошлом любимого адъютанта Наполеона), великодушно предупредившего великого князя о том, что может взять его в плен. 9 (21) мая цесаревич вместе с супругой двинулся в Слоним, но город был охвачен холерой, и из страха за княгиню Лович Константин отправился дальше — в Витебск. Он прибыл сюда 3(15) июня и поселился в доме генерал-губернатора князя Хованского.

КОНЕЦ

Да будет омрачен позором
Тот малодушный, кто в сей день
Безумным возмутит укором
Его развенчанную тень.

Пушкин

Кутузов не понимал того, что значило Европа, равновесие, Наполеон. Он не мог понимать этого. Представителю русского народа, после того как враг был уничтожен, Россия освобождена и поставлена на высшую степень своей славы, русскому человеку, как русскому, делать больше было нечего. Представителю народной войны ничего не оставалось, кроме смерти. И он умер.

Лев Толстой. Война и мир

Константин Павлович жил по собственным, мало учитывавшим окружающих правилам; он слишком легко повиновался чувствам, слишком часто не желал помнить, что по праву рождения всегда на виду — подходящее дело для него подыскать было сложно. Царство Польское в определенном смысле стало находкой. И если не для поляков, то для самого цесаревича это было очень удачное назначение. Как мы помним, Александр не отзывал брата из Польши, несмотря на потоки жалоб, невзирая даже на то, что многие поступки и распоряжения Константина Павловича в Царстве Польском вредили делу. Но как уже говорилось, пребывание цесаревича на отдалении было удобно Александру — он мог не опасаться, что вокруг великого князя стянутся оппозиционные силы или вновь вспыхнет скандал. Вместе с тем Александр еще и искренне любил брата, любил как друга детских игр, как близкого приятеля и родного человека — и видя, что командовать польской армией цесаревичу по душе, просто не желал лишать Константина любимого дела.

Чувства Николая к Константину были напрочь лишены сентиментального оттенка, и о том, что оставшегося не у дел,

морально уничтоженного цесаревича нужно хоть куда-то пристроить, император, кажется, особенно не думал. Да, цесаревич был уже вовсе не так молод, как при назначении в Царство Польское, да, учитывая его эксцентричный нрав, противоречивую репутацию, найти ему подходящее занятие было нелегко, но, судя по всему, Николай еще и не был этим озабочен.

«Я здоров, но до крайности скучен, и признаюсь, что надо много и много духу и твердости, дабы перенести теперешнее мое положение, вспоминая каждую минуту прошедшее… есть минуты таковые, что голова идет в круг и до сумасшествия не далеко», — писал Константин Опочинину 5 (17) мая 1831 года{554}.

В том же письме Константин вспоминал, как всего-то два года назад Николай приезжал на коронацию в Варшаву, где «был принят с восторгом и с изъявлением наиживейших чувств привязанности и усердия». «Кто бы мог тогда вообразить, что спустя два года всё будет поставлено вверх дном столь неистовыми, столь подлыми, столь неблагодарными, столь изменническими и столь ехидными способами, и которые завлекли целый народ и… оного против желания и благополучия, которым он пользовался, в бездну пропасти несчастия, в угодность лицемеров и их пользу, дабы воспользоваться трудами других. Волосы дыбом становятся, только что об этом подумаешь». В своем последнем письме Опочинину Константин вторит сам себе, повторяя всё одно: «Никакого занятия другого не имею, как скуку, скуку и скуку»{555}.

Цесаревич хотел определенности, пусть даже ценой отставки: «Позвольте мне умолять вас, дорогой и несравненный брат, не стесняться со мной и сказать мне без обиняков, что вы в моей службе более не нуждаетесь; смею вас уверить, что я немедленно брошу долгую и трудную карьеру и вернусь к частной жизни…»{556} Но Николай подсовывал ему петербургскую гвардию, Стрельну, а об отставке молчал. Последней нитью, связывавшей цесаревича с жизнью, была княгиня Лович. Ей в эти дни изгнания сильно нездоровилось, всё чаще она проводила время в постели и нуждалась в поддержке, которую находила в своем муже с избытком, — депутат Валицкий в отчете о встрече с великим князем, в частности, упоминает и о том, с какой трогательной заботой относился Константин Павлович к недомоганиям супруги. И всё же частная жизнь, о которой так сладко мечтал наш герой еще недавно, для человека, посвятившего себя службе, армии, была недостаточна и по большому счету пуста, а потому — скука, скука и скука. Дело его жизни пропало. Надежда сделать русских и поляков братьями рассеялась. Он был не нужен России, он тем более был не нужен

Польше. Ему «ничего не оставалось, кроме смерти». И он умер.

* * *

«Витебск, 12 июля.

11 июня в четверток в[еликий] князь во время обеда покушал ягод с сливками, присланных ему в подарок от здешнего генерал-губернатора. Бывший за столом доктор его советовал ему запить ягоды каким-нибудь старым вином; но князь запил будто бы шампанским. После обеда князь почувствовал боль в желудке, которая и продолжалась в пятницу и субботу.

В воскресенье княгиня, никем не сопровождаемая из своей свиты, одна была в Бернардинском костеле и долго в оном молилась. Казалось, Господь услышал молитву супруги и воздвиг от одра болезни супруга. В тот же день в девятом часу вечера весь город видел их обоих гуляющих в открытой коляске.

В четвертом часу ночи на понедельник болезнь князя возобновилась и усилилась. До осьми часов утра были при нем только его доктора, в девятом позвали инспектора здешней врачебной управы, человека опытного, как отзываются об нем в лечении холеры, Гебенталя[56]. Гебенталь рассказывает, что в[еликий] князь просил, умолял его подать ему помощь и спасти ему жизнь.

В одиннадцатом часу мы видели Гебенталя, посещающего больных с нашей улицы, и заключили, что болезнь князя не к смерти, что Господь, наказующий страну сию, не отнимет у ней Ангела, которого послал для спасения ее.

Когда появилась в Витебске холера и в[еликий] князь узнал, что доктора неохотно являются к больным и дают им советы и прописывают рецепты заочно, то призвал к себе вышепомянутого Гебенталя и строго подтвердил ему посещать больных при первом об них извещении и подавать каждому благовременное пособие. После сего доктора не ходили, а бегали к больным. Скоро заговорили, что не все заболевающие умирают; большая часть опять подают надежду и к выздоровлению. Народ благословил отеческую заботливость об нем в[еликого] князя.

В пять часов по одинаковому у всех нас беспокойному предчувствию мы собрались в штабе, исключая одного нашего товарища, квартирующего дома через три от квартиры в[еликого] князя. Является и сей и объявляет, что к спасению князя нет никакой надежды, что в квартире его суматоха и рыдания. В начале осьмого часа оставляем мы штаб, идем к губернаторскому дому, находим полицию и гражданское чиноначалие в волнении

и узнаем, что князь скончался.

По недостатку лекарей сюда прислан известный, я думаю, вам мещанин Хлебников. Узнавши, что князь болен, он долго старался прорваться к нему, горя желанием быть ему полезным. К несчастию, ему дозволили увидеть князя тогда уже, когда от кровопускания он пришел в крайнее изнеможение и когда тело его начало охладевать. Хлебников мог только предсказать кончину князя чрез полтора часа; так, говорят, и случилось. Сей же Хлебников, призванный заблаговременно, многим помогает. Дня три тому назад оттер в известном мне доме двух заболевших было девушек.

Верно, при покойном князе никого не было добрых из русских христиан, которые бы, видя близкую его кончину, побеспокоились о том, что всего нужнее для него было. Вот что рассказала мне на этот счет жена протоиерея Ремезова: в последней четверти седьмого часа князь каялся (?) сам по себе, потребовал себе священника. Послали за двумя: за протоиереем Ремезовым и духовником княжеским. Ремезов, живущий от квартиры княжеской очень близко, явился минут через десять. Проходит одну и другую комнату, нет никого. В третьей встречает его генерал и объявляет ему, для чего он был зван. Ремезов отвечает, что не знает причины зова и ничего нужного с собою не взял. Едва успел он выговорить сии слова, подбегает другой генерал и извещает, что в[еликий] князь уже скончался. Как пораженные громом, стояли они несколько минут среди комнаты, не двигаясь с места и не говоря друг другу ни слова. Наконец, первый из генералов говорит Ремезову: не угодно ли, батюшка, посмотреть великого князя. Ремезов входит в кабинет и видит княгиню мятущуюся, то падающую на грудь умершему, то целующую его руки, то закрывающую ему глаза. Тут же явился и духовник, старец почтенный. Увидевши сие зрелище, он залился слезами. Правда, что для старика должна быть прискорбна такая кончина князя. Он при нем служил двенадцать лет. В продолжение всего этого времени, по словам его, покойный князь не был в церкви только в одно воскресенье и в один праздник, в чем и извинялся пред ним. В церкви князь был примером благоговейного и благочестивого христианина. Да упокоит Господь душу его святыми!

Бальзамирование князя продолжалось не более одних суток, во вторник вечером он положен был во гробе, в котором одну крышу залили теплым воском; в среду, в одиннадцатом часу ночи, гроб, при одном пении Св[ятый] Боже, без факелов, в сопровождении здешних военных и гражданских главных лиц, на руках гвардейских казаков, перенесен был в собор и поставлен на

возвышенном, наскоро устроенном месте, покрытом кусками сукна разного цвета и размера. Чрез несколько дней оказались худые последствия неуместной поспешности. Сбежались в церковь все распоряжавшие сим делом. Некоторые из них предлагали запечатать церковь, но им в этом отказано. Не знаю, какими средствами, а ошибка поправлена, и так хорошо, что теперь нет в церкви никакого дурного запаху. Началом всему злу был Гебенталь. Он настращал всех, что князь был в ужаснейшей холере и что он заразителен. Княгине предлагали другую квартиру, но она пренебрегла опасностями, которыми ей угрожали; живет в прежней, и, благодаря Бога, с ней всё благополучно. Впрочем, по совету Гебенталя, все вещи, бывшие в кабинете у в[еликого] князя, и даже платье и шали, в которые была одета княгиня в воскресенье и понедельник, предали огню.

Бедность, окружавшая гроб в первые дни, заменена богатым покровом, присланным из Петербурга, на котором лежат ордена покойного, и другими хорошими вещами, искупленными в Могилеве и Москве.

Чрез неделю после смерти цесаревича прибыл сюда Павел, епископ Могилевский, каждый день совершает он над гробом панихиду утром и вечером. Княгиня всегда присутствует при панихиде. Она приглашается в Петербург. Всего, что здесь делается при гробе, главный распорядитель Курута. У нас печатается уже церемониал, с которым тело цесаревича будет препровождено из собора за городскую землю. 16-е число сего месяца назначено для выступления отсюда гробу в Петербург. Три дня уже как послан туда курьер, для испрошения последнего высочайшего повеления»{557}.[57]

Благодаря сему неведомому и дотошному летописцу последние часы Константина Павловича предстают перед нами во всей трагической обнаженности и четкости. Колзаков добавляет некоторые подробности к этой печальной картине — 13 июня, в субботу, цесаревич почувствовал себя дурно, но после диеты, назначенной доктором, заметно ободрился. На следующий день, в воскресенье, 14 июня, он пошел в церковь, чувствовал себя превосходно и, судя по всему, был как-то особенно оживлен и весел. Он рассказывал всем о восстании в Варшаве, отобедал у генерал-губернатора, вернулся домой, отдохнул, а вечером поехал с княгиней Лович кататься в коляске по городу. Тут-то их и видели многие; автор письма также сообщает об этой последней прогулке супругов. «Возвратясь домой, он встретился у подъезда с Колзаковым, генералом Феньшау и адъютантом Трембицким. Закурив сигару, он начал разговаривать с ними на улице. Вечер был свежий, и потому княгиня, боясь, что он может простудиться,

звала его в комнаты, но он не пошел и, закурив другую сигару, продолжал разговаривать у подъезда. Колзаков заметил ему, что становится холодно и пора домой.

— Вот какой вздор! — возразил цесаревич и снова завел весело свои рассказы»{558}.[58]

Наконец он все-таки отправился спать, на ночь читал перед открытым окном, затем велел камердинеру затворить окно. В четвертом часу у Константина появились признаки холеры. Болезнь, очевидно, уже дремала в нем — свежий воздух и прохлада накануне вечером довершили дело. Подручные средства не помогли, и к четырем часам вечера болезнь завладела цесаревичем совершенно, у него начались рвота и судороги.

Судя по суматохе и неразберихе, сопровождавшим последние минуты Константина Павловича на земле, никто не ожидал, что развязка наступит так скоро. Какого-то местного знахаря, мещанина Хлебникова, к цесаревичу, естественно, не пустили — как видно, никто не верил не только в его умения, но и в необходимость его усилий. Священнику в этой суете забыли сказать, зачем его зовут, и он не взял с собой Святых Даров — предположить, что счет идет уже на минуты, было невозможно.

15 (27) июня в семь с четвертью вечера цесаревича не стало.

«Мой брат, вы будете очень несчастны, потому что несчастна я, а одно лишь обстоятельство в мире могло сделать меня несчастной.

В четыре часа он заболел, а в восемь вечера!.. О, мой Боже, сжальтесь над нами, наш император, надо мной, над нами… Мой брат, каковы будут ваши приказания относительно его?» — писала княгиня Лович в короткой записке Николаю.

На следующий день тело было забальзамировано, а княгиня Лович обрезала волосы и положила их в гроб под голову своего покойного супруга.

Столь внезапная смерть Константина немедленно повлекла за собой самые разные слухи — в кругах солдатских рассказывали, что цесаревич был отравлен или же сам принял отраву «с полным сознанием, дабы избежать кары за измену отечеству — от царствующего брата своего Н[иколая] П[авловича]»{559}. То же говорили и о скончавшемся пятью днями ранее фельдмаршале Дибиче{560}.

Анекдот

«Говорят, что он [Константин Павлович] имел обыкновение прогуливаться по утрам один, и совершал

эти прогулки довольно рано. В одну из таковых прогулок он встретил несколько крытых повозок, из-под брезентов которых слышались стоны. Удивленный, он спросил возниц, которые его не узнали:

— Что вы, ребята, везете?

— Вестимо что, ваше благородие, — холерных. Потому поражены уж очень проказой этой, ну, значит, и велено в яму, известкой залить да и засыпать. В куль да в воду.

— Но ведь они живые?

— Что ж, что живые?! Не впервые, слава Богу, почитай каждинный день так-то возим. На то от доктора и наказ та кой имеем.

И фуры начали было подвигаться дальше, оставив озадаченного "благородие". Но Константин Павлович подошел к одной из них, поднял брезент и был чрезвычайно поражен видом изнемогающих, кой-как наваленных друг на друга трупов. Это заставило его распорядиться, чтоб фуры отправились обратно в больницу, и проследовать до оной, дабы распоряжение было исполнено в точности.

В больнице он тотчас же потребовал главного доктора Г. Гибетеля и объявил ему следующее:

— Смотрите у меня, чтоб не было холеры — иначе вы будете повешены до ночи!

Хотя это холеры не уменьшило, но все-таки, говорят, прекратило отправку живых холерных в лоно праотцев. Вскоре после этого он и слег в постель с тем, чтобы уже не вставать боле»{561}.

Такую версию смерти предлагал простой народ, уверенный, что великий князь не может умереть как обычный человек, — в приведенном слухе, записанном со слов отставного солдата спустя долгие годы после самих событий, Константин Павлович предстает благородным спасителем несчастных и приносит себя в жертву.

22 июня в Витебск приехал любимый корреспондент и сердечный друг Константина Павловича Федор Петрович Опочинин, через два дня прибыл и граф Курута.

16 июля гроб был вынесен из собора и отправлен в Петербург. 31 июля гроб с телом цесаревича прибыл в Гатчину, где и находился до 13 августа. Дальше погребальное шествие отправилось через Красное Село в столицу — лил проливной дождь, и все церемонии были отменены. К тому же в Петербурге тоже буйствовала холера, цесаревич скончался от той же болезни

— считалось, что гроб его может таить заразу, и тело провезли «мимо Царского Села окольною дорогою, а эскадрон лейб-гвардейских казаков, сопровождавший тело цесаревича из Витебска, был по прибытии в Петербург подвергнут очищению по всем строгим правилам карантинного устава»{562}.

14 августа траурная процессия направилась в Петропавловский собор. Было пасмурно, над Петербургом плыли тяжелые облака. «Шествие, начавшееся в 11 часов, продолжалось от Московской заставы до Санкт-Петербургской крепости, по Обуховскому проспекту, Сенной площади, Большой Садовой улице, чрез Царицын луг, Суворовскую площадь и Троицкий мост. Шествие открылось отрядом казаков. За ними ехал церемониймейстер верхом и шла рота Дворянского полка. За сим: Конюшенный офицер Двора его высочества, верхом; лакеи, камер-лакеи и официанты, пешком, по два в ряд. Флаг цесаревича. Верховая лошадь его императорского высочества. Герб Российский. Вотчин его высочества голова. За ним крестьяне, по два в ряд. Чиновники Канцелярии его высочества. Военные генералы; статс-секретари его императорского величества, сенаторы, министры, члены Государственного совета. Эскадрон лейб-гвардии конного полка. Иностранные и российские ордена. Гренадерская рота 2-го кадетского корпуса. Духовная процессия. Печальная колесница, заложенная шестью лошадьми… За печальною колесницею изволил ехать верхом государь император; за императорским величеством генерал и флигель-адъютанты и особы, состоящие в Свите его императорского величества; его королевское высочество герцог Александр Вюртембергский и принц Ольденбургский… Все ближние служители… цесаревича. Гренадерская рота Павловского кадетского корпуса и один эскадрон лейб-гвардии Конного полка»…{563}

…За ними незримо следовали — императрица Екатерина, греческий юноша в тунике и венке из оливковых ветвей, император Александр в легком плаще Александра Македонского, Фридрих Цезаревич Лагарп с томом Локка под мышкой. Князь Таврический Григорий Потемкин с пирамидой корон — албанской, шведской, дакийской — на подушке темно-вишневого бархата. Фельдмаршал Суворов. Епископ сербский с короной сербской на подушке атласной. Лазарь Карно и группа французских эмигрантов с короной французской. Несколько русских солдат и два крестьянина с российской императорской короной. Адам Чарторыйский с короной польской. Великая княгиня Анна Федоровна. Княгиня Елена Любомирская. Княгиня Жанетта Четвертинская. Княгиня Лович…

По всем улицам, по которым двигалась процессия, стояли войска с правой стороны и отдавали честь. «По вступлении колесницы на Троицкий мост произведена была пальба с расположенных по правую сторону моста военных судов».

ЭПИЛОГ. КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ ЖИВ

Народу с Константином прощаться запретили — всё из тех же санитарных предосторожностей. Гроб с его телом простоял в Петропавловском соборе на катафалке три дня, и только княгиня Лович почти неотступно находилась рядом. 17 августа под гром пушек великий князь Константин, оплаканный узким кругом близких, был наконец погребен в Петропавловской крепости. «Когда гроб опускали в могилу, император, как рассказывают, горько плакал. И в самом деле, удивительная судьба великого князя, оказавшаяся столь роковой и для империи, и для этой несчастной Польши, и для всего общества, вместо того, чтобы вызывать ненависть к виновнику стольких бед, должна пробуждать в душе глубокую и мучительную жалость к тому, кто был скорее несчастным, чем дурным человеком!» — записала в дневнике Долли Фикельмон. Ей вторит другой мемуарист: «Какой грустный конец столь громкой и богатой событиями жизни! Переходить Альпы с Суворовым, вступать в Париж во главе победоносной гвардии, отказаться от славнейшего престола в мире и завершить земное существование в скромном губернском городке! Какие резкие переходы и какое обилие крупных явлений, втиснутых в тесные пределы одной жизни, сравнительно недолгой»{564}.

Княгиня Лович, болевшая почти весь последний год, ненадолго пережила супруга. После погребения Константина она провела месяц в Гатчине, затем по приглашению императора переехала в Царское Село. Здоровье ее делалось всё хуже. Она успела узнать о торжестве русских войск, которые ранним утром 27 августа (8 сентября) во главе с фельдмаршалом И.Ф. Паскевичем вошли в Варшаву, — но вряд ли княгиня, оставившая в Польше и родственников, и близких, разделяла всеобщее ликование. 17 ноября 1831 года, ровно через год после страшной варшавской ночи, княгиня предала душу в руки Божий. Ее погребли в Царском Селе, в костеле Иоанна Крестителя{565}. 22 ноября того же года Вяземский в письме Дарье Федоровне Фикельмон писал о княгине Лович с большим сочувствием и проницательностью: «Итак, предназначение судьбы свершилось. Она умерла в годовщину польского восстания. Это античная трагедия по всем правилам. Там были налицо рок, ужас и жалость, и единство времени было соблюдено. Я очень огорчен тем, что не повидал княгиню еще на этой земле перед развязкой

драмы»[566].

Когда первое потрясение смертью цесаревича прошло и холера наконец покинула российские пределы, разговоры об отравлении и самоубийстве Константина Павловича смолкли. Внезапная кончина его начала толковаться в соответствии с более привычной схемой — скончаться за одни сутки брат императора просто не мог. Веселый, озорной, бравый, великодушный цесаревич, который, как фольклорный герой, не старился и не болел, не ведал и смерти.

Слухи

> *«Константин Павлович не умер, а находится в живых… живет во Франции, откуда придет войною на Россию с французскими и другими войсками, сухим путем и морем, и будет требовать царства от императора Николая Павловича, потому что войска и народ прежде присягали ему на верность… Каждому солдату цесаревич обещал дать по два рубля в день жалования, а народу даровать вольность и освобождение от податей».*
>
> *Константин Павлович «приехал на судне в Одессу и, выйдя на берег в партикулярном платье, прошел мимо часового, который будто бы, узнав в нем особу цесаревича, стал во фронт и отдал ему честь, сделав на караул. “Кому ты отдаешь честь?” — спросил Константин Павлович. — “Вашему императорскому высочеству”. — “Я, братец, купец“, — сказал на это великий князь и, дав часовому 25рублей ассигнациями, пошел по дороге»*[567].

Его не было видно, но и раньше он не слишком жаловал Россию своим присутствием, так что слухи легко объясняли, отчего его нет, — великий князь во Франции, в Одессе, Кишиневе, Минске, наконец в Сибири, в Москве. Он и далеко, и где-то совсем рядом. Точно и не было этих семи лет, что пролетели со дня воцарения Николая. Толки, бродившие теперь в народе, были похожи на те, давние, образца 1826 года, как близнецы. Цесаревич по-прежнему враждовал с братом Николаем, по-прежнему любил крестьян и солдат до самозабвения и всегда заступался за них перед императором.

Что оставалось делать в такой ситуации Константину Павловичу? Конечно, восстать из гроба. И Константин воскрес. Он являлся повсюду, собирал мужиков, рассказывал им, как давно бродит по белому свету, смотрит на страдания человеческие и как

скоро положит им конец{568}. Мужики же ловили каждый вздох его императорского высочества, жаловались, открывали ему свои горести и обиды. В 1835 году, спустя четыре года после его смерти, говорили, что «его высочество великий князь Константин Павлович ушел с польскими солдатами за французскую границу, потому что не любит русских дворян, которых он намерен вешать»{569}. В 1853 году в войсках, стоящих в Тифлисе и «близ оного», зашептались вдруг, что Константин Павлович «жив и пребывает в Греции для снискания там защиты», а в «настоящее время для действия против него объявлена война». Но, по словам солдат, «если дойдет дело до войны», они не пойдут воевать против Константина: «…побросаем оружие, пушки заклепаем и драться против законного царя нашего не будем — от него больше милостей можем ожидать, он, говорят, не жаловал дворян, а любил солдат, их ласкал, награждал и, конечно, не заставит служить 25 лет, а потом по миру ходить»{570}.

Это были отнюдь не пустые «разглашения» и зловредные разговоры. Константин Павлович имел плоть и кровь, показывал крестьянам и солдатам «царские знаки» (то обрубленный указательный палец, то грудь, заросшую крестом), а в отдельных случаях совершал даже магические действия, отчего доверие к нему только возрастало. Потом его ловили — все Константины Павловичи, как на подбор, оказывались солдатами, беглыми или состоящими в бессрочном отпуске: рядовой Московского полка Корнеев, бывший гусар Николай Протопопов, рядовой гусарского полка Александр Александров, бывший каторжник Константин Калугин{571}. Ни одному Лжеконстантину не удалось поднять даже крошечного возмущения — им скручивали руки, их допрашивали и везли по этапу. Отпускали только явных безумцев, которые тоже полюбили называть себя Константинами{572}.

Слухи о странствующем по Русской земле Константине Павловиче бродили еще долго, перетекая из одной губернии в другую, из года в год, из десятилетия в десятилетие, и добрались, наконец, до начала 1860-х. В это время Константина Павловича начали путать с великим князем Константином Николаевичем, давно уже вошедшим в возраст, принимавшим активное участие в разработке крестьянской реформы и тоже слывшим заступником крестьян. Однако не будь у Константина Николаевича такого звонкого имени и легендарного дядюшки в придачу, не видать бы ему и такой популярности в народе.

Мы помним, как бурно встречали в Петербурге весть о рождении второго сына Николая, Константина Николаевича, как гадали, что сулит России его рождение.

Один из мемуаристов свидетельствует, что о юном

Константине Николаевиче, в отличие от наследника Александра, в обществе «много говорили», в Петербурге рассказывали о его «блистательных зачатках ума и характера, проявляемых с раннего детства», и видели в великом князе «будущего гения»{573}. Всё это сильно напоминало юные годы Константина Павловича, учинителя шуток и штук. Даже придворного, подобно дядюшке, Константин Николаевич однажды уронил, тот, правда, в отличие от несчастного Штакельбекера, руки не сломал. Да и поступок Константина Николаевича не остался безнаказанным. Свидетелем сцены оказался отец великого князя, Николай Павлович. «Войдя в залу, государь подошел прямо к шалуну и, ни слова не говоря, больно выдрал его за волосы»{574}. Словом, воспитывали Константина Николаевича не по-давешнему, совсем иначе, чем дядю, и вырос он другим — спокойным, великодушным, либеральным, внешне равнодушным к славному своему имени.

Лишь один эпизод, случившийся с Константином Николаевичем в юности, выдает, что равнодушие это он сохранял не всегда. В 1845 году восемнадцатилетний великий князь отправился в продолжительное заграничное путешествие, которое призвано было соединить в себе и воспитательное, и познавательное значение, — Николай решил поставить его во главе российского флота. Среди прочих городов Константин Николаевич посетил на военном судне и Константинополь. Сердце юноши вдруг затрепетало! Он переписывался со своим воспитателем В.А. Жуковским, которому и поведал обо всем, — по ответу воспитателя нетрудно восстановить содержание письма великого князя. «Вам уже на Неве грезился щит Нового Олега на вратах Царяграда, — наставительно писал Василий Андреевич воспитаннику, — и вы уже собирались на всякий случай намотать на ус ваш, который, как вы пишете, еще у вас не вырос… Ваш сон о щите Олеговом имеет свое поэтическое достоинство; в практическом отношении он просто сон, и желаю, чтоб он навсегда оставался сном несбывшимся. Эта Византия — роковой город. Ею решилось падение Рима…»{575} Тем не менее великий князь не внял наставнику и после плавания написал даже работу «Предположение атаки Царя-града с моря»{576}, где доказывал, что современное состояние русского флота дает серьезные основания для надежд на взятие Константинополя с моря. Конечно, это была всего лишь учебная работа, но выбор темы показателен. Тем, впрочем, и закончилось дело.

Хотя и о Константине Николаевиче в народе говорили как о человеке великодушном и щедром — он тоже помогал несправедливо обиженным, заступался за старых ветеранов{577}, — эти истории всё же никак не превращали его в народного героя

и любимца. Его служба в морском ведомстве, его деятельность по освобождению крестьян и даже наместничество в том же Царстве Польском остались равны себе. Пик всеобщего интереса к фигуре Константина Николаевича пришелся на его юность, причем внимание на нем было сосредоточено лишь до того момента, пока у наследника Александра Николаевича не родились сыновья (Николай Александрович появился на свет в 1843 году, Александр Александрович в 1845-м), после чего восшествие на престол Константина Николаевича стало крайне сомнительно.

В императорском доме Романовых родились еще два Константина — Константин Константинович (1858—1915), сын Константина Николаевича, известный поэт, печатавшийся под псевдонимом «К. Р.», и его сын, Константин Константинович младший (1890—1918), расстрелянный в Алапаевске большевиками.

Благодаря Екатерине имя Константин стало династическим, но его мифологический потенциал перестал реализовываться с прежней силой. В жизнь других Константинов «константиновский» миф практически не вторгался. Во многом это было связано с тем, что и времена политических мифов, мегапроектов, которыми способна была увлечься нация, безвозвратно уходили. В России наступала эпоха дерзких технических новаций, идеологических бурь, железных коней, революций и… ракет. Последним прямым потомком Константина Павловича специалист по генеалогии рода Романовых Е.В. Пчелов называет внебрачного сына цесаревича и французской актрисы Клары Анны де Лоран Константина Ивановича Константинова{578}. Он был на десять лет моложе сына госпожи Фридерикс Павла Константиновича Александрова, мирно скончавшегося в 1857 году.

Константин Иванович Константинов родился в начале апреля 1818 года в Варшаве и при рождении был назван Константином Константиновичем. Впоследствии его усыновил адъютант великого князя Иван Александрович Голицын, а потому отчество приемного сына изменилось. Константин Иванович получил хорошее образование, уроки музыки ему давал юный Шопен. После смерти Константина Павловича в 1831 году мальчик с матерью и своей сестрой Констанцией, которую также считают внебрачной дочерью великого князя, переехал в Петербург. Князь Голицын отправил Константинова учиться в артиллерийское училище, и это навсегда определило судьбу юноши. Он стал изобретателем в области артиллерии и ракетной техники.

Константинов был и одним из первых русских исследователей воздухоплавания. Но всё же главной его страстью

оставались ракеты — всю жизнь он занимался именно ракетными двигателями, руководил в Николаеве строительством первого ракетного завода и не дожил до его открытия совсем немного. Константин Константинович умер 12 января 1871 года. Имя его вошло во все справочники и энциклопедии, касающиеся космоса. Один из кратеров на Луне назвали в его честь — Константин Константинов.

Вот как далеко и высоко завели нас наши изыскания. Спустимся же наконец на грешную землю. Книга об одном из самых несуразных членов семьи Романовых близится к концу.

Воспитанный Екатериной, проведший лучшие свои годы в эпоху Александра, Константин Павлович неожиданно оказался одним из первых героев николаевской эпохи. Его безвременная кончина в Витебске словно бы предсказала печальную судьбу целого поколения, литературный представитель которого встретил смерть не в бою, не на дуэли и даже не на пути в Персию, но на обратном пути из Персии в Россию — как мы помним, Григорий Александрович Печорин умер в дороге, от лихорадки. «Пробегая в памяти всё мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? Для какой цели и родился? А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные… Но я не угадал этого назначения…»

«Одни скажут: он был добрый малый, другие — мерзавец. И то и другое будет ложно»{579}.[59] Обладая прекрасными задатками, получив от судьбы в дар высокое происхождение, доброе сердце, трезвый ум, Константин Павлович проиграл всем, всё или почти всё: под конец жизни он все-таки научился любить — не состоявшись как государственный деятель, как умный полководец, как король и царь, он состоялся как любящий супруг. Впрочем, и любимой жены великий князь не послушался, в теплое помещение не пошел, а вечерняя сырость и холодный ветер оказались для него смертельны. Очень русская история.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Кн. Ф.Н. Голицын. Песнь на рождение Его Императорского Высочества БЛАГОВЕРНОГО ГОСУДАРЯ Великого Князя Константина Павловича (сочиненная в Сарском селе Апреля 27 дня 1779 года) (Академические известия на 1779 г. Ч. 2. С. 54—58)

Приемлясь в первый раз за лиру,
Дерзаю во следы вступать
Пииту Росскому, что миру
Умел толь славно предавать
Гремящей стройностью стихов
Петрову дщерь, ЕКАТЕРИНУ,
Вознесших Росскую судьбину
На все течение веков.
Восторгом разум мой плененный,
Забыв своих незрелость сил,
Усердья жаром воспаленный,
Перо в десницу мне вложил.
Дабы я ревностно воспел;
Внемлите все, се радость нова;
Бог ветвь от кореня ПЕТРОВА
Во КОНСТАНТИНЕ произвел.
МОНАРХИНЯ сей дар приемлет
От щедрых к отчеству небес,
И с нежностью его объемлет,
Облившись током сладких слез.
Благодарит в душе Творца:
Что сходственно ея желанью,
Ея народов ожиданью;
Исполнил радостью сердца.
О коль вселенну удивляют
Великие ТВОИ дела,
Победы скиптр ТВОЙ украшают;
Законами ТЫ нам ввела
Блаженство в Росскую страну
Соседов словом примиряешь,
Стамбул кичливый принуждаешь
Чтить нашу прочну тишину.
В великолепные чертоги
Счастливым жребьем допущен,

Где редкости мне зрятся многи,
Где взор искусствами прельщен,
Одной чудится ум ТЕБЕ!
Полсветом мудро управляешь,
Подобье божества являешь,
Сердец Царица! ТЫ в себе.
А вы супруги преблаженны,
Взаимный жар имев в крови,
Союзом дружбы сопряженны,
Горячей нежностью любви
Коснитесь позным временам:
ЕКАТЕРИНУ восхищайте
И души подданных пленяйте;
Чтобы избрал Вас вышний Сам.
Впери о! Муза! мысль высоку,
Взнесись к небесным областям,
Дай зрети тайну мне глубоку
И вечности отверзи храм.
Позволь хоть мысленно взирать
На цепь героев непрерывну,
Что будут в веки славу дивну
ЕКАТЕРИНЫ проявлять.
Но дерзка мысль, куда стремишься?
Куда возводишь жадный взор?
Куда взлететь ты тщетно льстишься?
Тебе ль проникнуть в сей собор?
Довольно бренности твоей
Вокруг тебя лишь созерцати,
Одних героев исчисляти
В стране уже рожденных сей.
Се ПАВЕЛ ЕЙ уж подражает;
Он кротости, щедрот пример;
Он бодрость духа изъявляет,
Он благоденствие простер,
Вкушаемое нами днесь.
Умножив вожделенно племя,
Украсил он златое время;
Да радуется Север весь.
Пред всеми АЛЕКСАНДР сияет
В младенцах редкою красой,
И в пеленах уж возвещает
Достойной, что потомок Твой.
Воинской жар приметен в нем;
Забавы детски отставляет

И взор ко страже обращает,
Как действовать начнет ружьем.
В часы рожденья КОНСТАНТИНА
Воздушна пременясь страна
Являет, какова судьбина
От промысла ЕМУ дана.
Ликует с нами естество,
Зефиры мраки прогоняют,
Весны приятность водворяют,
Повсюду вижду торжество.
О! Боже тварей Вседержитель!
Благих отец, смиритель злых!
Блаженства нашего зиждитель!
Прийми молитвы уст моих.
Простри всесильный Твой покров
На светлый Дом ЕКАТЕРИНЫ,
Блюститель Ты его единый
И был и буди в век веков.

2. Описание праздника, данного Его Светлостью Князем Григорьем Александровичем Потемкиным, по случаю рождения Его Императорского Высочества благоверного Государя Великого Князя Константина Павловича (Академические известия на 1779 г. Ч. 2. С. 318—325)

Празднование началось многочисленным Маскарадом, к коему приглашены были по билетам. В половине одиннадцатого часа бал прервался фейерверком, обратившим на себя общее внимание: оной устроен был на большом Озере, находящемся позади дома, по преследовании разных лирических явлений, сколь новым, столь и приятным рисунком сделанных, огненных фонтанов, из поверхности воды биющих, открылась (посредством зажженных позади огненных колес) прозрачная картина, изображающая Перистил Храм, в коем сияли вензели ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА и всего Августейшего ЕЯ дома. Картина, отплыв к берегу, открыла блистательный Храм, в фитильном огне представленный, в коем видны были в перспективе внутренние украшения оного, как то висящие паникадила и проч. На конец чрезвычайное множество ракет, из средины Озера и из смыкающих его рощей вдруг пущенных, усыпали весь горизонт звездами, и златым дождем ниспали; что произвело наисильнейшее и приятнейшее действие над всеми

зрителями, и даже было чувствительно на великое расстояние в окрестности.

Сие сменено было прекрасною во всю ночь продолжающеюся иллюминациею. Аллея, ведущая от большой дороги к Дому, освещена была горящими гирляндами, по кустам развешенными. По озеру видны были разного рода и разной архитектуры здания, разноцветными огнями блистающие. Тихость воздуха усугубляла в воде всю сию картину, которую еще более скрашивали берега, покрытые великим множеством народа, на зрелище сие собравшимся.

По возвращении в Залу казалось, что все пренесены были из пределы Азии и Европы. Владычествующая столь великими областями в обеих сих частях Света Самодержица увидела, что уготована для нее была гостеприимная вечеря, у подошвы гор Кавказских (находящихся в одном из вверенных ею Наместничеств Его Светлости), из коих один каменный отрог ограждал приятнейшую внутри сих гор пещеру, одетую миртовыми и лавровыми деревьями, меж коими вились розы и другие прекрасные цветы. Под тению оных поставлен был стол, за коим ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО с ИХ Императорскими Высочествами и некоторым числом знатнейших Особ ужинать изволили. Стремительно с вершины горы падающий и об утесы разбивающийся шумящий ручей роскошно прохлаждал сию пещеру и, крутяся, терялся под мост, служащий входом в оную.

Лампады, в ущельях сей горы зажженные, различным преломлением лучей, отражаемых от сталактидов и металлических искр в отколах камней блестящих, представляли разные группы света и тени и производили отменное действие.

Сей ужин, представленный в пещере, украшение свое от одной природы заимствующей, изображал прекрасную простоту древних, по примеру коих вечеря сия была устроена, и по обычаям их в продолжение оной хор певцов воспевал, в честь Великия Посетительницы, следующие Гимны на Еллино-греческом языке составленные.

ОДА

СТРОФА

Полунощи Царица,
Народов многих Мать!
Владычния пространству
Душа твоя равна.

Ты черплешь дары с неба;
Мы черплем от тебя.
Ты роду честь Петрову;
Нам щастие и жизнь.

АНТИСТРОФА

О Павел и Мария!
Утехи наших дум!
О Орле и Орлица,
Родившие Птенцов,
Имущих воспарити
Превыше облаков!
Уже в броне и шлеме
Играет Александр.

ЕПОДОС

Как благовонный израстает
На поле цветоносном крин:
Подобной красотой блистает
В колыбели Константин.
Богинины растите внуки,
И хвал Ея продлите звуки.
Как кедр, Петров, умножься дом,
И богати весь свет плодом.

Далее по-гречески

Сему сладкопению согласовал звучный Орган, столь величественный и столь способный к возвышению Мусикийского согласия.

Умолкнувшу хору, явился хоровод танцовщиков и танцовщиц, в разных театральных характерах, кои производили разновидные порознь и соединенно танцованья до окончания ужина.

Все протчия гости угощены были ужином в разных комнатах, в равном изобилии приготовленным.

ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, многократно изъявив Высочайшее Свое удовольствие, отдавая справедливость вкусу великолепного и изобретательного хозяина, в час по полуночи, с Их Императорскими Высочествами, отбыть в Город изволила.

Все с сожалением расстались с сим обвороженным местом, изъясняя то удовольствие и ту благодарность, каковые

естественно чувствовать, от празднования и угощения, в коих великолепие сопровождено везде веселием.

3. Василий Петров. На всевожделенное рождение великого князя Константина Павловича — Василий Петров. Сочинения. Ч. 1. СПб., 1782.

1779 года, Апреля

Что се! средь дня в ефире блещет
Сложенный из созвездий крест!
И, очи кроя, Турк трепещет!
Ты, Муза, чтуща книгу звезд,
Ты знаменья мне рцы причину.
Тезоименный исполину,
Максентий коим побежден,
Защитник веры, слава Россов,
Гроза и ужас чалмоносцов,
Великий Константин рожден.
Открыв впервые, он возводит
Свои на небо очеса;
И дух Господень нань нисходит,
Как на возникший крин роса.
Тих, свыше вдохновен, прекрасен,
Со именем своим согласен,
Он движет нежные уста,
И хощет Бога исповедать,
Велику силу проповедать
Побед виновника креста.
Коль многи в честь ему лилеи
Несет приветственна весна:
Толики стяжет он трофеи;
Ему вся Азия тесна.
Как молнию, свой меч иссунет,
Как буря в Юг от Норда дунет.
Вселенна, новых жди чудес!
Не в Стиг волшебно погруженный,
Броней небесной обложенный
Родился новый Ахиллес.
Не Трою рушити назначен;
Но гордых варвар победить;
И град, кой Греками утрачен,
От гнусна плена свободить;

Несчастны племена восставить,
От ига рабства их избавить,
И новы души в них создать;
От скверн очистити святыню,
В Аравску зло заслать пустыню,
Землей и морем обладать.
Раскрылось небо! во порфире
Стоит, зря долу, Константин,
И слышен глас его в ефире:
«Петрово Племя, Павлов Сын,
Кой перстом рока в мир извлекся,
И именем Моим нарекся;
Расти, мужайся, стани в бой.
Град, иже древле Мной основан,
Тебе во область уготован,
Определенно так судьбой».
«Не всуе Тя Екатерина
Небес приемлет за залог;
Все то ж, она или судьбина,
Все долу правит Ею Бог.
Среди похвал немолчна звука,
Она Тя пошлет, грозна внука,
Со Невских в Геллеспонт брегов.
Твоей победоносной дланью
Споспешествуй Ея желанью;
Ей зрящей, низложи врагов».
«В рожденну многой силой дерзость
Ея брось молнию и гром;
Низвергни запустенья мерзость,
Насильно вторгшись в Божий дом.
Нечестье срини в преисподню,
Честь гробу возврати Господню;
Мой в прежню славу Трон восставь.
Владей, и света в крае оном
Екатерининым законом
Тебе подвластны люди правь».
Он рек; и в горней крест стихии,
Пловя к полудню, возблистал,
И над святилищем Софии,
Предвестник благодати, стал.
Рога луны ниспали бледной;
Глас песни возгремел победной.
Вошел, вошел Царь славы в храм.
Се паки он как небо зрится,

И благовонный в нем курится
Живому Богу фимиам!

4. Ода на всеобщее Россам и Грекам всерадостное торжество тезоименитства великого всероссийского князя Константина Павловича, Майя 21 дня 1781 года, Всеусердно приносит Георгий Баддани (СПб., 1781)

ОДА

День настал превожделенный,
Паки зрим веселый час,
КОНСТАНТИН тезоименный
К радости взывает нас.
Дух мой ободрите, музы,
Стройте ваших лир союзы,
Влейте в душу жар мою.
Вихри, глас мой не прервите,
Бурны ветры, не шумите,
Стих я новый воспою.
Море, горы и долины
И струи плещите рек,
Мудрыя ЕКАТЕРИНЫ
Возвестил блаженный век.
Да познает вся вселенна
Россов коль судьба отменна,
Коль к ним склонны небеса.
В севере звезда днесь блещет,
Луч на греков коя мещет,
Их прельщая очеса.
* * *
С горних мест на дол взирая,
Украшающий Эфир,
Ты, что луч свой простирая,
Освящаешь целый мир!
О! всезрящая планета
Око неусыпно света!
Путь по небу свой водя,
Сей достигшей нас отрады
Села и моря и грады
Будь свидетель, проходя.
Как Еллады на границу

Взыдеши в страну мою,
Огненную колесницу
Там останови свою.
Возвести нещастну роду
Томных мук его свободу,
Чтоб не плакал, не рыдал.
Час, в которой свергнет бремя
Утесненно роком племя,
Се явился! се настал!
Есть ли верно пророченье,
Верны мудрых словеса,
Се пророчеств совершенье
Посылают небеса!
Сильный Геркулес явился,
Званьем, и страной родился
По глаголам, новый Феб.
Но не Делоса вершина,
В движимой, крутой пустыне,
Не из седьмивратных Теб.
Из полунощи блистает
Он румяных тех колен,
Коих вера просвещает,
Кои громки меж племен.
Веру Греки сим Героям,
Сим непобедимым воям
Древле предали в залог.
Да велики сыны Россов
Дерзких сокрушат колоссов,
Да сотрут их гордый рог.
Встани убо, сын денницы,
И бронею облачись,
С крепостью твоей десницы
В поле выйди, ополчись.
Презри жмущи узы рока.
Медленного росту тока
В племени Петровом нет.
Нежны руки, но геройски
Годны править целы войски,
Целый завладети свет.
Встань, промчимся в сонм тиранов,
Крепость их разрушим стен,
Гордость усмирим султанов,
Возьмем тьмы народов в плен.
Ты Елладе дашь свободу,

Щастье возвратишь народу
Угнетенных тех сторон;
Распростреш для муз покровы,
Храмы им возводишь новы,
Где сам будешь Аполлон.
Но вотще я то вещаю,
Самый рок сие велит;
Что звезда с полнощна краю
Южную луну затмит.
Злу ты чувствуешь судьбину,
Зрит тиран свою кончину,
Примешь вскоре должну месть.
Капища прейдут во храмы;
В них вожгутся Фимиамы
И изчезнет гнусна лесть.
Ветхий деньми, Бог превечный
Наш внемли усердный глас;
Дай, чтоб в славе непресечной
Род Петров процвел меж нас.
Да Еллады для утехи
В нем весь узрит мир успехи,
Что ты с неба обещал;
Сын да Павла и Марии
Будет радость всей России,
И источник грекам хвал.

5. Стихи на всерадостное и вожделенное прибытие их императорских Высочеств великих князей, Александра Павловича и Константина Павловича, в Москву, сочиненные в вольном благородном университетском пансионе Петром Молчановым (М., 1787)

Утехи, радости, веселье, восхищенье
Столицею себе днесь избрали сей град,
Повсюду торжество, забавы, тьма отрад…
Какое радостно для наших душ явленье?
Так! — не мечтательны те сладостные клики;
Согласно восплещи, усердных сонм сердец,
Воскликни, зри, своих желаний всех конец;
Воззри, о АЛЕКСАНДР и КОНСТАНТИН Велики.
Москва красуется судьбой своей чудесной
И громкий оный глас ея усердьем полн,

Как горы шумные свирепствующих волн,
Исполнил лес, поля и чистой свод небесной.
«О вожделенный час! грядите, Полубоги,
Грядите, отрасли премудра Божества,
Виновники моих восторгов, торжества!
Отверзты чистые сердечны ВАМ чертоги.
Как гордая луна на небе утверждена,
Так света северна проснясь лучем,
Возвысила чело я гордое над всем;
Но днесь стократно я прославлена, блаженна!
Приявши Моисей от рук Творца Скрижали,
Составил из древес нетлеющих Ковчег,
Чтоб невредимо он сей Божий дар собрег:
Такой ковчег мои граждане основали.
Воздвигнули его из душ своих нетленных,
Да сохранится в нем к ВАМ ревность и любовь,
Для коих жертва ВАМ их сердце, жизнь, их кровь,
Да сохранится в нем цепь дней моих блаженных», —
Рекла сие Москва! — Восторг ея безмерной!
Рекла, умолкнула — всему сей внятен глас;
Внял Аполлон ему и восшумел Парнас;
Священной холм! воспой сей день нам драгоценной.
А вы, текущие от быстрых вод Балтийских,
Блаженство и покой для будущих годин,
Великий АЛЕКСАНДР, Великий КОНСТАНТИН,
Душ наших жители, надежда чад Российских!
Воззрите на сердца, усердьем ВАМ горящи;
Как волны в бурный час волнам вослед спешат,
Стремятся, множатся, вздымаются, шумят;
Так оныя сердца ВАМ в сретенье парящи.
Животворимся мы, как Естество весною…
Но тщетно слабый я и юный петь стремлюсь,
Умолкну — и лишь тем неложно возгоржусь,
Что жертвую я ВАМ и лирой, и собою.

6. Стихи на первое пришествие в Москву их императорских высочеств, благоверных государей и великих князей Александра Павловича и Константина Павловича, сочиненные Александром Перепечиным 1787 года, июня… дня (М., 1787)

Москва! зри Ангелов от Невских берегов,
Царице стран земных, превышшей всех богов,

На встретенье Ея, как от небес слетевших,
Их в первой раз Москве, и им ее узревших,
Грядущей от Днепра и Черна Понта вод,
С Москвой возвеселись, Российский весь народ.
Планеты с Солнцем зрим: колико мы блаженны!
И в нашем щастии толико совершенны!
О радостный сей день! повсюду слышен глас,
Настал желаннейший давно нам оный час,
В котором АЛЕКСАНДР и КОНСТАНТИН свились,
Воззрением на сих сердца возвеселились,
В восторге таковом МОНАРХИНЮ поют,
И благодарность ей сердечну воздают
За толь великое к нам ныне утешенье,
С ней ПАВЛОВЫ плоды! какое восхищенье!
От века звездочет не зрел таких Планет,
От коих бы лучей мир зрел толикий свет;
Когда бы Солнцу две Планеты предходили,
Светящу в мир ему, свой луч при нем родили.
Но се, Богиню в свете мы облеченну зрим,
Благоговением душевным к НЕЙ горим,
Превосходящу ум Величеству дивимся,
Довольно видом сим Ея не насладимся;
И льзя ль? Зрим новое в виденьи чудном сем,
Имеет двух Светил в предшествии своем,
Блистающих красой в Москве у нас пред НЕЮ.
Явление сие нам кажется зарею,
Превыше естества сего восторга чин!
Российский АЛЕКСАНДР, Российский КОНСТАНТИН
Предходят ныне ЕЙ, светящей в мир Богине,
Примеру в милостях Царям ЕКАТЕРИНЕ!
Москва восхитилась, сим светом озарясь,
Из состаревшейся во младость претворясь,
Сей райской юностью себя вновь оживляет,
И радость на лице души своей являет,
Владычицу свою к себе грядущу зря,
К ней пламенеющим усердием горя,
Веселию в себе конца не полагает,
Благотворящу всем десницу лобызает,
И падши перед НЕЙ колена преклоня,
Блаженство Росское в сей радости поя:
Пришествием ТВОИМ я ныне отрождаюсь,
Видением Князей Великих восхищаюсь.
Полна веселием и новым торжеством,
Се просвещаюся земным здесь Божеством!

И что воздам о всех, что воздаешь ТЫ чадам?
Что принесем, таким причастны быв наградам?
ТЫ Сих нам и СЕБЯ явила здесь Светил,
Россию коим днесь Бог благословил,
Да светят, как ОНА, премудростью своею,
В щедротах, в милостях да следуют за НЕЮ.
Кол и ко нам утех, доброт, блаженств, отрад,
Как исполнила ЕКАТЕРИНА град!
Исполнила чудес премудрая держава,
Коснулася небес ТВОИХ деяний слава,
И свыше Благодать дала сию нам часть
Да славим славиму ТВОЮ во свете власть.
МОНАРХИНЯ! мы чтим и сердцем и устнами
ТЕБЯ в душах своих,
ТЫ вечно буди с нами;
Премудростью Своей в потомках будешь жить,
Едино сей закон могла ТЫ положить;
Престол ТВОЙ, из сердец усердным сотворенный,
Да будет жертвою ТЕБЕ в нас посвященный.

7. Дмитрий Хвостов. Ода на день тезоименитства Его Императорского Высочества благоверного государя Великого Князя Константина Павловича, 1791 года 21 майя (Новые Ежемесячные сочинения. Ч. LXII. Месяц Август. 1791)

Пути отверзла Фебу новы
Рукой багряною заря,
Суда ко плаванью готовы,
Всплескали реки и моря,
Певец дней нежных и весенних,
Средь ветвей соловей сплетенных
Вещает днесь во все места;
Природа паки оживленна,
Что празднует весну вселенна,
Гласят и чувства и уста.
Светило северного мира
Течет быстрей на высоту,
Являя посреди Ефира
Необычайну красоту,
Как возраждается природа,
Царица славного народа,
Ликуя в отраслях своих,

Россию в силу возрождает,
Блаженство вечно утверждает:
Ничто коснется дней златых.
Пусть ярость свирепеет в гневе,
Пусть зависть бледная грозит,
Пускай ржет Этна в медном чреве;
Бог перстом силы воспятит,
Сотрет враждующих гордыню,
Прославит кротости Богиню
И паче кедра вознесет.
Народ во дни ЕЯ щастливый
Сплетет со лаврами оливы,
Как прах развеет злых навет.
Настрой сама мне, Клио, лиру,
Умножь в душе и в мыслях жар,
Да возглашу пространну миру,
Как древле воспевал Пиндар.
Народы не поверят многи,
Что в баснях лжетворили боги.
Минервы кротостью, умом
В лице устроила Европы,
Низвергнув хитрости подкопы,
Вруча героям правды гром.
Не много боле четверть века
Украшен Ею Росский трон;
Заботы выше человека,
Война, науки и закон
ЕЯ главе не тяжко бремя;
Различный труд в едино время,
Как с гор поток шумя течет,
Россию благом угобжает,
Вселенну славой поражает
И злобу на раздор влечет.
Ужасна буря восшумела,
Из тьмы крылатый вихрь летит,
Пучина в Понте посинела,
Борей в ущелинах свистит,
Разверзлись челюсти геенны,
И гром и ядры раскаленны
Трясут и движут ось земли;
Гиганты новы восставали
На горы горы возлагали,
Низверглись, пали и легли.
Под крыле орлем почивая,

Спокойный Кинбурн мещет взгляд,
Российский дух в себе питая,
Бесстрашно зрит на самый ад,
На рамо опершись Герою,
Стоящу граду пред тобою,
Судьбу грядущу речет:
Что ко брегам моим коснуться,
Враги в крови своей запнутся
И гром небес на тя падет.
Очаков долу низложенный
Героя сильною рукой
И дух смиря луны надменный,
В Стамбуле всколебал покой.
Раздор светильник сотрясая
И искры в пепле возбуждая,
Летит — и всюду сеет зло.
Молвою ложной зависть множит,
В Европе троны все тревожит,
Коварство правду премогло.
Угрюмый мразами согбенный
Вспылал свирепством гневом Норд,
Коварством, злобой разъяренный,
Как Марс, бурлив и нагл и горд,
Несет войну и смертью дует,
Морей пучиною волнует
И мнит простерть широко длань:
Но грянул гром ЕКАТЕРИНЫ,
Исчезли зависти причины,
ОНА пресекла миром брань.
Визирь со знамем Махомета,
Имущь в деснице алкоран,
Грядет и мыслит, что полсвета
Привержет к трону Отоман.
Суворов в подвиге геройском
С искусным малолюдным войском
Летит как к добыче орел:
Как гром ударя гор в вершины,
Хребет низложит во долины.
Так он у Рымны возгремел.
Как гидра сто главизн имуща
Всегда властна нести беды,
Единая во смерти суща
Рождает новые плоды;
Так кровь на Рымне не простыла,

Твердыни горды Измаила,
Встают топча Дунайский вал,
Измаил гордостью надутый
Грозит погибелью несытый:
Пришел Суворов — он упал,
Но зрелищем прельщеный новым,
Собор Парнасских дев я зрю,
Не гласом петь хочу суровым,
Восторгом нежным я горю:
Младаго вижу Полубога,
На коего из щедра рога
Льет многие дары Зевес.
Наставник честный, веледушный,
Минерве кротости послушный
Блюдет, растит сей плод небес.
Разгни не книгу прежних веков,
Что басней буйностей полна,
Где чли за малость человеков,
Где пышность, гордость лишь видна;
Себя у ног Российска Трона
Учися истине закона,
Из уст Царицыных внемли,
Что Царь народов благодетель,
Что честность, кротость, добродетель
Всех выше титлов на земли.
Что почесть сладкая короны
Нередко грусть влечет Царю;
Коль слышати не хочет стоны,
Он должен предварить зарю,
Лишаться собственно покою,
Что милости пролить рекою,
Чтоб истины цвели весы,
Чтобы расторгнуть суд строптивый,
Совет вельмож отвергнуть льстивый,
Во благе провождать часы.
Россия средь побед, средь брани
Вкушает мирные плоды;
Одна как мать все платит дани,
Неся все тягости вражды:
Но мира Бог, сей Бог любезный,
Оставя круг пресветлый звездный,
Слетит на веки в Росский край;
Умолкнут бурные махины
Тогда во дни ЕКАТЕРИНЫ.

Ея владенье будет рай.

8. Ода на бракосочетание Его императорского высочества Великого князя Константина Павловича, сочиненная Михаилом Магницким (Б. м., 1796)

Когда лазурными полями,
По златорозовым зарям,
Весну увенчанну цветами
Выводит Феб в огромный храм
Великолепныя природы;
Леса шумят, играют воды,
Струится зелень по горам;
Луга весельем расцветают,
И тонкий воздух претворяют
В приятный, чистый фимиам.
Так в светлый храм любви вступает
С избранной КОНСТАНТИН Своей;
Невинность путь Их устилает
Ковром, сотканным из лилей.
Любовь вокруг резвясь, порхая,
Как Майский ветерок играя,
Прекрасны розы к Их стопам
С улыбкой страстною бросает;
Любуется на Них, ласкает
И в свой летит пред Ними храм.
* * *
Идут на век совокупиться
Прекрасны юны божества;
В единый свет соединиться
Лучи Всевышня Существа;
Да купно славою блистают,
Прекрасно солнце составляют!
В Одном — великий дух живет,
Во всех чертах, как огнь, пылает;
Геройску слава грудь питает,
И сердце мужеством цветет.
В Другой — се Ангел, облеченный
Нежнейшим цветом роз, лилей!
Се Ангел, Ангел воплощенный,
Любви прекраснее, милей.
Идут — и бури умолкают;

Возвысясь, горы к Ним взирают,
Простерли ветви к Ним леса;
Безмолвствуют свирепы бездны,
Горят весельем круги звездны;
Склонились светлы небеса.
Природа в кротком восхищенье,
Седяща на громадах гор —
Но что за мрачное явленье
Встречает мысленный мой взор!
Багровы облака ужасны,
Скрывают вид луны прекрасный,
Горящих молний яркий блеск
Их черны недра раздирает;
Пылая в мраке, пробегает
За ним — рев вихрей, громов треск.
Страшись, страгдися, враг надменный,
Пророчество ужасно зри!
Склонись под Росский Скиптр священный,
Покорством гибель отврати!
Геройским духом ополченой,
Подобен буре разъяренной,
Российский КОНСТАНТИН пойдет;
Рожден к величию судьбою,
Он мощною Своей рукою
Гордыни твердый рог сотрет.
И стены гордыя, дрожащи,
И башни смежны к облакам,
И град Ему принадлежащий
Падут, падут к Его стопам.
Пространством страшная вселенна,
Его делами удивленна,
В восторге плеском возгремит;
И в изумлении познает:
«ЕКАТЕРИНЫ обитает
В ком дух» — тот должен быть велик!

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ КОНСТАНТИНА ПАВЛОВИЧА

1779, 27 апреля (8 мая) — рождение великого князя Константина Павловича в Царском Селе.

5(16) мая — крещение в церкви Царскосельского дворца.

1780-е — Екатерина II обсуждает возможность реализации «греческого проекта».

1782, 30 августа (10 сентября) — Екатерина II направляет австрийскому императору Иосифу меморандум о разделе Османской империи и создании буферного государства Дакия во главе с греческим православным императором.

1783, 28 марта (8 апреля) — манифест Екатерины II о присоединении Крыма к России. Ликвидация Крымского ханства.

1784, 13 (24) марта — Екатерина II сочиняет «Инструкцию князю Николаю Ивановичу Салтыкову при назначении его к воспитанию великих князей» с педагогической программой воспитания Александра и Константина.

1787, февраль — июль — путешествие Екатерины II в Крым.

23 июня (4 июля) — великие князья Александр и Константин встречают Екатерину II под Москвой, в селе Знаменском, по ее возвращении из крымского путешествия.

24 августа (4 сентября) — начало Русско-турецкой войны. Екатерина продолжает надеяться на реализацию «греческого проекта».

1788—1790— русско-шведская война.

1788, 10 (21) октября — Екатерина отклоняет предложение Потемкина посадить Константина на шведский престол.

1791, 3(14) мая — великий сейм Речи Посполитой принимает новую конституцию, призванную содействовать политическому и экономическому развитию страны.

5 (16) декабря — смерть Г.А. Потемкина.

29 декабря (1792, 9 января) — заключение русско-турецкого мирного договора в Яссах, подтверждающего условия Кючук-Кайнарджийского мира.

1792, 7 (18) мая — русские войска входят в Польшу.

1793, 12 (23) января — второй раздел Польши. Россия приобретает территорию юго-западнее Двины (Центральную Белоруссию, часть Волыни и Подолию).

1794, март — восстание в Польше под предводительством

Тадеуша Костюшко.

24 октября (4 ноября) — захват Праги, предместья Варшавы, русскими войсками под предводительством Суворова. Окончание Польского восстания.

1795, 5 (16) мая — начало военной службы великого князя Константина Павловича, назначение полковым командиром Санкт-Петербургского гренадерского полка.

6 (17) октября — в Петербург прибывает будущая супруга Константина Павловича, юная немецкая принцесса Юлия Генриетта Ульрика Саксен-Заальфельдкобургская (в крещении Анна Федоровна; 11.09.1781-30.07.1860).

13 (24) октября — третий раздел Польши. России отходят западная часть Белоруссии, Западная Волынь, Литва и герцогство Курляндское. Речь Посполитая исчезаете политической карты мира.

14 (25) ноября — король польский Станислав II Понятовский отрекается от престола.

1796, 15 (26) февраля — венчание великого князя Константина Павловича и Анны Федоровны.

6 (17) ноября — кончина императрицы Екатерины II.

10 (21) ноября —Константин Павлович назначен шефом Измайловского полка.

1797, 5 (16) апреля — коронация императора Павла I в Москве.

5 апреля — 27 мая (16 апреля — 7 мая) — путешествие императора Павла, великих князей Александра и Константина по России. Путешественники посещают Смоленск, Оршу, Могилев, Минск, Вильно, Гродно, Ковно, Митаву, Ригу, Нарву.

Апрель — император Павел дарует Константину мызу Стрельна.

6—10 июля (17—21 июля) — великие князья Александр и Константин сопровождают императора Павла во время пребывания его в Кронштадте. Константин становится генерал-инспектором кавалерии.

1798, январь — Константин назначен главным начальником Первого кадетского корпуса.

Май—июнь — великие князья Александр и Константин сопровождают Павла в путешествии по России; посещают Новгород, Тверь, Москву, Владимир, Нижний Новгород, Казань, Ярославль, Тихвин, Новую Ладогу и Шлиссельбург.

1799, март — декабрь — участие Константина в Швейцарском и Итальянском походах фельдмаршала А.В. Суворова.

28 октября (8 ноября) — Павел жалует Константину Павловичу звание цесаревича — за храбрость, проявленную во

время Швейцарского похода А.В. Суворова.

1800, зима — отправлен императором Павлом в «ссылку» в Царское Село, для учений конногвардейского полка.

14 (25) августа — назначен инспектором кавалерии Санкт-Петербургской и Финляндской дивизий.

1801, 11—12 (23—24) марта — убийство императора Павла.

12 марта — начало царствования императора Александра I.

24 марта (5 апреля) — Константин назначен генерал-инспектором Брестской, Украинской и Днестровской дивизий.

1801—1803— работа «Негласного комитета» Александра I.

1801, лето — великая княгиня Анна Федоровна, супруга Константина, покидает Россию навсегда.

24 июня (6 июля) — Константин назначен председателем «воинской комиссии», которая должна заняться реорганизацией военных сил.

1802, март — в петербургских газетах появляется объявление о таинственной смерти вдовы Араужо.

Константин назначен председателем комиссии, которая должна реорганизовать систему военного образования в России.

1803 — Константин просит у императрицы Марии Федоровны разрешения на брак с Жанеттой Четвертинской.

1804 — сербский епископ Бачкский Йован Йованович предлагает Александру Павловичу основать независимое сербское государство с Константином Павловичем во главе.

1805, 1807 — Константин Павлович принимает участие в войнах России с Наполеоном.

1805, 20 ноября (2 декабря) — участвует в сражении русских и австрийских войск при Аустерлице.

1806—1812 — Русско-турецкая война.

1806— Константин Павлович знакомится с Жозефиной Фридерикс, которая остается его спутницей до 1820 года.

1807, 25 июня (7 июля) — Константин присутствует при подписании Тильзитского мира и получает от Наполеона ленту Почетного легиона.

30 августа (11 сентября) — Константин назначен генерал-инспектором кавалерии.

1808 — Константин входит в состав Комитета для образования воинских уставов.

24 марта (5апреля) — у Константина Павловича и госпожи Фридерикс рождается сын Павел Константинович Александров.

Сентябрь — Константин сопровождает Александра в Эрфурт для переговоров с Наполеоном.

1812, 12—14 (24—26) июня — французская армия переправляется через Неман, начало Отечественной войны.

Константин командует 5-м корпусом 1-й западной армии М.Б. Барклая де Толли. В августе покидает русскую армию из-за несогласий с главнокомандующим армией.

1813—1814 — Константин участвует в Заграничном походе русской армии.

1813, 14 августа — участвует в битве под Дрезденом. В награду получает шпагу с надписью «За храбрость».

4—7 (16—19) октября — участвует в лейпцигской Битве народов. В награду получает орден Святого Георгия 2-й степени.

1814, 13 (25) марта — организовывает блестящую кавалерийскую атаку против французов под деревней Фер-Шампенуаз. Александр I жалует Константину золотой палаш.

18 (30) марта — союзные войска входят в Париж.

9 (21) июня — Константин Павлович прибывает в Петербург, чтобы сообщить о победе над Наполеоном.

1815, 21 апреля (3 мая) — Россия, Австрия и Пруссия подписывают трактат об образовании Царства Польского.

15(27) ноября — император Александр подписывает польскую конституцию.

1818, 15 (27) марта — открытие варшавского сейма, на котором Александр произносит крайне либеральную речь.

17(29) апреля — рождение великого князя Александра Николаевича (17.04.1818 — 1.03.1881; император с 18.02.1855).

1819, 22 мая (3 июня) — в Царстве Польском вводится цензура, охватывающая все журналы и периодические издания.

13 (25) июля — император Александр сообщает великому князю Николаю Павловичу о том, что хочет видеть его своим наследником.

1820, 20 марта (1 апреля) — манифест о разводе Константина Павловича с великой княгиней Анной Федоровной.

12 (24) мая — морганатический брак с польской княжной Иоанной Грудзинской (17.09.1795-17.11.1831).

1 (13) сентября — 1 (13) октября — второй сейм в Варшаве, который под влиянием оппозиции отклоняет правительственные проекты; разгневанный Александр указывает полякам, что они сами замедляют дело восстановления Польши.

1821, март — начало греческого восстания против турецкого владычества. Александр официально сохраняет нейтралитет.

6 (18) декабря — указ императора Александра, запрещающий создание тайных обществ, в том числе и масонских.

1822, 14 (26) января — письмо Константина Павловича императору Александру I с отказом от престола.

2 (14) февраля — ответ Александра I Константину Павловичу

1823, 16 (28) августа — Александр I подписывает тайный

манифест о передаче престола великому князю Николаю Павловичу

17 (29) августа — митрополит Филарет помещает запечатанный конверт с манифестом в ковчежец в алтаре Успенского собора в Кремле.

1825, 19 ноября (1 декабря) — в Таганроге умирает император Александр I.

27 ноября (9 декабря) — о смерти Александра I становится известно в Петербурге; начинается присяга императору Константину Павловичу

12 (24) декабря — подписание манифеста о восшествии на престол Николая Павловича; днем восшествия Николая на престол считается 19 ноября.

14 (26) декабря — повторная присяга армии — на этот раз императору Николаю Павловичу. Выступление декабристов на Сенатской площади.

1826, зима—весна — в России циркулируют слухи о том, что простой народ обманули и истинный император — Константин Павлович.

13 (25) марта — отпевание Александра I в Петропавловской крепости, на которое Константин Павлович не считает возможным приехать.

16 (28) шюля — приговор над декабристами приводится в исполнение; пять мятежников повешены, часть осужденных отправляется в Сибирь.

22 августа (3 сентября) — коронация Николая Павловича в Кремле; на коронации присутствует и Константин.

1827, 9 (21) сентября — рождение великого князя Константина Николаевича (9.09.1827 — 13.01.1892), сына императора Николая I, мифологического преемника Константина Павловича.

1828, 14 (26) апреля — 1829, 2 (14) сентября — война России с Турцией, во время которой в русском обществе начинают вспоминать «греческий проект».

24 октября (5 ноября) — кончина императрицы Марии Федоровны.

1829, 12 (24) мая — коронация императора Николая в Варшаве.

1830, 16 (28) мая — 16 (28) шюня — третий Польский сейм, во время которого поляки окончательно убедились, что ни на какие уступки российский император не пойдет.

17(29) ноября — восстание в Варшаве. Покушение на Константина Павловича.

21 ноября (3 декабря) — цесаревич начинает отступление за

пределы Царства Польского, к границам России.

1831, 13 (25) января — польский сейм объявляет о лишении Николая I польского престола.

24 января (6 февраля) — образование польского временного правительства. В Польшу вступает русская армия под командованием И.И. Дибича.

13 (25) февраля — сражение под Гроховом, в результате которого русские не сумели одержать победу — возможно, из-за вмешательства Константина Павловича.

15 (27) шюня — цесаревич Константин Павлович умирает в Витебске от холеры.

27 августа (8 сентября) — русская армия, уже под командованием И.Ф. Паскевича, вступает в Варшаву.

9 (21) октября — русско-польская война завершилась победой России.

1832, 14 (26) февраля — издан «Органический статут», согласно которому Царство Польское объявлено территорией России, сейм и польская армия упразднены.

17 (31) ноября — в годовщину Польского восстания умирает княгиня Лович.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Великий князь Константин Павлович. Неизвестный художник

Императрица Екатерина II. Гравюра Е. Чемесова с оригинала П. Ротари. 1762 г.

Медаль на рождение великого князя Константина Павловича. 1779 г.

Екатерина II с семейством в Царскосельском саду

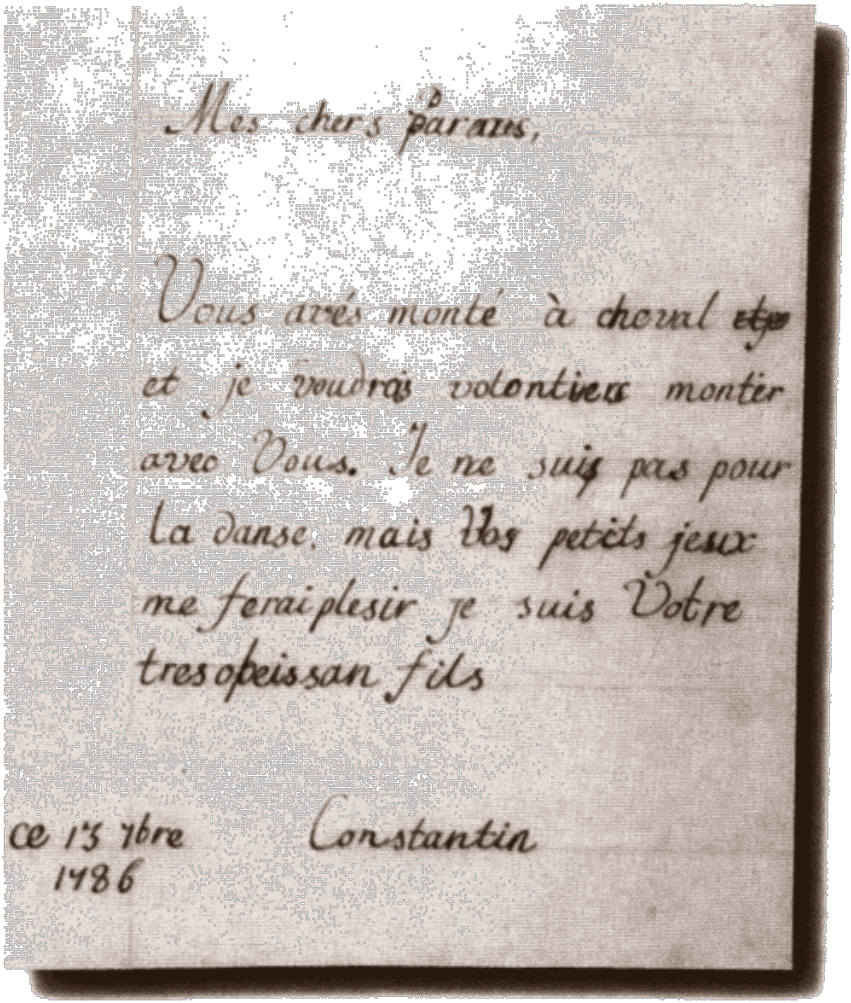
Император Павел I. Гравюра Клаубера с портрета Вуаля

Императрица Мария Федоровна. Литография Ветлусского с портрета Дж. Доу

Великие князья Александр и Константин Павловичи и великие княжны Александра, Елена, Мария и Екатерина Павловны. С камеи, исполненной великой княгиней Марией Федоровной. 1790 г.

Великий князь Александр Павлович. С портрета И. Лампи Старшего

Великий князь Константин Павлович. С портрета И. Лампи Старшего. 1787 г.



Mes chers parens,

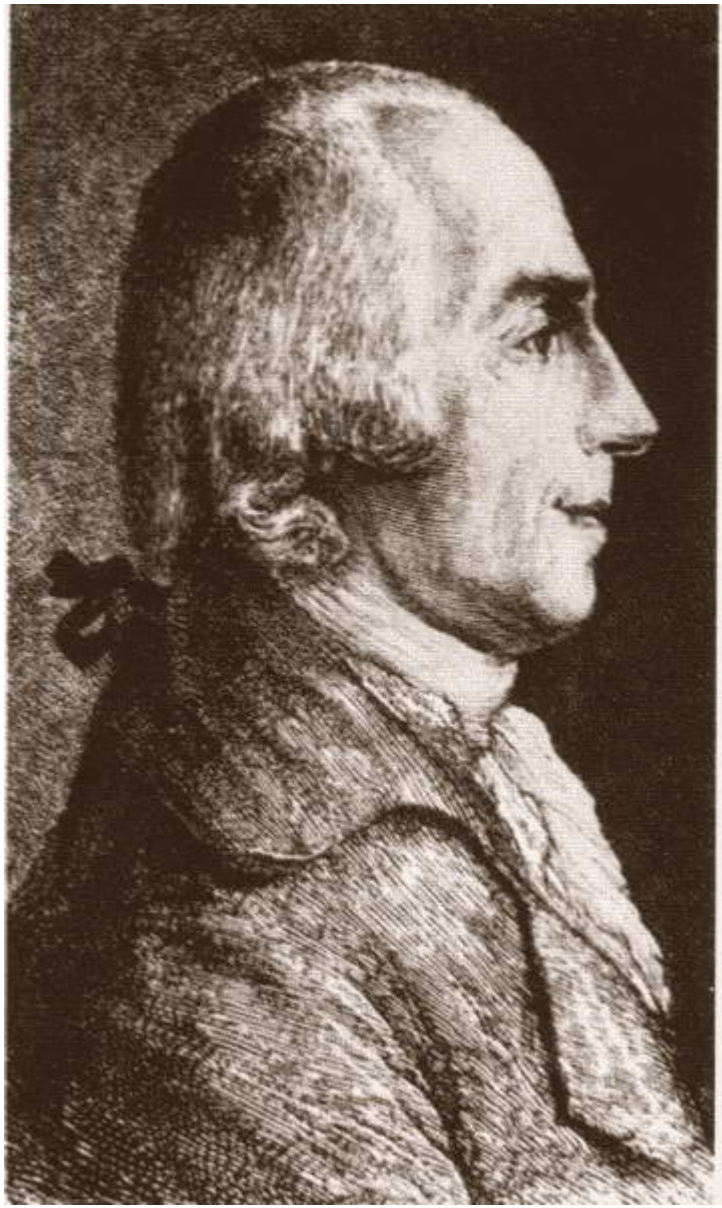
Vous avés monté à cheval etc
et je voudrois volontiers monter
avec Vous. Je ne suis pas pour
la danse, mais Vos petits jeux
ne feraiplesir je suis Votre
tresobeissan fils

ce 13 7bre Constantin
1786

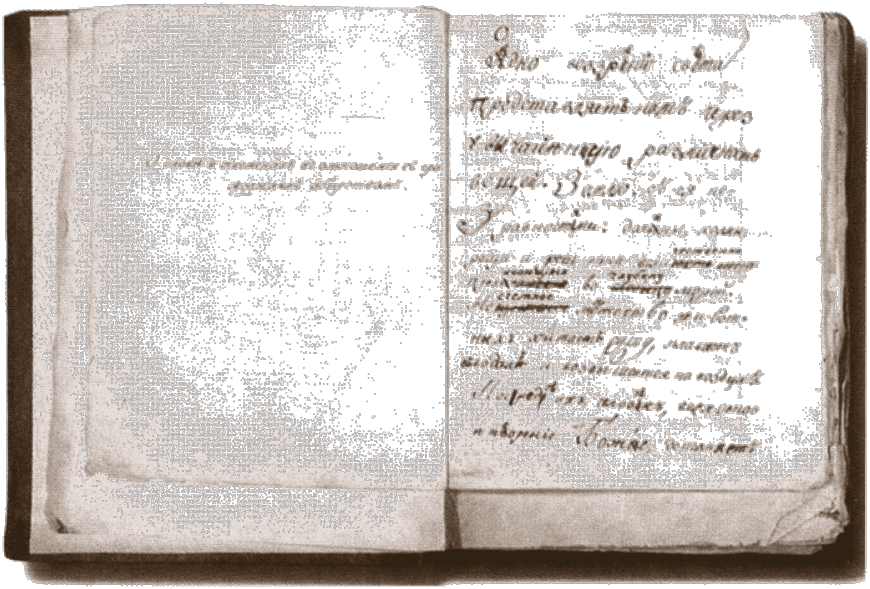
Письмо великого князя Константина Павловича родителям. 13 сентября 1786 г.

Великие князья Александр и Константин Павловичи. Аллегорическое изображение восточного вопроса: Александр разрубает мечом гордиев узел; Константин водружает православный крест. Акварель С.С. Соломко с картины конца XVIII в.

Граф Николай Иванович Салтыков



Фридрих-Цезарь Лагарп



Ученическая тетрадь великого князя Константина Павловича по русскому языку и истории. 1781 г.

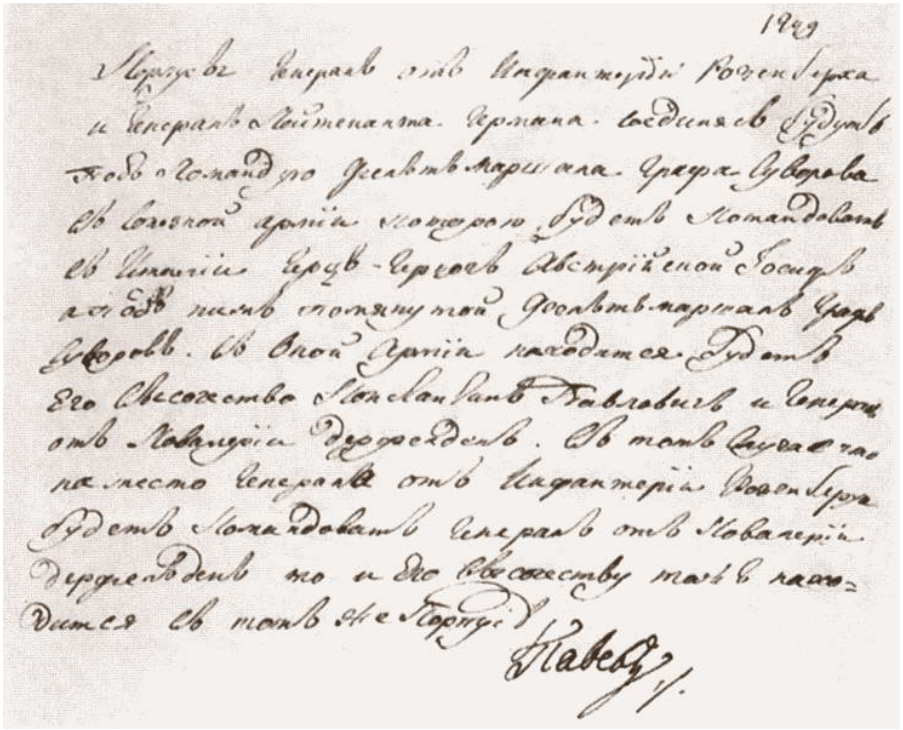
Аллегорическое изображение протоиерея Андрея Самборского, возделывающего ниву. 1810 г.

Великий князь Константин Павлович. Неизвестный художник. Конец XVIII в.

Императрица Елизавета Алексеевна. Гравюра С. Турнера с оригинала Ж. Монье

Великая княгиня Анна Федоровна. С гравированного портрета Меку

Александрове. Вид дома и грота 1810 г.



1799

Генералу от кавалерии Розенберха и генерал-лейтенанта Германа. Соединяясь с Вами с командою фельдмаршала графа Суворова в союзной армии, которою будет командовать в Италии Ерцгерцог Австрийской Государь Император пишет сопутствующей фельдмаршал граф Суворов. В оной армии находится будет Его Высочество Константин Павлович и генерал от кавалерии Дерфельден. В таком случае на место генерала от кавалерии Розенберха будет командовать генерал от кавалерии Дерфельден по и до Высочеству там в главе дится в том же порту.

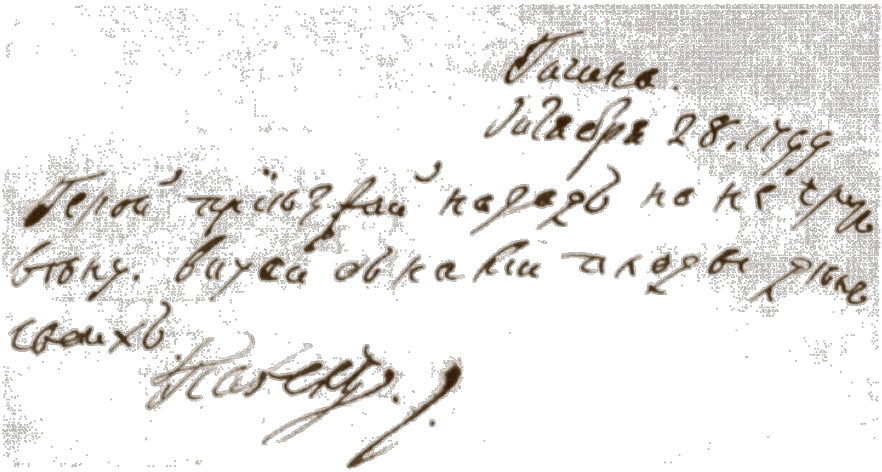
Павел

Приказ императора Павла I об отправке великого князя Константина Павловича в

Союзную армию под командованием графа А.В. Суворова. Март 1799 г.

Гатчинский дворец в конце XVIII века. С гравюры А.Г. Ухтомского

Граф Александр Васильевич Суворов. 1799 г.


Гатчина.
Декабря 28. 1799
Герой приезжай назад но не чрез
Вену. Вкуси с нами плоды дел
своих. Павел.

Письмо императора Павла I великому князю Константину Павловичу: «Герой, приезжай назад, но не чрез Вену. Вкуси с нами плоды дел твоих. Павел». Гатчина, 28 декабря 1799 г.

Император Александр I. Дж. Доу. 1825 г.

Вид Мраморного дворца на Миллионной улице. Гравюра Т. Малтона по рисунку Д. Херна. 1789—1790 гг.

Великая княгиня Екатерина Павловна. С гравированного портрета Меку

Великая княгиня Анна Павловна. С гравированного портрета Меку

Вид Екатерининского дворца. Акварель В. Садовникова. Около 1850 г.

Великий князь Николай Павлович. Гравюра Жоно с портрета Л. Беннера

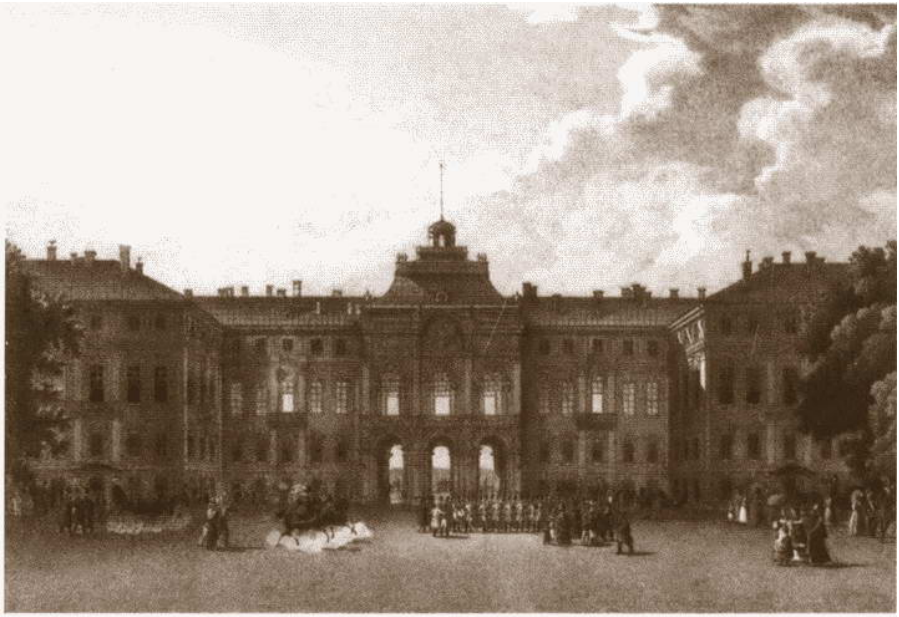
Великий князь Михаил Павлович. Гравюра Жоно с портрета А. Беннера

Марсово поле в Санкт-Петербурге в начале XIX века

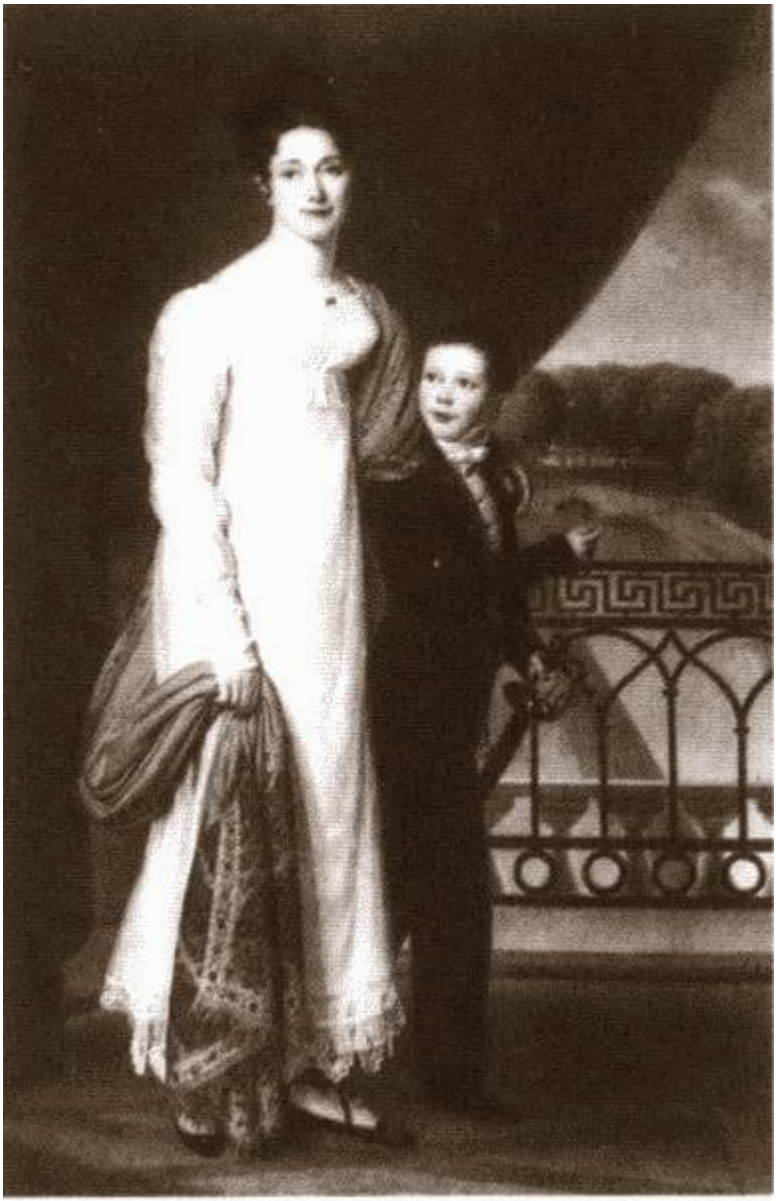
Цесаревич Константин Павлович. Гравюра с портрета О. Киселева (?). 1820-е гг.

Великий князь Константин Павлович. Акварель А. Орловского. 1802 г.

Жозефина Фридерикс. С портрета В.Л. Боровиковского



Вид Большого дворца в Стрельне. Литография Иванова с рисунка В. Садовникова. 1833 г.



Жозефина Фридерикс с Павлом Константиновичем Александровым. С оригинала А. Ризенера

Павел Александров. Неизвестный художник. Около 1810 г.

Вид Большого дворца в Стрельне. Акварель И. Мейера. 1840-е гг.

Великий князь Константин Павлович. С миниатюры Л. Летрона. 1818 г.

Великий князь Константин Павлович со свитой. Дж. Доу. Первая треть XIX в.

Великий князь Константин Павлович. Гравюра Л. Виньерона с оригинала Ф. Линьона. 1810-е гг.

Вступление союзников в Париж 31 марта 1814 года. Неизвестный художник

Великий князь Константин Павлович. С гравюры С. Корделли

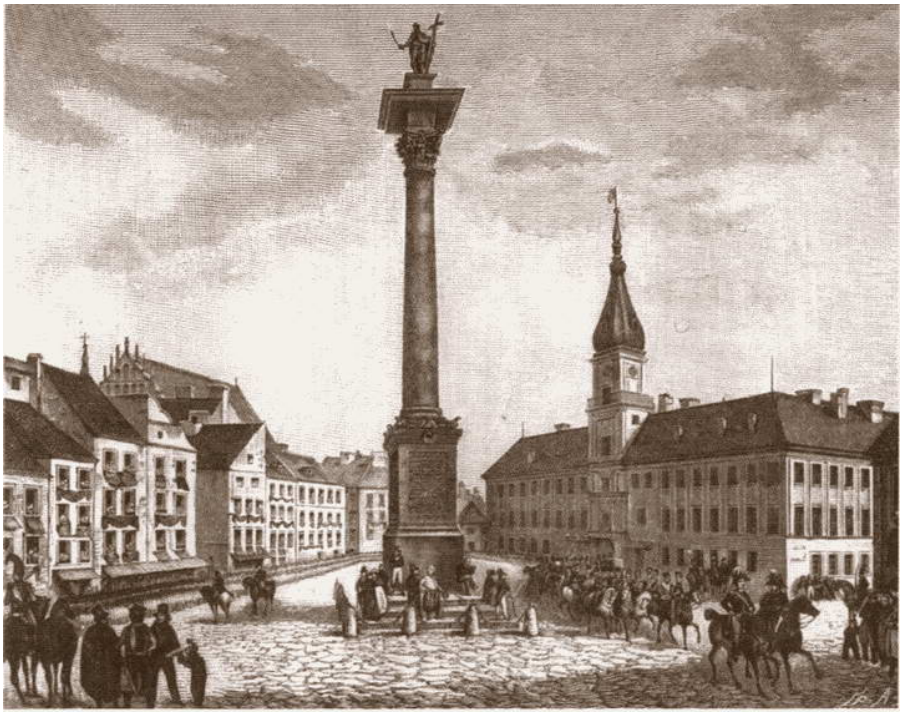
Князь Адам Чарторыйский

Граф Николай Николаевич Новосильцев

Вид Бельведерского дворца в Варшаве. С гравюры неизвестного художника. 1815 г.

Великий князь Константин Павлович. Из альбома В.И. Апраксина

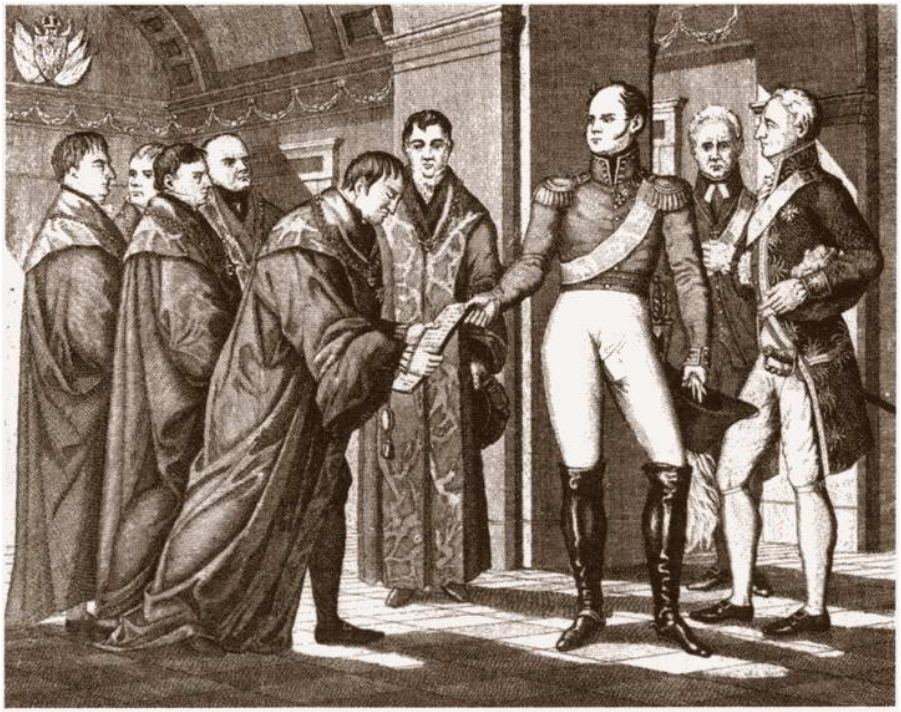
Федор Петрович Опочинин



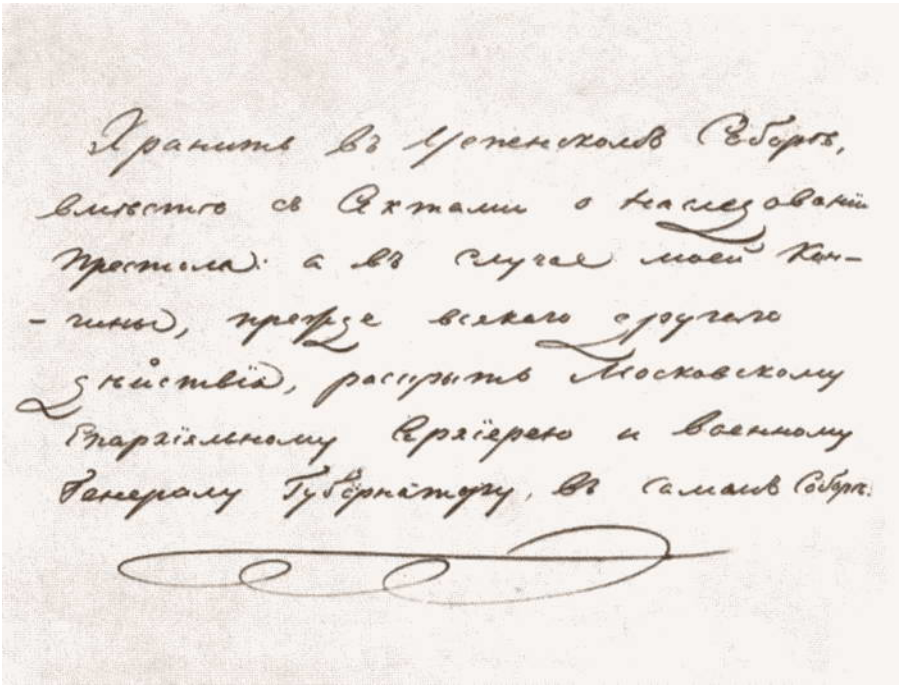
Королевский замок в Варшаве. С гравюры начала XIX в.

Дмитрий Дмитриевич Курута

Николай Дмитриевич Олсуфьев



Император Александр I вручает акт об учреждении Варшавского университета. С гравюры А. Кольберга



Конверт, в котором хранились Манифест с объявлением наследником престола великого князя Николая Павловича, а также два письма — цесаревича Константина Павловича и императора Александра I. Подлинник в Государственном архиве Российской Федерации

Кончина Александра I в Таганроге 19 ноября 1825 года. Гравюра с оригинала И. Вистелиуса. 1828 г.

Граф Михаил Андреевич Милорадович

Граф Иван Иванович Дибич-Забалканский

«Константиновский рубль». Копия

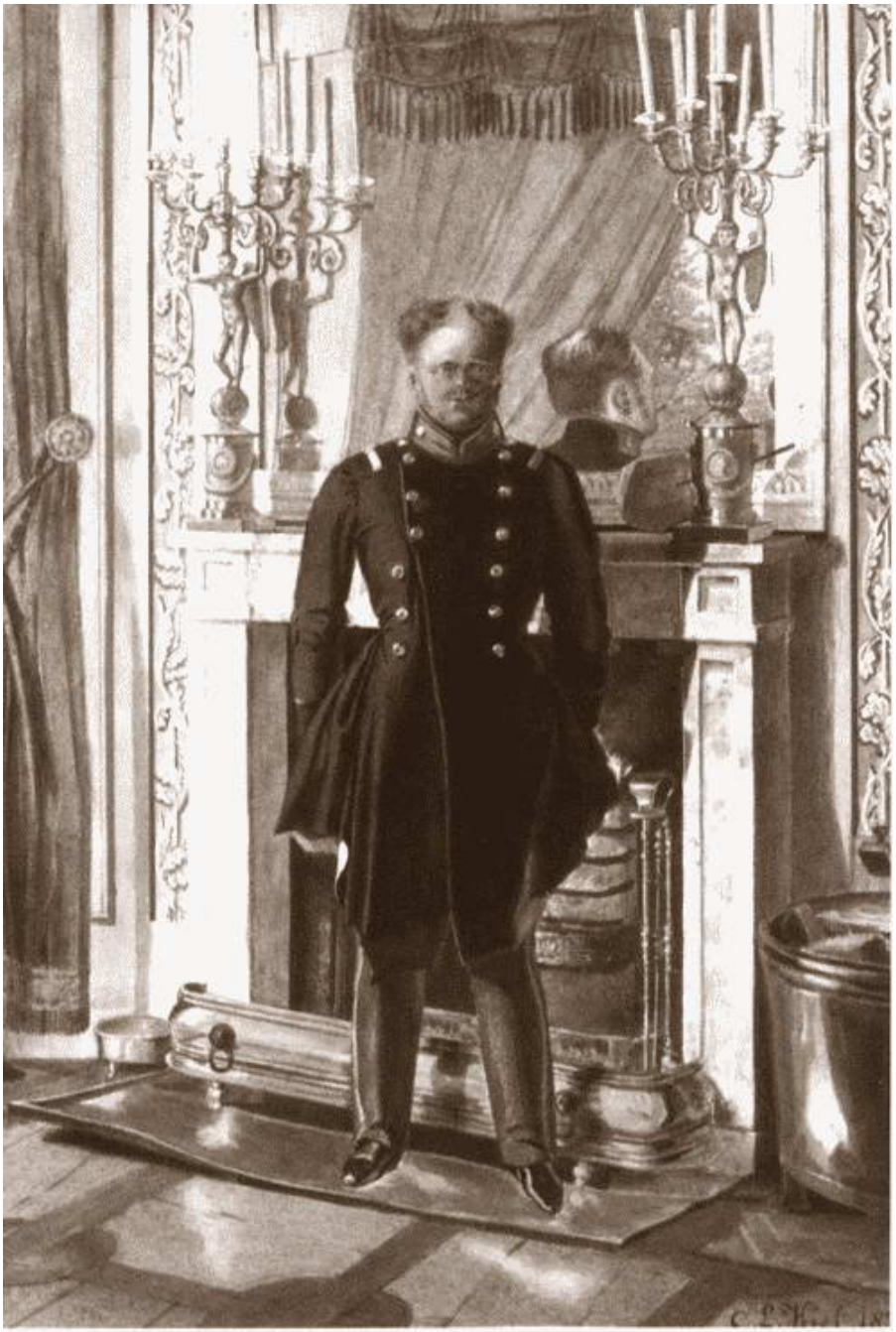
Княгиня Жанетта Лович. Литография В. Сливицкого. 1827 г.

Павел Константинович Александров

Польское восстание 1830 года. С гравюры неизвестного художника

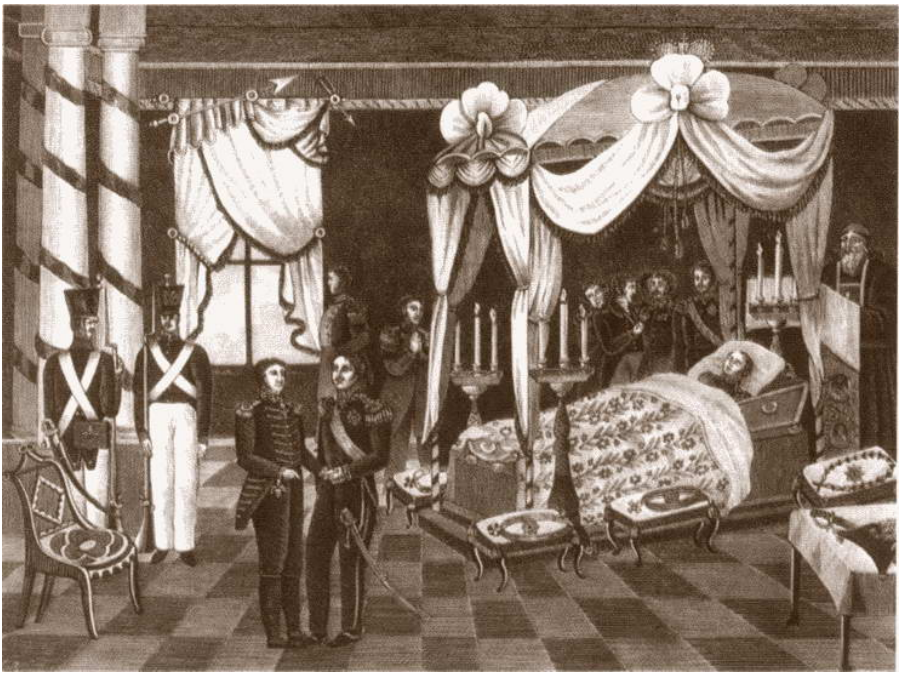
Нападение на Бельведерский дворец в 1830 году. С гравюры неизвестного художника

Манифестация в Варшаве. 1831 год. Литография XIX в.



Великий князь Константин Павлович у камина. Акварель Л. Киля. 1830 г.

Мемориальные вещи великого князя Константина Павловича: фуфайка фланелевая; воротник и обшлага с мундира польских войск; шапка фуражная лейб-гвардии Волынского полка



Поклонение телу великого князя Константина Павловича. С гравюры неизвестного художника. 1883 г.

Бюст великого князя Константина Павловича. Ф. Ковшенков (?). 1820-1830-е гг.

ISBN 978-5-235-03354-2

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

notes

Примечания

1

Поэтичные легенды об уснувшем под престолом Софийского собора императоре Константине, который однажды очнется ото сна и воцарится в любимом городе, слагали и греки.

2

Здесь и далее в квадратных скобках мы пишем расшифровку сокращений автора, а орфографию первоисточника приводим в соответствие с современными нормами.

3

То есть «мсье и мадам Вторые» *(фр.)*. Так Екатерина за глаза называла Павла Петровича и Марию Федоровну в кругу своих приближенных.

4

Ср. позднее признание Константина: «Не смею обвинять отца и не могу, однако, не сказать, что императрица, обратив все свое внимание на брата Александра Павловича, вовсе не занималась мною» (*Давыдов Д.В.* Воспоминания о цесаревиче Константине Павловиче //*Давыдов Д.В.* Военные записки. М., 1982. С. 299).

5

Осел *(лат.)*.

6

Вскоре после посещения Мраморного дворца Константина госпожа Араужо умерла — по разнесшимся в столице слухам, цесаревич вместе со своими адъютантами поступил с ней «самым злодейским образом». Далее мы рассмотрим эту историю подробнее.

Фамильные черты *(фр.)*.

8

Гороховик — сибирское дерево; *Cargana arborescens,* или акация.

9

Эспонтон — колющее древковое холодное оружие, чаще использовавшееся как парадное.

10

Вержет — взбитые спереди волосы.

11

Передайте ему от меня *(ит.)*.

12

Записка до сих пор хранится в Государственном архиве РФ.

13

Собственной персоной *(лат.)*.

14

В анекдоте поминаются, помимо Ивана Логиновича Линева (1777 — до 3 февраля 1840), Алексей Александрович Ушаков (1777 —?), во время описываемых событий штаб-ротмистр Кавалергардского полка, и граф Федор Иванович Толстой (1782—1846), по прозвищу Американец, имевший славу бретера, картежника и кутилы. См. также о Линеве: Сборник биографий кавалергардов. Т. 1. СПб., 1904. С. 401-402.

15

Последний раз Анна Федоровна упоминается в камер-фурьерском журнале 30 июля (12 августа) 1801 года: Камер-фурьерский церемониальный журнал. Июль—декабрь 1801 г. СПб., 1901. С. 66—67.

16

Видимо, речь идет о графе Н.А. Татищеве. Помянутый мемуаристом Баур (Боур) Карл Федорович (1767—1812) — сын Ф.В. Баура, с 1799 года генерал-лейтенант, шеф Павлоградского гусарского полка, отличался отвагой и весьма сомнительной нравственностью. Подробнее см.: *Файбисович В.* «Министр наслаждений» // Родина. 2010. № 3.

17

Еще одну версию событий, в целом совпадающую с остальными (притязания Константина — верность госпожи Араужо тайному любовнику — похищение ее — массовое изнасилование в Мраморном дворце — смерть), излагает П.П. Лопухин (см.: Придворная и великосветская жизнь XVIII — начала XIX в. в рас сказах П.П. Лопухина. С. 46), а также А.М. Тургенев, в рассказе которого полностью отрицается легкомыслие госпожи Араужо, а низость Константина, напротив, всячески подчеркивается; Тургенев, кстати, называет «госпожу Арауж» вдовой банкира — см.: *Тургенев А.М.* Записки // Былое. 1918. № 13. С. 165-166.

18

С солдатами *(нем.)*.

19

Каратыгин П., Сосницкий, Щепкин, Рязанцев, Асенкова. 1800 — 1841//РС. 1880. С. 293.

20

Булгарин Ф. Воспоминания. С. 197. Упоминается ротмистр Антон Леонтьевич Ганеман, командовавший эскадроном.

21

Вяземский П.А. Старая записная книжка. С. 136.

22

Там же.

23

Булгарин Ф. Воспоминания. С. 278.

24

См.: Сб. РИО.Т 88. С. 278.

25

Вяземский П.А. Старая записная книжка. С. 136.

Ермолов В. В., Рындин М.М. Управление генерал-инспектора кавалерии о ремонтировании кавалерии. Исторический очерк // Столетие военного министерства. 1802-1902. СПб., 1906. Т. 13. Кн. 3. Вып. 1. С. 112- 113. См также: *Бескровный Л.Г.* Очерки по источниковедению военной истории России. М., 1957. С. 231.

«Радуйтесь жизни» *(нем.)*.

28

Сорви розу *(нем.)*.

29

Сам Булгарин эту историю рассказывает похоже, но несколько иначе: он, например, помнит себя в костюме дикого американца и утверждает, что цесаревич, по просьбе дам, его простил (см.: *Булгарин Ф.* Воспоминания. С. 381—384).

30

Да здравствует император Александр! Да здравствует король Прусский! Да здравствует мир! Долой Наполеона! *(фр.)*.

А именно: Курляндия и Семигалия с Митавой и Либавой (современная Южная Латвия), Литва с Вильно и Гродно, западная часть Черной Руси, Западное Полесье с Брестом и Западная Волынь с Луцком.

На караул! *(нем.)*.

33

Да здравствует *(польск.)*.

Отчизна *(польск.)*.

35

Что вы тут делаете? — Учимся, ваше высочество. — Учитесь! Да знаете ли вы, что такое воинское учение? Не знаю, чем я заслужил это наказание — командовать подобными невежами! *(фр.)*.

Ср.: «“Отеческий” стиль отношений, традиционно связываемый с именем А.В. Суворова, на самом деле был типичен для всей русской армии конца XVIII в. и, в существенной степени, первых лет XIX в.». *(Бокова В.М.* Эпоха тайных обществ. М., 2003. С. 113).

37

Английский национальный гимн «Господи, сохрани короля» (1745) игрался на официальных торжествах в России до тех пор, пока композитор А.Ф. Львов и В.А. Жуковский не сочинили русский гимн «Боже, царя храни». См.: *Киселева Л.* «God save the King», или «Боже, царя храни». О путях становления гимна как национального символа // Неприкосновенный запас. 2001. № 1.

Гратис — то есть бесплатно *(лат.)*.

39

Илья Гаврилович Бибиков — адъютант великого князя Михаила Павловича. Кто такой Шевич, не установлено.

(Трубецкой С. П.). Взгляд на Милорадовича как на сторонника Константина, желавшего возвести его на престол (при поддержке столичного генералитета), наиболее распространен среди исследователей (см.: *Гордин Я.А.* Мятеж реформаторов. 14 декабря 1825 года. Л., 1989). Вместе с тем существует и точка зрения М.М. Сафонова, предполагающего, что за давлением, которое Милорадович оказывал на Николая, заставляя его присягать, стояли интриги партии императрицы-матери, также желавшей царствовать *(Сафонов М.М.* 14 декабря 1825 года как кульминация междуцарствия // 14 декабря 1825 года: Источники, исследования, историография, библиография. Вып. 4. СПб.; Кишинев, 2001. С. 61-89).

Впоследствии, впрочем, было признано, что царствование Николая I началось сразу после смерти Александра.

42

Фонвизин упоминает генерала Альбрехта — имеется в виду генерал-майор А.И. Альбрехт, командир гвардейской дивизии в Варшаве, куда входил Гродненский гусарский полк, в котором служил Лунин. Генерал был близок великому князю и был одним из четырех генералов, присутствовавших на венчании цесаревича и княгини Иоанны Грудзинской.

43

Калугер — монах, инок.

44

Мы не можем устраивать революцию ради идеи, а можем только ради имени *(фр.)*.

45

См. также беседу Трубецкого и С.П. Шипова, члена Союза благоденствия, впоследствии отошедшего от движения. Шипов замечает, что «большое несчастие будет, если Константин будет императором», так как в отличие от просвещенного Николая он — «варвар» (Там же. С. 63).

46

См., напр., дневник Г. Вилламова, который в декабре 1825 года от мечтает, что Константин «имеет много сторонников — армию, которая вы сказывается в его пользу, и затем Польшу» (РС. 1899. Т. 97. № 1. С. 102).

47

Ну, Николай, преклонитесь перед вашим братом: он заслуживает почтения и высок в своем неизменном решении предоставить вам трон *(фр.)*.

48

Ср.: «Ея императорское величество императрица Мария Федоров на, его императорское высочество великого князя Константина Павлвича не любят и всячески стараясь уклонить от престолу» — ГАРФ. Секретный архив. Ф. 109. Оп. 3. Д. 2494. Л. 1.

Один из вариантов песни, правда, не ставит точку на спасении Константином Николая — неблагодарный Николай идет в поход на Варшаву, желая арестовать Константина, Константин, пораженный вероломством брата, скрывается и становится странником (*Косованов А.* Заговор декабристов в сибирских песнях и легендах. С. 126).

Ср. исчерпывающее определение Л. Гинзбург, высказанное, правда, по поводу восприятия романтизма Вяземским, но вполне подходящее и к взглядам Пушкина: «Под заголовком романтизма может приютиться всякая художественная новизна, новые приемы, новые воззрения, про тест против обычаев, узаконений, авторитетов… всего того, что входило в уложение так называемого классицизма» (*Гинзбург Л.Я.* Вяземский — литератор // Русская проза. Л., 1926. С. 105).

Национальных *(фр.)*.

52

Ср. также стихи 1846 года Е. Растопчиной, посвященные Константину Николаевичу и прямо использующие мотивы «надписи на гробе»: «В нем все исполнились пророчества приметы / Рожден на Севере… сын Царский светлоок/ И светлорус… Его, его зовет Восток / Светилом радостного света» — ГА РФ. Ф. 722. Оп. 1. Д. 631. Л. 1 об.

53

Предречение о падении Турецкой империи, возвещенное Султану Амурату аравийским звездословом Муста-Эддыном…

54

В процитированной исторической песне Константин спасает Николая от верной гибели, которую приготовили ему «сеноторские судьи».

55

Умный да разумеет *(фр.)*.

56

Речь идет о хирурге Карле Гибентале — см.: Российский медицинский список, по высочайшему повелению издаваемый ежегодно от Министерства внутренних дел по Медицинскому департаменту на 1835 г. СПб., 1835.

57

Письмо неустановленного лица неустановленному лицу с извещением о болезни и смерти Константина Павловича, 12 июня 1831 г. Орфография письма приведена в современный вид, в квадратных скобках расшифровываются сокращения, вопросительный знак означает неуверенность в точности прочтения.

Видимо, мемуарист ошибся: адъютанта Станислава Трембицкого (1792—1830) к тому времени уже не было в живых.

59

Рассказ о судьбе Константина действительно легко мог бы стать, а в 1916 году и стал достоянием художественной литературы. Писатель, драматург, автор исторической прозы Лев Григорьевич Жданов (настоящее имя — Леон Германович Гельман, 1864—1951) написал о Константине роман — см.: *Жданов Л.Г.* Цесаревич Константин (В стенах Варшавы) // *он же.* Собрание сочинений: В 6 т. Т. 5 / Сост. Т. Прокопов. М.: ТЕРРА, 1995 («Библиотека исторической прозы»).

comments

Комментарии

1

Петров В. На всевожделенное рождение великого князя Константина Павловича*//Петров В.П.* Сочинения. СПб., 1782. 4.1.

2

Русский литературный анекдот конца XVIII — начала XIX в. М., 1990. С. 102.

З

Димитрий. Опера господина абата Метастазия, представлена на придворном ея императорского величества Царскосельском театре, на случай вожделенного рождения его императорского высочества государя великого князя Константина Павловича. Переведена с итальянского. СПб., 1779.

4

Блестящий обзор внешнеполитических проектов, связанных с Константином Павловичем, дан О.С. Каштановой; см.: *Каштанова О.С.* Великий князь Константин Павлович (1779—1831) в политической жизни и общественном мнении России. Дисс. на соискание уч. степени канд. ист. наук. На правах рукописи. М., 2000.

5

Санкт-Петербурский вестник. Месяц апрель 1779 года. С. 323.

6

Ода на благополучнейшее и радостнейшее рождение великого все российского князя Константина Павловича, всеусердно приносимая Георгием Балдани. СПб., 1779. С. 3.

7

Санкт-Петербургский вестник. Месяц май 1779 года. С. 409.

8

Екатерина — Ф.-М. Гриму, 1778, 8 июня: Сборник Русского исторического общества (далее: Сб. РИО). Т. 23. СПб., 1878. С. 91 (оригинал по-французски).

Екатерина — Гриму, 1779, 7 мая: Там же. С. 136.

10

Стерн Л. Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена / Пер. А. Франковского (Серия «Библиотека всемирной литературы»). М., 1968. С. 64.

11

Четыре книги Евсевия Памфила, епископа Кесарии Палестинской, о жизни блаженного царя Константина // Сочинения Евсевия Памфила, переведенные с греческого при Санкт-Петербургской Духовной Академии. СПб., 1850. Т. 2. С. 81.

12

Об архитектурном облике Константинополя см., напр.: *Краутхаймер Р.* Три христианские столицы. Топография и политика. Рим. Константинополь. Милан. СПб., 2000. С. 45—74.

13

Цит. по: *Васильев Л.Л.* История Византийской империи. От начала Крестовых походов до падения Константинополя. СПб., 2000. С. 359.

14

Там же.

15

Повесть о взятии Царьграда турками в 1453 году// Библиотека литературы Древней Руси. Т. 7: Вторая половина XV века. СПб., 2000. С. 65.

16

См.: *Макарий (Булгаков), митр.* История Русской Церкви. М., 1995. Кн. 3. С. 356.

17

См.: *Малинин В.Н.* Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания. Историко-литературное исследование. Киев, 1901; *Stremoukhqff D.* Moscow the Third Rome: Sources of the Doctrine // Speculum. A Journal of Mediaeval studies. V. XXVIII. Cambridge. P. 84—101.

18

См.: *Плюханова М.Б.* Сюжеты и символы Московского царства. М., 1995. С. 113—120; Сказание о Киевских богатырях, как ходили во Царьград и как побили цареградских богатырей, учинили себе честь // Былины новой и недавней записи, из разных местностей России / Под ред. В.Ф. Миллера. М., 1908. С. 279-289.

19

См., напр.: «Илья Муромец и Константин Боголюбович» (Песни, собранные П.Н. Рыбниковым. Петрозаводск, 1990. Т. 2. С. 392); «Илья Муромец и Идолище поганое» (Там же. С. 233—235).

20

Повесть о взятии Царьграда. С. 29.

21

Каптерев Н.Ф. Характер отношения России к православному Востоку в XVI и XVII столетиях. М., 1885; *Жигарев С* Русская политика в восточном вопросе. Ее история в XVI—XIX веках, критическая оценка и будущие задачи. Историко-юридические очерки. М., 1896. Т. 1—2.

22

Смилянская Е. Б., Смилянская И. Л/., Велижев М.Б. Россия в Средиземноморье. Архипелагская экспедиция Екатерины Великой. М.: Индрик, 2012. С. 9—11. См также: *Hoesch E.* Das sogenannte 'griechische Projekt' Katharinas II // Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas. 12 (1964). P. 181; *Ragsdale H.* Russian projects of conquest in the eighteenth century // Imperial Russian foreign policy / Ed. and transl. by Huch Ragsdale. Cambridge, 1993. P. 82.

Улянищкий В.А. Дарданеллы, Босфор и Черное море в XVIII веке. М., 1883. С. 107-130.

24

Зорин А.Л. Кормя двуглавого орла… (Русская литература и государственная идеология в последней трети XVIII — первой трети XIX века). М., 2001. С. 50. Ср. также: *Достоевский Ф.М.* Дневник писателя // Полное собрание сочинений: В 30 т. Л., 1984. Т. 26. С. 83.

25

Архипелагская экспедиция, первая русско-турецкая война совершенно взрыхлили почву для будущего «греческого проекта». Его историю и подробную библиографию вопроса см.: *Зорин А.Л.* Кормя двуглавого орла…; *Смилянская Е.Б., Смилянская И.М., Велижев М.Б.* Россия в Средиземноморье…

26

Письмо греков Екатерине (из бумаг графа Г.Г. Орлова) / Сообщ. И.А. Орлов // Сб. РИО. СПб., 1868. Т. 2. С. 285.

27

См.: Академические известия на 1779 год. Ч. 2. Июль. С. 322. См. также Приложения.

28

Донесения графа Куруты цесаревичу Константину Павловичу: Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 728. Оп. 1. Е. х. 1026. Ч. 1.Л.60.

29

Маркова О.Я. О происхождении так называемого греческого проекта // Проблемы методологии и источниковедения истории внешней политики России / Под ред. А.Л. Нарочницкого. М., 1986. С. 29.

30

Балдани Г. Ода на всеобщее Россам и Грекам всерадостное торжество тезоименитства Великого Всероссийского князя Константина Павловича. СПб., 1781. С. 10. См. также: *Балдани Г.* Ода ея императорскому величеству Государыне Екатерине II, самодержице всероссийской, истинной покровительнице греков, сочиненная на Еллиногреческом языке греческой гимназии учеником Георгием Балдани. СПб., 1779; Стихотворение Ф.Н. Голицына // Академические известия на 1779 год. Ч. II. Июнь. С. 187; *Петров В.П.* Сочинения. СПб., 1811. Ч. 1. С. 184.

31

Академические известия на 1780 год. Ч. V С. 98.

Nicol D. M. The Immortal Emperor. Cambridge, 1992. P. 105—106.

33

Историю перевода предсказания и дальнейшего распространения его на Руси см.: *Heinz M.* Der nazarether Mitropolit Gabriel und seine russische Ubertragung der mit dem Namen Patr. Gennadios 11. verknuepften Orakeldeutung uber das Schicksal Konstantinopoles // Cyrillomethodianum. T. VIII—IX. Thessalonique, 1984-1985. S. 121-149.

34

Предречение о падении Турецкой империи, возвещенное Султану Амурату аравийским звездословом Муста-Эддыном, с присовокуплени ем к сему любопытного предсказания стошестилетнего старца Мартына Задека о взятии Константинополя, столицы Турецкой империи… С. 35— 37 (книга пережила несколько переизданий — в 1789, 1828 годах, когда она переиздавалась дважды, и в 1854 году).

35

Екатерина — Иосифу II, 10 сентября 1782 г.: Русский архив (далее: РА). 1880. Т. 1.С. 290.

Себаг-Монтефиоре Саймон. Потемкин / Пер. с англ. Н. Сперанской, С. Панова; прим. Н. Сперанской. М., 2003. С. 255—256.

37

Цит. по: *Шильдер Н.К.* Император Павел. М., 1996. С. 196-198.

38

Екатерина — великому князю Константину Павловичу, 1787: Сб. РИО. СПб., 1880. Т. 27. С. 409.

39

Екатерина — великому князю Константину Павловичу, 1787: Там же. С. 410-411.

Храповицкий А.В. Дневник. М., 1901. Далее ссылки на это жеиздание, страницы в котором не пронумерованы.

41

Екатерина II — Потемкину: Екатерина II и Потемкин. Личная пере писка. 1769-1791 / Изд. подг. В.С. Лопатин. М., 1997. С. 319.

42

Храповицкий А.В. Дневник. Запись от 30 октября 1789 года.

Карнович Е. Цесаревич Константин Павлович. Биографический очерк — в кн.: *Карнович Е.* Собрание сочинений. М., 1995. Т. 3. С. 383— 384.

Там же. С. 384. Здесь и далее цитируемый текст приведен в соответствие с современными нормами орфографии и синтаксиса, кроме особо оговоренных случаев.

Арш Г.Л. Этеристское движение в России. М., 1970. С. 87.

См. об этом: *Майофис М.Л.* Музыкальный и идеологический кон текст драмы Екатерины «Начальное управление Олега» // Русская филология. Вып. 7. Тарту, 1996.

Сочинения императрицы Екатерины II. СПб., 1901. Т. 2. С. 259 — 304.

Wortman R. S. Scenarios of Power. Myth and Ceremony in Russian Monarchy. Vol. 1. Princeton, New Jersey (Princeton University Press), 1995. P. 138—139. Русский перевод: *Ричард С. Уортман.* Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии от Петра Великого до смерти Николая I. М., 2002 (авторизированный перевод С.В. Житомирской, ред. И.А. Пильщиков, Т.Н. Эйдельман).

49

Зорин А.Л. Кормя двуглавого орла… С. 125—141; *Себаг-Монтефиоре Саймон.* Потемкин. С. 443—445.

Цит. по: *Зорин А.Л.* Кормя двуглавого орла… С. 132.

Булгарин Ф. Воспоминания. М., 2001. С. 693—694.

Энгельгардт Л.Н. Записки. М., 1997. С. 132.

Глинка Ф.Н. Письма русского офицера. М., 1987. С. 158—159.

Соловьев С.М. История падения Польши. Восточный вопрос. М., 2003. С. 304.

55

По некоторым сведениям, подобное предложение звучало и в 1787 году — см.: *Каштанова О.С.* Великий князь Константин Павлович… С. 76-80.

Pienkos A. The Imperfect Autocrat Grand Duke Constantine Pavlovich and the Polish Kongress Kingdom (далее: *Pienkos.* The Imperfect Autocrat). С. 2. Ср.: «Титул польского царя никогда не уживется с титулом Императора и Самодержца Всероссийского. Объединить их невозможно: они означают настолько разные сущности и предполагают столь различные обязанности, что один и тот же Государь не может совместить их, не вызвав недовольства или одной, или другой нации, а может быть, и обеих» (Записка, представленная императору гном Поццо ди Борго // *Тургенев Н.И.* Россия и русские. М., 2001. С. 496).

Записки императрицы Екатерины II. СПб., 1907. С. 720.

Маркова О.П. О происхождении так называемого греческого проекта. С. 29. Похожую точку зрения см. также: *Миллер А.Ф.* Краткая история Турции. М., 1948.

Маркова О.П. О происхождении так называемого греческого проекта. С. 40.

Достян И.С. Планы основания славяносербского государства с помощью России в начале XIX в. // Славяне и Россия. К 70-летию со дня рождения С.А. Никитина. М., 1972. С. 102.

61

Первое сербское восстание 1804—1813 гг. и Россия. Т. 1—2. М., 1980. Т. 1.С. 218.

62

См.: *Donald M. Nicol.* The Immortal Emperor. Cambridge University Press, 1992. P. 74—109 (главы 5 и 6).

63

Глинка Ф. На войну с турками 1828 года // Радуга. Литературный и музыкальный альманах на 1830 год. М., 1829. С. 77.

Подробнее см.: *Осповат А. Л.* «Олегов щит» у Пушкина и Тютчева (1829) //Тыняновский сборник: 2-е Тыняновские чтения. Рига, 1986. С. 64.

Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. Т. 26. С. 83, 85.

Леонтьев К. Собрание сочинений. М., 1912. Т. 5. С. 421. См. так же 5-е письмо Леонтьева к В.С. Соловьеву: *Леонтьев К.* Избранное. М., 1993. С. 66.

См.: *Зорин А.Л.* Кормя двуглавого орла… С. 51.

68

См. письмо Екатерины Орлову от 19 июля 1770 года, где она пишет о «христианской республике»: Сб. РИ О.Т. 1. СПб., 1867. С. 41.

69

Цит. по: *Осповат А.Л.* К прениям 1830-х гг. о русской столице // Лотмановский сборник. М., 1995. С. 482.

Мориоль, граф. Великий князь Константин Павлович и его двор (1810-1833) // Русская старина (далее: РС). 1902. Август. С. 544.

71

Константин Павлович — Ф.П. Опочинину (Варшава, 19 февраля 1826): ГАР Ф.Ф. 1055. Оп. 1. Е. х. 2. Л. 11.

72

Цит. по: *Шильдер Н.К.* Император Александр Первый. Его жизнь и царствование. СПб., 1904. Т. 1. С. 25.

Локк Дж. Педагогические сочинения. М., 1939. С. 217.

Екатерина. Избранные сочинения. СПб., 1890. Т. 1. С. 1.

Грибовский А. Записки о императрице Екатерине Великой. М., 1989. Сб.

Мемуары Адама Чарторижского и его переписка с императором Александром I. Т. 1. М., 1912 (далее: *Чарторижский.* Мемуары). С. 101.

77

Инструкция князю Николаю Ивановичу Салтыкову при назначении его к воспитанию великих князей // Сочинения императрицы Екатерины II. С. 201-210.

Там же. С. 217.

79

Инструкция князю Николаю Ивановичу Салтыкову… С. 205—248.

Локк Дж. Педагогические сочинения. С. 196.

81

Сухомлинов М.И. Фридрих-Цезарь Лагарп — воспитатель императора Александра I. СПб., 1871. С. 29.

82

См.:ГАРФ. Ф.679.0п. 1. Е. х. 1. Л. 21.

83

ГАР Ф.Ф. 1055. Оп. 1. Е. х. 1. Л. 31.

84

См. напр.: «Великому князю Константину Павловичу невозможно было царствовать» // Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских. 1871. Кн. 3 (июль—сентябрь). С. 134.

85

Кобеко Д.Ф. Цесаревич Павел Петрович (1754-1796). СПб., 2001. С. 357. Князь Долгорукий — поручик лейб-гвардии Семеновского полка И.М. Долгоруков. См.: *Долгоруков И.М.* Повесть о рождении моем, происхождении и всей жизни. С. 96, 102—103.

PC. T. 1.C. 42, 121, 123-124.

Там же. С. 415.

Сб. РИО.Т. 5. С. 415.

89

Эту историю приводит в своих записках Ш. Массой: РС. 1875. Т. 15. Мы ее цитируем по: *Карнович Е.П.* Цесаревич Константин Павлович. С.402.

Сб. РИ О.Т. 23. С. 678-679.

Локк Дж. Педагогические сочинения. С. 97.

Там же. С. 118.

93

Корф М.А. Материалы и черты к биографии императора Николая I и к истории его царствования: Рождение и первые двадцать лет его жизни (1796-1817) // Сб. РИО. СПб., 1896. Т. 98. С. 21.

Сб. РИ О.Т. 5. СПб., 1870. С. 54-55. См. также письма великого князя Н.И. Салтыкову: ГАР Ф.Ф. 728. Оп. 1. Д. 226.

95

Сб. РИ О.Т. 5. С. 56.

Там же. С. 59.

Мориоль. Великий князь Константин Павлович. С. 300.

Карнович Е.П. Цесаревич Константин Павлович. С. 404.

Раменский А. Цесаревич Константин Павлович. М., 1913. С. 13—14.

100

Там же.

101

Массон Ш. Секретные записки о России времени царствования Екатерины II и Павла I / Вступ. ст. Е.Э. Ляминой, А.М. Пескова; подг. текста Е.Э. Ляминой, Е.Е. Пастернак. М., 1996. С. 110.

102

Греч Н.И. Записки о моей жизни. М.; Л., 1930. С. 208. См. также: РС. 1875. Т. 12; Из записок графини Эдлинг// Р.А. 1887. № 2. С. 215; *Толстой Ф.П.* Записки. М., 2001. С. 140.

103

Сб. РИО. Т. 5. С. 60.

Чечулин Н. Константин Павлович // Русский биографический словарь. Том «Кнаппе — Кюхельбекер». СПб., 1903. Стб. 161.

Рассказы бабушки. М., 1988. С. 293.

106

Болотов А.Т. Памятник претекших времен, или Краткие исторические записки о бывших происшествиях и носившихся в народе слухах — в кн.: Записки Андрея Тимофеевича Болотова. 1737—1796 / Сост., послесл., прим. В.Н. Ганичева. Тула, 1988. Т. 2. С. 382.

107

Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 2. On. l.E.x. 124.Л.56.

108

Массой Ш. Секретные записки о России времени царствования Екатерины II и Павла I. С. 35.

109

Принцесса Саксен-Заальфельдкобургская Юлия Генриетта Ульрика родилась 23 сентября 1781 года.

Р.А. 1869.№7.Стб. 1091.

111

Там же. Сгб. 1096.

Болотов Л.Т. Памятник претекших времен… Т. 2. С. 446.

113

Там же. С. 424.

114

Массой Ш. Секретные записки о России времени царствования Екатерины II и Павла I. С. 31.

115

См.: *Песков А.М.* Павел I. М., 1999 (серия «ЖЗЛ»). С. 152-154, 170.

Болотов А.Т. Памятник претекших времен… С. 383.

117

См.: *Чарторижский.* Мемуары. С. 77.

118

Петров В.П. Ода на всевожделенное бракосочетание его императорского высочества великого князя Константина Павловича с императорским высочеством великой княжною Анною Федоровною. СПб., 1799. С. 7.

119

Болотов А.Т. Памятник претекших времен… Т. 2. С. 446—447.

Головина В.Н. Записки. С. 71-72.

121

Массон Ш. Секретные записки о России времени царствования Екатерины II и Павла I. С. 109.

Чарторижский. Мемуары. С. 114.

123

Записки генерала Н.А. Саблукова о временах императора Павла I и о кончине этого государя. М., 2002 (далее: *Саблуков)*. С. 23.

Комаровский Е.Ф. Записки. М., 1990. С. 36.

125

Саблуков. С. 24.

Там же. С. 39.

127

PC. 1895. T. 5. C. 47.

Чарторижский. Мемуары. С. 95.

129

«Великому князю Константину Павловичу невозможно было царствовать». С.134.

Константин — Лагарпу. С. 58—59.

131

Шильдер И.К. Император Павел. С. 289.

Там же. С. 290.

Лубяновский Ф.П. Воспоминания. М., 1872. С. 98.

134

Цит. по: *Песков А.М.* Павел. С. 313. В этой поэтической биографии императора Павла данная история приведена полностью. Мы не могли отказать себе в удовольствии воспроизвести ее.

135

О роли архистратига Михаила в жизни императора см.: Там же. С. 35—37. О пророчествах и беседах монаха Авеля с Павлом: *Архангельский А.Н.* Александр I. М., 2000. С. 67-71, 102-103.

136

Шишков А.С. Записки, мнения и переписка. Т. 1. Берлин; Прага, 1870. С. 12-13.

137

Комаровский Е.Ф. Записки. С. 37.

138

«Великому князю Константину Павловичу невозможно было царствовать». С. 136.

139

Комаровский Е.Ф. Записки. С. 43.

Болотов А.Т. Записки. Тула, 1988. Т. 1-2. С. 423-424. См. также С. 447-448.

141

См.: *Булгарин Ф.* Воспоминания. С. 107; *Комаровский Е.Ф.* Записки. С. 44.

Цилов Н. Описание жизни Н. И.И. // РА. Т. 2. 1907. № 8. С. 461.

Киреев М.Н. Записки // РС. 1890. Т. 3. С. 25-26.

Комаровский Е.Ф. Записки. С. 47.

Вяземский П.А. Старая записная книжка. М., 2000. С. 96.

Шильдер Н. К Император Павел. С. 363.

147

Державин Г.Р. Снегирь.

*Шильдер Н.*Император Павел. С. 382.

149

Комаровский Е.Ф. Записки. С. 50.

150

Русский биографический словарь. Том «Суворов — Ткачев». СПб., 1912. Стб.61.

151

Милютин Д.А. История войны 1799 года между Россией и Францией в царствование императора Павла I. СПб., 1852. Т. 1. С. 350.

Там же. С. 379.

153

Старков И. Рассказы старого воина о Суворове. М., 1847 (цит. по: *Петрушевский А.* Генералиссимус князь Суворов. Т. 3. СПб., 1884. С. 251).

154

Суворов А.В. Документы. Т. 4. 1799—1800. М., 1953. Из донесения А.В. Суворова Павлу от 3 октября 1799 года.

155

Державин Г.Р. Переход в Швейцарию чрез Альпийские горы российских императорских войск, под предводительством генералиссимуса Суворова. 1799. СПб., 1800. С. 11.

Суворов А.В. Письма/ Изд. подг. В.С. Лопатин. М., 1986. С. 367.

157

Головина В. Записки. С. 145—146.

Комаровский Е.Ф. Записки. С. 60.

159

Муза на 1796 год. Ч. 1.

Саблуков. С. 65.

161

Там же. С. 70.

162

См.: Цареубийство 11 марта 1801 года. СПб., 1907. С. 138—140.

163

Там же. С. 136.

Саблуков. С. 74.

165

Там же. С. 77-78.

166

Константин Павлович — Л. П.Э. Биньону, 31 января (12 февраля) 1830 г.: РГАД А.Ф. 1. Оп. 1. Д. 12. Л. 1 об.

Эйдельман Н.Я. Грань веков. М., 2004. С. 378.

168

Лонжерон. Записки // Цареубийство 11 марта 1801 г. С. 145—147.

169

Эйдельман Н.Я. Грань веков. С. 437—442.

Де-Санглен Я.И. Записки. 1776-1831 // РС. 1883. № 1. С. 3-4.

171

Саблуков. С. 97.

Трубецкой С.П. Записки. 1844—1845 <1854> гг. // Мемуары декабристов. М., 1988. С. 37.

Русская историческая песня. М., 1987 (Серия «Библиотека поэта») / Вступ. ст., сост., прим., ред. Л.И. Емельянова. С. 326.

Придворная и великосветская жизнь XVIII — начала XIX в. в рас сказах П.П. Лопухина / Вступ. ст., коммент., подготовка текста и публ. А.В. Шаврова, И.М. Смирновой // Отечественные архивы. 1998. № 4. С. 61. Ср. также: *Головина В.Н.* Записки. СПб., 1900. С. 150.

175

Придворная и великосветская жизнь XVIII — начала XIX в. в рассказах П.П. Лопухина. С. 62.

Тургенев Л.М. Воспоминания// Былое. 1918. № 13. С. 163.

177

Pienkos. The imperfect Autocrat. P. 12; *Николай Михайлович, вел. кн.* Генерал-адъютанты императора Александра I. СПб., 1913. С. 139.

Смирнова-Россет Л.О. Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 576.

179

Русская историческая песня. С. 327.

Шишкин М. Русская Швейцария. Литературно-исторический путеводитель. Цюрих, 2001. С. 61, 246—248.

181

Онучков Н.Е. Запрещенные песни о Константине и Анне // Известия по русскому языку и словесности. 1929. Т. 2. Кн. 1. Л., 1929. С. 275— 276.

Там же. С. 288-289.

Эдлинг Р.С. Записки //Державный сфинкс. М., 1999. С. 176.

Греч Н.И. Записки о моей жизни. М., 2002. С. 149.

185

Штейнгель В.И. «Автобиографические записки» // *Штейнгель В.И.* Сочинения и письма. Иркутск, 1985. Т. 1. С. 153—154.

Толстой Ф.П. Записки. М., 2001. С. 140.

187

См.: РС. 1875. Т. 12. № 3. С. 629-632.

См.: *Лейбов Р.* Секст Тарквиний или принц Гарри? (Из заметок о «Графе Нулине») // The Real Life of Pierre Delalande: Studies in Russian and Comparative Literature to Honor Alexandr Dolinin. Stanford: Stanford Univer sity Press, 2007. P. 60.

189

Дневник статс-секретаря Григория Ивановича Вилламова // РС. 1912. Т. 149. № 1.С. 32.

190

Лямина Е. Э., Эдельман О.В. Дневник императрицы Елизаветы Алексеевны // Александр I: «Сфинкс, не разгаданный до гроба…» [Каталог выставки в Государственном Эрмитаже]. СПб., 2005. С. 117.

Bortnowski W. Wielki Ksiaze Konstantyn. Joanna Grudzinska. S. 49— 50.

192

ГАРФ.Ф. 1055. Оп. 1.Д. 27.

193

См.: *Каштанова О.С.* Великий князь Константин Павлович… С. 189,260.

Колзаков К. П. Воспоминания // РС. 1873. Т. 7. № 1-6. С. 440.

195

Муравьев Я.Я. Записки // Р.А. 1885. Кн. 3. № 9-10. С. 492.

Давыдов Д.В. Воспоминания о цесаревиче Константине Павловиче. С. 302.

197

ГА РФ. Ф. 728. Оп. 1. Д. 906. Л. 1.

198

См. письмо Константина Павловича П.М. Волконскому от 3 апреля 1828 года: Институт русской литературы Академии наук (ИРЛИ). Ф. 265. Оп. 2. Е. х. 2324.

199

Обстоятельства крестин Павла Александрова подробно излагаются в письме Константина Павловича князю Петру Михайловичу Волконскому (Там же).

200

ГА РФ. Ф. 728. Оп. 1. Д. 913; Переписка Константина Павловича с Ф.П. Опочининым. 1816-1826// РС. 1873. Т. 7. С. 458.

201

Три письма цесаревича Константина Павловича к П.И. Линдстрему//РС. 1910. Т. 144. № 10. С. 141.

РС. 1902. № 8. С. 298.

203

См.: ГА РФ. Ф. 728. Оп. 1. Д. 1026. Ч. 1. Л. 53; Ч. 2. Л. 7, 71.

Там же. Ч. 2. Л. 72.

ИРЛИ. Р. I. Оп. 1. Д. 15 (personalia). Л. 11, 90.

206

Долли Фикельмон. Дневник 1829—1837 // Весь пушкинский Петербург / Публ. и коммент. С. Мрочковской-Балашовой. М.: Минувшее, 2009. С. 193.

ИРЛИ. Р. Оп. 1. Д. 15 (personalia). Л. 82.

Булгарин Ф. Воспоминания. С. 182.

209

Из записной книжки Коленкура. 16 ноября 1810 года // Р.А. 1908. Кн. 2. № 5. С. 28-29.

210

Домашний памятник Н.Г. Левшина // РС. 1875. Т. 8. № 12. С. 66.

211

Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 1. СПб., 1899. С. 293.

Крестовский В.В. Уланы Цесаревича Константина. Эпизод из истории Уланского Его Величества полка // Русский вестник. 1875. № 12.

213

Греч Н.И. Записки о моей жизни. С. 434.

Греч Н.И. Записки о моей жизни.

215

Вяземский П.А. Старая записная книжка. С. 69—71.

Глинка Ф. Письма русского офицера. М., 1987. С. 4.

Там же. С. 6.

Ермолов Л.П. Записки. М., 1991. С. 145.

219

Тартаковский А.Г. Неразгаданный Барклай. М., 1996. С. 71—72.

Ермолов Л.П. Записки.

Жиркевич И. С Записки // РС. 1874. № 8. С. 651.

Муравьев Л.Н. Сочинения и письма. Иркутск, 1986. С. 102.

Жиркевич И. С Записки. С. 651.

Тартаковский Л.Г. Неразгаданный Барклай. С. 99—100.

Михайловский-Данилевский А.И. Записки // Исторический вестник. 1912. С. 141.

Эдлинг Р.С. Записки. С. 176.

227

Там же. См. также: *Давыдов Д.В.* Воспоминания о цесаревиче Константине Павловиче. С. 299.

228

Впервые указано О.С. Каштановой: Великий князь Константин Павлович… С. 286. См. также: Камер-фурьерский церемониальный журнал. Июль—декабрь 1812 года. СПб., 1910. С. 28, 616.

229

Камер-фурьерский церемониальный журнал. Январь—июнь 1811 года. СПб., 1910. С. 97-98.

230

Цит. по: *Шильдер Н.К.* Император Александр Первый. Т. 3. С. 381. См. также: *Шишков.* Записки, мнения, переписка. Берлин, 1870. Т. 1. С. 179—172; Полное собрание законов Российской империи. № 25295, от 25 декабря 1812 г.

231

Константин Павлович — графу В.Ф. Васильеву. 1812—1814: Р.А. 1882. Кн. 1.С. 143.

Тургенев Н.И. Россия и русские. М., 2001. С. 27.

233

Михайловский-Данилевский А.И. Мемуары. 1814—1815. СПб., 2001. С. 27.

Деминский Я. С. Русские в Париже. СПб., 1814. С. 17.

235

Отношение управляющего военным министерством цесаревичу 17 июня 1814 г.: *Сокольский М.* К биографии цесаревича Константина // РС. 1907. № 1.С. 21.

Михайловский-Данилевский А.И. Мемуары. С. 39.

237

Собрание высочайших манифестов, грамот, указов, рескриптов, приказов войскам и разных извещений, последовавших в течение 1812, 1813, 1814, 1815 и 1816 гг. СПб., 1816. С. 153.

Р.А. 1897. Кн. 3. С. 271.

Деминский Я. С. Русские в Париже. С. 25.

Там же. С. 62.

Тарле Е.В. Наполеон. М., 1939. С. 267.

Карпович Е. Цесаревич Константин Павлович. С. 469; Из рассказов старого лейб-гусара// Р.А. 1887. № 10. Кн. 3. С. 194-195.

243

Великий князь Константин Павлович. Запись сообщений о нем К.П. Колзакова и А.В. Фрейгенга: ИРЛ И.Ф. 265. Оп. 2. Д. 2331. Л. 1.

244

На приезд вел. кн. Константина Павловича в 1814 году в Павловск из Парижа. Отрывок: разговор режиссера с актером. Из бумаг Савицкого Ивана Ивановича: ИРЛ И.Ф. 265. Оп. 3. Е. х. 64. Л. 1.

245

Ходасевич В. Матери //*Ходасевич В.* Стихотворения. Л., 1989 (Большая серия «Библиотека поэта»). С. 279.

246

Собрание высочайших манифестов, грамот, указов, рескриптов, приказов войскам и разных извещений, последовавших в течение 1812, 1813, 1814, 1815 и 1816 гг. С. 103-104.

247

Цит. по: *Шильдер Н.К.* Император Александр Первый. Т. 3. С. 264.

248

Тургенев Н.И. Россия и русские. С. 41. Записка Ланского неизвестна, однако взгляды Ланского выясняются из его переписки с Александром; см.: *Богданович М.И.* История царствования Александра I и России в его время. Т. 4. С. 575.

249

Ашкенази Ш. Царство Польское. 1815—1830 / Предисл. А.А. Кизеветтера; пер. с польск. В. Высоцкого. М., 1915. С. 20. Меморандум Штейна от 12 октября 1814 года приводится в книге полностью.

Тургенев Н.И. Россия и русские. С. 498—499.

Ашкенази Ш. Царство Польское. С. 20.

Там же. С. 24.

253

Тайная полиция на Венском конгрессе // РС. 1913. № 12. С. 571—572. Опечатка, допущенная в «Русской старине», нами исправлена; кавычки в тексте указывают на то, что это точный перевод из книги с одноименным названием Августа Фурнье. Речь здесь, в частности, идет о Густаве Оттоновиче фон Штакельберге (1766—1850), делегате России на Венском конгрес се и, по-видимому, Миклоше Иосифе Эстерхази-младшем (1765—1833).

Обушенкова Л.А. Королевство Польское в 1815 и 1830 гг. М., 1979. С. 49.

Греч Н.И. Записки о моей жизни. М., 2002. С. 148; *Bortnowski W.* Wielki Ksiaze Konstantyn i Joanna Grudzinska. S. 47—49.

Ростопчин Ф.В. Ох, французы. М., 1992. С. 273.

Пыпин А.Н. Русское масонство XVIII и первой четверти XIX в. Пг, 1916. С. 553-554.

Глинка Ф. Письма русского офицера. М., 1987. С. 67.

Чарторижский. Мемуары. Т. 1. С. 310.

Колзаков К.П. Воспоминания. С. 425.

Там же. С. 427.

Одинцов А.А. Посмертные записки генерала от инфантерии // РС. 1889. № 11. С. 314.

Чарторижский. Мемуары. С. 148.

Askenazi Sz. Ministeryum Wielhorskiego. 1815—1816. Dodatek 1812— 1813-1814. Warszawa, 1898. S. 15-16.

265

PC. 1905. T 3. C 602.

Эйдельман Н.Я. Герцен против самодержавия. М., 1973. С. 142.

267

Р.А. 1878.№9.Стб. 1720.

268

Беседы и частная переписка между императором Александром и князем Адамом Чарторижским, опубликованные князем Владиславом Чарторижским / Пер. с фр. С. Явленской. М., 1912. Письмо от 17 (29) июля 1815 г. С. 265—266 (далее: Беседы и частная переписка…).

269

Там же. С. 280. Письмо от 31 июля 1815 г.

Шильдер Н. К. Император Александр Первый. Т. 3. С. 326.

271

Беседы и частная переписка… С. 292. Письмо от 6 февраля 1816 г.

Сапега Л. Мемуары. Пг., 1915. С. 93.

Видок Фиглярин. Агентурные записки и письма Ф.В. Булгарина в III отделение / Сост. А.И. Рейтблат. М., 1998. С. 262.

Опочинин К. Ф. Из дневника // РС. 1908. Т. 135. № 9. С. 479-480. Современники засвидетельствовали, что однажды во время учебных маневров цесаревич в сердцах назвал Куруту «коровой»: *Веригин Н.В.* За писки // РС. 1893. № 2. С. 432.

Круковская Л. Шлиссельбургский узник Валериан Лукасиньский (по книге проф. Шимона Аскенази «Лукасиньский»). Пг., 1923. С. 23.

Массон Ш. Секретные записки о России времени царствования Екатерины II и Павла I. С. 144.

Тимирязев Ф.И. Страницы прошлого. М., 1884. С. 24.

Там же. С. 28.

Гагарин И.С. Дневник. Записки о моей жизни. Переписка / Сост., вступ. ст., пер. с фр., коммент. Р. Темпеста. М., 1996. С. 174.

Чайковский М. Записки // РС. 1896. Т. 85. № 2. С. 393.

281

Луганин А.И. Опыт истории Лейб-гвардии Волынского полка. Варшава, 1884-1889. С. 114-116.

282

Максимович М. Воспоминания о польском восстании 1830 года и о в Бозе почившем великом князе, цесаревиче Константине Павловиче. СПб., 1875. С. 35.

Тимирязев Ф.И. Страницы прошлого. СП.

Колзаков К. П. Рассказ // РС. 1870. Т. 1. С. 498.

285

Макаров Н.П. Цесаревич Константин Павлович и его время в Варшаве. Очерки из воспоминаний старого литовца. СПб., 1881. С. 9. См. также о том же конфликте: *Веригин Н.В.* Записки // РС. 1893. Т. 77. С. 405-411.

Песков А.М. Павел I. С. 29.

Успенский Б.А. Царь и патриарх. Харизма власти в России. Византийская модель и ее русское переосмысление. М., 1998. С. 20.

Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России. М., 1994. С. 102.

289

Цит. по: *Pienkos.* Op. cit. P. 62.

Чайковский М. Записки. С. 391.

Тимирязев Ф.И. Страницы прошлого. С. 39.

Беседы и частная переписка… С. 300.

293

История эта подробно изложена у Шильдера; см.: Император Александр Первый. Т. 4. С. 19-20.

Воспоминания А.П. Араповой; цит. по: *Эйдельман Н.Я.* Лунин. М., 1970. С. 29.

295

Макаров Н.П. Цесаревич Константин Павлович и его время в Варшаве. С. 5—7.

Сироткин В.Г. Лазар Карно на пути в Россию (Из истории политической эмиграции «Ста дней» 1815—1818) // Французский ежегодник за 1972 г. М., 1974. С. 193—220. См. также: *Каштанова О.С.* Великий князь Константин Павлович… С. 95—99.

РС. Т. 102. №4. С. 99.

14 декабря 1825 года и его истолкователи. М., 1994. С. 217.

299

Российская государственная библиотека, Отдел рукописей (ОР РГБ). Ф. 218. Е. х. 895. Л. 322 (Сборник исторический о царствовании Екатерины II, Павла I и Александра I).

300

Письма германской принцессы о русском дворе (1795) // Р.А. 1869. № 7. Стб. 1094.

301

РС. Т. 102. №4. С. 115.

Там же. С. 105.

Шуазель-Гуфье С. Исторические мемуары // Державный сфинкс. М., 1999.

304

Великий князь Константин — Сипягину, И (23) октября 1816 года. Цит. по: *Шильдер Н.К.* Император Александр Первый. Т. 4. С. 62.

305

Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре (Быт и традиции русского дворянства. XVIII — начало XIX в.). СПб., 1994. С. 195.

Шильдер Н. К. Император Александр Первый. Т. 4. С. 456.

307

Сокольский М. К. биографии цесаревича Константина // РС. 1907. № 1.С. 225-226.

Цит. по: *Архангельский А.Н.* Александр I. С. 87.

Сокольский М. К биографии цесаревича Константина. С. 222.

РС. 1873. Т. 7. № 1-6. С. 612-614.

311

Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 1. С. 105.

См.: *Семевский В.И.* Политические и общественные идеи декабристов. СПб., 1909. С. 264—274; *Мироненко С В.* Страницы тайной истории самодержавия. Политическая история России первой половины XIX столетия. М., 1990. С. 20—25; *Давыдов М.А.* Оппозиция Его Величества. М., 1994. С. 105-108.

Семевский В.И. Политические и общественные идеи декабристов. С. 269.

Цит. по: 14 декабря 1825 года и его истолкователи. С. 76.

315

См.: *Мироненко С. В.* Страницы тайной истории самодержавия. С. 11-73.

РС. 1900. Т. 102. № 4. С. 121-123.

Ашкенази Ш. Царство Польское. С. 57.

318

Письма Николая Михайловича Карамзина к И.И. Дмитриеву. СПб., 1866. С. 236-237.

319

Колзаков К.П. Княгиня Лович // РС. 1873. Т. 8. С. 398-400.

Карпович Е. Цесаревич Константин Павлович. С. 495.

321

ИРЛИ. Ф. 365. Оп. 2. Е. х. 2407. Л. 19 об.

322

Цит. по: *Карпович Е.* Цесаревич Константин Павлович. С. 496. См. также: ИРЛИ. Ф. 205. Оп. 2. Е. х. 2407. Л. 16. Все эти письма, как и письмо Марии Федоровны, очевидно, писались по-французски, однако до нас дошли только переводы оригиналов на русский.

323

ГА РФ. Ф. 728. Оп. l.E.x. 1104. Л. 3.

Цит. по: *Чечулин Н.* Константин Павлович. Стб. 190—191.

Завалишин Д. Воспоминания. М., 2003. С. 146.

Семевский В.И. Политические и общественные идеи декабристов. С. 287.

327

Запись о Константине К.П. Колзакова и А.В. Фрейгенг: ИРЛИ. Ф. 265. Оп. 2. Е.х. 2331.Л. 1 об.

Греч Я. Записки о моей жизни. М., 2002. С. 290.

Потоцкая Л. Мемуары графини. 1794—1820. Жуковский; М.: Кучково Поле, 2005. С. 260.

330

ИРЛИ. Ф. 265. Оп. 2. Е. х. 2331. Л. 1.

331

Лович И.А. [Заметки] / Сообщ. П.П. Исаевич // РС. 1889. № 3. С. 710-711.

332

Из рассказов старого лейб-гусара // Р.А. 1887. № 10. Кн. 3. С. 196.

РС. 1902. №8. С. 295.

334

Бумаги княгини Лович: ГА РФ. Ф. 728. Оп. 1. Д. 1248. Ч. 1-2.

Мориоль. Великий князь Константин Павлович. С. 534.

Цит. по: *Семевский В.И.* Политические и общественные идеи декабристов. С. 280.

Pienkos. Op. cit. P. 54.

Грабеньский В. История польского народа/ Пер. Н. Ястребова. СПб., 1910. С. 455.

339

Санкт-Петербургские ведомости. 1820. № 80.

Ашкенази Ш. Царство Польское. С. 65.

341

Там же. С. 67.

Подробнее см.: *Обушенкова Л.А.* Королевство Польское. С. 91—124.

Сапега Л. Мемуары. С. 84.

Круковская Л. Шлиссельбургский узник Валериан Лукасиньский. С. 40.

345

Грабеньский В. История польского народа. С. 460—461.

Семевский В.И. Политические и общественные идеи декабристов. С.186.

Там же. С. 188-189.

Смит Ф.И. История польского восстания и войны 1830—1831 гг. В 3 т. СПб., 1863-1864. Т. 1.С. 93.

Соловьев С. Император Александр I. М., 2003. С. 551.

P.A. 1864. C. 531.

351

Константин Павлович — Бенкендорфу, 21 августа (2 сентября) 1827 г.: Р.А. 1884. № 6. С. 307.

Сокольский М. К биографии цесаревича Константина. С. 223.

353

Тимощук В. Впечатления великого князя Константина Павловича, вынесенные им из поездки в Германию в 1824 году// РС. 1910. № 12. С. 568.

14 декабря 1825 года и его истолкователи. С. 219.

Восстание декабристов. Т. 9. М., 1950. С. 165.

Там же. С. 63.

357

Бортников А.И. Декабристы и польское освободительное движение // Труды историко-филологического факультета Воронежского государственного университета. Т. 29. Воронеж, 1954. С. 69.

Восстание декабристов. Т. 10. М., 1953. С. 168.

Димитрии. Опера господина аббата Метастазия… СПб., 1779.

360

Слово о Антихристе-Наполеоне: ОР РГБ. Ф. 732. Е. х. 10. Л. 6.

361

См.: *Трубецкой С.Я.* Записки. 1844—1845 (1854) // Мемуары декабристов. М., 1988. С. 37. См. также: Императрица Александра Федоровна. Записки // РС. 1896. № 10. С. 52-53.

362

Записки Николая I // 14 декабря 1825 года и его истолкователи. С.317.

363

Воспоминания великого князя Михаила Павловича о событиях 14 декабря 1825 г. (записанные бароном М.А. Корфом) // Там же. С. 355.

Восшествие на престол императора Николая 1-го. Составлено по высочайшему повелению статс-секретарем бароном Корфом // Там же. С. 220.

365

Там же.

Там же. С. 221.

См.: *Трубецкой С.П.* Замечания на книгу М.А. Корфа «Восшествие на престол императора Николая 1-го» // Там же. С. 384.

Выскочков Л.В. Николай I. М., 2003. С. 78—79.

Фелькнер В.И. 14 декабря 1825 года// РС. Т. 2. С. 135.

14 декабря 1825 года и его истолкователи. С. 384.

371

Там же. С. 387

Голицын Н. С Записки. 1825-1855 // РС. 1880. № 11. С. 608.

Сафонов М.М. Константиновский рубль и «немецкая партия» // Средневековая и новая Россия: К 60-летию проф. И.Я. Фроянова. СПб., 1996. С. 536.

Сыроечковский Б.Е. Московские «слухи» 1825—1826 гг. // Каторга и ссылка. Историко-революционный вестник. М., 1934. Кн. 3 (112). С. 81.

См.: Константиновский рубль. М.: Финансы и статистика, 1991.

Соколовский В.И. Русский император в вечность отошел… // Русская сатира. М.; Л., 1960. С. 86.

377

Междуцарствие 1825 года и восстание декабристов в переписке и мемуарах членов царской семьи / Подг. к печати Б.Е. Сыроечковский (далее: Междуцарствие в переписке). М.; Л., 1926. С. 142.

Там же. С. 150.

14 декабря и его истолкователи. С. 245.

Междуцарствие в переписке. С. 143.

381

Центральный государственный военно-исторический архив (ЦГВИА). ВУ А.Ф. 864. Л. 22.

382

Колзаков К.Я. Рассказ П.А. Колзакова// РС. 1870. № 6. Т. 1. С. 495- 496.

Там же. С. 497.

Карпович Е. Цесаревич Константин Павлович. С. 516—517.

Фонвизин М.А. Обозрение проявлений политической жизни в России // *Лунин М.С.* Письма из Сибири (Серия «Литературные памятники»). М., 1987. С. 285.

386

Эдельман О. К истории воцарения Николая I (Анализ дневника великого князя Николая Павловича) // Родина. 2009. № 3. С. 66—69; № 5. С. 66-69.

Сыроечковский Б. Московские «слухи» 1825—1826 гг. С. 80; ГА РФ. Ф. 109. Оп. 3. Е. х. 3170 (1826 г.). Л. 8-8 об.

Междуцарствие в переписке. С. 143.

389

Там же. С. 156.

14 декабря и его истолкователи. С. 305.

391

Константин Павлович — Бенкендорфу: Р.А. 1884. № 6. С. 273.

Греч Н. Записки о моей жизни. С. 149.

Чистов К. В. Русские народные утопические легенды. М., 1967. С. 202-203.

См., напр.: *Каратыгин Л.А.* Воспоминания // РС. 1875. Т. 12. С. 737-738.

Трубецкой С.Л. Записки // Мемуары декабристов. М., 1988. С. 46. См. также: *Кучерская М.* Как зовут последнего царя? (Некоторые вопросы эсхатологической ономастики) // Именослов. Заметки по исторической семантике имени / Сост. Ф.Б. Успенский. М., 2003. С. 231—245.

396

ЦГВИА. ВУ А.Ф. 864. Л. 14 об.

397

Цит. по: *Нечкина М.В.* Декабристы. М., 1975. С. 116 (из воспоминаний Александра Бестужева).

Междуцарствие в переписке. С. 145.

399

Цит. по: *Шильдер Н. К* Император Николай Первый: В 2 кн. М., 1997. Кн. 1.С. 299.

Вяземский П.А. Полное собрание сочинений. СПб., 1884. Т. 9. С. 46.

14 декабря 1825 года. С. 92-93.

402

ГА РФ. Ф. 109. Оп. 3. Е. х. 2499 (1826-1827). Л. 5 об., 6 об.

403

Якушкин И.Д. Записки, статьи, письма / Под ред. С.Я. Штрайха. М., 1951. С. 57.

Каратыгин П.А. Записки. Л., 1970. С. 136.

Декабристы-литераторы // Литературное наследство. Т. 59. М., 1954. С. 215.

406

Материалы для русской истории за первую половину XIX века. Донесение следственной комиссии его императорскому величеству // Р.А. 1881. Кн. 2. №2. С. 320.

Трубецкой С.П. Записки. С. 37—38.

Рассказ П.А. Колзакова. С. 498.

409

Там же. С. 497.

14 декабря 1825 года и его истолкователи. С. 311.

411

Шильдер Н. К. Император Николай Первый. Кн. 1. С. 164.

412

ГА РФ. Ф. 109. Оп. 3. Е. х. 3186 (1826 г.). Л. 38-38 об.

14 декабря 1825 года и его истолкователи. С. 321.

Раменский А. Цесаревич Константин Павлович. М., 1913. С. 77.

415

Сыроечковский Б. Московские «слухи» 1825—1826 гг. С. 81. См. так же: *Чернов С.Н.* Слухи 1825—1826 годов (Фольклор и история) — в кн.: *Чернов С.Н.* У истоков русского освободительного движения. Саратов, 1960. С. 322.

См.: *Вигель Ф.Ф.* Записки. М., 2000. С. 506.

417

«Старина о Грозном царе Иване Васильевиче» (Песни, собранные П.Н. Рыбниковым. Т. 1—2. Петрозаводск, 1989. Т. 1. С. 256).

418

ГА РФ. Ф. 1165. Оп. 1. Е. х. 81 (2 мая 1826 г.).

Болотов А.Т. Записки. Т. 1-2. С. 423-424, 447-448.

Чистов К.В. Русские народные социально-утопические легенды. С.208.

Круковская Л.Я. Шлиссельбурге кий узник Валериан Лукасиньский. С. 23.

65 Декабристы в воспоминаниях современников. М., 1988. С. 210.

422

Записка отставного майора Евкевича об отношении москвичей к членам императорской фамилии — ГАРФ. Секретный архив. Ф. 109. Оп. 3. Д. 2498. Л. 3.

423

Народные толки о цесаревиче Константине Павловиче / Сообщ. Г.К. Репнинский // РС. 1878. № 9. С. 135.

424

ГА РФ. Ф. 1165.0п. 1.Д. 77.

425

ГА РФ. Ф. 1165. Оп. 1.Д.77.

426

См. историю Псковского внутреннего гарнизона рядового Константина Иванова, который тоже обсуждал в пьяном виде политические события — ГА РФ. Ф. 1165. Оп. 1. Е. х. 82.

Каторга и ссылка. 1925. Кн. 21.

428

ГА РФ. Ф. 109. 2 экспедиция. Д. 13. Л. 4—4 об.

429

Там же. Л. 7.

Ср.: ГА РФ. Ф. 109. Оп. 3. Д. 2499. Л. 6.

431

См., напр.: Народные толки о цесаревиче Константине Павловиче. С. 138; Восстание декабристов. Т. 6. М.; Л., 1929. С. 67; *Рахматулин М.А.* Легенда о Константине в народных толках и слухах 1825—1858 гг. // Феодализм в России. Сборник статей и воспоминаний, посвященный памяти академика Л.В. Черепнина. М., 1987; Дело со сведениями о народных слухах по поводу императора Александра I, восшествии на престол императора Николая I — ЦГВИА. ВУ А.Ф. 864 (1828). Л. 48.

См.: Русская историческая песня. М., 1987. С. 326.

433

Там же. С. 328. О трех вариантах этой песни см.: *Косованов А.* Заговор декабристов в сибирских песнях и легендах // Сибирские огни. 1925. №6. С. 122-126.

434

См.: *Чистов К.В.* Русские народные социально-утопические легенды. С. 30-31.

Сыроечковский Б. Московские «слухи»… С. 82—83.

ГА РФ. Ф. 109. Оп. 3. Е. х. 284 (1828 г.). Л. 76 об.

Рахматулин М.А. Легенда о Константине… С. 300.

438

РГИ А.Ф. 1021 (фонд гр. Перовских). Оп. 1. Д. 48 (1848 г.). Л. 2-2 об.

439

ГА РФ. Ф. 109. Оп. 3. Д. 2498. Л. 1. См. также: *Рахматулин М.А.* Легенда о Константине… С. 300.

Цит. по: *Чистов К.В.* Русские народные социально-утопические легенды. С. 212.

Сыроечковский Б. Московские «слухи»… С. 82—83.

Р.А. 1887. Т. 56. № 10. С. 137-138.

443

Пушкин А.С. Собрание сочинений: В 10 т. М., 1981. Т. 9. С. 220. Между прочим, это суждение может оказаться небесполезным для реконструкции пушкинских представлений о романтизме: в известных нам работах (см., напр.: *Гуревич А.М.* Романтизм Пушкина. М., 1993; *Гуковский Г.А.* Пушкин и русские романтики. М., 1995), посвященных этому вопросу, оно обычно не приводится. Более известно высказывание поэта о А.Я. Якубовиче из письма Бестужеву, написанного в те же дни, содержащее то же выражение «много романтизма»: «Кстати: кто писал о горцах в “Пчеле”? вот поэзия! не Якубович ли, герой моего воображенья? Когда я вру с женщинами, я их уверяю, что я с ним разбойничал на Кавказе, простреливал Грибоедова, хоронил Шереметева etc. — в нем много в самом деле романтизма» (30 ноября 1825 года, А.А. Бестужеву) *(Пушкин А.С.* Собрание сочинений. Т. 9. С. 218).

444

См. статью Пушкина «О поэзии классической и романтической», написанную как раз в 1825 году.

См.: *Модзалевский Б.Л.* Библиотека Пушкина. СПб., 1910.

Шекспир У. Полное собрание сочинений: В 8 т. М., 1959. Т. 4. С. 376.

447

В интерпретации буйств принца Генриха мы разделяем точку зрения А. Аникста — см.: *Шекспир У.* Полное собрание сочинений. Т. 4. С. 612—613.

Штейнгель В.И. Автобиографические записки // *Штейнгель В.И.* Сочинения и письма. Иркутск, 1985. Т. 1. С. 153—154.

449

См., напр.: Анекдоты о Суворове, изданные Е. Фуксом. СПб., 1827; Анекдоты графа Суворова. СПб., 1865; *Елисеев А.В.* Народные предания о Суворове //Древняя и Новая Россия. 1879. № 8.

Шекспир У. Полное собрание сочинений. Т. 4. С. 376.

451

Скотт В. Собрание сочинений: В 20 т. М.; Л., 1960. Т. 1. С. 364.

452

Пушкин А.С. Собрание сочинений. Т. 9. С. 221—222. Курсив и орфография — пушкинские.

453

Ср. также высказывание Пушкина о Павле: «Говорили много о Павле 1-м, романтическом нашем императоре».

Восстание декабристов. Т. 1. М.;Л., 1925. С. 188.

Там же. С. 436.

456

Цесаревич Константин Павлович. Переписка с Ф.П. Опочининым. Из архива Ф.К. Опочинина. СПб., 1873. С. 9.

Декабристы и их время. Материалы и сообщения / Под ред. М.П. Алексеева, Б.С. Мейлаха. М.; Л., 1951. С. 31.

458

Р.А. Кн. 2. № 506. С. 213.

Огарев Н.И. Избранное. М., 1987. С. 330.

Герцен А.И. Былое и думы. М., 1969. Ч. 1-5. С. 66.

461

Там же. С. 79.

462

Опочинину Ф.П. от 26 января 1826 г.

463

Memoires pour servir a l'Histoire de l'opposition en Russe. Из дневника С.Ф. Уварова / Подг. текста и пер. С.В. Житомирской; ввод. ст. и примеч. Н.Я. Эйдельмана // Записки Отдела рукописей. Вып. 36. М., 1975. С.144.

Декабристы. М., 1938.

Эйдельман Н.Я. Лунин и его сибирские сочинения // *Лунин М.С.* Письма из сибирской ссылки. М., 1987. С. 309.

Макаров Н.П. Цесаревич Константин Павлович и его время в Варшаве (очерки из воспоминаний старого литовца). СПб., 1871.

467

См. примечание к публикации: *Липранди И.П.* Из дневника и воспоминаний // Р.А. 1866. Т. 2. № 10.

Шильдер Н.К. Император Николай Первый. Кн. 1. С. 461.

469

Благово Д.Д. Рассказы бабушки. Из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные ее внуком. Л., 1989. С. 310.

См.: Петербургское общество при восшествии на престол императора Николая по донесениям М.М. Фока А. Х. Бенкендорфу// РС. 1881. Т. 32. № 9.

Чечулин Н. Константин Павлович. Стб. 210.

Киселев П.Д. Записки о государе Николае Павловиче // Николай. Муж. Отец. Император. М., 2000. С. 528—529.

473

Междуцарствие в переписке. С. 144.

Давыдов Д.В. Воспоминания о цесаревиче Константине Павловиче. С. 303.

475

Великая княгиня Ольга Николаевна. Воспоминания. Сон юности // Николай. Муж. Отец. Император. С. 187.

Дмитриев М.А. Главы из воспоминаний моей жизни / Подг. текста и примеч. К.Г. Боленко, Е.Э. Ляминой, Т.Ф. Нешумовой; вступ. ст. К.Г. Боленко, Е.Э. Ляминой. М., 1998. С. 246.

Вигель Ф.Ф. Записки. Ч. 6-7. М., 1893; Ч. 7. С. 106.

478

Сборник исторический о царствовании Екатерины II, Павла I и Александра I — ОР РГ Б.Ф. 218. Е.х. 895. Л. 316-317 об.

Благово Д.Д. Рассказы бабушки. С. 310.

Дмитриев М.А. Главы из воспоминаний моей жизни. С. 246—248.

481

Давыдов Д.В. Воспоминания о цесаревиче Константине Павловиче. С. 303.

Словацкий Ю. Избранные сочинения. М., 1960. Т. 1. С. 683.

483

Шильдер Н.К. Император Николай Первый. Кн. 1. С. 374.

Круковская Л.Я. Шлиссельбургский узник Валерий Лукасиньский. С. 59-60.

Шильдер Н.К. Император Николай Первый. Кн. 1. С. 383.

Там же. С. 389.

Долгоруков П.В. Петербургские очерки. Памфлеты эмигранта. 1860—1867. М., 1992. С. 279.

Цит. по: *Шильдер Н.К.* Император Николай Первый. Кн. 2. С. 94—95.

Грабеньский В. История польского народа. С. 465.

См.: *Шильдер Н. К.* Император Николай Первый. Кн. 2. С. 98.

491

Там же. С. 67.

492

Глинка Ф. Чувства русского при получении известия о рождении Его Императорского Высочества Константина Николаевича // Радуга. Литературный и музыкальный альманах на 1830 год, изданный П. Араповым и Д. Новиковым. М., 1830.

493

ГА РФ. Ф. 109. 1 эксп. Оп. 2. Д. 328. Л. 2 об.

Там же. Л. 3—3 об.

Лотман Ю.М. Пушкин. СПб., 1995. С. 660.

Видок Фиглярин. Письма и агентурные записки Ф.В. Булгарина в III отделение / Публ., сост., предисл. и коммент. А.И. Рейтблата. М., 1998. С. 209.

497

Северная пчела. 1827. № 109. 10 сентября. С. 1.

Видок Фиглярин. С. 208.

499

Русская историческая песня (серия «Библиотека поэта»). М., 1987. С. 328.

500

Письмо цесаревича Константина графу Ф.В. Сакену о невыгодности иметь войну с Турцией (15 февраля 1827 г.) / Сообщ. М. Сокольский // РС. 1907. № 2. С. 288.

Шеремет В.И. Турция и Адрианопольский мир. Из истории Восточного вопроса. М., 1975.

Шильдер Н.К. Император Николай Первый. Кн. 2. С. 109.

503

Там же. С. 109.

504

Константин Павлович — Вильгельму Оливу, 20 августа 1829 г.: Р.А. 1870. С. 425.

505

Р.А. 1875. Кн. 2. С. 192-193.

См.: *Шильдер Н. К* Император Николай Первый. Кн. 2. С. 166, 387.

507

Сб. РИ О.Т. 5. С. 76-77.

Карновин Е. Цесаревич Константин Павлович. С. 531.

509

Цит. по: *Рахматулин М.А.* Легенда о Константине в народных толках и слухах 1825—1858 гг. С. 302.

510

См.: *Осповат А.* К прениям 1830-х гг. о русской столице // Лотмановский сборник. М., 1995. С. 482—483.

511

Видок Фиглярин. С. 352.

Шильдер Н. К. Император Николай Первый. Кн. 2. С. 202.

513

Колзаков К. П. Воспоминания // РС. 1873. Т. 7. № 1-6. С. 452.

Карновин Е. Цесаревич Константин Павлович. М., 1899. С. 279.

515

См. об этом: *Лямина Е., Самовер Н.* Поэт на балу. Три маскарадных стихотворения 1830 г. //Лотмановский сборник. М., 2004. С. 141 — 176.

516

Константин Павлович — Ф.П. Опочинину (16 января 1830 г.): РН Б.Ф. 650 (Письма его императорского высочества цесаревича великого князя Константина Павловича).

517

Цит. по: *Карпович Е.* Цесаревич Константин Павлович. С. 533.

518

Смит Ф. История польского восстания и войн 1830 и 1831 гг. Т. 1. С. 118.

Pienkos. Op. cit. P. 103.

Ашкенази Ш. Царство Польское. С. 165.

521

Шильдер Н. К. Император Николай Первый. Кн. 2. С. 280—281.

522

См.: *Каштанова О.С.* Великий князь Константин Павлович… С. 232.

523

Колзаков К. П. Воспоминания // РС. 1873. № 5. С. 594.

Мохнацкий М. Польское восстание в 1830—1831 гг. // РС. 1884. № 7. Т. 43. С. 161.

525

См.: *Колзаков К.П.* Коронация Николая в Варшаве // РС. 1873. № 7. С. 448—609; *Карнович Е.* Цесаревич Константин Павлович. С. 541—552.

Мохнацкий М. Польское восстание… С. 182.

Карнович Е. Цесаревич Константин Павлович. С. 554.

Там же. С. 287.

Колзаков К.П. Коронация… С. 604.

Смит Ф. История польского восстания… Т. 1. С. 158.

Колзаков К. П. Коронация… С. 599.

Мохнацкий М. Польское восстание… С. 686.

Колзаков К. П. Коронация… С. 607.

Карнович Е. Цесаревич Константин Павлович. С. 560—561.

Мохнацкий М. Записки // РС. 1890. № 3. С. 706.

Там же. С. 710.

Карнович Е. Цесаревич Константин Павлович. С. 561.

Опочинин К. Из дневника // РС. № 9. Т. 135. С. 490-491.

539

Подробный отчет об этой встрече см.: *Карнович Е.* Цесаревич Константин Павлович. С. 280—292.

Там же. С. 283.

541

Цит. по: *Шильдер Н. К.* Император Николай Первый. Кн. 2. С. 303.

542

См.: *Мохнацкий М.* Записки. Заметим, что каждый второй оратор у Мохнацкого рыдает.

543

РС. 1912. Т. 149. № 1. С. 173-174.

Еще одну романтическую историю, связанную с бегством Константина, см.: *Rymkiemcz J.* Wielki raiaze z dodaniem rozwazan o istocie i pzymiotach ducha polskego. Warszawa, 1983. S. 14.

545

Княгиня Н.И. Голицына о польском восстании 1830—1831 гг. // Р.А. 2004. Т. 13. С. 101. (См. те же воспоминания: Война глазами женщин. М.: НЛО, 2006.)

Тимощук В. Император Николай // РС. 1911. № 5. С. 387.

Пузыревский А. К. Польско-русская война 1831 г. Т. 1. С. 106.

Цит. по: *Шильдер Н. К.* Император Николай Первый. Кн. 2. С. 408. См. также: ИРЛИ. Ф. 265. Оп. 2. Е. х. 2663.

549

Бенкендорф А.Ф. Записки — цит. по: *Шильдер Н. К.* Император Николай Первый. Кн. 2. С. 315.

Там же. С. 315.

551

ИРЛИ. Ф. 265. Оп. 2. Е. х. 2330. Л. 3 об. — 4 (предания о смерти великого князя Константина Павловича и два стихотворения).

552

Цит. по: *Тимощук В.* Император Николай // РС. 1911. № 10. С. 134.

553

Там же. С. 144.

Цит. по: *Шильдер Н. К.* Император Николай Первый. Кн. 2. С. 332.

Там же. С. 334.

556

Цит. по: *Тимощук В.* Император Николай// РС. 1911. № 10. С. 139-140.

557

ГА РФ. Ф. 1055. Оп. 1. Е. х. 30.

Карнович Е. Цесаревич Константин Павлович. С. 587.

559

ИРЛИ. Ф. 265. Оп. 2. Е. х. 2330. Л. 3 об. (предания о смерти великого князя Константина Павловича и два стихотворения).

Карнович Е. Цесаревич Константин Павлович. С. 579.

561

ИРЛИ. Ф. 265. Оп. 2. Е. х. 2330. Л. 2-3.

Карнович Е. Цесаревич Константин Павлович. С. 591.

563

Северная пчела. 1831. № 182. 17 августа. С. 1—2.

См.: *Долли Фикельмон.* Дневник 1829—1837. С. 169; *Тимирязев Ф.И.* Страницы прошлого // Р.А. 1884. Т. 1. С. 309.

565

См.: *Карнович Е.* Цесаревич Константин Павлович. С. 591—592.

Цит. по: *Раевский Н.* Портреты заговорили. М., 1978. С. 166.

567

Репнинский Г.К. Народные толки о цесаревиче Константине Павловиче // РС. 1878. № 9. С. 135, 139.

Чистов К. В. Русские народные социально-утопические легенды. С. 212.

569

ГА РФ. Ф. 109. Оп. 10. Е. х. 198. С. 10 об. (1835 г.).

Рахматулин М.А. Легенда о Константине в народных толках и слухах 1825-1858 гг. С. 303-304.

См.: *Чистов К. В.* Указ. соч. С. 196—219; *Рахматулин М.А.* Легенда о Константине в народных толках и слухах 1825—1858 гг. С. 298—308.

ГА РФ. Ф. 109. Оп. 4. Д. 113.

Инсарский В.А. Записки // РС. 1895. Т. 84. № 7. С. 40.

Там же. С. 40.

575

Письма В.А. Жуковского его императорскому высочеству великому князю Константину Николаевичу// Р.А. 1867. Кн. 3. Стб. 1411 — 1412.

Данная работа полностью приведена в рецензии: *Шильдер Н. К* О сочинении А.Н. Петрова «Война России с Турцией. Дунайская кампания 1853-1854 годов». СПб., 1894. С. 23-32.

577

См.: Эпизоды из событий 1861 — 1864 гг. Воспоминания современника-очевидца // Р.А. 1885. Кн. 3. № 9. Стб. 89—97; Воспоминания, мысли и признания человека, доживающего свой век смоленского дворянина//РС. 1895. Т. 84. №8. С. 127.

См.: *Пчелов Е.В.* Генеалогия рода Романовых. 1855—1997. М., 1998. С. 36; *Качур П.И.* Пионеры ракетной техники. Константин Иванович Константинов // Земля и Вселенная. 1993. № 6. С. 39—44.

Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени // Собрание сочинений: В 4 т. Т. 4. М., 1969. С. 310.